

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

1999

9

1999

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала «Новый мир» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 1999 и 2000 годах: \$ 14,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».

Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.

E-mail: nmir@aha.ru



Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку, заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир» с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$14).

Дата оплаты (заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость одного номера на второе полугодие 1999 года — 27 рублей плюс стоимость доставки, на первое полугодие 2000 года — 35 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на первую половину 2000 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. Стоимость льготной подписки — 198 рублей. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (ул. Бахрушина, 28), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Чистый переулок, 6) и в киосках «Мосинформ».

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d.

Факс (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de
Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>

американская фирма «Ист Вью Паблликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961.
Факс (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира»
обращать внимание на обложку журнала.*

*За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется
только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»;
торговля журналами в голубой обложке не является законной.*

НОВОВЪГЪИ МЪИРЪ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 9(893)

Сентябрь, 1999 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИГОРЬ САХНОВСКИЙ — Насущные нужды умерших. Хроника	5
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Сбылись времена, стихи	61
АНДРЕЙ ВОЛОС — Сирийские розы, повесть	66
СЕРГЕЙ НОВИКОВ — Спектральная вода, стихи	98
НАТАЛЬЯ АРИШИНА — Это Пушкин в России всегда виноват, стихи	100
НАТАН ЗЛОТНИКОВ — Красновидовские строфы, стихи	103
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — После инфаркта, рассказ	105

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

АЛЕКСАНДР НЕКЛЕССА — Пакс экономикана, или Эпилог истории. Размышления у дверей третьего тысячелетия	118
---	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ — «А я говорю вслух: конца света не будет...». Из дневниковых записей 1981 — 1982 годов. Публикация и Примеча- ния Т. Ф. Дедковой	136
--	-----

ОПЫТЫ

МИХАИЛ ЗОЛОТОНОСОВ, НИКОЛАЙ КОНОНОВ — З/К, или <i>Вивисекция. Ирина Роднянская</i> . Неединственность смысла: шутка	163
СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ — В русском жанре. Над страницами «Войны и мира»	176

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА — Два полюса русского экзистенциального сознания. Проза Георгия Иванова и Владимира Набокова- Сирина	183
--	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Евгений Ермолин. Закладка	206
Ольга Славникова. Обитаемый остров	212
Дмитрий Дмитриев. «Живые портреты» Наталии Бианки	216
С. Мадиевский. Почему Холокост?	219

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

ОЛЬГА ФИЛАТОВА — Русский современный писатель в Германии. Справочник	228
СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН — Ренате Эфферн. Трехглавый орел: русские гости в Баден-Бадене	229
ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ — I. Джан Пиеро Пиретто. 1961 год в Москве. II. Александр Блок. Двенадцать. Скифы. Родина. III. Нина Каухчишвили. Мать Мария. Путь монахини	230
ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО — Джефри Брукс. Спасибо товарищу Сталину! Советская публичная культура от революции до холодной войны	233

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

И. СИРОТИНСКАЯ — Александр Солженицын о Варламе Шаламове	236
ГЕНРИХ ИОФФЕ — Между Достоевским и Куняевым	238

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	240
Периодика (составитель Андрей Василевский)	243
SUMMARY	256

SMIRNOFF-БУКЕР — 1999

Букеровское жюри (сама премия отныне именуется Smirnoff-Букер) огласило список пятидесяти четырех претендентов на премию 1999 года за лучший русский роман. Среди них — пять произведений, напечатанных в «Новом мире»:

Виктор Астафьев. Веселый солдат. 1998, № 5, 6;

Михаил Бутов. Свобода. 1999, № 1, 2;

Фазиль Искандер. Поэт. 1998, № 4;

Людмила Улицкая. Веселые похороны. 1998, № 7;

Антон Уткин. Самоучки. 1998, № 12.

Желаем успеха нашим авторам!

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3500 экземпляров журнала «Новый мир».

ИГОРЬ САХНОВСКИЙ

*

НАСУЩНЫЕ НУЖДЫ УМЕРШИХ

Хроника

Мои отношения с этой женщиной напоминают хрестоматийную связь гребца-невольника с прикованной к нему галерой. Впрочем, кто здесь к кому прикован — спорный вопрос, тем более что еще при ее жизни и впоследствии нам приходилось не раз меняться ролями. Особенно впоследствии.

Произносить вслух ее имя, пышное и немного стыдное, мне непривычно, ведь я никогда, ни разу не обратился к ней по имени.

Она носила ту же фамилию, что и я, — Сидельникова, Роза Сидельникова. Этот вполне заурядный факт долгое время казался мне непостижимым совпадением.

Труднее всего говорить о ней сейчас в третьем лице. Участковый врач, навестивший неизлечимо больного или психически ненормального, в присутствии пациента деловито пытается смущенных домочадцев: «Он что, все время так потеет? А какой у него стул?» Или, например, с ленивой оглядкой, но достаточно внятно: «О покушениях больше не кричит? Ну, вы ему лучше не напоминайте». Родня, контуженная безысходностью и страхом, разумеется, отвечает в нужной тональности. И тогда лекарственную духоту комнаты пронизывает летучий запахок предательства. Существо, о котором идет речь, отныне поражено в последних правах. Из этой липкой постылой постели навсегда исчезает родной и близкий «ты», остается — «он», покинутый на самого себя.

Говоря сейчас «она» о Розе, я слышу снисходительное молчание присутствующего человека, отделенного от всех нас тем же самым статусом полной неизлечимости или «ненормальности». Только ее болезнь называется просто смертью.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

После стольких августов, куда-то закатившихся, как перезрелые яблоки, те августовские ночи и дни до сих пор светятся, и этот свет режет мне глаза. Вот моя первая память о Розе, самое раннее воспоминание о ней — голое, ночное.

День заканчивался, как обычно, некстати. Спать я не хотел никогда, воспринимая ночь как вынужденный перерыв в захватывающей дневной жизни.

Роза стелила себе на узкой кушетке, обтянутой черным дерматином, а мне — на железной кровати у противоположной стены. Раздеваясь, я машинально вслушивался в говорливый соседский быт. За перегородкой коммунального жилья многодетные Дворянкины готовились ко сну.

Сахновский Игорь Фёдорович родился в 1958 году. Закончил Уральский государственный университет. Автор книг «Лучшие дни» и «Взгляд». Публиковался в журналах «Урал», «Уральский следопыт» и др. Живет в Екатеринбурге. В «Новом мире» печатается впервые.

Журнальный вариант.

Они укладывались так долго и обстоятельно, будто провожали самих себя в дальнюю дорогу. Глава семьи Василий давал жене Татьяне последние вечерние наставления. К ним то и дело, стуча голыми пятками, подбегали дети с подробными донесениями и жалобами друг на друга. Василий поминутно вворачивал короткое емкое слово, означающее полный конец всему, которое, впрочем, каждый желающий мог видеть еще с прошлого лета начертанным огромными буквами, с помощью гудрона, на желтом оштукатуренном фасаде этого двухэтажного дома по улице Шкирятова.

Роза, румяная после умывания, расчесывалась перед зеркалом в казенной багетной раме. Это прямоугольное зеркало на стене возле окна казалось мне вторым окном, тоже открытым, только не во двор, а вовнутрь — из двора, полного темноты, в полупустую, ярко освещенную комнату Розы.

Я уже залез под шерстяное одеяло и слушал соседское радио, которое щедро изливало субботний концерт по заявкам. В честь дорогой орденосной ткачихи, мамы и бабушки, самоотверженно отдавшей многие годы, прозвучит песня... У певицы был голос чокнутой рыжей Лиды с первого этажа:

Ах, Самара-городок,
Беспокойная я!
Беспокойная я!
Успокой ты меня!

Роза, не оборачиваясь, неожиданно поинтересовалась, не голоден ли я. Мне представилось, как Самара-городок в едином порыве со всех ног несет уговаривать эту беспокойную дуру. Нет, я не голоден. Лида с первого этажа, кстати, была вполне тихая и в успокоениях не нуждалась. Она целыми днями расхаживала взад-вперед по двору в свободном выцветшем сарафане, очень милом, но почему-то всегда с чудовищным сальным пятном в низу живота.

Потом запел угрюмый сильный мужчина:

Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их...

После тяжеловатых Татьянинных шагов радио резко смолкло, Василий обнародовал свое прощальное «а-ха, хе, хе-хе, хе-хе!», и Дворянкины сразу в полном составе как бы отъехали.

И в этом новеньком пространстве тишины вдруг отчетливо зазвучало наше с Розой молчание, наше обычное, ничуть не тягостное одиночество вдвоем. Мы, можно сказать, почти не замечали друг друга — бытовая участь самых нужных людей и предметов, если они постоянно рядом.

Роза всегда спала голая, она и меня к этому приучила. Мне нравились ее привычки. Я знал, что сейчас, после сухого шелеста ее ладоней, растирающих крем из бутылочки с надписью «Бархатный», после щелчка выключателя, я услышу: «Спи, милый», произнесенное с неповторимо прохладной интонацией, и еще до того, как мои глаза приноруются к темноте, она снимет через голову домашнее платье и тихо ляжет на свою узкую покатуку кушетку.

— Спи, милый.

Но темнота и тишина так и не наступили. Мое нежелание спать поощряли цикады, голосившие с таким сумасшедшим напором, что этот хорошей крик буквально вламывался в тесный оконный проем. Всю комнату заливал светящийся лунный раствор. Посередине маленьким круглым озером сияла клеенка стола. Стены стали экранами для ночного киносеанса с участием двух самых крупных дворовых черемух. Кто-то громоздкий приютился в углу возле шкафа; его спина была сломана границей стены и по-

толка, понуро свешивалась голова на тонкой шее. Напротив него, почти на полу, грузно восседал некто приземистый, погруженный в себя. Время от времени звучал порывистый лиственный вдох — и в это мгновение сутулый с неуклюжей решимостью вылетал из угла, чтобы рухнуть на колени перед сидящим; но тот каждый раз невозмутимо отстранялся, и уже на выдохе оба возвращались на исходные позиции. Эта безнадежная сцена все повторялась — и конца не было видно. Высокий пока еще надеялся вымолить прощение и продолжал кидаться в ноги. Я ждал, что низенький наконец-то сжалится или просто не успеет вовремя сдвинуться назад, но он был начеку...

Мне предстояло обдумать два вопроса — почти тайных. Во всяком случае, обсудить их мне было не с кем.

Во-первых, я заметил, что стоит мне немного зажмуриться — при свете или в темноте, — как мои глаза становятся чем-то вроде микроскопа и я сразу начинаю видеть несметное множество маленьких круглых существ в прозрачных оболочках, с ядрышками внутри. Они всегда двигаются — то как бы нехотя, то быстро, плотно окруженные еще более мелкими существами, тоже прозрачными, мерцающими. В общем, весь воздух (если верить моим зажмуренным глазам) переполнен этой мелкотной, которая живет собственной таинственной жизнью. Разглядеть ее подробности мне было уже не под силу. Эту задачу я решил доверить ученым, если их когда-нибудь заинтересует необычность моего зрения. Оставалось только придумать особое устройство, чтобы те самые ученые смогли наблюдать открытых мною существ моими глазами — изнутри меня. Впрочем, думать об ученых было скучно, и я перешел ко второй загадке.

Собственно, второй вопрос занимал меня гораздо больше. Мне нужно было понять, кто такая Роза. Я только что обнаружил, что почти ничего не знаю об этой женщине. У нее, кажется, нет друзей. Она не ходит на работу. Она живет одна в этой квадратной комнате с голыми стенами. В ее фанерном платяном шкафу, выкрашенном половой краской, висят на плечиках два-три платья и одно пальто. На этажерке такой же окраски, что и шкаф, стоит радиоприемник, похожий на военный передатчик, и лежит горка толстых журналов из городской библиотеки. У нее нет холодильника и телевизора, нет коврика с изображением сидящей красавицы и портретов на стенах, чем, например, могут похвастаться Дворянкины, которые всегда громко жалуются друг другу на безденежье. По сравнению с ними Роза, на мой взгляд, очень бедная, просто нищая. Но она никогда ни на что не жалуется и вообще мало говорит.

Самое непонятное — это ее отношение ко мне, ее молчаливая, ровная и настойчивая забота, которую я ничем не могу объяснить. Она спокойно и тщательно следит за моим благополучием, за безошибочностью каждого моего шага — и кажется, что никаких других целей в ее жизни не было и нет.

Мне вдруг стало жарко. Колючее одеяло обжигало кожу. Случайное слово «следит» застряло в голове и дало зловещий отросток: «следит по заданию». Значит, так. Я был однажды кем-то секретно выбран в качестве орудия... Розе поручено вести и направлять меня в нужную сторону. Как бы она поступила, произнеси я эти мысли вслух? Скорей всего, она...

В этот момент я вздрогнул так, что прикусил губу. В темном провале зеркала наискосок от меня мелькнуло что-то белое, а между двумя тенями, снующими по стене, внезапно выросла третья.

Уже через секунду мне стало ясно, что Роза встала с постели и направляется ко мне.

Ее лицо заслоняла плотная тень, но глосе тело, гладкое и тонкое, было просвечено почти насквозь ночным серебряным светом. Едва успев прикрыть глаза, я ощутил волну теплого телесного ветра и сквозь опущенные ресницы увидел прямо перед собой маленький волнистый живот. Его затеяли груди, похожие на два высоких кувшина.

Почему от этой давней ночи, не заполненной никакими событиями, до сих пор с такой силой бьют радиоактивные лучи страха и восторга, которые достают и заражают меня теперешнего? В самом деле, можно ли всерьез, без улыбки, возводить в ранг события то, что один человек, встав среди ночи и подойдя к постели другого человека, поднимает упавшее на пол одеяло, укрывает лежащего и говорит с легкой усмешкой: «Да не волнуйся ты, спи спокойно...»

Как бы то ни было, все случившееся тогда и впоследствии стало цепью неотразимых доказательств, заставляющих меня признать, что нет ничего страшнее, прекрасней и фантастичнее, чем так называемая реальная жизнь. Она, эта самая жизнь, пресловутая и сугубая, в сущности, прозябая в немоте и безвестности, хочет доверить себя словам. Слова же чаще всего озабочены тем, как они выглядят, и постоянно прихорашиваются.

Начав рассказывать эту историю, я пообещал себе не впадать в соблазн сочинительства, во всяком случае, не придумывать обстоятельства, покуда живые, невыдуманные, которые, впрочем, и выдумать-то невозможно, словно бедные родственники, столько времени топчутся в прихожей, ожидая, когда на них обратят внимание.

Я повернулся на другой бок, лицом к стене, слыша, как удаляются ее босые шаги, и сознавая, что все время моего бодрствования Роза тоже не спала. Она как бы выслушала меня, а затем дала осторожный и точный ответ на мои громкие бредовые мысли, которые очень скоро, всего через пятнадцать лет, даже меньше, окажутся вовсе не такими уж бредовыми.

ГЛАВА ВТОРАЯ

У Дворянкиных воскресное утро начиналось в темпе бодрой свары, закипавшей вместе с Татьяниным гороховым супом.

Василий нервно похаживал в одних брюках по общему коридору, многократно оглашая тесное коммунальное пространство наболевшим вопросом:

— Кто, бля, в доме хозяин?

Татьяна молчала, не отрывая глаз от кухонной плиты.

В это время, разлегшись на неубранной родительской постели, Лиза, одна из дворянкинских дочерей-двойняшек, выясняла у другой, сидящей рядом:

— Олька, ты чё, мордовка? Только честно!

И, не дожидаясь ответа, сообщила:

— Я знаю, ты мордовка. Мне мама сказала. Я теперь всем расскажу, что ты мордовка.

Ольга неожиданно завyla, закрывая лицо кулаками, после чего Лиза решила сменить гнев на милость:

— Да ладно, не ссы! Не расскажу.

Мордовка Оля не унималась. Ее вой разбудил и напугал младших братьев.

Татьяна прислушалась к разноголосому реву детей и на очередной вопрос мужа о том, кто, бля, в доме хозяин, хмуро ответила:

— Тараканы.

Роза надела под платье старомодный черный купальник. Это означало, что они с Сидельниковым сегодня, возможно, побывают на пляже, если не испортится погода.

Погода, казалось, позабыла о своем существовании. Город выглядел по-курортному южным и ленивым, хотя на самом деле это был южно-уральский рабочий город.

Сидельников и Роза спускались по безлюдной улице Шкирятова. Незадолго до этого ее переименовали в улицу Нефтяников, и новое название еще не успело прижиться.

Привычное молчание прервал Сидельников, спросив Розу о причине переименования улицы. Нельзя сказать, что его это сильно интересовало, но все же... Роза слегка поморщилась, давая понять, что ее это интересует еще меньше, но после некоторой заминки выразилась в том духе, что этот самый Шкирятов, видишь ли, ни с того ни с сего оказался плохим человеком.

Сидельников попробовал сострить:

— А нефтяники не окажутся потом тоже плохими людьми?

Роза не восприняла остроту и ответила неожиданно серьезно:

— С них достаточно, они уже были плохими.

На этом разговор выдохся. Но прежнего названия все-таки было немного жалко — в нем Сидельникову чудилось жутковатое бандитское обаяние. Упраздненная фамилия однажды выкажет себя, документально слившись с неопишуемой мордой, уместной разве что в ночных кошмарах: когда через уйму лет, копаясь в завалах букинистической лавки, Сидельников возьмет в руки нарядную книгу с жизнеописаниями всех тех, кто сподобился быть похороненным у Кремлевской стены и в самой стене, со случайно открытой страницы его одарит нежной людоедской улыбкой деятель с бычьими глазами, расставленными на ширину чугунных скул, — незабвенный Матвей Шкирятов.

Но пока это только улица, где живет Роза, где за провинциальностью места и неподвижностью времени, за убогой роскошью предстоящей воскресной прогулки укрывается, то есть едва прячет себя, неизбежная близкая радость. Именно ей служило, для нее было создано все, что попадалось им на пути.

А попадался, во-первых, магазин «Галантерея», куда нельзя было не заглянуть. Это называлось «пойти поглядеть бриллианты». Роза, правда, предпочитала отдел с нитками и пуговицами, где и глазу не на чем остановиться, зато Сидельников сразу прикинул к прилавку с драгоценностями. Солнце еле протискивалось через немытое магазинное окно и снова входило в силу на этой витрине благодаря великолепной бензиновой луже, разъятой на крупные граненые осколки по два с чем-то рубля за штуку. Здесь же плавали, переливаясь, бутылочная зелень и остекленевшие винные ягоды такой глубины и прозрачности, что это не могло быть ничем иным, кроме изумрудов и рубинов. Перечисленные красоты никогда не убывали, поскольку их никто не покупал. Впрочем, Сидельникову не приходило в голову, что сокровище может быть куплено кем угодно, взято в руку, положено в карман. Впечатление усугубляли неземные запахи пудры «Кармен» и одеколona «Шипр».

После галантерейных изысков уличные воздух и свет оказывались пресными и блеклыми. Но это не означало разочарования. День стоял с открытым лицом, где каждая черта была твердым обещанием баснословного будущего, которое невозможно отменить.

Свидетельства являли себя сами: возглас тетки, забредшей из пригорода с тяжелыми бидонами («Кому молока-а?»); приветливость коротконогой встречной дворняги; легкая походка Розы; и уже на повороте к проспекту Ленина — фанерные афиши у кинотеатра «Мир» с «Королевой бензоколонки» и «Возвращением Вероники». Из этих незнакомых названий Сидельников умудрялся вычитывать гораздо больше, чем вообще может уместиться в любом, самом потрясающем фильме.

Все видимое навлекало на себя голод и жажду — кусты волчьей ягоды посреди газона, радуга на побегушках у поливальной машины или категоричная надпись на стекле магазина: «Если хочешь быть красивой, будь ею!» Спросил бы кто-нибудь в тот момент Сидельникова, чего ему не хочется, он не смог бы ответить. Потому что хотелось — *все*. Тем приятнее была мука молчаливой сдержанности, поощряемая их негласным уговором с Розой.

И не было ничего странного в том, что при заходе в ближайший гастроном Роза немедленно покупала Сидельникову стакан томатного сока за десять копеек, даже не спрашивая о его желании. Пока продавщица, повернув краник, нацеживала сок из высокого стеклянного кулька, Сидельников выуживал алюминиевую ложечку из банки с водой, чтобы поскрести окаменевшую соль в другой банке. Он долго брякал, размешивая соль в своем стакане, затем топил ложку в розовеющей воде и наконец набирал полный рот свежего травяного холода. Вкуснее всего оказывались так и не растворившиеся кристаллики на дне стакана.

Еще не успев стереть красные усы, Сидельников завладевал крохотным свертком с только что купленной для него докторской колбасой, которую съедал мгновенно.

Ну, съедал — и хватит об этом. Хотя придется упомянуть о той легендарной эпохе, когда вареная колбаса ценой два двадцать за килограмм станет предметом глубокой озабоченности для населения огромной страны. И Сидельников, к тому времени переехавший в другой, более крупный, город, научится охмурять надменных продавщиц и, подавляя приступы интеллигентской тошноты, выпрашивать одну-две колбасные палки (сверх положенного по талонам), чтобы потом с победительным видом везти в плацкартном талоне эти мерзлые колбасины на родной Южный Урал, где уже подзабыли вкус данного продукта, несмотря на ударную работу местного мясокомбината. Роза до этих грозных времен не доживет.

...Центральная площадь была такой же тихой и отрешенной, как и любая часть города. Возле газетного киоска плавилась толстуха в переднике, прилипшая к лотку с сахарной ватой. Несколько автоматов пожарного цвета ради трехкопеечной мзды были готовы на все: обрызгать до ушей того, кто запустит руку в их белое нутро, или нафыркать в граненый стакан колючей воды с сиропом, или даже гордо промолчать — нельзя же каждый раз фыркать.

Главным украшением площади служили руины будущего драмтеатра — летаргическая стройка, благодаря которой целое поколение горожан имело возможность справлять свои немногочисленные нужды не где-нибудь в кустиках, а за надежными стенами из красного кирпича. Эту площадь через несколько лет назовут Комсомольской, а в низенькую бетонную загородку неподалеку от руин, при огромном скоплении унылых школьников, замуруют Послание к потомкам с клятвой верности ленинской партии и прочими неотложными сообщениями.

К остановке, позванивая, подкатывала «четверка».

— Это наш трамвай? — озабоченно спрашивал Сидельников, начиная таким образом игру в приезжего, возможно, иностранца.

— Это наш, — успокаивала местная жительница Роза.

Сидельников на правах гостя усаживался возле окна, а Роза ехала стоя, как бы не замечая свободные места.

Вагоновожатая объявляла остановки регулярно, как свежие новости: «Стадион „Авангард“... Машзавод...»

— Это маш завод? — уточнял туповатый иностранец.

— Маш, — отвечала Роза, глядя на него сверху вниз почему-то с нежностью.

Гипсовые мешковатые фигуры труженика и труженицы у Дома культуры «Серп и молот» блистали чистым серебром и получали свою порцию внимания, такого пристального, будто были впервые увидены.

Надо сказать, что все трамвайные маршруты в этом городе заканчивались на железнодорожных вокзалах (их здесь было два). И не случайно все другие остановки, как, например, «Колхозный рынок» или «Река Урал», казались чем-то второстепенным, промежуточным на подступах к той идеальной конечной цели, которую олицетворяли собой вокзалы. Именно

они, провонявшие гарью и уборными с хлоркой, исполняли роль некой волшебной линзы со световым пучком непредсказуемых путей.

Река делила город на две части — новую, недостроенную, но уже готовую стать главной за счет скороспелых пятиэтажек, и так называемый Старый город, который стал бесспорно знаменитым благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, здесь отбывал ссылку, проще говоря, служил в армии народный и, видимо, за это наказанный царизмом поэт Тарас Шевченко. До нас дошли свидетельства того, как сильно он здесь мучился, беспрестанно терзал свои модные усы и вздыхал на родном украинском языке: «Нихто нэ заплаче... Нихто нэ заплаче!..» Вторая, если не первая, причина заслуженной славы Старого города — единственные в своем роде, то есть вообще ни с чем не сравнимые по вкусу и запаху старогородские жареные пирожки с требухой, настолько любимые горожанами, что они не считали для себя зазорным по выходным дням выстраиваться в километровую очередь, а в рабочее время, перед обедом, засылать гонца от всей бригады или цеха к заветной дымящейся тележке неподалеку от моста. Причем тамошний левобережный аромат был таким дальнобойным, что заставлял обитателей правого берега слглатывать слюну либо немедленно пересекать реку на трамвае по мосту и становиться в хвост никогда не убывающей очереди.

Сидельникова особенно впечатлял тот факт, что эта река была кем-то свыше раз и навсегда объявлена границей между Европой и Азией. Поэтому, еще не разувшись на горячем влажном песке, Сидельников первым делом с любопытством и даже некоторой тревогой вглядывался в противоположный берег, пытаясь высмотреть аборигенов: «Как же им там живется? Все-таки Азия!..»

Между тем река соперничала с небом в ослепительной яркости и быстроте. Она пронеслась мимо разморенного пляжа, ни в ком и ни в чем не нуждаясь.

Роза трогала воду осторожной смуглой ступней, а затем некоторое время шла вдоль мокрой полоски берега, на ходу не спеша убирая волосы под светлую выгоревшую косынку.

Была пора маленьких иссиня-черных стрекоз, прилетавших неизвестно откуда, чтобы молча поглазеть на людей и повисеть над водой. Они вдруг слетелись к Розе целой слюдяной стайей так радушно, будто увидели в ней родню. Роза почему-то принимала это как должное и даже не смахивала самых пылких, когда они садились ей прямо на грудь, отчего ее загар внезапно ослабевал и кожа казалась беззащитно бледной.

Сидельников тушевался, не попадал в такт ее шагам, сновал вокруг да около, перехватывая взгляды пляжников в сторону Розы и досадуя на стрекозиный цирк, который, наверно, и возбуждал внимание скучающих мужчин.

А тут еще возник Иннокентий собственной персоной, будто специально поджидал Розу, чтобы, как всегда, завести с ней разговор своим обиженно-обожаящим тоном. Сидельникова он при этом просто не замечал или смотрел сквозь него.

Купаться не хотелось. Оставалось вернуться независимой походкой к синему покрывалу, расстеленному Розой на песке, и лечь загорать. После недолгого разглядывания перистой высоты и произвольных попыток вообразить, что это не высота, а, наоборот, страшная бездонная глубина, Сидельников заметил боковым зрением две пары мокрых ног: волосатые, до щиколоток облепленные песком, словно горчичиками, и другие — безусловно чистые, посеребренные мелкими брызгами.

— Жаль, что ты сам себя не видишь со стороны, — посочувствовал прохладный голос Розы.

— Да я уже вообще забыл, как я выгляжу. Скоро забуду, как меня зовут, — отвечал Иннокентий вполне серьезно. — Я четвертый месяц по ночам не сплю, а днем счастливый хожу и глупый, как мальчишка.

— А ты и так мальчик.

— Роза, мне почти сорок лет, — признался Иннокентий, делая сложную фигуру правой ногой, чтобы стряхнуть песок с левой. Он, кажется, решался на смелый шаг и наконец решился: — Можно я когда-нибудь приду к тебе в гости?

Сидельников не сомневался, что Роза ответит: «Еще чего?», и даже пожалел Иннокентия, застывшего на одной ноге.

Но она вдруг сказала:

— У меня в среду день рождения. Приходи часам к шести. Только я не собираюсь праздновать, и не надо ничего дарить. Тебе адрес...

— Я знаю!.. — хрипло воскликнул Иннокентий и закашлялся. Затем он выдержал неловкую паузу, за время которой положение на облачном фронте полностью сменилось, и, видимо, уже не зная, что сказать, заботливо предложил:

— Давай я сниму с тебя стрекозу?

— Еще чего! — ответила Роза.

Вечером того же дня, воспользовавшись отлучкой Розы, Сидельников достал из выдвижного ящика этажерки чернильницу, школьное перо на деревянной ручке и пачку открыток, среди которых отыскалась одна чистая, неподписанная. На ее лицевой стороне был изображен чей-то мощный кулак, сжимающий связку цветов, а внизу туманное пояснение: «Мир. Труд. Май».

Он примостился на краю стола, поковырял пером чернильницу и на оборотной стороне открытки старательно вывел первое слово:

Баба!

Немного подумав, он так же старательно зачеркнул это слово и слева сверху написал:

Дорогая!

«Дорогая» вышла как-то косо, зато последующие строки двигались уже стройнее:

Поздравляю тебя с днем рождения.
Желаю тебе ничем не болеть, быть
веселой и дожить до...

Тут Сидельников задумался. Ему не нравилось написанное, но зачеркивать больше не хотелось. Подсохшее перо стало похоже на спинку золотого жука.

Так. «Дожить до...» Он вдруг ощутил себя носителем бесконечной щедрости и, на секунду задумавшись, вписал в поздравление почти фантастическую дату:

...до 1975 года!

Переполненный добрыми чувствами, Сидельников обвел пожирнее завершающий восклицательный знак, помахал открыткой по воздуху и понес ее через коридор к почтовому ящику, висящему на входной двери.

Дело было сделано. Вернувшись в комнату, он сразу подошел к окну: Роза, живая, веселая, ничем не больная, стояла посреди двора и беседовала с чокнутой рыжей Лидой. Слов не было слышно. Лида в тот момент могла показаться важной дамой, если бы не чесала то левой, то правой рукой живот.

Истекал август неповторимого одна тысяча девятьсот шестьдесят четвертого. Месяц назад Сидельникову пошел седьмой год. Розе через два дня исполнится пятьдесят. Жить ей останется ровно одиннадцать лет.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Враг наступал непрерывно — то пешим, то конным строем, и только благодаря своему огромному мужеству Сидельников отбивал одну атаку за другой. Он лежал на животе в окопе уже целых полчаса. Плечи и ноги затекли, но он продолжал отстреливаться.

Приближался новый отряд. Это, конечно, снова были татары. Для устрешения Сидельникова они наголо выбрили себе головы, размахивали плетками и кричали «ура!» по-татарски. Им нужно было только одно — взять в плен Марию, чтобы насильно усадить ее на коня и отвезти в гарем хану Гирею. Там, в гареме, хан сможет всячески разглядывать и даже трогать ее красоту — опять же насильно. Так бы оно все и произошло. Если бы не Сидельников.

Мария лежала рядом с ним, потеряв сознание от страха. Она была совершенно беспомощной и такой маленькой, что умещалась на краю кушетки, то есть окопа, между дерматиновым валиком и локтем своего спасителя. В самый разгар боя, охрипнув от громких автоматных очередей, он успевал иногда приласкать Марию, нависая могучим телом над ее беззащитным тельцем. При этом Сидельников сам вдруг становился немного ханом Гиреем, похожим на черного орла. И хотя Мария лежала в полном беспомоществе да и вообще была невидимой, он-то, Сидельников, в эти минуты был очень даже видимым и потому слегка опасался, что девушка заметит странную раздвоенность в его поведении и совсем уж неуместное, стыдное напряжение под заштопанными тесными шортами.

Несколько дней назад сидельниковские родители, вечно занятые если не работой, то выяснением тяжелых отношений друг с другом на почве несходства характеров, внезапно ненадолго помирились, вспомнили про своего Гошу-полудурка и даже удосужились на один вечер забрать его от бабы Розы, тоже, впрочем, полудурковатой, чтобы взять с собой в Дом культуры машиностроителей на «Бахчисарайский фонтан» — постановку заезжей балетной труппы. Такие выходы случались раз в несколько лет, а для Сидельникова — и вовсе впервые. Так что было от чего волноваться, наступать взрослым на туфли и задавать глупые вопросы. Его резко одергивали, но он и сам чувствовал: вся эта праздничность, черное в белый горох платье мамы, ее улыбчивая нервозность, остро-приторные волны «Красной Москвы», накрахмаленные манжеты и редкое благодушие отца — подарки роскошные, но никак не заслуженные и уж конечно — не насовсем.

Оказалось, что оркестр может играть не только на похоронах, причем играть гораздо лучше и страшнее. Хотя ничего более страшного, чем похоронный оркестр, Сидельников в то время и представить себе не мог. Но тут выяснилось, что музыка отвечает не только за смерть. Она участвует во всем, как погода. Она же заставила Сидельникова мучительно позавидовать всем и влюбиться буквально во всех и каждого: в жениха Марии, зарубленного саблей, и в хана Гирея, и даже в самую неказистую среди ханских рабынь, одетых в прозрачные штаны из капрона. Не говоря уже о девушке Марии...

Потрясение было настолько сильным, что Сидельников с трудом дождался утра, когда его, молчащего, молча отвели в детский сад и он наконец дорвался до слушателя — всегда полусонного Владика Баранова, который ничего, ну совсем ничего еще не знал. Рассказ начался возле одежных шкафчиков, был продолжен за завтраком с перловой кашей во рту и прерван приходом миловидной нянечки Гали Шариповны, начавшей убирать посуду и вытирать со столов. Ее появление всегда предвещало удушающим запахом хлорки — это пахла тряпка, которую Галя Шариповна вообще не выпускала из рук.

Во время гулянья вокруг облупленной беседки очевидец и едва ли не участник бахчисарайских событий принялся описывать их заново. Нельзя было упустить ни единой подробности. Он рассказывал музыку, издавая нечеловечески сложные звуки, и на ходу торопливо пояснял: «Потом стали танцевать... Танцуют... Опять танцуют...» Владик Баранов открывал глаза шире обычного и часто-часто моргал.

Все самое интересное было еще впереди, но после обеда их разлучили на тихий час — ежедневное мучение, когда приходилось вылеживать под простыней, избегая время просто так и завидуя даже мухе, которая хоть сейчас может лететь куда угодно, не отпрашиваясь.

Зато после полдника они снова сошлись возле одежных шкафчиков. Детей только начинали забирать, и почти никто не мешал. Надвигалась решающая битва. И вот прямо в бальный зал на полном скаку влетели татары! От грохота схватки и от собственного голоса Сидельников просто оглох. Он не струсил, он только на один миг закрыл глаза, а когда раскрыл их, то увидел изуродованное яростью лицо Гали Шариповны. Заглушая оркестр, она выкрикнула: «Я тебе покажу „татары“! Засранец!» После удара мокрой тряпкой по лицу он уже больше ничего не видел и ни с кем не сражался. Он стоял скрючившись, вжимая голову в плечи и прятал в ладонях вонючее от хлорки лицо.

Вокруг была пустыня. За ее пределами кто-то еще мог ходить, разговаривать, отвечать на вопросы пришедших родителей. Но это звуковое месиво резко застыло, когда в него вошел еще более холодный, чем обычно, почти замороженный голос, который мог принадлежать только Розе: «Если ты... гадина... хоть раз еще... его тронешь... я тебя... посажу».

Она тащила его за руку через детсадовский двор, но возле калитки он вдруг остановился и начал рваться назад. Он все понял. Нянечка не видела спектакля, она не знает, что там случилось. Ей надо все рассказать! Она подумала, что он плохо говорил про нерусских. Ей обидно! А Роза, злая, сказала «гадина»! А ей же обидно, она не знает. А он...

И тут его вырвало полдником прямо на ноги, на сандалии. И шорты запачкались тоже. Роза стала вытирать ему лицо, но он отбивался, кашлял и наконец заплакал. Потому что ничего, ничего никому нельзя объяснить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Поразительно мало дней, прожитых рядом с Розой, Сидельников запомнил так же подробно, как этот, когда интимная подоплека жизни выказала себя с непрощеной откровенностью.

Интимное от официального он научился отличать очень рано, когда еще не знал этих слов. Мир был отчетливо разделен на две части: разрешенную и скрытую, незаконную, о которой нельзя никому говорить. Иногда эти сферы начинали грозно сближаться и даже соприкасались, что вызывало у него растерянность или странный восторг. Случались и ошибки, вносявшие полную неразбериху в его и без того натруженную голову, стриженную под чубчик.

Например, он точно знал, что интимное слово «kozy» означает козюльки в носу и ничего иного не означает. И если Роза негромко предлагает: «Пойди-ка выгони коз», значит, пора хорошенько высморкаться, потому что из-за насморка уже дышать нечем, а платок опять куда-то заделался.

Вместе с тем принесенный Розой букварь, по которому она научила его читать, имел явно официальное происхождение, судя по снотворным картинкам с казенной мамой, которая мыла раму, и неизменными башнями Кремля. Поэтому не поддается описанию изумление, вызванное у Сидельникова первым в его жизни прочитанным словом. Это было слово «kozy». Он прочел его по слогам дважды, потом поднял глаза на сидящую рядом Розу и смущенно спросил: «Откуда *они* там узнали?»

Но это было давно, задолго до того, как Сидельников начал читать взаглб все подряд. И у них с Розой даже появилась такая игра, когда Роза ближе к вечеру как бы между прочим говорила: «Что-то нам Никита Сергеевич давненько ничего не докладывал...» И Сидельников тут же вскакивал, выволакивал на свободное пространство стул, устанавливал его так,

чтобы спинка была повернута к зрительнице, а на сиденье раскладывал газету, взятую с подоконника, ставил рядом стакан с водой и тяжелым, медленным голосом, заимствованным у радиодикторов, объявлял заголовок передовицы: «Речь товарища Нэ Сэ Хрущева!» Чуть не опрокинув стакан на пол, он снова срывался с места, чтобы отыскать на этажерке чьи-то древние очки без стекол и дужек, зато на резинке, которая здорово оттопыривала уши. Вот в таком виде, в круглых очках и с торчащими ушами, теперь можно было не торопясь пройти к трибуне и начать доклад.

— Дорогие товарищи!

Роза с первого ряда смотрела строго и уважительно.

— Сейчас наша партия осуществляет большую программу по производству удобрений, развивается орошение, поднимается уровень механизации.

— Правда, что ли? Кто бы мог подумать! — Роза не скрывала восторга. Правда, временами ее лицо становилось отрешенным и немного растерянным.

— ...Можно быть уверенным, что труженики сельского хозяйства обеспечат тот уровень... — Кое-где докладчик спотыкался, теряя нужную строку. — Тот уровень... Ага, тот уровень производства продукции, который намечен Программой Коммунистической партии Советского Союза.

Теперь следовало чинно отхлебнуть из стакана, как делали все лекторы, выступавшие на дворовой агитплощадке перед началом бесплатного кино.

— Может, тебе чаю налить?

— Не мешай... Занятые великим созидательным трудом по строительству коммунистического общества, мы вместе с тем ни на минуту не забываем о необходимости борьбы за предот... — (пауза с мимолетным ковырянием в носу) — за предотвращение мировой термоядерной войны. И здесь наша партия следует по пути, указанному Вэ И Лениным.

— Надо же, это просто праздник какой-то... А блинчик хочешь?

Доклад длился очень долго, минут десять. После чего притомленный Сидельников охладевал к этой затее, довольный произведенным эффектом. Эффект состоял прежде всего в том, что у него теперь появилась безотказная золотая отмычка, подходившая к чему угодно — и к интимным первопечатным козам, и к мировой термоядерной войне.

Эта проникающая способность была по достоинству оценена даже таким авторитетом, как Лиза Дворянкина, которая однажды зазвала к сараям штук шесть местных хулиганов, привела туда Сидельникова и попросила прочитать вслух три буквы, написанные мелом на сложенных штабелем досках. Он сделал это с непринужденной скромностью, досадуя на минимальность поставленной задачи и невразумительность надписи, немного подождал, не будет ли еще каких-то просьб, и с достоинством удалился, ничуть не польщенный весельем собравшихся. На обратном пути неутоленный читательский голод заставил его в сотый раз машинально прочесть на желтой штукатурке дома слово, означающее полный конец всему.

А в тот день, о котором идет речь, та же Лиза, вынув изо рта палец с недогрызенным ногтем, посулила выдать Сидельникову страшную тайну при том условии, что он гадом будет — никому ничего не скажет. Ему пришлось дважды поклясться, но она все таскала его за собой из коридора на кухню, потом во двор, за сарай и злобно напоминала: «Смотри, гадом будешь!..» Поколебавшись, он вынужден был неохотно пообещать, что ладно, будет. И тогда она поведала ему, радостно смакуя каждое слово, что некоторые люди! женщины и мужчины! ложатся спать! голыми!

— Ну и что? — спросил Сидельников. — Я тоже... это знаю. А ты, что ли, в платье спишь?

Лиза, почти оскорбленная, поинтересовалась, не дурак ли он. Сидельников все больше напоминал ей сестру-двойняшку Олю, такую же тупую, к тому же отъявленную мордовку.

— Ты чё, дурак? Они же с друг дружкой спят!

— А-а, — вежливо уступил Сидельников. На самом деле он был все так же разочарован и торопился в комнату Розы, к недочитанному Майну Риду.

Теперь Лиза догоняла его, пытаясь закрепить свой сомнительный успех, тараторила что-то про лифчики, но он не слушал, да еще начинался дождь. Но одна фраза вдруг настигла его, как отравленная стрела. Он даже споткнулся у крыльца и больно ушиб колено. «Знаешь, как им стыдно!» — сказала Лиза Дворянкина, и от этих слов ударило сквозняком непридуманной тайны. На заурядную необходимость спать по ночам надвинулась тень особой непонятной процедуры, в которой вынуждены участвовать, преодолевая стыд, *некоторые* люди, женщины и мужчины.

В комнате было тихо и как-то печально. Роза поила чаем Иннокентия. Он за последнее время стал довольно частым гостем, но все так же дико смущался, каждый раз вынимая из портфеля съедобные приношения в виде творожных сырков или пряча под стул ноги в безобразных носках. Вполголоса шел разговор о какой-то Надежде Константиновне.

Сидельников пристроился у подоконника спиной к ним и раскрыл пухлый оранжевый том на заложенной странице.

«Робладо отдавал предпочтение красоткам Гаваны и распространялся о той пышной и грубой красоте, какую отличаются кварталонки».

— Ты действительно была с ней знакома? — допытывался Иннокентий.

— Ну, была, — холодно согласилась Роза.

«Гарсия сообщил о своем пристрастии к маленьким ножкам жительниц Гвадалахары...»

— Почему же ты ничего не рассказываешь? Тебе что-нибудь запомнилось? Какая она была?

Сидельников сразу вообразил неведомую Надежду Константиновну пышной и грубой красоткой, но с маленькими ножками.

— Она была большая и старая. Еле двигалась.

— А как человек, как личность?

— Хочешь знать мое мнение? Она была редкостная дура.

Дождь уже хлестал по стеклу наотмашь. Иннокентий умолк, видимо пораженный словами Розы.

Сидельников представил себе, как Лиза Дворянкина, уже немолодая, опытная дама, предается воспоминаниям и на вопросы своего лысоватого поклонника: «Ты была знакома с Сидельниковым? Каким он был?» — уверенно отвечает: «Редкостный дурак».

— Нам разрешили за ней ухаживать. — Роза как будто оправдывалась. — Мне было двадцать с чем-то, студентка Баумановского. Я тогда вообще ничего не понимала. Впрочем, поняла очень скоро... К этим людям на версту нельзя приближаться.

— Но ведь она была женой...

— Вдовой. Тем хуже для нее.

— Я не о том, — горячился Иннокентий, тем не менее понижая голос. — Никогда не поверю, что Владимир Ильич мог бы такую... как ты ее называешь...

Сидельников замер, поняв, о ком они говорят.

— Слушай, — сказала Роза очень жестко, — ты про своего Владимира Ильича иди толкуй кому-нибудь другому. Понял?

После этих слов молчание было таким долгим, что Сидельникову захотелось оглянуться, но он сдержался.

— Я полжизни в своей стране не живу, а прячусь. Когда перед войной Мишу забрали, я стала по кабинетам бегать, письма писать. А меня подруга, она женой чекиста была, однажды затащила в уборную, дверь заперла и шепчет еле слышно, что за мной придут на днях, что я уже в списках и

надо уезжать немедленно куда угодно, подальше от Москвы. И я еще успела ее мужу в глаза посмотреть, хоть он их и прятал. А назавтра соседям наплела что-то и с Федей на руках — на вокзал, в общий вагон. Остальное совсем не интересно. И вспоминать не хочу.

— Мне про тебя все интересно.

— ...Когда Мишу уводили, он со мной попрощался так, как будто на неделю в командировку уезжает. Мы ведь с ним тогда уже разошлись. Это я так решила. Но он каждый день приходил ко мне и к Феде. Знаешь, что он мне на прощанье сказал? Самые последние его слова: ты, говорит, Роза, не ходи все время в резиновых сапогах, а то ноги болеть будут... А у меня и обуви-то другой не было, кроме этих сапог.

Дождь затихал, словно выплакавшийся ребенок, на которого никто не обратил внимания. Зато за стеной, у соседей, после отчетливых шлепков по голому телу зазвучали свирепые рыдания Лизы.

— Он, наверно, был высокий, яркий? — спросил Иннокентий каким-то не своим голосом.

Роза ответила, что нет, среднего роста, обычный, скорее даже невзрачный. Да она уже и плохо помнит лицо. Фотографий ни одной не осталось. Глаза только помнит — цвета винограда. Она так и сказала: «перезрелый виноград». И вдруг добавила: «Вон как у него, такие же».

Сидельников невольно обернулся и встретил ее взгляд. Она смотрела прямо на него, и то, что она сказала пару секунд спустя, почему-то было адресовано именно ему, Сидельникову. Это были тихие и твердые слова о том, что ее единственный мужчина жив и она это знает точно, хотя не получала никаких писем и уже никогда не получит.

— Но я его слышу каждый день, каждый день, — повторила Роза. — И если бы он умер, я бы услышала.

Она взяла остывший чайник и направилась к двери, но тут в дверном проеме возник сильно пьяный Василий Дворянник со своим обычным приветствием, которое звучало так: «Привет, работники труда!» К Розе он относился с почтением, поэтому каждое обращение к ней начинал словами: «Я, конечно, извиняюсь...» Но при виде Иннокентия Василий всегда делал лицо человека, страдающего от изжоги, и с вызовом выстреливал только одну короткую фразу, всегда одну и ту же: «Дай закурить!» — на что Иннокентий каждый раз добросовестно оповещал: «Извините, не курю». Это, конечно, не могло не раздражать. Сидельникову было неловко за Иннокентия, он даже удивлялся терпимости Василия, носящего титул «Гедрант пожарный». (Здесь надо пояснить, что Сидельников имел привычку присваивать окружающим людям новые имена из разряда абсолютно непонятных, но выразительных терминов, вычитанных где ни попадя. «Гедрант пожарный!» — было объявлено масляными красными буквами на стене возле детского туалета. Это название могло относиться только к Василию и больше ни к кому. Другая непонятная надпись: «Черный слив», замеченная на рыночном прилавке у восточного торговца сухофруктами, скоро стала вторым именем нянечки Гали Шариповны, темно-волосой и большеглазой.)

Симпатии Сидельникова к Василию имели весомое основание. Был случай, когда Гедрант на глазах у всего двора собственноручно зарубил на смерть свинью, привезенную в люльке мотоцикла. Он опалил ее чем-то вроде газосварки. Потом полдня рубил мясо и жарил его на общей кухне. Запах, переполнявший квартиру, доводил пятилетнего Сидельникова до умопомрачения. Роза пыталась отвлечь его и даже пристыдить, но он продолжал слоняться по пустому коридору, как некормленный щенок, в то время как за кухонной дверью празднично гудела дворянkinская родня. Это длилось до тех пор, пока из кухни вдруг не вывалился огнедышащий Василий с огромной мясной костью в руке. Он нес ее впереди себя, как лохматый цветок, и направлялся в комнату Розы, но, наткнувшись посре-

ди коридора на слегка одуревшего Сидельникова, вручил этот сувенир ему со словами: «Пять минут — полет нормальный!» Дальнейшее можно не описывать. Бесконечно счастливый Сидельников, уже доведя мосол до полированного состояния, не пожелал с ним расстаться даже на ночь и уложил с собой в постель, но еще до наступления утра бесценный дар сгинул в помойном ведре.

...Услышав очередное сообщение Иннокентия на тему «Извините, не курю», Василий наконец не смог сдержатъ праведную злость и поставил новые вопросы: «А чего ж это ты, бля, все не куришь и не куришь? Больной, что ли? Или ты вообще не мужик?» Иннокентий не успел ничего ответить, потому что вмешалась Роза, которая, не выпуская чайника из рук, наговорила Василию неприятных слов в том смысле, что «сам ты не мужик!» и «выметайся отсюда поскорее...».

(Эту незначительную стычку Сидельников, возможно, просто не запомнил бы, если она не связалась накрепко в памяти с тем, что случится два месяца спустя, когда на исходе серого зимнего дня Татьяна Дворянкина с вытаращенными белыми глазами, шатаясь, войдет в комнату Розы и достанет из рукава мятую бумажку. Роза будет долго молчать, вглядываясь в беспощадные каракули, а затем полупшепотом произнесет нечто немислимое: «Асфиксия в результате попадания рвотных масс в дыхательные пути». Гедрант умрет в одну минуту на своем рабочем месте — в кабине грузовика.)

Закрыв за Василием дверь, Роза подошла к Иннокентию, совсем понурому, и осторожно спросила:

— Ну что ты? Что ты так пригорюнился? Пойдем я тебя провожу?..

А он, посмотрев на нее снизу вверх сумасшедшими несчастными глазами, решил пожаловаться:

— Роза, так мало нежности... Почему ее так мало?

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда Сидельников остался один в комнате, он вскочил и заметался. Освоить или как-то приручить все, что он сегодня услышал, казалось невозможным, но со всем этим надо было что-то делать. Прежде всего он подбежал к зеркалу и стал рассматривать собственные глаза с таким интересом, будто они только что у него появились. Ничего особо виноградного не наблюдалось. Но цвет был, бесспорно, темно-зеленый.

Уже смеркалось. Скоро стало казаться, что с той стороны зеркала молча глядит кто-то незнакомый. Лицо его темнело на фоне голубовато-белых стен, таких же голых, как и с этой стороны. Он не просто молчал, он как бы упорно вымалчивал окончательную правду о том, что было едва приоткрыто в словах Розы и о чем Сидельников никогда не решится спросить, а потом и спрашивать будет не у кого.

Осененный какой-то дикарской хитростью, Сидельников попытался применить маневр, а именно: он начал еле заметно сдвигать лицо влево, к самому краю зеркала, надеясь обнаружить зазор, хоть самую малую щель между этой и той сторонами. Он до последней секунды удерживал неморгающий, напряженный взгляд незнакомца, который пока еще выглядывал из-за багетной рамы, готовясь к вторжению... Ответами на каждую такую попытку были прохладные сухие пощечины стенной побелки.

Из открытой форточки тянуло мокрыми запахами земли и старых листьев, доносились жестяные щелчки отдельных запоздалых капель. Сидельников залез на табуретку, а с нее на подоконник и высунул голову наружу. У него не проходило ощущения чье-то наблюдающего присутствия.

Воздух был таким вкусным, что его хотелось есть кусками, но оставалась неясная необходимость оглядки... Возможно, этим раздвоением и было подсказано слово «свежесть», недомашнее, чужое, которое Сидель-

ников произнес вполголоса дважды, будто попробовал на вкус языком и губами светлую жесть водостока. На слово «свежесть» внятно откликалось другое, недавно прозвучавшее в комнате и словно бы желающее найти себе пару. Слезая на пол, он чуть не свалился с подоконника под грузом воспоминательных усилий. Но стоило ему снова сесть на табуретку, повернуться лицом к столу — и звук повторился сам: «Нежности, — сказал Иннокентий, — очень мало нежности».

Стихотворение явилось легко и внезапно, как если бы оно существовало всегда и только поджидало удобного момента, чтобы потрясти самого сочинителя. Потрясение и впрямь было нешуточным. Сидельников носился по комнате как угорелый, повторяя свое произведение на все лады, с многозначительными интонациями. Вот его полный текст:

Возле форточки пахнет свежестью.
В сорок лет мало нежности.

Ничего более впечатляющего он просто никогда не слышал. Не считая разве что «Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят». Правда, была еще одна песня с непонятным, но изумительным словом «карелиесница». Ее тоже часто передавали по радио. Нездешний женский голос выпевал: «До-олго будет карелиесница...», и было понятно, что имеется в виду такая алмазная колесница, которая, к счастью, долго будет.

Ликующий автор вскоре овладел своими чувствами и решил, что на достигнутом останавливаться нельзя. Нужен был серьезный подход. Поэтому в этажерке была тут же изыскана двенадцатистовая ученическая тетрадь с таблицей умножения на спине. Он написал красивыми печатными буквами на лицевой стороне обложки:

Полное собрание сочинений
Г. Ф. СИДЕЛЬНИКОВА

И чуть ниже:

Том 1.

Единица получилась жирной и торжественной.

Зная о том, что все настоящие книги начинаются если не с предисловия, то с кратких сведений об авторе, Сидельников был вынужден подчиниться этому скучному правилу.

Сведенья об авторе потребовали тяжелых раздумий. Здесь полагалось высоко оценивать и вообще хвалить. Но жизнь предстояла, несомненно, славная, поэтому он сумел найти достойные слова:

«Г. Ф. Сидельников известный советский поэт. И писатель. Он родился (зачеркнуто). Всю свою жизнь (зачеркнуто). Он сочинил очень много известных стихов. Еще он сочинил...»

Надо было срочно решить, что еще он будет сочинять, кроме стихов. Давать себе послабления в виде всяких там коротких рассказов Сидельников не собирался, поэтому без колебаний выбрал крупную форму:

«Еще он сочинил много интересных романов...»

Оставалось придумать названия хотя бы нескольких — и сведенья об авторе, считай, готовы. Но с названиями романов вышла заминка.

К этому времени вернулась Роза, включила свет и села за стол напротив него, разложив какие-то свои бумаги и книги. Немного погодя она спросила: «Что пишешь?», не переставая листать потрепанный немецко-русский словарь, а когда узнала, что идет работа над полным собранием сочинений, с минуту помолчала и задала только один вопрос: «Дашь почитать?»

Это был конец дня, одного из тех по пальцам считанных дней, которые сидельниковской памяти впоследствии удалось выудить из целого океана времени, проведенного рядом с еще живой Розой. Добыча, прямо скажем, скудная. Так случилось благодаря, а может, и вопреки дурацкой возрастной привычке забегать и заглядывать вперед, в послезавтра, пре-

небрегая чистой длительностью текущего дня, которому отводится жалкая выморочная роль подготовительного периода. В такие дни с нетерпением готовятся жить, потом оказывается, что — жили.

Что же касается писательской карьеры Г. Ф. Сидельникова, то здесь уместно рассказать еще один, более поздний, случай, который сам Г. Ф. предпочитал не вспоминать.

Дело в том, что однажды уже тринадцатилетний Сидельников удосужился-таки написать роман. Это фантастическое (по жанру) произведение объемом в две трети общей тетради создавалось без отрыва от места учебы в седьмом классе средней школы, то есть непосредственно на уроках. В романе решалась жгучая проблема борьбы советских космонавтов с космическими пиратами в условиях взрыва сверхновой звезды. Называлось не иначе как «Затерянные во Вселенной». Когда была закончена первая глава, Сидельников с тетрадью под мышкой поехал на трамвае в Старый город, где располагалась редакция единственной городской газеты «Южно-Уральский рабочий». Сотрудник редакции по фамилии Деверьянов производил впечатление изнемогающего одновременно от безделья и от тяжелых забот. Он проглотил содержимое тетради сразу в присутствии автора, затем снял очки и возмущенно спросил: «А дальше?» Сидельников, тронутый такой читательской ненасытностью, поспешил успокоить: вы, мол, не волнуйтесь, печатайте и внизу ставьте «Продолжение следует», а я-то знаю, что там будет дальше, и все напишу. «Ну уж нет, — сказал Деверьянов набывчившись. — Нет уж». Работа, конечно, проделана большая, но так дело не пойдет. Пусть Сидельников сначала все напишет, а там будет видно.

Видно стало недели через три, когда Деверьянов был поставлен перед фактом готовой рукописи, но он запросил неделю на обдумывание, а когда она истекла, выдвинул неожиданное условие: в романе есть молодые люди (он начал загибать пальцы), есть женщина и девушка, но совсем нет юмора и нет любви. «Надо бы это вставить», — ласково и твердо добавил Деверьянов и тем самым создал для автора непредвиденную трудность. С юмором и любовью как раз никаких трудностей не было. И то и другое легко досочинялось уже в трамвае на обратном пути... Но Деверьянов сказал: вставить. А вот технологией вставки, увы, Сидельников пока не овладел. Писательский труд оказался кропотливым и грязным. Приходилось до глубокой ночи фигурно вырезать ножницами мелко исписанные кусочки бумаги и вклеивать их в нужные места. Не считая того, что он дважды опрокинул на себя баночку с канцелярским клеем.

Прошло не меньше четырех месяцев до того момента, когда в хозяйственной сумке у Розы, встречавшей его после уроков, он обнаружил, кроме свертка со своими излюбленными беляшами, десять одинаковых экземпляров газеты, в которую даже не захотел заглянуть. «Тебя напечатали», — сказала Роза и раскрыла сумку.

В тот день, выходя из школы, Сидельников едва ли не впервые увидел Розу со стороны. Она стояла неподалеку от выкрашенного золотом ленинского бюста, стояла, как продрогший часовой, в старом коричневом пальто, продуваемом насквозь, таком же коричневом старушечьем платке, в суконных ботах на молнии и со своей единственной на все времена черносизой кошелкой, где лежали купленные для Сидельникова еще теплые беляши и десять серых газеток.

Кому она их столько купила, зачем? Это нельзя было ни дарить, ни показывать, ни даже читать. Нет, он, конечно, развернул, когда остался наедине со своим позором, и даже попытался сыграть перед самим собой роль заядлого читателя газет. Та-ак, па-смотрим, что сегодня интересного пишут... Заголовки интриговали и манили: «Креплет союз серпа и молота», «Планы намечены. Выполним их!», «Эстафета в надежных руках», «Воспитатель и наставник Ю. Хезов». Ага, вот: «Затерянные во Вселен-

ной!» Ну-ка что там? «Шел последний час ночи...» И тут Сидельникову показалось, что у него отнимаются руки и ноги. Все, кроме этой первой фразы, было написано кем-то другим. Безымянный автор, гораздо более опытный, смог придумать такие изысканные выражения, которые неискушенному Сидельникову просто не приходили в голову: «звездная даль», «неведомые просторы» и «нерушимая дружба экипажа».

В течение трех последующих дней мать молодого писателя-фантаста принимала по телефону поздравления от подруг и знакомых. В ее голосе бурлило непривычное кокетство. (Отца не было — он уже год как уехал от них.) Все это, слава Богу, скоро закончилось, испарилось почти бесследно. А в остатке, с которым ничего не поделаешь, была Роза, стоящая на ветру в школьном дворе с ненужным подарком наготове. Не то чтобы Сидельников стеснялся ее присутствия, а все же еле заметно тяготился. К тому же из дверей школы вот-вот могли выйти его враги и мучители, которым нельзя было давать повод для насмешки. Роза что-то поняла, заторопилась, и они пошли, но не рядом друг с другом. Она немного опережала, а он плелся позади, на ходу сглатывая свой беляш и стараясь не трогать глазами ее вытертое на спине коричневое пальто.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Она умерла внезапно, никого не обременив ни своей болезнью — обвальным, скоротечным раком, ни самой смертью. Все были заняты собственными жизнями. Отец Сидельникова, уехавший на восток в поисках фортуны, изредка присылал письма, где добросовестно описывал сибирскую погоду. Мать вела непрерывные войны со своей начальницей — завучем вечерней школы. Придя с работы, она сразу кидалась к телефону: «Вы глубоко ошибаетесь, Наталья Андреевна!..» И чуть позже, опять в трубку: «Можешь мне не верить, но я ей прямо так и сказала: вы глубоко ошибаетесь!» Сам Сидельников только-только начал приходить в сознание от первой любви, разумеется, самой большой и несчастной, точнее говоря, огромной и счастливой.

Начало его разлуки с Розой совпало с началом той необозримо долгой каторги, которая скрывалась под невинной вывеской «средняя школа». Во-первых, у него появился горб в виде тяжеленного ранца с корявыми углами и рубцами, который мешал выпрямлять спину и заставлял ходить полусогнутым, подаваясь вперед, как бы в постоянном поклоне перед любым встречным. И очень скоро Сидельников походкой стал напоминать самого маленького из репинских бурлаков на Волге. Этим бесчувственным наростом на спине он все время задевал окружающих — например, в трамвае или в тесном школьном коридоре, — и они с понятным раздражением пихались в ответ. Так что Сидельников даже привык чувствовать на себе чье-нибудь раздражение.

Но ладно бы все ограничивалось одним только ранцем. В школе, хотя бы и «средней», следовало получать кое-какие знания. Первые извлеченные из школы знания оказались для Сидельникова мучительны. Так, он узнал, что самые разные люди, ребята и девочки, симпатичные каждый в отдельности, собравшись в кучу, резко меняются, становятся какими-то одинаковыми и уж точно — хуже самих себя. При этом, что бы они ни делали, они всегда оглядываются по сторонам, ища глазами и ушами того, кого они выбрали над собой главным, кого побаиваются, кому хотят нравиться и подражать. Сидельников и сам два раза застиг себя хихикающим над зайкой Семеновым, когда его передразнивал: — «ке-ке-ке» — самый сильный человек в классе Вова Бартаев. Впрочем, Вова любил не только передразнивать, но и бить по зубам. Эти случаи Сидельников помнил, наверно, дольше, чем битый зайка Семенов.

Стать главным он никогда не стремился — для этого надо было навязывать другим себя, свою прихоть и непременно кого-то принижать. Сидельникову пришлось прилагать отчаянные усилия, чтобы не остаться в числе хихикающих или унижаемых. Но других ролей просто не было. Поэтому еще одно школьное знание заключалось в том, что теперь он — один и ему никто не поможет. Это во-вторых.

А в-третьих, чтобы отстоять свой сомнительный нейтралитет, он вынужден был регулярно драться. Драки обычно сводились к тому, что нерешительный Сидельников, получив вызывающий удар по лицу, внезапно впадал в бешенство и начинал беспорядочно, вслепую колотить врага (как правило, это был подручный вождя) до тех пор, пока тот не сдавался. Такой результат состязания производил самое благоприятное впечатление на одноклассников, но Сидельников ни разу не воспользовался плодами победы. Забыв свой пресловутый ранец или шапку, он уходил домой тайно плакать в подушку, давась, проглатывал солоновато-грязный вкус драки, лежал в беспамятстве несколько часов, а затем, очухавшись, твердо заявлял матери, что завтра он в школу не пойдет и не пойдет никогда. Мать, не добившись никаких объяснений, наконец переводила его в другую школу, где он пытался начать жить набело. Однако в новом классе заправлял точно такой же Вова Бартаев, и через некоторое время вся история повторилась. В общей сложности до получения аттестата зрелости со всеми пятерками в меру созревший Сидельников успел сменить четыре школы.

Будучи старшеклассником, он появлялся у Розы по субботам, в ночь на воскресенье, и хотел только одного — отмолчаться и выспаться. В отличие от матери, Роза не ставила подкожных вопросов — он сам что-нибудь рассказывал, если появлялось желание. Здесь по-прежнему Сидельникову было хорошо и спокойно, но его уже выдернули из этой жизни, и она перестала быть решающей.

К моменту знакомства с Лорой он находился в тяжелом затяжном конфликте с матерью, причину которого, хоть убей, не мог вспомнить. О наличии конфликта напоминали громкие обращения к «сопляку» и «мерзавцу» — в тех случаях, когда мать была в плохом настроении. В веселом расположении духа она говорила: «Ты прямо как порядочный!»

В казенный дом, занимаемый городскими властями, Сидельников пришел по поручению матери — взять у ее знакомой обещанные журналы мод. В учреждении стоял треск пишущих машинок, пахло духами, новым паркетом и почему-то сливами. Обладательница журналов полдничала наспех за приоткрытой дверью с надписью «Отдел культуры». Кусочек кекса, упрятанный за щеку, помешал спросить строго и внятно: «Вы к кому?» Получилось: «Выка-ву?» Но и от неловкого ответа: «Наверно, к вам» — осталось только хрипловатое «ква». Что он успел увидеть? Почти ничего, кроме девчоночьих длинных ног, выглядывающих из-под стола, полусъеденной заодно с кексом розовой помады на губах и близоруких, неожиданно старых глаз. Ее звали Лора. Целую неделю после этого знакомства он будет казнить себя за то, что быстро ушел, отказавшись от предложенного чая. Он будет то и дело прикусывать себе язык, чтобы удержаться от вопроса: не пора ли отнести журналы назад? Причем сами эти залистанные журналы он украдкой поднесет к лицу, пытаясь оживить сложный букет запахов: свежего паркета, сливы и духов, название которых так и не узнает.

Ровно через неделю они столкнулись на трамвайной остановке «Площадь Гагарина». То есть она первая увидела Сидельникова, как он, сутулясь, подходит к остановке, узнала его и окликнула. Он не удивился встрече и забыл поздороваться, поскольку все эти дни как бы вообще не расставался. Он стоял натянутый как тетива в полутора метрах от Лоры, глядя ей в лицо, и не знал, с чего начать. К счастью, сентябрь в отчетном году выдался поразительно холодный, и, разумеется, это нельзя было не

обсудить хотя бы вкратце, а лучше поподробнее. Но она вдруг сменила тему и озабоченно призналась, что сегодня утром сварила выдающийся борщ, который не то что оценить — даже съесть некому. Таким образом, изначальный любовный опыт Сидельникова показал, что счастье в личной жизни — это когда женщина, о которой грезишь, приглашает тебя отве-дать борщ собственного приготовления.

...Ей уже было немало лет — двадцать девять. Из них шесть с половиной она встречалась с неким Мехриным, молчаливым, глубоко семейным человеком, который посещал ее строго по четвергам и, видимо, намеревался это делать до глубокой старости. Каждый раз он приносил с собой в нагрудном кармане аптечный двухкопеечный пакетик с надписью цвета марганцовки «изделие № 2». Обычно минут через двадцать после его прихода программа визита была исчерпана. Мехринская молчаливость носила глобальный характер и вынуждала тех, кто с ним общался, невольно мельтешить, тем самым подтверждая закон о моральном превосходстве неподвижного предмета перед движущимися. Иногда он все же открывал рот, чтобы, допустим, известить Лору, какая паразитка у него жена, называя при этом девичью фамилию супруги — Салова.

Лора поначалу робела и волновалась, потом сильно недоумевала, потом плакала после его уходов, потом снова плакала, потом однажды послала его к черту вместе с его пакетиками. Но он вскоре пришел опять как ни в чем не бывало, и она даже обрадовалась, потому что не могла добиться от себя полного равнодушия к Мехрину, и уж лучше он, чем вообще никого. Настало время засушливое, бесслезное, что-то вроде усыхания души.

Сидельников свалился ей на голову, как бестолковый июньский ливень, налетел, как стихийное недоразумение, и она поняла почти сразу, что сопротивляться этому налету не хочет и не будет. Привыкнув иметь дело с тоскливым ожиданием неизбежностей, она впервые ощутила, что это ожидание может иметь сладкий привкус и вызывать трепет, подобный трепыханью бабочки в животе.

Но, кстати сказать, то, что поняла она, вовсе не было очевидно для него. И если с одной стороны возникшего уравнения во все глаза глядит, никак не может наглядеться Неизбежность по фамилии Сидельников, то с другой — под именем Лора живет своей взрослой закрытой жизнью полная Невозможность.

Он ни на что не имел права, потому что ходил всегда в одних и тех же зеленых брюках, кургуzych, купленных матерью еще в позапрошлом, восьмом классе, потому что был соплик и мерзавец, потому что стеснялся самого себя рядом с этой длинноногой леди, — и на что, спрашивается, он мог надеяться? Но он, слава Богу, ни на что и не надеялся, когда, вдохновленный двумя тарелками счастья в личной жизни, на следующий день продал букинисту несколько любимых книг, что позволило четыре утра подряд покупать у любезных старушек пасмурные розы, которые он даже не решался вручать по назначению, а с оглядкой заталкивал, царапая руки до крови, в почтовый ящик Лоры.

В те дни, когда Сидельников таскался по городу, как курица с яйцом, с этими полумертвыми от страха розами, сужая круги в неотвратимой близости к одному-единственному на свете адресу, Лора предприняла хозяйственные меры, не вполне понятные ей самой. В среду, придя с работы, она позвонила ближайшей соседке Дарье Константиновне, чтобы узнать, просыхает ли в данный момент Дарьян муж Николаич. Оказалось, он уже вторые сутки отлично владеет собой. Через полчаса прямой как штык Николаич и его закадычный партнер по забиванию козла Петр вынесли из квартиры Лоры старый, но крепкий диван, бережно спустили с третьего этажа и, как им было сказано, доставили его на помойку.

Вечером в четверг прибыл неизменный Мехрин, он явно торопился и, не найдя в надлежащем месте нужную мебель, выказал лицом сначала оторопь, затем недовольство. В ответ он услышал, что — все, на этот раз уж точно все. Мало того, сюда, к ней домой, ему больше нельзя, могут быть последствия. Сам должен понимать. Ничего не понимающий Мехрин многозначительно кивнул, сказал «ну-ну» и удалился. Его озаботил намек на последствия, худшим из которых могла быть огласка, недопустимая при его семейном, а главное, служебном положении. Но и терять то, чем давно владел, отдавать свое неизвестно кому он не собирался. Не далее как вчера за бутылкой коньяка с приятелем, правда, младшим по званию, он вдруг расчувствовался и от души похвастал, какие качественные груди у его любовницы. Да и все остальное... Так что Лорой он дорожит. Но пока лучше воздержаться от посещений на дому до выяснения обстоятельств. А для этого можно заехать к ней на службу — завтра же, в обеденное время.

Назавтра он вошел в кабинет Лоры с тем же приятным чувством, с каким являлся к ней все эти годы, приезжая на своем «Москвиче» каждый четверг (день политучебы, согласно легенде), — словно каждый раз делал ценный подарок этой странноватой непрактичной женщине, которую считал неудачницей. Мехрин не рисовался перед ней, но все же был очень доволен собственным поведением: общаясь, голову держал в профиль, никакой суеты, ни одного лишнего слова (женщинам это вроде как нравится). И тут тоже, войдя, молча придвинул кресло, уселся поплотнее, поместил шляпу на стол и, глядя перед собой в сторону окна, немного выждал, чтобы дать возможность Лоре оценить сам факт его прихода, слегка понервничать (они без этого не могут), поискать слова для объяснений.

Она и вправду нервничала, терзала носовой платочек, но объясняться почему-то не желала. Она только повторила слово «все» и сухо добавила: «Уйди, пожалуйста». Мехрин, знающий цену капризам, предпочел не расслышать. Но что-то не срасталось. К тому же совсем не вовремя в дверь постучали, вошел парень лет шестнадцати — семнадцати, давно не стриженный, в болоньевой куртке и коротковатых брюках защитного цвета. Шпана какая-то, отметил Мехрин, но, судя по выражению лица, вроде как смысленый, начитанный... Вошедший застенчиво поздоровался и сразу отошел к окну, где и притулился, опершись на подоконник, в позе терпеливого ожидания. Мехрину пришлось отвернуть голову от окна к столу и ради приличия хоть что-то произнести: «Ну-ну... Так, значит. И что?» Теперь не расслышала она. Платочек находился в критическом состоянии.

Сидельникову незнакомец в кресле напоминал утес. Хотелось, чтобы он поскорее ушел. Но от утеса этого можно ждать вечно. А даже интересно, какое происшествие могло бы его стронуть с места?

Еле слышным пустым голосом Лора снова попросила Мехрина уйти. Она была страшно красивая, но выглядела как наказанная школьница.

Мехрин не шевельнулся.

— Сударь, — сказал начитанный Сидельников, — вас просят покинуть помещение.

Его уже осенила инженерная идея: если предмет неподъемен, можно выносить по частям.

— Это, вообще, кто здесь такой? — медленно спросил Мехрин, обращаясь к столу.

В следующую минуту Сидельников испытал захватывающее чувство невесомости, когда, оттолкнувшись от подоконника, плавно подлетел к столу, ухватил двумя пальцами мехринскую шляпу, взмыл назад и вверх к открытой форточке и выпустил свою добычу на волю. Покуда шляпа, как жирная галка, косо рассекала воздушные слои толщиной в четыре этажа и садилась на асфальтовом побережье аккуратной лужи, Мехрин успел вско-

чить, сделать несколько хаотичных мелких движений и ни слова не говоря выбежать вон.

Сидельников готовился к испытанию более сложному, чем изгнание утеса.

— Может быть, вы согласитесь, — начал он, — пойти со мной, если бы вот... В субботу. Потому что есть уже билеты. Просто я сегодня шел...

Она глядела на Сидельникова долгим взглядом снизу вверх, тем драгоценным взглядом, который останется в его жизни одной из самых больших щедрот, прожитых необратимо. Но пока он все еще длится, и сероголубые льдистые радужки, опрокинутые в невидимый жар, начинают плавиться и прибегают к защите слабой заресничной тени. Косноязычное приглашение Сидельникова вместе пойти на знаменитый французский фильм о любви уже казалось ему самому не то вульгарностью, не то детским лепетом. Его сейчас поставят на место, и надо будет что-то делать с этим горьким наждаком во рту.

Но она сказала:

— Я пойду с тобой куда захочешь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В субботу вечером они так и не вспомнили о билетах в кино, потому что сидеть вдвоем дома на кухне было не менее завидной участью, чем в темноте зрительного зала. Оказалось, что можно, не дожидаясь поводов или разрешений, выпить вдвоем бутылку вина с мужественным названием «рислинг». (Пробку, за неимением штопора, протиснули внутрь.)

Оказалось, что дико проголодаться на ночь глядя — обычный случай для обоих, и можно в аккурат к полуночи нажарить целую сковороду картошки, чтобы вдвоем ее приговорить.

Ни с того ни с сего оказалось уместным забраться в ванну вдвоем и вымыть друг друга с головы до ног, при этом стесняясь целоваться и не стесняясь намазывать сразу четырьмя ладонями все головокружительно женское и чересчур мужское. «А вот слушай...» — начинал Сидельников, то есть продолжал тысячу первый кухонный разговор. «Отдел культуры слушает», — отвечала она, вытряхивая воду из уха. И в этот момент для обоих не было ничего смешнее, чем сочетание слов «отдел культуры». Оказалось, что уже поздно, полвторого, трамваи выдохлись, но он может остаться. (Сидельников с радостью вспомнил, что суббота, значит, дома не ждут — он как бы ночует у Розы.)

Внезапно они смолкли — сразу оба. Она расстилала на полу что-то теплое, а он, обжигая лбом оконное стекло, пытался если не приглушить, то хотя бы замедлить гулкие межреберные удары слева. Лора сказала: «Не стой там, тебя продует», — и потушила свет. Сделав четыре долгих шага в темноту, он чуть не наступил на изголовье их общей постели. И когда после нежных неудобств, причиняемых носами и подбородками, коленками и ступнями, они сумели наконец обняться и совпасть так, что, казалось, ближе и точнее не бывает, она раскрыла медленно-медленно еще одно объятие, горячее и страшное, словно раскрывшаяся рана. Оказалось, он способен быть лодкой, легкой, но мощной, которая несется в тесном русле, раскачивая эту кромешность, где нечаянный крик и свет какой-то сумасшедшей зарницы предвосхищают почти астрономическое содроганье.

Перед тем как они уснули, уже под утро, Лора зачем-то призналась, что ночует с мужчиной впервые в жизни, но Сидельников не сразу понял, что это его она так называет, и даже глуповато переспросил: «С кем?» Еще она шептала, пряча лицо к нему в ямку возле ключицы, будто некто красивый и сильный одарил собой, осчастливил некую дурную тетку. Тетка сидела с туманным заплаканным лицом на кондукторском месте во втором вагоне самого раннего трамвая, а он, безбилетный, не мог подойти и упла-

тить ей три копейки за проезд, потому что был совершенно голый, одеяло сбилось к ногам и занемело плечо, облюбованное спящей Лорой.

Воскресный Сидельников заметно отличался от субботнего. Например, он стал выше сразу на несколько сантиметров — и обнаружил это утром, сбегая по лестнице, когда заглянул мимоходом в прорезь цветочного, то есть почтового, ящика, еще вчера высоковатого для глаз. (Этот железный связник скоропостижно устарел. События минувшей ночи давали Сидельникову некоторую надежду на пожизненное право дарить Лоре цветы собственноручно.) Кроме того, он испытывал непобедимую жалость к любому встречному, который как-то умудряется существовать в своих буднях и праздниках, не обладая тем, что есть у него, у Сидельникова. Может быть, хоть кого-то из этих мужиков, стоящих в бесконечной очереди за пивом, перед уходом из дома поцеловали в губы со словами: «Приходи скорей, я буду скучать»? Короче говоря, он искренне жалел каждого мужчину, у которого нет Лоры, и каждую женщину, ничем не похожую на нее.

Через два месяца ежедневных встреч и еженедельных ночей, проведенных якобы у Розы, случилось то, что и должно было случиться. Обеспокоенная Роза однажды вечером позвонила из телефона-автомата невестке, с которой почти не поддерживала отношений, и поинтересовалась, почему Сидельников так давно не кажет носа.

Та заговорила педагогическим голосом: «Вам что, выходных дней мало?» — но тут же осеклась: день был субботний и Сидельников закономерно отсутствовал.

...О том, что ему надо зайти к тете Вале Шевцовой, мать сказала как бы между прочим, непринужденно, даже слишком. Тетя Валя просила, чтоб зашел. Надо зайти.

Снег выпал рано, еще до ноябрьских праздников. Его спешно убирали с проспекта Ленина, сгребая на обочины, как что-то чуждое предстоящей демонстрации трудящихся. Шевцова жила в пяти минутах беззаботной ходьбы. По пути Сидельников припоминал родительские разговоры о легендарной молодости женщины-инспектора, чуть ли не в одиночку побеждавшей целые банды. Запах кошачьей мочи и темень в подъезде возбудили конспиративные фантазии. Захотелось поднять воротник и сунуть руки в карманы.

Шевцова возникла из-за дверной цепочки во фланелевом халате, с жидкой химической завивкой.

— Раздевайся, проходи в комнату. Я сейчас.

В комнате господствовал оранжевый абажур, нависший над обеденным столом. На трюмо распускались пластмассовые гвоздики. Из соседней комнаты тянулся тяжелый мужской храп.

— Садись.

Шевцова была уже в милицейском кителе, застегнутом на все пуговицы, но под ним в рукавах и на груди топорщился малиновый халат. Она села на противоположной стороне стола, кинула взгляд, попавший Сидельникову точно в переносицу, и заявила:

— Нам стало известно...

В ту же минуту храп за стеной прервался. Кто-то животным голосом проговорил с упреком: «Валька... сука... драная!» По лицу Шевцовой поползли пятна.

Сидельников предположил, что одного из пойманных бандитов она пригрела у себя дома в воспитательных целях.

— Нам стало известно, что ты. Пользуясь доверием...

«Валька, в натуре, кончай базарить!!»

Воспитание, видимо, шло туго.

— Антон! — крикнула Шевцова. — Сейчас же прекрати!.. Что ты, — продолжила она, обращаясь к Сидельникову, — неоднократно ночевал вне дома.

Сидельников молчал.

— Нам необходимо нужно знать, где ты был. С кем. И чем вы занимались. Не вздумай врать, мы все равно узнаем.

Сидельников молчал. Храп за стеной возобновился.

Она вздохнула и заговорила помягче:

— Ты ведь не понимаешь, какое значение сейчас играет проблема подростков...

Сидельников с тоской вглядывался в трюмо, где отражалась ее круглая спина и маленькая светлая лысина между кудряшками.

— Ведь сейчас многие подростки курят, занимаются безобразиями. А некоторые даже ведут грязные отношения. Может быть, — она повысила голос, — ты с женщиной был?

Сидельников опустил глаза и начал вызволять пальцы, запутавшиеся в бахrome скатерти.

— Ах вот оно что! — вдруг обрадовалась Шевцова. — Сейчас ты мне скажешь ее имя. Фамилию. И что вы с ней делали.

Шевцова просто сияла.

— А если будешь заператься, мы ее сами найдем. И вызовем куда надо! Говори правду.

Сидельников с трудом вынул взгляд из-под стола и сказал свою последнюю правду:

— У нас не было грязных отношений.

То, что появилось на ее лице, было больше чем разочарование.казалось, она видит перед собой убогого калеку, к тому же вполне слабоумного, который даже не подозревает, как его обидела природа.

Впрочем, какая-то надежда у инспекторши оставалась. Уже не домогаясь ничьей фамилии, она задала вопрос, прозвучавший лебединой песнью:

— Но ведь у вас с ней роман? Скажи честно: роман?

Он впал в добросовестное раздумье, в частности о свойствах литературных жанров. Вопрос был не из легких.

— Нет, — сказал наконец Сидельников, — у нас, наверно, повесть.

Спустя минуту он ушел из этого дома без оглядки, оставив за спиной зверский узел на бахrome скатерти, морскую качку абажура, задетого головой, и горько разочарованную женщину, ненавидевшую свою жизнь по причине многолетнего отсутствия того, что она называла грязными отношениями.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В картинах той осени и безвременно затеянной зимы проступала кое-как загрунтованная основа, на которую эти зима и осень были наспех положены. Едва ли не каждое событие жестко намекало на простую подоплеку: если изображение, то есть безусловно видимое, живет по своим цветущим законам, со светотенями, изгибами, складками возле губ, то холст — ничего не поделаешь — по своим, с неизбежным вкрадчивым тлением этой льняной мешковины.

Эпизод с телефонной книгой станет началом чистого горя и долго будет напоминать о себе, словно привычный вывих, искажающий походку. Хотя, собственно, ничего и не было. Был новый диван, купленный взамен почившего на помойке. Была сидящая на диване и безотрывно читающая телефонную книгу прелестная молчунья, в которой Сидельников не узнавал вчерашнюю Лору. Нельзя сказать, что она читала так уж запойно, нет, но очень внимательно перелистывала, иногда возвращаясь к пройденным страницам, что не мешало ей брать из тарелки на ощупь и грызть кукурузные хлопья с видом задумчивой белочки. На ней была голубая затрапезка, не длиннее мужской сорочки. Правую голую ногу она спрятала под себя, а

левую, такую же голую, выпустила, как самостоятельное существо, на волю, всю — от полудетских пальцев до замшевой выемки в паху.

Это бессмысленное чтение продолжалось так долго, что Сидельников физически почувствовал убывание времени. Он успел ненароком починить выключатель в прихожей, поприсутствовать рядышком на диване, сурово подышать ей в затылок, огладить ногу — ту, что на свободе, и заодно удостовериться в неминуемом переходе от буквы «р» к букве «с». Савельев, Савицкая, Савкин, ну сколько их еще!

Он сел напротив Лоры, скопировал ее позу, развернул свежую «Литературную газету», несколько минут подержал перед собой вверх тормашками и осторожно спросил, не случилось ли чего-нибудь. С дивана ответили неопределенным пожатием плеча.

Он попытался читать передовую статью, долго с ожесточением разглядывал слово МЗИЛАЕР в заголовке, но, подчиняясь невыносимой тревоге, отбросил газету. Он уже знал, задавая свой вопрос, что ответа не будет.

— Что произошло?

Ему предложили погрызть кукурузные хлопья.

Он вышел из комнаты, бесконечно долго шараясь по темному коридорчику до кухни и обратно, потом застыл у дверного косяка, глядя на нее в упор. Она только что отлистнула страниц тридцать назад и продолжала углубленное чтение. Ему захотелось кинуться к ее драгоценным коленям, прося прощения за все свои несуществующие грехи, но помешало ощущение, что где-то он уже видел подобную сцену...

— Может, мне лучше уйти? — шепотом спросил Сидельников, брезгуя собственным голосом и надеясь, что она не услышит. Но она услышала и снова пожала плечом — теперь уже абсолютно внятно.

И тут его даже не повело, а потащило прочь, в декабрьскую темноту. Он гнал сам себя взащей через пять ступенек, по сугробам, и пустой рукав полунадетого пальто хлопал его по спине. Когда он оглянулся, на третьем этаже ни одно окно уже не светилось.

Назавтра он проснулся за минуту до телефонного звонка. Утро ничем не отличалось от вечера: та же синяя темень за окном, то же чувство непоправимой потери. Позвонить должна была мать, чтобы проверить, сел ли он за уроки. На самом деле для большей части домашних заданий ему хватало школьных перемен.

Трубка была ледяная. Незнакомый мужской голос раздраженно спросил:

— Сидельникова Роза Валентиновна — ваша родственница?

— Наша, — хрипло сказал Сидельников.

— Тогда забирайте ее. Оперировать бесполезно, пусть дома долеживает. У нас нету мест.

— Где она? — крикнул Сидельников.

— Здрасьте! В Чкаловской, в хирургии.

Сразу после позвонила мать:

— Почему телефон был занят?

Он пересказал ей разговор. Выслушав, мать спросила:

— У тебя много уроков?

— Много, — сказал Сидельников и положил трубку.

До Чкаловской больницы он бежал через безлюдный парк культуры и отдыха, где все деревья замерли с закрытыми глазами. В голове у него зияло страшное слово МЗИЛАЕР непонятного происхождения. Уже на крыльце больничного корпуса этот скользкий монстр, повернутый задом наперед, станет более понятным, но не менее тошным.

В ординаторской усталый мужик в белом колпаке, похожий на повара, ощупал Сидельникова соболезнующим взглядом, вытерпел его одышливые вопросы и, не скрывая своей доброты, заверил: «Ничего страшного, возрастное недомогание. Сколько ей...» Он ободряюще подморгнул: «Ста-

ренькая уже перечница». «Сам ты перечница», — вслух подумал Сидельников, хлопнув дверь.

Розу он увидел в коридоре. Она шла медленно, прижимаясь боком к стене и неуверенно, по-сиротски озираясь. Сейчас, когда ей казалось, что никто ее не видит, у нее было такое лицо, будто в жизни не осталось ничего надежнее, чем эта зеленая стена и огромный каторжный халат без пуговиц, который она придерживала на животе.

— Ты за мной? Ты меня забереешь?

— Да, да, — повторял Сидельников, стараясь поднять жестяной ворот халата, чтобы прикрыть ей ключицы и высокую худую шею.

— Я только попробую сходить в туалет. Извини.

На улице она сказала:

— Как хорошо, что — ты. Я думала, уже не выйду на воздух.

Он вел ее за руку домой, как девочку, как в другие времена она уводила его из детсада.

Дверь им открыла Татьяна, растрепанная, босая.

— Все? Подлечились? Как себя чувствуете? У нас вчера воду дали. Так я и сама намылась, и полы намыла! Мне в третью смену сегодня.

— А мне во вторую, — сказал Сидельников ни к селу ни к городу.

На кухне Лиза кормила младенчика, уталкивая толстую грудь между его щеками.

Комната Розы была не заперта. Там братья Дворянкины, лежа на полу, рублились в «чапаева». От их шелчков сидельниковские пластмассовые шашки летели с доски во все стороны. Через несколько лет один из братьев, Юра, испытатель самопального поджига и заточки, уйдет по хулиганской статье мотать свой первый, но не последний срок. А другой, Толя, раненный под Кандагаром, вернется после госпиталя с незаживающими нарывами на ногах, но откровенно гордый круглым числом самолично убитых афганцев. И когда в официальных новостях всплывет новое, необычайно скромное выражение «ограниченный контингент советских войск», Сидельников будет представлять себе этот ограниченный контингент неизменно в лице Толи Дворянкина.

Роза вежливо сказала братьям «кыш», заперла дверь и попросила Сидельникова поглядеть в окно — ей надо переодеться. Солнце было неярким, но заснеженный двор почти ослеплял, отражая целое небо и посылая в комнату великанский солнечный зайчик. На утоптанном пятачке посреди сугробов похаживала рыжая Лида в клетчатом пальто из «Детского мира», размахивая сеткой с пустой бутылкой из-под молока. За всем этим угадывалась некая печальная тайна, прозрачная логика утрат, счет которым уже начался. Все было озаглавлено именем уходящей Лоры, причем новизна любовного несчастья мешала полностью в него поверить.

Сидельников уже не помнил, что стоит у окна вынужденно, по просьбе Розы, когда, повернувшись, напоролся взглядом на то, что видеть не полагалось. Он отвернулся в ту же секунду, но хрусталик, сетчатка — или чем там еще орудует слезливо-безжалостный фотограф? — сделали свою работу. Теперь Сидельников сможет видеть эту картину хоть с закрытыми глазами, хоть в следующем веке.

Роза, нагнувшись, сидя на краешке стула, снимала хлопчатобумажный чулок. Вместо высоких серебряных кувшинов были две длинные складки с червоточинами сосков, сползающие в яму живота между выпирающими углами подвздошных костей. И под кожей, удивительно гладкой, везде просвечивала какая-то окончательная земляная чернота.

...«Пусть к нам, если хочет, переезжает, — сказала Сидельникову мать. — Все-таки не одна будет». В тот день он стащил из домашнего холодильника засахаренный лимон в поллитровой банке и понес Розе. Она

ела этот лимон с видимой жадностью, сразу из банки, доставая столовой ложкой одну за другой соскальзывающие мятые дольки.

— Переезжай к нам. Все-таки не одной быть. И мама тоже говорит...

Она перестала жевать, быстро сглотнула, а потом известила всегдашним холодным голосом:

— Мне есть где жить.

Дважды он принимался уговаривать — она даже не слушала. Настаивать было бесполезно. Ее негибкая самодостаточность позволяла Сидельникову думать, что все поправимо. Впрочем, он и так не верил ни в какую безнадежность. Это у него могло быть все плохо, это он мог загибаться от своей бесценной беды — Роза оставалась величиной постоянной. Единственное, что изменилось, — с самого начала болезни она запретила наведываться Иннокентию, который все эти годы не исчезал с горизонта.

Сидельников еще вспомнит не раз, как, приходя к Розе в ее последнем феврале, последнем марте, июле, он все поторапливался уйти, просто потому что сильно хотел курить, а при ней было нельзя.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Курил он болгарские сигареты с фильтром, «Интер» или «Стюардесу» — элитный дефицит, за которым приходилось ездить на вокзал Старого города, к вагону-ресторану московского поезда. Правда, в отличие от многих сверстников, пускавших дым как бы напоказ в школьной уборной или где-нибудь за кустами, но обязательно в компании, Сидельников стеснялся это делать прилюдно, решив для себя, что курить — занятие одинокое. Он и был теперь снова одинок, хотя с Лорой виделся едва ли не каждый день.

Это были странные встречи. Войдя после темной улицы в ее квартиру, не зажигая света, они почти сразу ложились в постель, как тяжелобольные. То есть даже не в постель, а накрывались, полураздетые, пледом и лежали так довольно долго, во что-то вслушиваясь, она на спине, он на левом боку, лицом к ее непроницаемому профилю. Именно непроницаемость вдруг стала главной особенностью ее поведения.

Сидельников мог без устали глядеть в ненаглядное лицо, мог самовольно переходить границу между шерстяным и атласным, между прохладной сухостью и воспаленной влажностью, мог встать и уйти, вернуться и просить ее руки, мог быть мрачным, нежным или бешеным, мог врывать в нее, как в покоренную страну, — ничего не менялось. И после счастливых стонов она запиралась на семь замков, словно возобновляла прерванное чтение проклятой телефонной книги, в которой продолжала искать спасительный номер, спрятанный ото всех.

Зимние дни, неотличимые один от другого, обступали все плотнее, как бы вытесняя мерзнущую жизнь и вместе с тем давая понять, что уходить некуда. Уходы от Лоры в самые отчаянные вечера выглядели так: с закушенной губой, почти не прощаясь; с разбегом в полтора прыжка через лестничный марш; с угрожающим замедлением на выходе из подъезда; наконец, с похоронной застылостью в первой же телефонной будке. Ему-то не нужно было искать номер! «Нет, — говорила она сухо. — Нет, ты не прав. Это не так. Это тебе только кажется. Нет. Не знаю, что там шумит. Не надо... лучше иди домой». (Вопросы и реплики звонившего усугубляли своей нелепостью и без того гиблые отношения.)

Все это не помешало Сидельникову ставить перед самим собой вопросы на засыпку, которые он формулировал коряво, но честно. Например: «Почему женщины разлюбляют?» Проконсультироваться, как всегда, было не у кого. Ближайший источник любовной мудрости хранился у матери за стеклами серванта — с десятков поэтов разной степени потрепанности, собранных по принципу: что удалось купить. Сидельников читал стихи поварварски, выискивая в них что-то вроде рецептов, как в справочнике

практикующего врача. Но не исключено, что сами обитатели серванта об этом только и мечтали.

Учитывая всеобщее почтение к понятию «дефицит», Сидельников заподозрил, что действительно хорошие стихи (как и все действительно хорошее) не могут свободно продаваться в магазине или просто так стоять на полке в серванте. Их следует специально добывать. Полузнакомая старенькая библиотекаряша ответила на сидельниковскую просьбу испытующим взглядом, а через день принесла почитать тетрадку в кожаной обложке. Это были стихи женщины с красивым тонким именем, которая больше тридцати лет назад покончила с собой. Стихи оказались не по-женски мощными, широкоплечими — сильнее множества мужских, вместе взятых. Фиолетовые буквы на желтоватой бумаге лучше всякого радио передавали чистейший звук — предельно внятный голос ненасытной нежности, одиночества и высокого пожизненного неблагополучия. Гораздо позже Сидельников с изумлением обнаружил, что среди поклонниц этой поэзии (вошедшей со временем в моду) почему-то преобладали как раз очень благополучные, хорошо пригретые девушки и дамы, которым, видимо, не хватало в жизни одного — собственной стационарной трагедии.

Стихи не только подтверждали реальность, казалось бы, непроисносимых и полузапретных событий души, но и как бы узаконивали их.

Здесь присутствовала тень корысти — он был пока еще слишком поглощен своей любовью, чтобы читать стихи о любви бескорыстно. И если, допустим, он встречал в тетради такое вот бесстрашное признание:

Ненасытностью своею
Перекармливаю всех, —

то ему хватало отчаянья и глупости, чтобы схватиться за голову, проклинающая себя. То есть это, конечно, он перекормил собой всех, в смысле Лору, которая и есть — все.

...Ближе к весне встречаться так, как раньше, стало невозможно. Откуда-то из районного центра прибыла и поселилась у Лоры ее троюродная сестра. Завитками и зеленоватой рыхлой белесостью она напоминала Сидельникову цветную капусту. Капуста устроилась работать на пищевой комбинат и собиралась поступать в пищевой же техникум. Она имела привычку, садясь, растопыривать ноги и руки и шевелить сразу двадцатью толстенькими пальцами. При первом знакомстве, едва оставшись с Сидельниковым наедине, Капуста спросила, пошевеливая маникюром и педикюром одновременно:

— У тебя с Лариской — что? Вы с ней *ходите*?

— Да, — с отвращением сказал Сидельников. — Мы ходим, в разведку. С Ларисой Николаевной.

— Ой, ну ты такой интересный чувак! — умилилась Капуста.

В эти дни он повторял про себя привязавшиеся как наваждение две строки:

И перешла за третью стражу
Моя нерадостная страсть, —

полагая, что третья стража — это почти предел сердечного терпения. Вопросы на засыпку оставались без ответа, но он был недалек от истины, когда почувствовал, что механизм событий, решающих его судьбу, уже запущен где-то за кулисами.

Лора иногда вечерами задерживалась, и Сидельников был вынужден ждать в капустном обществе. Капуста завела моду невзначай расстегивать две верхних пуговицы халата, глядя при этом на собеседника с видом естествоиспытателя. Но могла бы и не расстегивать: сытная продуктовая масса начиналась у нее прямо от шеи. Подопытный взирал критически и уходил на кухню курить. Однажды она не торопясь, хозяйским шагом последовала за ним.

— Ну чё ты скромничаешь, как целка? Боишься, Лариска узнает? Не бойсь. А хочешь, я ей сама скажу, что ты ко мне пристаешь?

Докуривая, Сидельников соображал — уйти сразу или все же перед уходом треснуть по сизым кудряшкам чем-нибудь вроде пепельницы. В этот момент щелкнул замок на входной двери, и Капуста не застегиваясь пошла в прихожую. Лора, вся ледяная, жемчужная, в его любимой лисьей шапке, смотрела на него так, что было непонятно: она истосковалась или, наоборот, его присутствие вызывает тоску зеленую. «Иди домой, уже поздно» — вот все, чего он дождался в этот вечер.

Дальнейшее было столь безобразным и жалким, что вряд ли заслуживает попадания в хронику. Разве что в уголовную. Примерзание к телефону-автомату в железной будке (обжитое место!); оскорбительная дерзость, подменяющая просьбу об одном-единственном нежном слове; швыряние трубки; ограбление одиноких прохожих на сумму две копейки ровно с целью наговорить из будки новых дерзостей; твердое обещание сдохнуть сегодня же («Перестань, выбрось это из головы... Что?! Это ты мне говоришь? Какой ты умный... Ну, тогда учти: неудачных самоубийц женщины не любят». — «Какие еще женщины? Ты меня и так не любишь»). Обратный путь — под присмотром темных этажей и редких деревьев, безразличных к своей убогости. Дома — крадучись мимо спящей матери к холодильнику, где она хранила с трудом добытое импортное снотворное. Затем — последний в жизни ужин, состоящий из стакана несладкого чая и пригоршни таблеток. Потому что ведь и так понятно, что все, что перешла за третью стражу — дальше некуда. Но в довершение ему пришлось домучивать собственную гибель — уже в следующей темноте, в невычисляемое время суток, в неукротимых рвотных судорогах в обнимку с унитазом.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Смерть включала в себя простейшие элементы, все ненужные, начиная с утренних пробуждений, умываний холодной водой и так далее. Улицы выглядели разгороженным потусторонним пространством, в котором он жил когда-то раньше. В городе оставалось только два места, слабо намекавших на существование другой жизни, — вокзалы. Нужен был повод и хотя бы минимальная решимость, чтобы уехать. Поводом могли стать напоминания матери о том, что все порядочные люди, заполучив аттестат зрелости, едут поступать в институт. Но у Сидельникова не только дальние порядочные люди, но и ближние беспорядочные прохожие вызывали теперь недоумение: куда-то идут с серьезным видом — зачем? Ради чего? И куда вообще можно *идти*?

Несколько раз он выбирал на улице то одного, то другого человека с напряженным, как ему казалось, глубокомысленным лицом и незаметно шел следом, надеясь таким образом выявить тайные людские цели. Почти каждый из них наверняка участвовал в какой-то скрытой, завидной жизни, заслоняемой озабоченными взглядами, запахом духов, шубами, кофтами, дверями подъездов и квартир. Возможно, это были совпадения, но всякий раз наблюдаемые объекты исчезали в магазинной толкучке в одуряющих очередях за вермишелью, килькой в томате, за портвейном...

Однако это не означало, что погибшему Сидельникову были глубоко противны магазины. В них встречались просто неотразимые приманки. Роза в начале марта вдруг подарила ему огромную сумму — шестьдесят рублей, и он купил себе в «Культтоварах» проигрыватель «Рекорд».

Выкопанные дома в кладовке «Бесаме мучо» и Муслим Магомаев быстро исчерпали себя.

Рядом с гостиницей «Дружба», на задворках парикмахерской, вполголоса тарыхтела студия звукозаписи. Там обретался некто Слон — по тем

временам единственный в городе носитель американских джинсов. Он с блистательным высокомерием произносил слова «Лед Зеппелин» и «Роллинг Стоунз», но вызвал сочувствие у Сидельникова неожиданной жалобой на то, что никогда не будет получать пенсию, потому что не член профсоюза.

— А почему не член? — участливо спросил Сидельников.

Директор звукозаписи вздохнул:

— Да знаешь... Все эти тред-юнионы... — И Сидельникову почудилось в его ответе высокое мужество.

Слон записал Сидельникову несколько песен Высоцкого на фотопленках медицинского назначения. «Рекорд» сипел, но справлялся. В песнях утверждалось отчаянье, зато пелись они абсолютно надежным, победительным голосом.

На четырнадцатый день невстреч Лора сама пришла к нему домой, то есть к матери по какому-то делу, и Сидельников за эти двадцать минут обжигающего присутствия даже не вышел из своей комнаты. Из-за двери было слышно, как мать завела разговор о нем. Сходит с ума от нечего делать, две недели назад таблеток наглotalся. Теперь вот песни блатные крутит.

К тому моменту Сидельникова посетила страшная догадка насчет Капусты: Лора специально взяла ее к себе жить, чтобы оттолкнуть его! Как ни странно, и в этом случае Сидельников оказался не так уж далек от истины.

На девятнадцатый день ему позвонила незнакомая женщина Дарья Константиновна и попросила через час прийти по адресу, который сразу и продиктовала. Спросить «зачем?» он как-то не догадался. Все катилось помимо воли, само по себе, как холодный март — в холодный апрель. Через час, очутившись возле дома Лоры, Сидельников подумал, что повредился умом. Он мог найти этот дом с закрытыми глазами, но точного адреса не знал. Как получилось, что звонившая привела его прямо сюда? Впрочем, указанную квартиру он нашел в соседнем подъезде.

Он позвонил, переждал тишину, снова позвонил. Кто-то в больших, вихляющих шлепанцах кинулся к двери и замер, неровно дыша. И тогда Сидельников понял, что там за дверью, припав бровью к мутному глазку, приниженная и жалкая, стоит его любовь.

...Потом она скажет Сидельникову, что никогда не была и уже вряд ли будет такой счастливой, как с ним в эту осень. С ним, по сути, еще бесправным школьником, она вдруг впервые почувствовала себя избранной и защищенной. Все разбилось в одну минуту, как та стеклянная полочка в ванной над умывальником, одним ноябрьским утром, без пятнадцати восемь. Стоя перед зеркалом, Лора поймала себя на том, что всерьез размышляет, надевать лифчик или нет: Сидельников, видите ли, где-то вычитал, что для груди опасно, а потому — ни в коем случае. Тоже еще врач-косметолог... Звонок прозвучал настолько резко, что от неожиданности она всплеснула рукой — и полочка со всеми флаконами вдребезги разлетелась по ванной. На пороге стоял Мехрин с тяжелым, торжественным лицом.

— Зачем ты...

— Надо поговорить.

— Мне некогда.

Но он уже вошел и расстегнул дубленку.

Ей, правда, было некогда и недосуг — не до разборок со стыдным прошлым. Успеть бы до работы убрать осколки и проглотить чашку кофе... Пронаблюдав, как она мечется между разгромленной ванной и убегающим на плиту кофе, Мехрин обратился непосредственно к потолку:

— А я раньше думал, что имею дело вроде как с *приличной* женщиной.

Она бросила совок на пол, подошла к Мехрину вплотную и, ткнув пальцем в нагрудный карман пиджака, спросила:

— А ты сегодня изделие номер два не принес? Ну как же ты... В общем, Мехрин, иди отсюда. С меня хватит. Я тебя больше видеть не могу.

Он протиснулся боком к вешалке, и казалось, через пять секунд можно будет с облегчением о нем забыть. Но, уже застегнутый на все пуговицы, он проговорил тягучим голосом, глядя мимо нее:

— Ну смотри, блядь. Ты сама знаешь, где я работаю. Я тебе ничего не буду... Ты сама раком встанешь. А вот хахаль твой сопливый — считай, приехал. Он вроде как хочет карьеру... Через твою задницу. Я ему сделаю. Город маленький. Ни в одно ПТУ не возьмут. Дворником будет проситься, дерьмо возить.

После таких слов, уходя, логичнее было бы хлопнуть дверью, но Мехрин притворил ее с вкрадчивостью сапера. И Лора осталась наедине со своими осколками, осознавая, что теперь уж точно не имеет ни малейших прав на Сидельникова, на его судьбу, которая вся еще впереди, но уже под прицелом этой заразы...

Решив, что скорее откусит себе язык, чем расскажет Сидельникову о мехринских намерениях, она обрекла себя на беспомощность. Выхода не было никакого, кроме расставания. Об этом она боялась думать, но каждый вечер, проведенный вдвоем, усиливал чувство вины, как если бы она прятала в себе инфекцию, убийственную для близкого человека. Причем ей было заведомо ясно: уход Сидельникова (по любой причине) станет сигналом для Мехрина, что место рядом с ней опять свободно и можно возобновлять политзанятия по четвергам. Поэтому письмо из Сорокинска от родственницы, седьмой воды на киселе, с просьбой посодействовать поступлению дочки в пищевой техникум и нагловатым намеком на полупустую жилплощадь Лора восприняла как спасительную подсказку.

...В квартире Дарьи Константиновны стоял застарелый запах чужого быта, лоснились накидки из красного плюша, на кровати укрытые тюлем подушки высились не хуже снежных вершин. И Лора здесь тоже Сидельникову показалась чужевой. Преодолевая подавленность, он попытался выяснить, к чему эта конспирация, но Лора беззвучно, одними губами попросила молчать. Она льнула и льнула к нему, не поднимая ресниц, с выражением лица блаженно спящей. И, чтобы проникнуть внутрь этого сна, ему достаточно было закрыть глаза, понемногу выпрастывая себя из безобразного марта, из толстой одежды, из комнаты, посреди которой они стояли, прижимаясь друг к другу. И непонятно было, как ей, соучастнице сновидения, удастся оделять поцелуями сразу все его тело, от губ до колен.

Потом, роняя на пол хозяйские шлепанцы, она взбиралась по нему, как по дереву, по-беличьей легкая, взбиралась до таких кричащих высот, где два дыхания становятся одним, все горячо и уже ничего не страшно. И в этот момент из них двоих он все же был более зрячим. Он умудрялся видеть розовый оттиск помады на ее зубах, блеск испарины между грудями, даже поры атласной, чуть вялой кожи. Он сходил с ума от ее близости, но еще острее было осознание того, что никаким обладанием, даже самым полным, ему не утолить эту жажду, порождаемую одним только видом любимого существа.

Так они и простояли посреди чужой комнаты, не посягая на ее плюшевые и тюлевые богатства. Потом, уже на кухне за чаем, Лора скажет то, на что она давно не могла решиться, и Сидельников будет упрямо и нудно повторять свои бесполезные вопросы: «Почему? Ну почему я должен уехать? Почему я должен от тебя уезжать? Что случилось? Почему? Что у тебя с глазами, почему ты плачешь?..»

И она не найдет ничего лучше, чем напомнить Сидельникову, как он пересказывал ей с неподдельным жаром очевидца только что прочитанную «Одиссею» Гомера.

— Помнишь, ты сказал, что ему нужнее всего — вернуться на Итаку? Что он, может, только для того и уехал, чтобы вернуться... Хочешь, я буду твоей Итакой?.. Не пугайся, я пошутила. Но замуж я без тебя не выйду, не надейся.

На следующий день под сурдинку внезапной капели закончилась зима.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Впоследствии Сидельников будет пытаться вспомнить Розу в эти месяцы, оставшиеся до его отъезда: как она выглядела, что говорила? И, к своему ужасу и стыду, не вспомнит ничего. Зачем-то всплывет мытье полов, о котором его никто не просил. Просто, сидя у нее, обратил внимание на пушистый слой пыли под ногами и со словами «я сейчас» пошел в ванную за тряпкой и водой. Не то чтобы в нем был силен домохозяйский рефлекс — скорее вовсе отсутствовал, но в этой запущенности мерещилась неявная угроза. И надо ли помнить о том, как Роза смущенно, с трудом встает на кушетке, словно застигнутая с поличным, а он, такой заботливый, пятится на четвереньках, развозя грязь по полу?

В таких же нетях рассеялись выпускные экзамены — последняя школьная заморочка, июль, пахнущий кукурузным рыльцем, спертый дух плацкартного вагона, конкурс на филологическом факультете Средновского университета. Мать дала ему с собой десять зеленых трешек и полуметровый сплюснутый рулет с начинкой из варенья, быстро засохший, но более двух недель заменявший абитуриенту Сидельникову завтраки и ужины. Двадцать первого августа он оставил в деканате расписку с обязательством явиться первого сентября для отправки в колхоз на уборку лука, наскоро собрал полегчавшую без рулета сумку и через шестнадцать часов немилосердной тряски уже в общем вагоне вернулся домой.

Он привез матери в подарок зарубежный детектив, купленный у пьянчужки на вокзале, а Розе — большое увеличительное стекло, о котором она давно просила и которым никогда не воспользуется. Потому что спустя двое суток в восемь утра соседка Татьяна, войдя в комнату Розы, обнаружит ее лежащей на полу ничком.

Вот этим днем, когда Сидельникову сказали по телефону слово «умерла» и он бежал через весь город к Розе, превозмогая колотье в боку, но не позволяя себе даже минутного ожидания трамвая, словно что-то еще могло зависеть от лишней минуты, от его безумной спешки, — вот этим днем можно датировать начало новой эры в их отношениях, неспособных прерваться, в отношениях двух живых, а затем — живого и умершей.

На углу проспекта Ленина и улицы Нефтяников он стал замедляться, поскольку вдруг почувствовал, что *не готов*. То есть даже если он и осознал в малой степени услышанное по телефону, для него это не означало исчезновения Розы. Казалось, в ее вечной комнате, и без того тесной, добавилась громоздкая неопрятная вещь, называемая смертью, которую теперь надо мало-помалу обживать. Но к встрече с мертвой Розой он готов не был.

Комната оказалась пуста. Лишь возле кушетки ровненько стояли тапочки. Без стука вошла Татьяна широким, распорядительным шагом, за ней следом — хлюпающая носом Оля.

— Насчет похорон, скажи матери, я все договорюсь. Проводим Розу Валентиновну по-людски. И поминки тоже...

Татьяна открыла Розин платяной шкаф (чего Сидельников ни разу в жизни себе не позволял), порывшись, достала коричневый зимний платок и завесила зеркало на стене.

— Она же ведь, знаешь, эту комнату нам оставила, так что... — Соседка смолкла, подождала то ли возражений, то ли благодарности и вышла.

— Ей вчера лучше стало, — сказала Оля. — Вечером с нами на кухне посидела, покушала. А утром заходим, и вот... прямо лицом на полу.

— А где Роза? — тихо спросил Сидельников, словно до этого речь шла о ком-то другом.

— Увезли в морг.

Ольга заплакала.

Ему захотелось курить. И лишь когда, осилив тугой шпингалет, Сидельников вытянул на себя оконную раму и достал сигарету, он вдруг понял, что теперь здесь курить можно, потому как Розы уже нет.

...Обтянутый красным сатином нищенский гроб стоял посреди двора на двух табуретках. Роза лежала в легкой косынке, со светлым и почему-то мокрым лицом, как будто она только что умылась и не успела утереться. Рядом с Сидельниковым переминался с ноги на ногу отец, прилетевший накануне. Мать не пришла на похороны. Соседки шептались и вздыхали. Поодаль молчали два незнакомых старика в темных костюмах. Тут же маялся поникший, совсем облысевший Иннокентий. Одна старушка вдруг заголосила — как-то очень звонко и музыкально, но, никем не поддержанная, сразу стихла.

Задним ходом подполз грузовичок с опущенным бортом. Шофер и его напарник ловко задвинули гроб в кузов, между низенькими скамейками, и позвали: «Давайте кто-нибудь!..» Сидельников полез через борт, поближе к Розе. Отец, тоже забравшись в кузов, сел в дальнем углу. Остальные пошли к автобусу с надписью «Заказной». Когда обе машины медленно тронулись, послышался отчаянный вскрик: «Подождите!» Откуда-то сбоку, из-за дома, выскочила рыжая Лида со стеклянной банкой, из которой торчал цветок, очевидно сорванный с уличной клумбы. Никто, в общем, и не торопился, но Лида, расплескивая воду, летела как на последний поезд для беженцев. Обогнав грузовик, она перешла на торжественный шаг и так вот вышагивала наподобие почетного караула во главе процессии, неся банку с цветком впереди себя, до тех пор, пока шофер не вырулил на пыльную Магаданскую, где похоронная скорость была уже неуместна.

Почти сорок минут ехали до кладбища — за город, в степь, и все это время Роза доброжелательно и спокойно смотрела на Сидельникова закрытыми глазами. Даже когда машину страшно встряхивало на ухабах, гроб взлетал до уровня бортов и Сидельников, навалившись вперед, придавливал обеими руками ее предплечья и тонкие колени, накрытые застиранной простыней, Роза была все так же спокойна. Он не мог оторвать взгляда от ее огромных темных век и молодых губ, словно бы готовых улыбнуться.

Было жарко и ветрено. Степь разморенно покачивалась. Кладбище издали напоминало обезлюдивший табор. Оставалось ехать совсем недолго, но у грузовика вдруг заглох мотор. В полной тишине шофер чертыхался, загородившись поднятым капотом. Все молча ждали, и Роза тоже тихо ждала. Она казалась более живой и теплой, чем отец, чью безучастную скорбь можно было спутать с выражением крайнего недовольства...

Наконец доехали. Среди обветренных до блеска памятников и сухонькой травы Сидельникова поразила неопрятность глиняной ямы, в которой им предстояло оставить Розу.

Здесь распоряжались, покрикивая, два надменных могильщика:

— Подходите!.. Прощайтесь!.. Развяжите ей руки... Ноги тоже! Подверните простынь. Все, закрываем... Взяли... Отойди, бабка...

Закапывая, прервались на перекур. Сидельников взял лопату и сам стал закидывать яму. В стороне от всех сдавленно плакал Иннокентий.

После того как пирамидка с железной звездой заняла свое место на зыбком холмике, все еще немного постояли и пошли назад к автобусу с чувством правильно выполненной работы.

Соседки переговаривались облегченными голосами. Старики в костюмах сохраняли чопорность. «Кто это может быть? — подумал Сидельников. — Поклонники вроде Иннокентия или бывшие коллеги? А где она работала? Кем она вообще была?» И тут он сделал возвратное движение всем корпусом, как человек, забывший спросить нечто важное у того, с кем только что простился наспех, или как вышедший из дома без ключа... Повернулся и замер, один на один со свежей могилой.

Потом вместе с мужиками он мыл горящие от лопаты руки в тугой струе из колонки и курил чужой «Беломорканал», ловя на себе неприязненные взгляды отца, уже сидящего в автобусе. Отец еще никогда не видел Сидельникова таким взрослым, курящим...

У поминального стола в Розиной комнате Татьяна разливала по тарелкам суп с лапшой и говорила вернувшимся с кладбища: «Заходите, расслаживайтесь». И Сидельникову с отцом она тоже сказала:

— Заходите!

Сидельников примостился в углу стола на пришлой табуретке. Он втолкнул в горло полстакана водки, суп есть не смог и потом не знал, куда бы незаметно задвинуть полную тарелку. Напротив него отец решал эту же проблему со своим стаканом — он только смочил губы для вида. Сидельников терпеливо настроился на длинное застолье, но вскоре все дружно встали, кроме Лиды, которая попросила добавки.

Позанимавшись, как положено, смертью, отдав ей должное, все разбрелись, чтобы жить дальше. Отец улетал предстоящей ночью.

Улица Нефтяников уже начисто не помнила ни о каком Шкирятове. После полутора кварталов молчания отец бодро начал:

— Значит, ты теперь студент?

— А, ну да... — Сидельников был рассеян и совершенно пьян.

— Мама на тебя жалуется, что ты грубишь, не слушаешься.

Внезапно Сидельникова затошнило — он еле успел отбежать за угол. Отец, морщась, поглядывал на часы.

— ...Так почему с мамой не ладишь?

— Пусть не унижает, — прокашлял Сидельников, чувствуя себя детсадовским ябедой.

У трамвайной остановки он спохватился:

— Можно мне с тобой в аэропорт?

— Не надо. Поздно уже будет.

Сухо расставшись с отцом, прямо от остановки он вернулся, надеясь в последний раз переночевать у Розы. Татьяна разрешила с легким недоумением. Комната, уже убранная, делала вид, что здесь не было поминок, а до этого никто не лежал на полу ничком. Все выглядело невинно, лишь одну из двух тапочек в толкотне запнули за кушетку.

Он не нашел простыни и застелил матрас на железной кровати пододдеяльником. Стремительно темнело, в окно стали вторгаться мотыльки. Сидельников потушил свет, разделся догола и лег, накрывшись ветхим колючим одеялом. В темноте возле окна сразу проступило нечто вроде слепого пятна — непроглядно черного. Понадобилось привстать, чтобы чернота приняла форму зеркала, занавешенного платком.

Зачем это делают? Ему говорили: в зеркале что-то может задержаться. Душа покойника? Или отраженная смерть? Если есть в этом обычае хоть какой-то самый слабый резон, то надо прямо сейчас... Он подошел к зеркалу и сдернул платок. Пыльное тельце бабочки ударило по лицу. Диковато глянул взлохмаченный голый субъект с блестящими глазами.

Приноравливаясь к молчанию комнаты, потерявшей хозяйку, к ночному дыханию августа за окном, Сидельников пытался если не измерить, то прочувствовать кромешные последствия ухода Розы. Но после долгих вслушиваний, уже около полуночи, он вдруг стал осознавать, что кромешности нет и в помине. То есть это только его, сидельниковская, душа была потрясена случившимся, а все вокруг пребывало в покое настолько полно-весном, словно бы некая мировая чаша сохранила себя в целости, без малейшего изъятия, не расплескав ни капли, и скорее даже чем-то пополнилась...

Над затихающим хором цикад и лепетом деревьев, над сонными вздохами города — поверх всего — можно было слышать океанскую работу каких-то колоссальных легких, которая удивительным образом совпадала

по ритму с ровным дыханием согнутого в зародышевой позе, почти уже спящего Сидельникова.

Перед тем как уснуть, он не забыл посильнее зажмурить глаза, чтобы удостовериться, продолжают ли свою быструю таинственную жизнь крохотные существа, видимые только с изнанки глаза, под закрытыми веками.

Они продолжали как ни в чем не бывало.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Из деревни он сразу отправил письмо Лоре, сопроводив нетерпеливые грустные слова картинкой с надписью: «Со мною вот что происходит». На рисунке чернело под мелким дождем луковое поле, где насекомые фигурки студентов, груженные мешками, неуклонно брели к одной большой цели — тракторному прицепу, увязшему в колее. Ответа Сидельников не дождался — ни на это письмо, ни на два последующих.

Хозяйка дома, в котором его поселили, сырая крупная женщина неясного возраста, взирала с уважением на сидельниковскую эпистолярную активность, а затем, посетовав на сломанные очки, попросила написать письмо от ее имени.

«Здравствуй, моя старшая дочь Людмила и твой муж Вячеслав!..» — писал Сидельников под громкую диктовку.

— Во первых строках письма сообщая, что мы живем хорошо. Ноги у меня болят. А несмотря, что перед дождями картошку не убрали, в доме не у шубы рукав, твой младший брат Николай лежит на печи и сьзт...

— Не ври, я только один раз, — вяло возразил присутствующий здесь же Николай.

«...лежит на печи и писает под себя (один раз)», — начертил Сидельников с уверенностью опытного редактора.

Сельская жизнь навела на него тоскливый ужас. И не столько потому, что все вокруг утопало в жирной грязи, — к ней Сидельников почти привык: при каждом шаге от дома до работы и уже на поле приходилось выкорчевывать ноги, как тяжеленные пни, и каждый новый шаг встречала новая трясына, то левая, то правая... Но даже во сне он помнил, что скоро уедет отсюда. А в лицах деревенских жителей, особенно немолодых, в их фигурах и чавкающей походке угадывалась пожизненная приговоренность к этому месту, которое стыдно не любить, поскольку — родина.

Когда небо ненадолго прояснялось, луковое поле становилось подобием пляжа — первокурсницы стягивали с себя свитера и блистали цветными купальниками. В месиве первобытной грязи нарядно раздетые девочки казались еще более нарядными и раздетыми.

Ребята — их, кроме Сидельникова, было трое — все без исключения сочиняли стихи, которыми при любой возможности зачитывали друг друга до потемнения в глазах:

Зачем не пьешь с бородачами
И песен наших не поешь?

Пили на самом деле неумело, но усердно. Однажды Сидельников принял участие в меропрятии, которое затеял Беслан, сын кавказского прокурора. (Знакомясь, он так и представлялся: «Беслан, сын прокурора».) Купленное впрок вино «Агдам» прятали, как партизанскую взрывчатку. Когда стемнело, на краю поля развели костер. Две приглашенные девицы Сидельникову показались необыкновенно красивыми. Они деловито растелили на земле целлофан и разложили принесенные помидоры. Все четверо были как-то неестественно оживлены, но не знали, за что пить. Сын прокурора каждую фразу начинал со слов: «У нас в горах...» Сидельников молчал. Плодово-ягодный «Агдам» горчил, как пережженный сахар.

Высокая девушка Наташа загадочно улыбалась Сидельникову, не забывая руководить маленькой худой Любочкой. Она бросила распалившемуся Беслану: «Не хватай меня за глупости!» А когда Любочка положила Сидельникову на плечо мятную головку, Наташа подозвала подругу и демонстративно громким шепотом спросила: «Ты помнишь, что у нас сегодня месячные?»

Ночью Сидельникову приснилась Роза. Был разговор, легкий, ни о чем. Но смущал и пугал платок у нее на голове, повязанный задом наперед, полностью занавешивающий лицо, словно это не лицо, а затылок. Сидельников спросил, зачем она так надела.

— Тебе лучше не видеть, как я сейчас выгляжу.

Еще поговорили о чем-то незначительном, и она сказала безо всякой связи:

— Зато я теперь знаю о тебе все. Ты только не бойся ничего, ничего не бойся.

К середине месяца погода вроде бы одумалась, посветлела, и тут же странным образом захирели полевые работы. Детина из комитета комсомола, всегда с засученными рукавами, но не вынимающий рук из карманов, перестал подзуживать и подгонять. Потом сломался трактор. Сидельникову два раза доверили лошадь с телегой, и он, абсолютно счастливый по причине полного взаимопонимания с понурой клячей, изумлялся ненужности вожжей. В пределах видимости пункта назначения он начинал мысленно репетировать командную интонацию для слова «тпру-у!», но испытанный скакун сам останавливался в точности там, где надо. На третий раз конюх был не в духе и оставил Сидельникова ни с чем, пробурчав что-то в том смысле, что лошадь сломалась тоже, как и трактор. Теперь можно было хоть целыми днями лежать на спине, лицом к лицу с сентябрьским небом, не выражающим ничего, кроме бесприютности.

Закрывая глаза, он видел Розу, лежащую сейчас вот так же — на спине, только без всякого неба, под двумя метрами глины и доской, обтянутой красным сатином, но в его снах она была живой и улыбчивой, почти не говорила и всем своим поведением давала Сидельникову понять, что горевать, в сущности, не о чем, все правильно. Так что он пробуждался приободренный и если на задворках промозглого утра натыкался памятью на недавние похороны, то они представляли необъяснимой оплошностью, не имеющей автора.

Вскоре кому-то из первокурсников пришлось в голову обратиться к детине из комитета комсомола с интимным признанием о симптомах дизентерии. Обратившийся прятал глаза, стыдливо кусал заусенцы и был отпущен из колхоза на все четыре стороны. Заболевание мгновенно приобрело повальный характер. Девятой жертвой этой эпидемии пал Сидельников.

...В городе ранняя осень еще как бы соблюдала приличия, прежде чем рухнуть лицом в собственную грязь. Юному провинциалу было неинтересно обживать квадратные метры на подступах к общежитской койке — его тянули как минимум проспекты и скверы. Ему нравилось просто стоять на остановках, где о любом подошедшем трамвае или троллейбусе он мог на равных основаниях подумать: «это мой» или «это не мой», поскольку не существовало ни единого адреса, где бы его ждали. То, как вообще возникают подобные адреса, ему представлялось теперь главной загадкой природы.

Сам не зная зачем, он входил в парикмахерскую, называющую себя салоном, но пахнущую банно-прачечным комбинатом, и занимал очередь, хотя стричься не собирался. Из-за приоткрытой двери «дамского зала», из его зеркального нутра высокомерно глядела молодая распаренная императрица в белой чалме, и было видно, как под ее престолом круглая нога в дымчатом чулке извлекает себя из высокой туфли и маленькой полупрозрачной пяткой чешется о другую ногу. «Скажете, что я за вами?» — спрашивал некий дворянин. «Разумеется», — учтиво отвечал Сидельников, как видно, уже включенный во взаимоотношения высшего света.

Этот город, основанный чуть позже Санкт-Петербурга, поначалу грешил туповатым подражанием северной столице, как старшей сестре, даже рифмовался с ней по именам. Однако через пару веков, во времена еще более жесткие, наплевал на всякое фамильное сходство, сменил имя и после недолгих левых увлечений пошел кремнистым, но прямым путем к военно-индустриальному классицизму. На фронтонах домов культуры напряженно громоздились рабочие, солдаты и матросы с выражением такой угрожающей правоты, что Сидельников, проходя под их каменными взглядами, чувствовал себя неправильным и виноватым.

На этих улицах, под приглядом официальных вывесок, он стал испытывать что-то вроде страха разоблачения, правда, плохо себе представлял, что именно следует скрывать. Почему-то он вдруг с тревогой вспомнил Мехрина, которого видел-то всего единожды и до сих пор ни разу не вспоминал. Чудилось, что весь город подчинен таким же утесам в шляпах. Впрочем, едва ли не равноценным утешением служили два теплых беляша в промасленной бумажке, купленных на улице и съеденных в извинительной близости к жестяному лотку с этим яством. Таким был обед. Поужинать он, как правило, забывал.

Ему повезло с местом в общежитии: всех рассовали по шестиместным комнатам, а Сидельникову досталась двухместная, на пару с Геной Штраусенко, общежитским вахтером, похожим на пастуха и барана в одном лице.

— Значит, так, — сказал Штраусенко с деланной суровостью. — Будем жить обоюдно. Я вожу кого хочу, а ты водишь кого хочешь. В чужой монастырь... сам знаешь... Согласен?

Сидельников не возражал и приготовился быть живым свидетелем дикого разврата. На самом же деле скрытой драмой двадцативосьмилетнего Штраусенко было полное небрежение со стороны девушек и женщин, которых все никак не прельщала баранья внешность вахтера и его пастушьи манеры, отточенные в единоборстве со студенческим стадом.

По ночам Сидельников будили странные визгливые звуки, издаваемые кроватью соседа. В темноте казалось, что Гена безуспешно пытается распилить панцирную сетку...

Когда же к Сидельникову стали забегать сокурсницы — за конспектом или за сигареткой, — Штраусенко решил, что имеет дело с дамским любимцем, и завел новый разговор:

— Так, значит. У тебя девок много? Много. Ты возьми какую-нибудь — договорись насчет меня. Понял?

— Нет, — ответил Сидельников, — не понял. Я к тебе сутенером не нанимался.

— Ну, значит, тебе здесь не жить, — подытожил Штраусенко и ушел на трудовую вахту.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Должно быть, Роза не слишком нуждалась в повседневной памяти по себе и ей хватало сидельниковских снов, куда она входила беспрепятственно, просто так — *побыть*, повидаться, обнадежить присутствием. И постепенно так раскладывались роли, будто он — рискованный десантник — всякий миг на грани подвига или бедствия, нуждается в особой страховке, а с ней-то, Розой, как раз все в порядке.

На занятиях в университете Сидельникову порой казалось, что он сходит с ума. Его попеременно одолевали страх и приступы смеха. Страшно было, например, встречаться взглядами с факультетским начальством, которое могло в любой момент заподозрить, что он не тот, за кого себя выдает, и вышибить двурушника на улицу, где он сможет наконец без помех опознать и выслушать себя натурального... Матери, конечно, сообщать ничего не будет — по крайней мере до ухода в армию. Но в поисках свобод-

ной вокзальной скамейки для ночлега (ведь из общежития тоже вышибут) он вряд ли станет сожалеть о своем идиотском смехе на лекциях декана.

Декан по фамилии Кульков, ответственный за русско-советскую литературу, в целях наглядности рисовал мелом на доске лестницу писательских дарований, похожую на спортивный пьедестал почета. Высшую, чемпионскую, ступеньку там занимал Горький, а в самом низу пресмыкался Бунин, недописанный, поскольку на него не хватило мела.

Кулькова сильно беспокоил поэт Блок.

— Вы понимаете, — говорил он пылко, — вот эти вот стихи-то о Прекрасной Даме, они же сочинялись только в период времени до свадьбы! А когда Алексан Саныч и Любовь Дмитриевна уже, так сказать... — Кульков искал слово поточнее, медленно сближая указательные пальцы, — уже, так сказать, *присовокупились*, вот тут он, сами понимаете, и перестал...

Сидельников прятался носом в ладонь и, рискуя задохнуться, чихал и кашлял одновременно. Он оглядывался на сокурсников — все слушали с должным равнодушием, никто не смеялся.

В портфеле у Сидельникова лежал «Архипелаг ГУЛАГ» — у кого-то позаимствованная бледная ксерокопия. Можно было не сомневаться, что, если бы этот вопиющий факт дошел до Кулькова, Сидельникову пришлось бы опознавать и выслушивать себя уже не на улицах, а в соответствующих кабинетах. (Кто бы мог предвидеть безумные времена, когда декан Кульков распахнет свои пыльные полномочия и на антисоветскую литературу, написав целую монографию о Солженицыне, которую, впрочем, неблагодарные современники почти не заметят...)

Сидельникова стали узнавать на переговорном пункте, куда он первое время ходил чуть ли не каждый вечер звонить Лоре. Даже не ходил — он бегал туда, как раненый новобранец в травмопункт на перевязку. Предварительно всякий раз в ход шли сложные математические операции по вычислению некой дроби, где хрупкий числитель — карманная наличность — рассыпался прямо на глазах, а знаменатель распухал, вбирая в себя условные беляши, на которые так или иначе еще придется потратиться, и телефонные минуты, которых Сидельникову всегда было мало. «Алло! — кричал он, дорвавшись до ее голоса. — Это я!» Но Лора отвечала сдержанно. Настолько холодно и сдержанно, что с трудом выгаданные минутные отрезки некуда было девать, равно как и его радость. Уже через полминуты оказывалось, что говорить как бы и не о чем. И Сидельников плелся назад в общежитие, ненавидя телефонную связь как таковую, Капусту, наверняка мешающую Лоре говорить по-человечески, а главное — собственную телячью радость. «Заткнись! Умри!» — твердил он кому-то внутри себя, кому-то желторотому, угнездившемуся в солнечном сплетении. Предстояло привыкнуть к тому, что однажды подаренное любовью навсегда может быть с легкостью отнято без объяснения причин.

Общежитие населяли провинциалы. В глазах своих провинциальных родственников, друзей и знакомых они выглядели везунами, совершившими смелый рывок в настоящую большую жизнь, вроде той, что показывают по телевидению. Настоящая жизнь в общежитии начиналась поздними вечерами, ближе к ночи, когда уже не работала ни одна торговая точка, а всем хотелось есть, пить, курить и общаться. По узким коридорам пяти этажей, словно по сельским улицам, прогуливались в шлепанцах, цветастых халатах, тренировочных штанах. Самые безбытные заглядывали в комнаты к более запасливым и как можно непринужденной выпрашивали чего-нибудь пожевать или покурить. Те, кто кучковался вокруг закопченного чайника или бутылки, вызывали зависть. Обращали на себя внимание совсем уж неприкаянные общежитские сироты — эти не смешивались ни с одной компанией, но были рады прислониться к любому застолью. В указанном смысле обшарпанная штраусенковская комната представляла собой Эльдorado — здесь выпивали пять-шесть вечеров в неделю. Штрау-

сенко заметно гордился тем, что к нему едут и едут приятели со всех концов города. Но, по наблюдениям Сидельникова, штраусенковские гости лишь использовали эту жилплощадь в качестве посадочного места для распития добытых жидкостей, а присутствие хозяина вынужденно терпели как убогую закуску типа черствого плавленого сырка.

Среди общежитских сирот особо выделялась беззубая Надя, которая, конечно, никакой сиротой себя не числила, а, наоборот, беззастенчиво блистала внешностью итальянской кинозвезды и соответствующими нарядами — то длиннющими, до пола, то чересчур короткими, но непременно облегающими, с блесками и полуголой грудью. Неполнота и разнокалиберность передних зубов Надиной красоте не вредили. Однако от нее обычно шарахались и держались подальше, как от заразной или неблагонадежной, возможно, потому, что Надю по загадочным причинам исключили с четвертого курса и она обитала в общежитии нелегально, на птичьих правах.

Сидельникову Надя, прикуривая, сказала малопонятную лестную фразу: — Вы мне, наверно, понравитесь. Какой-то немного прустовский.

Он смутился и нечаянно уткнулся взглядом в ее ноги, напоминающие о породистых лошадях. Рядом с Надей казалось, что находишься за кулисами цирка или в гримборной балерины.

Обычно она являлась в штраусенковское Эльдorado на исходе первой бутылки и небрежно допивала остаток, если бутылка была только одна. Если несколько — сперва отказывалась пить, потом соглашалась и в любом случае пила мало, но досиживала до конца. Исходя из этого Штраусенко за глаза называл ее халывщицей, а в присутствии гостей обращался как с надоевшей любовницей, видимо уверенный, что так оно и будет со временем: куда она денется, раз приходит почти каждый вечер и сидит? Надя сносила такое обращение с удивительной кротостью, то есть как бы не замечала.

После разговора о девках и сутенерах Штраусенко перестал приглашать Сидельникова за стол. Отлученный от пиршеств был этому только рад, потому что устал засыпать с пьяной головой. Теперь, невзирая на застолья, он лежал на своей койке поверх одеяла и читал книжки. Когда сосед заступал на вахту, Сидельников пользовался незанятым столом. В такие вечера беззубая Надя заходила тоже, минут на пять — перекурить и задать пару нескромных вопросов. К примеру, она возникала на пороге в огромном ореоле блестящих черных локонов (хотя накануне волосы были гладкими, цвета каштана), вздымала всю эту роскошь обеими руками над собой и спрашивала:

— Как вам мой новый образ?

— Очень, — отвечал Сидельников исчерпывающе.

Сейчас она была похожа на герцогиню Альбу из недавно виденного фильма «Гойя». С поднятием рук обнажались подмышки — неправдоподобно гладкая белизна.

— А что лучше всего? — уточняла Надя.

— Подмышки, — признавался Сидельников.

— Напрасно вы так индифферентны, молодой человек, — укоряла Надя, прежде чем уйти.

— Ладно, я исправлюсь, — глухо бормотал он.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Эту пару, с трудом вошедшую в трамвай, выделяла среди пассажиров старательная отгороженность от всех — как будто им пришлось вынести из своего закутка кусочек запертого пространства и перемещать его, словно тайную колыбельку, сквозь уличные и трамвайные толпы, храня от столкновений. Примерно так же везут в людном общественном транспорте

хрусткий дорогой букет или сломанную руку — так они предпочитали себя везти. На самом же деле они топорились, торчали, задевая все и вся.

Двое, мальчик и старуха, протиснулись к свободному сиденью — он сразу сел, она встала рядом. Мальчику было лет шесть или семь. Бессмысленно полуоткрытый рот, сплюснутая переносица, красноватые складки возле поросычьих глазок — хватало беглого взгляда, чтобы узнать так называемого дауна. Старуха, похожая на высохшую травину, тянула к его лицу платок, пытаясь что-то вытереть. Но мальчик, отмахиваясь, звучно бил ее по руке пухлой недоразвитой пятерней. Он вообще держался как наследный принц: вокруг суматошились подданные со своими низменными нуждами — торопливо набивались в вагон, таща какие-то сумки, забрызганные осенней грязью; а ему ничего не оставалось — лишь скорбно взирать на доставшуюся державу, далекую от совершенства.

Сидельников, зажатый в толпе, неотрывно смотрел на дауненка и поражался — в его поросычем личике и впрямь читалось почти королевское величие, даже спесь. И вдруг до Сидельникова дошло самоочевидное: настоящее и будущее этого мальчика, его защита, его страна и все его подданные — все сосредоточено в одной тощей согнутой старухе, еле стоящей на ногах.

Сойдя на незнакомой остановке, Сидельников добрал до куста на обочине и остановился. Он забыл, куда ехал, его трясло. Сейчас ему нужна была только Роза — окружающий мир состоял из ее отсутствия. Запрещенное желторотое существо испуганно колотилось в зарослях солнечного сплетения, заставляя все тело дрожать. И по этим, как ему казалось, отвратительно стыдным признакам он понял, что плачет. Не проронив ни намека на слезу возле ее гроба и могилы — здесь, в чужом городе, он наконец оплакивал Розу, так и не дожившую до его любви.

Роза, кажется, не обратила внимания на происшедшее. Она продолжала посещать его сны, но говорила с ним так же мало, как и при жизни. А возможно, к утру ее слова просто забывались. За три недели Сидельников припомнил одну фразу, которую она повторила дважды, — что лучше бы ему переселиться в другую комнату. Но он успел привыкнуть к двухместной конурке и соблезновал тем, кто живет вшестером.

Гости с бутылками набегали то чаще, то реже. Пронзительный аромат Надиных духов почти не выветривался из Эльдорадо. Однажды в отсутствие Штраусенко, когда Сидельников только что стер липкие пятна со стола и разложил конспекты по английскому, Надя предстала перед ним коротко стриженной блондинкой в чем-то вроде скользкой ночной рубашки.

— Геннадий на вахте? Это хорошо.

Она вдруг повернула ключ в двери и расслабленной походкой манекенщицы подошла к Сидельникову. На него пахло пудрой, вином и сладковатым потом. Пока он тупо соотносил права зрителя с обязанностями джентльмена, аттракцион успел начаться.

Так и не вставший со стула, он пребывал в идиотическом сомнении — можно ли ему смотреть, как Надя, разувшись, нетерпеливым извилистым движением задирает повыше тесный черный шелк, высвобождая из-под него голые бедра, разводит ноги в балетно-цирковой растяжке и, не отрывая широко расставленных ступней от пола, натягивает себя, как влажную перчатку, на горячего истукана, которого она минутой раньше извлекла на свет и по-быстрому сердито обласкала.

Сидельников мысленно сравнил себя со спортивным снарядом, пригодившимся для захватывающего гимнастического упражнения. Никто из них не произнес ни слова. Сцену озвучивали только ритмичное дыхание гимнастки и звонкое чмокание соприкасающихся тел.

Стук в дверь здесь был явно излишним. Но стучали по-хозяйски громко — стало быть, возвратился Штраусенко. Действующие лица сделали вид, что временно оглохли. Вахтер еще немного потарабанил, в сердцах

крикнул: «Твою мать!..» — и куда-то убрался. Через минуту ушла Надя, сказав на прощанье:

— Вы не поверите, но вы мне уже понравились.

Сидельников не знал, куда девать себя. Бочком, как диверсант, он прокрался по коридору в душевую и встал под воду. Состояние было одновременно вкусным и тошнотворным.

...На следующий вечер Штраусенко принимал очередных гостей. К половине первого ночи диспозиция была такая. Возле стола — хозяин, вдохновленный портвейном, Надя с недопитым стаканом, один гость, блаженно сползающий со стула в никуда, и второй — с байронической думой и бородавкой на челе. На койке — Сидельников с только что купленной книжкой стихов.

Разговор происходил следующий.

Штраусенко (игриво):

— Надька, тебе денег надо?

Надя (глядя в стакан):

— Надо.

— А ты б Сереге за сколько дала?

Серега, ненадолго переставая сползать:

— Сколько-сколько?

Надя (Сидельникову):

— Вы, кажется, стихи читаете?

Байрон с бородавкой (мрачно):

— Ну ты динамистка!

— А какие стихи — не секрет?

— Да так...

— Прочтите, пожалуйста, — только мне.

Штраусенко (театрально):

— *Многим ты садилась на колени...*

— Штраус, — попросила Надя, — рот закрой.

— Чё ты мне рот затыкаешь! Ходит тут каждый день, пьет на халяву да еще умную рожу корчит...

Надя осторожно поставила стакан.

— А ты что, на свои деньги пьешь? — спросил Сидельников.

— Вот сука! — мрачно заметил Байрон непонятно о ком.

— Халявщица. Вкалывать вон иди. Лишних зубов много осталось — сейчас пересчитаем.

— Ты, что ли, считать будешь? — спросил Сидельников.

— Ну и сука! — повторил Байрон и невзначай шлепнул вахтера по лицу. Тот не обратил внимания.

— У меня с такими шлюхами делов на два счета. Раз — и на матрас!

— Гляди-ка, дрессированный баран — до двух считать умеет, — проговорил Сидельников, задыхаясь от внезапной злости.

— Пойдем выйдем? — не очень решительно предложил Штраусенко.

Но Сидельников уже встал с койки и обувался. Ему никогда еще так сильно не хотелось драться. «Пусть, пусть он только начнет первым — я его не пожалею».

Они остановились выжидающе в слепой кишке пустующего ночного коридора. Уловка вахтера была простой донельзя. Помедлив, он бросил дураковатый взгляд поверх сидельниковского плеча, Сидельников оглянулся — и в ту же секунду получил беспощадный удар по носовому хрящу, сопровождаемый тонким звоном вроде сломанной льдинки и горячим кровавым духом. Совершенно ослепший, он всадил кулаки несколько раз то в изменнический воздух, то в щетинистую невидимую морду, а потом, услышав топот убегающего Штраусенко, сел на пол коленями врозь, наклоняя голову, чтобы не мешать выливаться красному соленому ручью.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Лейтенанта милиции, прилипшего к Сидельникову в приемном покое Первой городской больницы, интересовало только одно: кто из участников драки был пьян, кто — нет. Привезенный на «скорой» отвечал неохотно, а к концу допроса попытался использовать «товарища майора» в качестве зеркала, чтобы узнать точное местонахождение сломанного носа.

— Конкретно под вашим левым глазом, — ответил повышенный в звании.

Всю оставшуюся ночь Сидельникова гоняли с первого этажа на четвертый («Идите на рентген»), с четвертого на первый («Ожидайте внизу») и снова на четвертый («Принесите снимок»). Сперва снимок не удался, потом удался, но потеряли какую-то важную карточку, и так далее.

При очередном восхождении, где-то между первым и четвертым этажами, Сидельников прикорнул виском к холодным деревянным перилам и попробовал уснуть. Но тут из мрака прилетела девушка в белом и закричала: «Что вы ходите, больной! Вам вообще нельзя ходить!» Его свалили на каталку и повезли в операционную. Последнее, что он запомнил из той ночи, — доверительный разговор с хирургом, задавшим странный вопрос:

— Ну что, руки связывать будем?

— Зачем?

— Будет сильно больно, а наркоза не будет.

— А так — для чего?

— Чтобы нос прямой был.

— Не надо связывать.

...Вечером в больницу неожиданно пришел Беслан, сын прокурора.

— Штраус предлагает тебе деньги. Четыреста рублей.

— За что?

— Он боится, ты его посадишь. У нас, например, в горах...

— Да пошел он знаешь куда!..

На другой день предлагаемая сумма выросла до полтысячи.

Глаза Беслана сияли:

— Ты представь, да, — пятьсот рублей сразу!

Сидельников попробовал нецензурно выругаться, но запнулся — забыл порядок слов, принятый в таких случаях.

— Что ему передать? Сколько хочешь?

— Пусть ищет мне место в другой комнате, я с ним жить не буду.

Он написал коротенькое письмо матери, потратив на него целый час («У меня все хорошо, учусь, не болею...»), а затем часа два лежал, пялясь в потолок, изукрашенный лепниной, усматривая подозрительную связь между грозными потолочными излишествами и неправильностью своей жизни. То, что на каком-то отрезке она искривилась в ошибочную сторону, Сидельникову было очевидно, однако ему никак не удавалось нащупать след самой погрешности...

Отлежавшись, он принялся исследовать больницу, где ему предстояло коротать не одну неделю. Все в ней подавляло огромностью и неуютом: лестничные марши, коридоры, закоулки, пыльные растения в кадках, оконные проемы и сквозняки. Люди здесь не жили, а мучительно переживали прогал во времени, словно в тюрьме или на вокзале, который мог стать и конечным пунктом. Все ждали «обходов», «посещений» и «передач» — самые волнующие слова. Вопревшие посетители грудились в загончике на первом этаже в позах провожающих-встречающих, держа наготове мешочки, банки, сетки, чтобы в удобный момент впихнуть их случайному курьеру из числа отъезжающих, которые шныряли где попало в пижамах и шлепанцах на босу ногу («Мужчина, вы с какого этажа? Будьте добры...»).

Сидельникова не посещал никто. Но он систематически спускался к загончику и вглядывался в лица толпящихся, притворяясь, что кого-то ищет, а уходил со свертками в роли курьера.

Как-то перед ужином Сидельников разведдал на первом этаже узкий проход в нише под лестницей, которого раньше не замечал. За неприметной дверью начинался низкий мрачноватый коридорчик, обшитый досками. В наклоне деревянного пола угадывался равномерный спуск. Сидельников прошел не менее сорока метров — подземный ход все длился. После еще полутора сотен неуверенных шагов он вдруг сообразил, что находится уже очень далеко от больницы, и попробовал осмотреть себя посторонними глазами: несвежий бинт вместо лица, арестантская пижама, драные казенные тапки — беглый каторжник, готовый ко всему.

Подземный коридор внезапно закончился грязной, с потеками, тупиковой стеной, которую Сидельников узрел метров за десять. Слева от стены виднелся темный дверной проем. Несмотря на боязливую вкрадчивость последних двадцати шагов, он чуть не споткнулся о босую женскую ступню. Прямо у его ног на полу лежала распластанная в откровенной позе молодая женщина, совершенно голая, с кровавой дырой в низу живота. Сидельников отпрянул, с трудом перевел дыхание и снова заглянул за косяк. Мертвое тело казалось томным и теплым, словно только что из постели. В глубине комнаты, похожей на чулан, лежал еще один труп, девочки-подростка, — скелетик, обтянутый сиреневатой гусиной кожей.

Обратно он почти бежал, боясь повстречать кого-нибудь живого. Посетители все так же толклись в загончике, не подозревая ни о чем. В столовой гремели посудой и вяло доедали водянистую кашу. И поразительней всего была *одновременность* наблюдаемых процессов: вот ЭТИ сидят здесь, ТЕ — лежат там. Больничный замок чинно высился над своим трупным подземельем, опираясь на него, как на единственно возможный, законный фундамент.

...В больнице почти не было возможностей для уединения, поэтому Сидельников неожиданно полюбил дневной сон, куда он уходил, как на свободную территорию, не замусоренную лишними словами и взглядами. У него даже сочинилась теория о том, зачем вообще человеку надобно спать, — как минимум затем, чтобы регулярно оставаться наедине с самим собой, выслушивать и накапливать себя. Без этого он может быть просто растащен на куски будничными впечатлениями и разговорами.

— К вам пришли. Какая-то артистка... — В глазах медсестры впервые просвечивало любопытство.

Отыскать артистку в многолюдном коридоре было легко. Надя прохаживалась, как на подиуме, демонстрируя свои несравненные ноги, короткое самодельное манто и вопиющий макияж. Ее сразу привела в восторг сидельниковская бинтовая маска.

— О! Мистер Икс! — вскричала Надя, привлекая всеобщее внимание. — *Устал я греться у чужого огня!*.. А где здесь можно покурить?

Ни одного легального места для курения, кроме мужского туалета, Сидельников не знал, поэтому рискнул сводить гостью в подземелье, но мертвецкую не показывать. Таинственная полутьма тут же вдохновила Надю на решительные акции, как-то: поцелуй в шею, показ ажурного белья, вольная борьба с больничной пижамой. Попутно было сообщено, что для Сидельникова уже нашлось новое койко-место; что ему и Штраусенко присланы повестки из милиции; что у герцогини Альбы имеются не только подмышки, будьте справедливы; что она им восхищена и соскучилась; что теперь она живет в квартире уехавшей подруги, в связи с чем приходите в гости, вот адрес.

После визита Нади соседки по коридору стали поглядывать на Сидельникова со значением. Он лежал безучастный среди шумного дня под одеялом и повторял про себя, как маленький: «Хочу домой», осознавая с постепенным ужасом, что никакого дома у него нет в помине, а если что-то и было похожее на дом — это комната Розы в коммуналке на улице Шкирятова.

Уже начинался ноябрь. Пора было выбираться из больничного замка...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Поезда в направлении его родного города уходили каждый день, и сам этот факт служил Сидельникову чем-то вроде спасательного круга. При любой возможности он покупал билет в плацкартный или общий вагон, собирал одежду в сумку — и ехал, хотя бы на несколько дней. А поскольку поводами для отлучек неизбежно оказывались если не каникулы, то праздники (самые официозные — с парадом и демонстрацией — годились тоже), каждая поездка заведомо была окрашена в праздничные цвета.

Плюс ко всему это было равносильно эвакуации из общежития как эпицентра алкогольного взрыва, где критическая масса провинциальной тоски обеспечивала цепную реакцию злости. Застолья взбухали, перерастая себя, выламывали рассохшиеся дребезжащие окна вместе с рамами, рыгали, выкатывались на этажи, съезжали по перилам — и далее везде. Чужие постели в незапертых комнатах стонали под игом общего пользования. Фаянсовые раковины в уборных и кухнях раскалывались, как орехи. Специальным шиком считалось метание порожних бутылок во всю коридорную длину.

Если отвлечься от сидельниковской любви к отъездам и взглянуть на них со стороны, то ничего особо радостного там обнаружить не удастся, кроме разве что *предвкушения* радости. Чего он мог ждать? Например, необыкновенных попутчиков. Первая, вечерняя, часть пути у большинства пассажиров сводилась к торопливому раскатыванию грязнущих матрасов по шатким полкам цвета шоколада, вываленного в пыли, расстиланию неизменно влажной, с пятнами, постели, купленной у проводницы в порядке живой очереди, и поглощению домашней снеди на жирной газетке, припорошенной хлебными крошками и солью.

Сидельников шел курить в тамбур, уклоняясь от картофелевидных босых пяток, произрастающих на верхних полках. Почему-то именно холодные задымленные тамбуры запомнятся ему сильнее всего из тех поездок — возможно, как личные месторождения железистого терпения, в котором он так остро нуждался и без которого так легко было впасть в отчаянье либо пропитаться малодушным презрением к людям, ни в чем не виновным, работающим ради еды и говорящим о ней же.

На утренней станции, всегда на одной и той же, где-то возле Каженска, в вагон заходил веснушчатый глухонемой продавец кустарных фотографий, предлагаемых украдкой и потому завлекательных тройне.

Веснушчатый оглядывался по сторонам и показывал цены желтыми, лишенными ногтей пальцами. Как-то раз он всучил в тамбуре Сидельникову колоду карт, вымолив за них юродивым взглядом предпоследние два рубля, а Сидельников потом долго не знал, куда девать эту ораву из тридцати шести женщин в черных чулках, как в униформе, с плохо пропечатанными недоуменными лицами, на все готовых, с одинаковой старательностью навсегда раздвинувших бедра, чтобы никто не усомнился в наличии промежности.

Мать встречала его с порывистой нежностью, которой хватало, впрочем, лишь на первый день. Уже назавтра отношения воспалялись, как натертая, созревшая кожа. Но в начале, особенно первые два часа, все было исключительно хорошо. Мать наливала сыну миску борща, предупреждая, что еще будут пельмени, присаживалась рядом и просила: «Ну, рассказывай!» Сын был молодчина: ни разу не заболел, занятия не пропускал, регулярно питался в столовой — первое, второе, третье; к спиртному не прикасается, правда, курит; девочек на курсе много, но пока ни с одной не подружился. Подобная услаждающая душу информация целиком пригодилась для официальных каналов, то есть материнских телефонных разговоров с подругами.

Наконец пора сказать о том, что Лоры в городе больше не было. Вот почему на улицах стояла пустота, от которой закладывало уши. Географи-

чески неизменная Дарья Константиновна, созвонившись, передала Сидельникову письмо, в котором Лора сообщала ему о решении уехать к родителям в Приморье («...им нужна моя помощь, да и мне так будет легче жить»), просила не печалиться и не воспринимать ее отъезд чересчур мрачно. Он перечитывал послание вдоль и поперек, не доверяя зрению, вынюхивая между строками хотя бы слабый запах будущего, и, как ему чудилось, находил. «Ты ведь умница, — писала Лора. — Я на тебя надеюсь».

Как ни странно, в последней фразе было угадано теперешнее сидельниковское самочувствие. «Я на тебя надеюсь, — мог бы он сказать и самому себе. — Только на тебя, потому что больше не на кого». Роза — не в счет. Она сама, посещая Сидельникова, смотрела иногда с непонятной надеждой, словно от него зависело удовлетворение каких-то ее потусторонних нужд. А какие нужды могут испытывать умершие?

Вряд ли это было моментом решительного повзросления, но уж точно — окончательной утраты детства как возможности хоть кому-то пожаловаться. Так рыдающий ребенок, минуту назад абсолютно безутешный, почти мгновенно замолкает, когда за пределы видимости уходит взрослый слушатель его рыданий.

Но было совершенно непонятно, как, например, совладать с изнурительной жалостью к матери, на глазах увядающей и подурневшей, надрывающей худую грудь беспомощно-злыми криками по поводу и без повода, все так же с ног до головы зависимой от вражды с начальницей-завучем и от того, что скажут подруги по телефону. Сидельников жалел свой город, опустевший без любви, грустящий привокзальной грустью, отравленный дымами комбинатов, где за вредность труда удостоивали нарядных грамот и рыжих вымпелов с бахромой; негромкий город, заставленный со всех концов орущими памятниками в тугих кургузых пиджаках. Последний такой монумент, самый роскошный и безобразный, будет воздвигнут в центре Комсомольской площади, напротив драмтеатра, уже на закате советской власти, чью кончину горожане почти не заметят, поглощенные чрезвычайными трудностями отоваривания талонов на водку, сахар, курево, колбасу, моющие средства и все на свете.

Между тем город останется равным самому себе, не растеряв ни своих повадок, ни тем более достопримечательностей. Столь же убойным будет аромат знаменитых пирожков с требухой, такой же нетерпеливой и длинной, — очередь к заветной дымящейся тележке на левом берегу, за мостом. Жареные старгородские пирожки успешно переживут и построение счастливого будущего, и всех кремлевских долгожителей, и даже смену государственного строя, что заставит Сидельникова плодотворно поразмышлять о натуральных исторических ценностях.

Городская мифология нечасто, но пополнялась легендами, загадочными и в меру правдивыми. Одной из новых легенд стали воры — именно так, с тяжелым, угрожающим ударением на последнем слоге, называли некую группу местных жителей, ставших вдруг фантастически, оглушительно богатыми, как если бы они развели целую золотую реку, невидимую для окружающих. Согласно легенде, воры имели столько денег, что, к примеру, кавказцы, торгующие на рынке, или директор Комбината Прицепов и Тележек (обозванного вражескими радиоголосами «крупнейшим в мире танковым заводом»), или даже первый секретарь горкома КПСС в сравнении с ними выглядели жалкими побирушками. Так или иначе, но ограниченный контингент тайных рокфеллеров точно присутствовал — и не где-то, а здесь, в этом городе, что не могло не возбуждать как минимум простого любопытства.

В один из своих летних приездов на каникулы Сидельников жарким днем после пляжа наведаясь на Зауральную турбазу, о которой был слышан как о месте рассеянно-светского досуга неординарной публики. В центре лысоватой лужайки, обставленной деревянными домиками с ве-

рандами, он встретил вяло загорающего на банном полотенце Слона, шефа звукозаписи, не члена профсоюза. Других отдыхающих видно не было. Лишь из крайнего свежеекрашенного домика слышались пьяноватые возбужденные голоса нескольких мужчин и женщин. У крыльца, прямо среди пыльной травы, стояло нечто невероятное, вроде НЛО, — новый японский магнитофон. Не то чтобы Сидельников когда-либо грезил о такой технике — нет, ее просто не существовало в осязаемой природе, как, вероятно, и страны Японии. Массивный блестящий аппарат с надписью «SHARP», небрежно оставленный в траве, удивлял и впечатлял своим наличием, но вряд ли что-нибудь мог удостоверить.

— Кто это в домике? — спросил Сидельников у Слона.

— Да это воры, — ответил Слон так равнодушно и обыденно, словно речь шла о маленьких иссиня-черных стрекозах, летавших вокруг в назойливых количествах.

Та первая, заочная, встреча с рокфеллерами закончилась через полчаса, в начальной стадии внезапного разбойного дождя, не пощадившего ни слоновье полотенце, ни всеми забытый НЛО. Вторая встреча, тем же летом, окажется чреватой полным переворотом и без того шаткой сидельниковской планиды.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— Почему ты не спишь?

— Я пока не умею рядом с тобой спать.

— ...Давай ты еще потихоньку придешь?

— Мне бы лучше вообще не выходить.

— А давай я усну понарошку, а ты...

— Как специальный лазутчик!

— Или маньяк-наильник... Мне так хочется подольше не прибежать. А то ты сегодня первый раз только пришел — я сразу и прибежала...

Были у них с Лорой такие разговоры на самом деле? Несли они этот счастливый вздор? Еще как несли. И тот горячий шепот с яблочным дыханием, переливающимся изо рта в рот, и острый запах общего любовного пота были реальнее безглазой мумифицированной разлуки. И даже когда Сидельников вдруг постиг страшную вещь, которой лучше бы вовсе никому не знать, он не перестал тосковать по Лоре. А постиг он тот факт, что в конечном счете никто никого не выбирает и на месте единственной любимой могла быть иная, в сущности — вот он, ужас! — почти любая другая.

...Он теперь жил со студентами-химиками, которые относились к Сидельникову и ко всем представителям гуманитарных факультетов приблизительно так же, как некоторые глубоко военные люди относятся к штатским: «пиджаки», что с них возьмешь? Однако и среди химиков тесного фронтового братства не наблюдалось — каждый сам по себе, никаких застолий, ни даже общего чайника. Вечерами Сидельников пил чай на пятом этаже у туркменов, вдруг воспылавших к нему симпатией. Туркмены жили в такой прочной связке, что их вообще невозможно было встретить порознь. И когда они сбегали, с нарастающим топотом, со своей верхотуры, казалось, что по ступеням несется взмыленный конский табун и лучше бы посторониться. Старший по табуну, Аллаярров, в ходе чаепития вызнал у Сидельникова подробности инцидента со Штраусенко и, опустошив третью чашку, тихо сказал:

— Я его убью.

Неприятнее всего было вспоминать, как они ходили, согласно повестке, в милицию: Сидельников по одной стороне улицы, вахтер с видом побитой собаки — по другой. Обворожительная следовательша встретила их подлым вопросом:

— Ну что, вы обо всем договорились?

— Мне с ним не о чем договариваться! — Сидельников от возмущения сорвался на комсомольский пафос.

— Так, значит, будете писать заявление?

— Нет...

— Но почему?! — вскричала следовательша.

— Мне его жалко.

При выходе из кабинета Штраусенко глядел с победоносной наглостью, а Сидельников задним числом так и не смог здраво объяснить себе подоплеку этого убогого экспромта насчет жалости. И в ответ на аллаяровское «убью» он махнул рукой: дескать, не хватало еще идти под суд из-за дерьма всякого.

Спустя месяц, когда вахтер забежал в туалет попить воды и наклонился над краном, повернутым вверх струей, неведомый злоумышленник, подойдя сзади, ударил Штраусенко по затылку с такой силой, что раскрошил ему зубы о холодный металл. Вахтер, плюя кровью, плакал и заявлял, что ему мстят за бдительную службу на входе в общежитие. Мститель выявлен так и не был, но Сидельников сильно подозревал присутствие туркменского следа.

Что-то происходило с Надей, покинувшей общежитие и теперь забегавшей сюда как на экскурсию в резервацию бедных, но гордых индейцев, — какие-то полеты, вспышки и срывы. Временами она даже охладевала к собственной внешности и нарядам — блекла, темнела лицом, словно бы выжженная изнутри. Сидельников про себя называл это внутренним сгоранием, незаметно любовался Надей, но забывал уже через минуту после ее ухода. Однажды, например, обнаружив ночью под своей подушкой две холодные мандаринки, он так и не смог догадаться — от кого.

Надя часто просила ее «выгуливать» — Сидельников без большой охоты, но добросовестно просьбы выполнял. Места для выгула изыскивал такие, что лучше не придумать: то железнодорожный вокзал, то пельменную на Пушкинской, тесную и грязенькую, славящуюся, однако, пельменями ручной лепки. Один раз Надя затащила его на квартиру уехавшей подруги, где он с удовольствием посидел в пенистой ванне (редкая удача для жителя общаги), съел две тарелки салата оливье и со словами «большое человеческое спасибо» сразу же стал сматывать удочки, несмотря на приглашения хоть остаться на ночь, хоть навеки поселиться. Это жильё отпугивало его невнятным сходством с домом Дарьи Константиновны. Только там они с Лорой стояли обнявшись посреди комнаты, боясь даже задеть поверхность чужого быта, а здесь Надя, полуобнаженная, с сигаретой свободно возлежала на бесхозной тахте, задирая к потолку дивные балетно-цирковые ноги, на которые хотелось любоваться, — но ведь не селиться же теперь под куполом цирка.

— ...И где бы ты хотела жить?

Стояльцы в пельменной очереди смотрели на Надю как на экзотическое существо: с почти животной любознательностью и почему-то с боязнью. Сидельников подумал, что самая ослепительная красота, отпугивая очевидной неприступностью, чаще всего обречена быть не востребованной, а по большому счету — никому не нужной.

— Я хотела бы в Венеции. Или в Генуе.

На столе блестели подсыхающие разводы от пролитого уксуса.

— ...Потому что у нас дерьмо, а не страна. Что молчишь? Возрази хоть ты мне!

— Возражаю.

Пельмени кончались быстрее, чем голод.

— Я от тебя родить хочу.

— Это государство дерьмо, а не страна.

— Я же от тебя не требую отцовства. Это мой будет ребенок.

— А я что буду? Бычок-производитель — и все?

— У тебя никогда не будет денег. Купи мне еще сока, пожалуйста. Не обижайся. У нас ведь вообще не зарабатываешь, если только фарцой не увлекаться.

— Яблочный кончился, а гранатовый кислющий.

— Знаешь, мне придется в жены идти, за прописку...

Вскоре окажется, что претендент уже в природе существует, проходу не дает, то есть фактически волочится по пятам, на все готовый. И когда Надя по междугородней позвонит Сидельникову, отбывшему, как всегда, на каникулы в родные края, он не удержится, полюбопытствует:

— Ну как там прописка поживает?

— Вон уже полчаса ждет на крыльце, у почтамта.

...Лето в городке безумствовало, словно перед вечной зимой или накануне конца света. Самые захудалые скверы и палисадники пускались в неистовое цветение, как во все тяжкие, отдавая листву и бессчетные лепестки на растерзание жаре, коротким мощным ливням и опять жаре. С приходами вечеров Сидельникова тянуло неизвестно куда, но уж точно — за пределы дома и самого себя. В сумерках через парк культуры и отдыха, заросший смородиной и волчьей ягодой, сквозь тягучее благовоние кукурузного рыльца он выходил на медленно остывающий асфальт Комсомольской площади, каждый раз чувствуя себя участником невообразимых приключений, которые все запаздывают и никак не начинаются.

Усталый город спать ложился рано. Тем более вызывающим казалось позднее оркестровое гроыханье, исходящее из кафе «Яшма». На входе красномордый дядька в кителе без погон глядел по сторонам так, будто мечтал поглумиться над жаждущими войти. Несколько изгоев, оставленных за бортом веселья, просительно топтались в сторонке. Сидельников ускорил шаг и, сделав целеустремленный вид, обогнул красномордого быстрее, чем тот успел среагировать, но уже в зальчике, шумном и жарком, он сообразил, что целеустремляться, собственно, некуда. Человек сорок, на коротком отлете от полурастерзанных столов, совершенно ошалелые, как первоклашки без учительского присмотра, подпрыгивали и топали в такт нечеловечески громкому буханью динамиков, загораживающих вроде шкафов полукруглую эстраду с музыкантами.

Я вам не скажу за всю Одессу —
Вся Одесса очень велика!

Сидельников чуть растерялся, не зная, куда приткнуться, но почти сразу же из толпы пляшущих выскочила потная девица в обтягивающем гипюровом платье, схватила его за руку и затащила в круг. Он сделал неловкую попытку приноровиться ко всеобщим телодвижениям, а тут кончилась песня про Одессу, публика отхлынула в сторону недопитого, и гипюровая девица с горячим винным выдохом: «Идем к нам!» — повлекла Сидельникова к столу своей компании, где ему сразу же налили полный бокал и подвинули огромное мясное блюдо. Здесь отмечали день рождения высокой эффектной блондинки, сидящей в центре застолья. Пока похожий на Остапа Бендера молодой человек, блистая золотым клыком, провозглашал тост, Сидельников огляделся. Бутылки незнакомой импортной водки и сухого мартини, пять-шесть видов колбас, икра, какое-то черное мясо — ничего подобного не наблюдалось не только на других столах в «Яшме», но и на тысячах верст окружающей действительности. Толстяк с детской стрижкой снова наполнил сидельниковский бокал и простодушно пожаловался: «Люся меня прямо достала: купи да купи еще шубку... Я ей: «Люся, ну куда столько шуб? Давай, что ли, возьмем колечки с замечками?» Затем, доверительно понизив голос: «А шуба вообще-то замечательная!» Люся, украшенная нежными мальчишковыми усиками, поторапливала собравшихся, напоминая, что им еще предстоит «купание по-цар-

ски». Именинница по имени Валентина розовела и благоухала — она была родом из пышногрудой фламандской живописи и некоего галантерейного графства.

— Поедешь с нами купаться «по-царски»? — спросила гипюровая девица.

Сидельников кивнул. Он шел на поводу у безразличного любопытства и не хотел никуда сворачивать.

В вестибюле у телефона-автомата красномордый дядька сам угодливо предложил ему двухкопеечную монету, и Сидельников позвонил матери: он задержится у приятелей, возможно, до утра. Хмыкнув, мать бросила трубку.

Золотозубый Бендер остановил сразу два такси. Погрузились весело, вальяжно, причем Люся поспорила с гипюровой за право сидеть возле Сидельникова, — и рванули как на пожар по спящему городу.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Река в темноте была тугой и теплой. Она пахла свежевыстиранным бельем, молчаливой работой ста тысяч невидимых прачек.

После чьей-то команды: «Девочки налево, мальчики направо!» — Сидельников догадался, что купание «по-царски» требует раздевания догола. Вполголоса толковали оставшиеся за кустами таксисты. «Да это воры!», — проговорил один из них знакомую фразу.

Интимные касания воды отозвались беготней мурашек по коже. Войдя по грудь в текучую темноту, Сидельников оттолкнул ногами дно и нырнул. Если бы не теснота легких, можно было бы не всплывая мчаться вместе с рекой, принявшей форму его тела, и наконец впасть в открытое море, как в нестрашную, закономерную смерть. Он подумал, что уже далеко уплыл, и без желания вынырнул. Поверхность была прохладней глубины. Прежде чем нырнуть вновь, он нацелился на голоса купающихся, отвернувшись от недостигнутого моря.

И снова Сидельников долго плыл, забыв обо всех, покуда подводное столкновение с незнакомой гладкой наготой не заставило выпрыгнуть на поверхность, задевая близкое дно пальцами ног. При этом он сильно врезался животом в стоящую к нему спиной рослую женщину. Она ойкнула и засмеялась голосом Валентины, но тут же оборвала смех и затихла, не пытаясь отстраниться. И тогда Сидельникова мощно поволокла пьяная тяга — всего на пять слепых секунд, достаточных, впрочем, для прижима к податливой гибкой спине, широко отставленному заду и для повторения дикого удара животом, чему единственной слабой помехой стал тонкий водяной слой между телом и телом.

Справляясь кое-как со штанинами и липким песком на ногах, он презирал себя за воровскую спешку, но зачем-то надо было одеться раньше, чем остальные выйдут на берег. Они же, выйдя, никуда не торопились, шутили, закуривали, словно время — не ночь и за кустами не тикают счетчики такси.

Одетая Валентина опять стала именинницей и пышной галантерейной графиней, к которой Сидельников не решился бы подойти, — она подошла сама и, притворно оскальзываясь высокими туфлями в песке, сияя глазами, полными темной рекой, с силой оперлась о его предплечье.

— Ты завтра спи — не вставай, пока все не уйдут. Ладно?

И сразу, без перехода, шепот заговорщицы возрос до восклицания:

— Лен! Ты не видела мои бусы?

— Ничего я не видела! — ответила незастегнутая гипюровая с враждебной многозначительностью.

Район, куда они примчались после пляжа — стадо многоэтажек на бескрайнем пустыре, — Сидельникову был не знаком. Валентина жила в

трехкомнатной квартире, судя по всему, одна. В большой комнате мебель вообще отсутствовала — только электрический камин в полстены и тяжелый ковер во весь пол, на котором гости и возлегли вроде патрициев для закругления оргии. Ассортимент яств исчерпывался копченой колбасой и водкой. Возлегали с полчаса, обмениваясь редкими ленивыми словами, почти не глядя друг на друга, как бывает в плотно притертой компании. «Как в банде», — подумал Сидельников.

Остаток ночи он проворочался в дебрях натруженного храпа и сопения мужской половины банды. Женщины спали в соседней комнате. За тюлевой шторой уже светлело, когда он попрекнул себя в очередной раз, что живет, очевидно, ошибочно, и с чистой совестью уснул.

По его ощущениям, приблизительно спустя секунду все зашевелились, и толстяк свежим пионерским голосом запросил у супруги Люси шампанского. Сидельников мысленно установил стрелку будильника на полную тишину и заснул еще старательней. Тишина его и разбудила. Вокруг не было ни души. Он прислушался: в ванной шумела вода.

Через полгода, прокрутив тот день, как киноленту, он попробует выявить в нем пропорции случайного и неперемennого: могла Валентина, фактически чужая женщина, НЕ предложить ему, чужому, то, что, рискуя головой, предложила? Или несколько совместных часов в горячей взбалмученной постели способны стать решающими? Мог ли он сразу дать согласие, а не отмахнуться, полностью поглощенный, едва ли не проглоченный ее голыми полновесными прелестями?

Сказанное Валентиной на очередном переводе дыхания, после четвертого, что ли, восхождения, сводилось к следующему: неужели его, Сидельникова, место среди нищих — годами считать копейки? Она лучше с ним будет работать, чем с этими балбесами. Вся-то работа — кое-какие мелочи в Москву и в Ленинград отвезти-привезти. Ну и молчать, конечно, как рыба. А доучится он потом. Зато будет иметь все — все, что захочет.

— Ну скажи, чего тебе хочется? Хочешь дом на юге?..

Однако в той кинохронике Сидельников откровенно скучал при разговоре о деньгах и каком-то южном доме. Что его действительно интересовало в тот момент, так это непостижимость раздетого тела, лежащего рядом, его холеная тугая белизна и душистые складки, потрясал контраст изнеженной гладкости паха и приоткрытой красноты срамного дикого мяса. И когда эта солидная крупная женщина, отдаваясь, кричала неожиданно высоким, пронзительным голосом, он невольно принимал роль истязателя, чьей абсолютной трезвости могли бы, наверно, посочувствовать испытанные палачи.

Уходя, он пообещал, что позвонит, но она ответила: «У меня в этой квартире нет телефона, приезжай так» — и написала адрес на листке из блокнота. Потом принесла из спальни крохотный сверток, похожий на плотно упакованную колоду карт, сунула в карман его летней куртки: «Это тебе маленький сувенир». Когда Сидельников уже спускался по лестнице, она окликнула его и протянула какие-то синие картонные талончики: «Отдашь таксисту вместо денег». Почему-то именно тогда он подумал, что больше не увидит ее.

День, ветренный и жаркий, маялся, мотался из стороны в сторону, не зная, к чему бы склониться, кроме неизбежных сумерек. Сидельников пересек пустырь и пошел по обочине шоссе в случайную сторону. Запыленное такси вскоре вылетело ему навстречу, как по вызову.

Шофер непрерывно курил и подкручивал ручку приемника. Сквозь треск просачивалась песня «Надежда»:

В небе незнакомая звезда
Светит, словно памятник надежде.

«Если надежда не умерла, то зачем, спрашивается, ей памятник?» В поисках сигарет Сидельников нащупал в кармане Валентинин сувенир. Сверточек был крепко заклеен скотчем, пришлось порвать обертку. Несколько мгновений он тупо взирал на барельефный ленинский профиль, после чего быстро убрал все назад в карман. Сувенир оказался пачкой красных десятирублевых купюр — нетронутая банковская упаковка в тысячу рублей.

Первым его порывом было крикнуть шоферу, чтобы ехал обратно. С каменным лицом Сидельников позвонит в дверь Валентины и возвратит деньги. Она попытается что-то сказать, но он молча удалится. Затем возникло соображение, что такой подарок выглядел бы нелепо и даже оскорбительно, если бы Валентина не приглашала Сидельникова в свой таинственный бизнес. А так — она вроде бы заручается его согласием... В любом случае завтра-послезавтра он к ней поедет, чтобы вернуть купюры и объясниться.

Он напряг фантазию, стремясь одушевить залегшую в его кармане гигантскую денежную массу с тремя нулями, но не смог припомнить ни одного магазинного соблазна за соответствующую цену. Мопеды-мотоциклы и прочие транспортные средства Сидельникова не вдохновляли. И тут он вспомнил рассказ одной вагонной попутчицы о круизе по Средиземноморью. Рассказчица, правда, все больше налегала на заграничные цены и обстоятельства покупки изумительного мохера, но Сидельникову для впечатления хватило географического списка, услышанного из уст живой очевидицы: Марсель, Барселона, Неаполь, Крит, Мальта, Александрия... Не то чтобы эти имена влекли Сидельникова своей экзотичной новизной — наоборот, они были ему слишком хорошо знакомы, даже привычны. Например, он сто раз наизусть повторял стихи про «остров синий — Крит зеленый», в ослепительных деталях представлял встречу двух великих любовников, случившуюся в Александрии девятнадцать веков назад, но вот болтовня обычной тетки из плацкартного вагона, сломавшей каблук босоножки о теплую выщербленную плиту Кносского дворца, убеждала и потрясала так же, если не сильнее, чем свидетельства древних авторов.

Кто-то из пассажиров тогда практически поинтересовался, во сколько обошелся круиз. Тетка назвала цену путевки — восемьсот рублей, и чудо сразу получило громоздкий насущный эквивалент: двадцать сидельниковских месячных стипендий или зарплата его матери больше чем за полгода, если при этом вообще ничего не есть и не платить за жилье.

Когда впереди показалась Комсомольская площадь, Сидельников попросил остановить машину и отдал водителю запотевшие в горсти талончики. Тот кивнул с оттенком почтения.

До возвращения домой требовалось как-то избыть немотивированный прилив энергии — легким шагом пересечь площадь, обогнуть почти бегом безжизненную тушу драмтеатра, углубиться в парк, не пряча идиотскую улыбку. Парк по-прежнему тонул в своих травно-ягодных испарениях, со вчерашнего вечера ничуть не изменившись, словно бы не минули сутки и продолжается все тот же вечер. Перемена постигла самого Сидельникова, и как раз ее неуловимую природу хотелось понять. «Можно подумать, из-за этих чужих денег...» Мысль была корявой и стыдноватой. Он снова полез в карман — и похолодел.

Денег в куртке не было. Ни в одном кармане. В брюках — тоже, не считая собственных шести рублей двадцати копеек. Рывок назад, в сторону площади, скорее понадобился для очистки совести. Таксист уже укатил, с деньгами на заднем сиденье. Их найдет, возможно, другой пассажир. В случившемся присутствовала некая ледяная логика, диктовавшая Сидельникову только то, что завтра он должен будет поехать к Валентине.

Мать встретила его молча, ужинать не предложила.

Выпив холодного чая, раздевшись, он до половины первого перечитывал Гауфа.

Незнакомец в красном плаще с наглухо закрытым лицом подкараулил несчастного на Ponte Vecchio, у парапета, и произнес медленно: «Следуй за мной!» На флорентийских колокольнях пробил бесповоротный час, и пружина рассказа об отрубленной руке, не дающего ни разгадок, ни выходов, со свистом разжалась.

Роза явилась так стремительно, словно, озабоченная срочным делом, долго-долго с нетерпением дожидалась, когда Сидельников удосужится поспать. Наконец он зашел на территорию сна, то есть в пределы досягаемости, где можно было заявить ему предельно внятно и жестко: «Не вздумай! Ни завтра, ни послезавтра...» Еще никогда он не видел Розу настолько встревоженной и поспешил ее успокоить. Дескать, у нас ведь там, во Флоренции, без вариантов — все и так уже случилось, то есть уже поздно, я-то знаю: абсолютно роковые обстоятельства... Но она перебила почти грубо: «Давай не юли. Я не о том!» И без лишних растолкований подразумевалось, что речь о женщине по имени Валентина, и только о ней. Хотя спал Сидельников довольно долго, почти до полудня, единственно весомым остатком этого сна был окрик Розы, набирающий силу приказа: «НЕ ВЗДУМАЙ!»

Умываясь, он увидел в ванной на веревке свою рубашку, только что выстиранную. Он засунул пальцы в мокрый нагрудный кармашек — и не обнаружил ничего.

На кухне мать закатывала банки с вареньем из малины. Прежде чем задать безнадежный вопрос, Сидельников постоял у окна, окунул взгляд в эмалированный тазик с малиновой гущей, понаблюдая за мушкой, присевшей на сладком краю.

— Ты не видела бумажку с адресом?

— С чьим адресом?

Почудилось, что вопрос не был для нее неожиданным.

— Ну, такой листочек с адресом. В моей рубашке...

— А чей адрес-то?

Спрашивать расхотелось. Участь влипшей мушки не побуждала к солидарности.

Через два пустых дня он уехал в Средновск.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Если бы не профессор Дергунов, то никогда бы Сидельникову не попали в руки те чудные золотисто-фиолетовые стекла, позволяющие любому человеку увидеть своими глазами совершенно неопишуемые, за пределами красивые и страшные вещи.

Трудно сказать, что именно старый профессор возымел против своего студента. Возможно, роковой причиной дергуновской антипатии явился недостаточный восторг, нехватка почтения на лице Сидельникова в святые минуты, когда университетский патриарх с умилением повествовал зеленым первокурсникам о своем заветном — о годах дружбы с великим уральским сказочником Пажовым. В ту пору Пажов еще не оброс длинной фольклорной бородой, носил кожанку, маузер и был наделен правом расстреливать на месте любой социально ненадежный элемент. Боевое прошлое самого профессора было не столь романтичным и костюмированным, однако нескольких коллег-преподавателей заслуженный доносчик Дергунов упрямо всерьез и надолго, о чем на факультете знали почти все. Так что Сидельников в качестве слушателя допускал опасную беспечность, не делая восхищенную мину и вообще не хлопая лицом...

— Скажите, кто был теоретиком и вождем «натуральной школы»? — спросил Дергунов.

Он пристально разглядывал нежно-розовые ноготки на левой руке, держа правую под столом. Экзамен уже кончился. Сидельников, основательно ответивший на оба вопроса из билета, чувствовал себя на твердую четверку.

— Белинский.

Дергунов кивнул:

— Белинский был теоретик. А вождь?

Сидельников задумался. Для него было новостью то, что Белинский мог уступить кому-то роль вождя в такой скучной затее, как «натуральная школа». Неподалеку, хотя и в Италии, мерцала великолепная фигура Гоголя, но примешивать и его к этой мороке не очень хотелось. Нежные старческие ноготки сушили подвох.

— Гоголь...

— О! Вот вы и не знаете биографию Гоголя! — воскликнул Дергунов, явно довольный. — Николай Васильич тогда был за границей. Идите. Неудов-лет-ворительно. И не надейтесь на положительную оценку, пока... Русская литература — это не то, что вы себе думаете.

Все шло четко по гибельному плану, но в судьбу встряла эпидемия гриппа. Патриарх филологии крупно засопливил и ушел на больничный. А молодой доцент Починяев с той же кафедры без натуги отпустил Сидельникова с четверкой, удивляясь его неудачной первой попытке. Скамья на вокзале осталась вакантной. Правда, стипендия на полгода накрылась пыльным мешком.

...К тому времени Сидельников с успехом освоил новый для него вид спорта — жить на один рубль в день. Для этого требовались геройская выдержка и точнейший расчет, потому что, например, сегодняшний пропуск в виде комплекта открыток с живописью импрессионистов отнимал все права на завтрашний обед. А такой разврат, как рыбная консерва в томате или, не дай Бог, в масле, прошибал в бюджете дыру диаметром в несколько килограммов картофеля.

Лишение стипендии стало стимулом для профессиональных дерзаний. Карьеру ночного сторожа сделать не удалось — помешало засилье более резвых и удачливых карьеристов. Сидельников уже возмечтал о разгрузке товарных вагонов, когда вдруг поэт Юра, однокурсник, предложил ему должность вечернего подметальщика на секретном линейно-оптическом заводе, куда поэт недавно внедрился в том же подметальном качестве.

Совместные уборки мусора по вечерам в пустых цехах располагали к душевным разговорам о мировой культуре. Собеседники обращались друг к другу примерно так: «Видишь ли, старик...», «Да, старик, ты совершенно прав...». С мировой культурой надо было срочно что-то делать.

Будучи семейным человеком, Юра обычно торопился, чтобы уйти пораньше. Сидельников оставался один на всей секретной территории и совершал несанкционированные экскурсии. Так он набрел на мусорные баки. От нормальных вонючих помоек эта отличалась чистотой, можно даже сказать — стерильностью. Потому что здесь лежали сотни разнокалиберных стеклышек и линз, выкинутых в брак из-за крохотных сколов или царапин. Похожий восторг Сидельников испытывал, только когда они с Розой ходили в магазин «посмотреть бриллианты». Застывшие на лету брызги и капли, зеркально отшлифованные, словно облизнутые божественной нежностью, и теперь сияющие фиолетовым золотом на дне помойного бака, нуждались лишь в том, чтобы хоть кто-то бесстрашно прислонил к ним голый зрачок и обмер, прельщенный видом совершенно иной жизни, то есть вообще другой вселенной, разместившейся не где-то, а прямо тут.

Обалдевший Сидельников нешуточно подумывал о хищении малой толики драгоценного мусора в целях дальнейшего обалдения, однако мешали честные безоружные глаза военизированной охраны по имени Софья

Карповна, которую предстояло миновать на выходе, а также воспоминание о подписанной второпях строгой бумажке, обязавшей подсобного рабочего Г. Ф. Сидельникова хранить обороннооптические секреты.

Вскоре подметальщикам поменяли режим работы — перевели из вечерних в утренние, студентов заменили пенсионеры. Со стеклышками пришлось расстаться, но отнюдь не с помойками: Сидельников поступил санитаром в травматологию Первой городской больницы, где его уже знали, приняли как родного, даже удостоили персонального кабинета (в ванной комнате), доверив номерную швабру с ведром и пластиковые пакеты для всякой дряни.

Слово «санитар» лишь притворялось чистеньким. Все, к чему новый медработник имел служебное касательство, пахло бросовой кровью, нашатырем и йодом, харкотинной и плавающими в моче окурками. С санитарской точки зрения, больные только и делали, что гадили. Некоторые норовили воспользоваться сидельниковским кабинетом в самое неурочное время. Почему-то женщины почти не прятали бледную голизну от человека в белом халате, и Сидельников иногда сам себе казался эротоманом, который умышленно переделался медиком.

Когда Сидельникову не удавалось разобраться в себе, он применял самодельное средство, которое считал безошибочным. Нужно было вслушаться в самую первую утреннюю мысль — едва проснувшись, еще не открыв глаза. В эту минуту замкнутая душа спросонья проговаривалась, и можно было ухватить кончик запутанного клубка. Неожиданно для себя в нескольких зимних утрах Сидельников застиг Валентину. Он думал о ней как о женщине, с острым желанием, но без видимых симптомов любовной тоски, к чему был приучен Лорой. В одном из предутренних видений (почему-то на турецко-янычарскую тему) воспаленная сабельная сталь терзала — впрочем, без крови — покорную невольницу-европейнку, стонущую высоким Валентиным голосом... Вдруг, даже без усилий, всплыла ее фамилия — Лихтер, слышанная всего раз, при упоминании Валентиной бывшего мужа: скоропостижно объевшись груш, только фамилию после себя и оставил.

Теперь Сидельников мог найти адрес. Чтобы запустить механизм перемены участи (не обязательно в лучшую сторону, но уж точно — *перемены*), достаточно было всего-то шестнадцати часов на поезде и короткого ожидания в справочном бюро.

Но он не позволил себе спешить. Он переждал четыре холодных недели, выстоял часовую очередь в железнодорожную кассу, экономно растянул на всю дорогу три пирожка с капустой и одну повесть Маркеса, порадовал мать сводкой неиссякаемых успехов в учебе, пересидел двое суток безвылазно дома и наконец, где-то между хлебным и овощным магазинами, удостоил посещением справочную контору.

Его поразила густая толпа посетителей — очевидно, собратьев по перемене участи. У девушки в окошке были чернильные пальцы и грустное личико старательной троечницы. Протянув ей бланк с именем и фамилией разыскиваемой, Сидельников не стал, пока девушка листала свои амбарные книги, назойливо заглядывать ей под руку, как делали другие, а со скучающим видом отвернулся. Нельзя было выказывать судьбе свой интерес.

Девушка листала, потом куда-то звонила, но он не отрывал взгляда от стены, выкрашенной мертвой зеленью, пока вдруг не ощутил тихого прикосновения к своей руке чернильных пальчиков, — так трогают, чтобы не испугать внезапностью или не привлечь внимания окружающих.

На бумажном огрызке, врученном Сидельникову в деликатном молчании, было криво накорябано одно слово, не существующее ни в каком языке, вырожденное грамматическими потугами троечницы, дьявольским всезнанием конторы и, вероятно, непреложностью судьбы:

ОССУЖДИНА

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В центре маленького сквера, между оперным театром и университетом, где учился Сидельников, на постаменте стоял чугунный большевик Среднов, чье имя терпеливо носил огромный город, словно тесную курточку с чужого плеча. Мятежный Среднов был отлит в развязной позе мелкого уличного хулигана, которая плохо сочеталась с его круглыми очками и бородкой. Слева, с оперного фронтона, на сквер взирали неуклюжие, мучнисто-белые музы, а справа — старческие портреты членов Политбюро: их вывешивали на фасаде университета в честь праздников и затем подолгу не снимали, покуда гладко выбритые, ухоженные лики не мрачнели от непогоды. Было ясно, что они никогда не умрут, а если даже такая беда стряется — к тому времени успеет одряхлеть новая когорта.

Само собой разумеется, что в этой дохлой компании наблюдающих за сидельниковскими одинокими прогулками менее всего была бы уместна тень Розы как живая и неприкаянная субстанция. Но именно здесь в одиннадцатом часу декабрьского вечера Сидельников своими ушами услышал фразу, произнесенную за его плечом холодным родным голосом, который он не мог спутать ни с чьим другим в мире.

Палал мягкий снег, подсвеченный фонарной желтизной. Сидельников оглянулся, досадуя на самого себя, и, конечно, никого рядом не увидел. Между тем если это была галлюцинация, то не только слуховая, потому что слова сопровождалась легким влажным выдохом изо рта говорящей.

День уже иссяк. Нужно было возвращаться в общежитие. Однако сказанное Розой подразумевало, что сегодня Сидельникову еще предстоит ехать в Нижний Магил. Собственно, только название города и было совершенно отчетливо услышано. А в целом фраза прозвучала маловразумительной настойчивой просьбой. Что-то вроде «Езжай, успеешь съездить!» — или: «Давай поедем вместе...». Короче говоря, полный абсурд. К тому же, не имея в северном лагерно-индустриальном Нижнем Магиле ни одной знакомой души, Сидельников никогда там не был, и не стремился, и вообще не видел вокруг никакой ближайшей будущности, кроме зимней ночи. «Да, прямо вот сейчас — разбежался и поехал!» — препирался он вполголоса непонятно с кем, спускаясь по главному проспекту к троллейбусной остановке, все больше напоминая себе городского сумасшедшего. Полупустой троллейбус, идущий в сторону вокзала, затормозил и открыл перед Сидельниковым двери. Такой любезности трудно было сопротивляться.

Он расплавил пальцами искристую слюдяную корочку на стекле — в этих дактилоскопических иллюминаторах дома и улицы смотрелись как-то по-иному, уютнее и ближе.

Вокзал вовсю бодрствовал. Кроме запетых разлук и встреч, тут всегда неотвратимо пахло неизвестностью, счастливой или безнадежной. Вероятно, из-за усталости Сидельников чувствовал, что «плывет», словно выпил на голодный желудок стакан плодово-ягодного «Агдама». В этом состоянии — что называется, на автопилоте — он ухитрился без билета занять недурное место, опять же возле окна, в общем вагоне поезда северного направления. Протрезвление ускорила горластая проводница, когда заставила заплатить ей не то штраф, не то взятку, а взамен уведомила, что до Магила меньше трех часов езды.

Этого времени с избытком хватило на то, чтобы мысленно конвертировать уплаченную проводнице сумму в беляши и сигареты, сильно замерзнуть и проклясть все на свете. «Какого черта? Куда меня понесло?» Поэтому по прибытии в пункт своего idiotского назначения уже совершенно трезвый Сидельников первым делом кинулся в кассу нижнемагильского вокзала — узнать, когда ближайший поезд до Средновска, — и купить билет. Оказалось, что он сможет уехать обратно через пятьдесят ми-

нут. Такая успокоительная перспектива породила нормальное для праздного туриста желание осмотреть незнакомый город.

Он вышел на холод с тыльной стороны вокзала и осмотрелся. Слепая заснеженная пустошь отделяла железнодорожную станцию от далеких жилых построек, в которых почти не было огней. Населенная часть пейзажа выглядела мизерной безделицей в окружении земли, разлегшейся под снегом, и невменяемо черного неба. Ночь слишком глубоко ушла в себя — ни окликнуть, ни растолкать. При всей огромности пространства, широко и свободно в нем размещался только жестокий холод...

Осмотрев таким образом город и замерзнув до полной потери туристических позывов, Сидельников вернулся в здание вокзала, чтобы уже не высовывать носа до прибытия поезда. Зал ожидания впечатлял казенным убожеством и величественными останками сталинского ампира: пол, выложенный метлахской плиткой, как в общественных уборных, грязно-серая лепнина с колосьями и серпами на потолке. Из овальной ниши в стене на полшага выступал Ленин, крашенный под слоновую кость. Пара колонн того же цвета подпирала высокую балюстраду с пузатыми балясинами, пригодную служить трибуной для вождя, если бы он все же покинул нишу. Но пока на балюстраде стоял одноногий старый инвалид и пьяно ругался в пустоту. В углу зала кто-то спал, постелив на пол газету, головой на тюках. Еще три с половиной человека, включая Сидельникова, знобко жались у стен.

Калека на балюстраде все больше обращал на себя внимание. Отшвырнув на пол костыль, он вцепился обеими руками в перила и продолжал выкрикивать что-то непотребное. Этот спектакль одного актера шел при почти пустом зале, где несколько разрозненных зрителей отворачивались и делали вид, что ничего не слышат. Но старик, похоже, и не нуждался в слушателях. С раскаленной добела хрипотой, со смертельным надрывом он предъявлял стране и миру пожизненную обиду, утолить которую нельзя. В обнародованный список обидчиков входили: суки, бляди, волки позорные, менты, ссученные коммунисты и генеральный секретарь Брежнев. Это был, можно сказать, последний крик висельника. Сидельников трусовато подумал о легкой поживе для бдительных органов, вероятно изнуренных энергичным бездельем. Но какой им толк от увечного: персонаж не для секретного отчета. Зато любой болтливый студент...

В событиях следующих трех секунд была стремительность обвала. Упершись левой ногой в пол, старик перекинул правое бедро с деревяшкой протеза через перила, скользнул по ним животом — и рывком выбросил себя вниз. Но уже в тот момент, когда самоубийца переваливал тело поверх оградки, Сидельников, непроизвольно оттолкнув спиной стену, прыжком достиг места падения. И после удара они упали вместе, в безобразном объятье: калека — мешком на грудь, вниз лицом, больно въехав спасителю по лбу наждачной скулой, Сидельников — навзничь, как побежденный, придушенный грузом и затхлостью немытого стариковского тела.

Они лежали как убитые — один миг, такой длинный, что Сидельников успел посмотреть сон. Незнакомый человек, хватая руками воздух и странно молодея лицом, падал с пятиметровой высоты; Сидельникова бил озноб, спина вмерзла в стену. Он отвернулся и услышал удар черепа, расколотого о метлахскую плитку.

Обоюдный полуобморок закончился тем, что старый, задрав подбородок, вдруг завыл с лютой горестью, а молодой поспешил выбраться из-под него, брезгливо отряхиваясь.

Все последующее заслонял непрошибаемый туман, в котором светила единственная путеводная потребность: «Уехать! Как можно скорей отсюда уехать! Сейчас поезд...»

Досадная задержка вышла откуда-то из боковой двери в образе заспанного сержанта милиции. Они доволокли инвалида, держа под руки, до

комнаты с надписью «Дежурный», и сержант стал снимать показания с обоих участников происшествия. После каждого своего правдивого ответа Сидельников порывался уйти прочь, однако вопрошающему торопиться было некуда. Он зачем-то приступил к перекрестному допросу, будто надеясь обнаружить хитрые несовпадения в показаниях. Но старик, наоборот, огорошил его совпадением, назвавшись Сидельниковым Михаилом Егоровичем.

— Родственники, что ли? — растерялся сержант.

— Да нет же!.. Можно я пойду? Мне на поезд надо, — взмолился Сидельников-младший.

Ему мерещились в происходящем признаки дурного детектива, а всякая минута задержки угрожала бессрочным поселением в Нижнем Магиле.

...И такой прекрасной свободой дышалось в декабрьской стуже отпущенному восвояси, когда он бежал по перрону, запрыгивал в пахнувший горячим углем вагон, жадно прикивал к окну — словно только что не вырвался из объятий этой крошечной станции... И теперь можно было свободно спать, вытянув руку на приоконном столике, уйдя лицом в предплечье. И занемевшую правую руку сменить на левую, не обрывая сна, в котором ночь приходила в себя, потерянные осколки разбитого целого сами встречали друг друга, никто не погиб, мать была нежной, всепрощающей и одноногий старик тихо глядел зелеными, отмытыми от горя глазами с рыжеватыми прожилками. Дорожный сон упростил мироздание, деля его на две части света, две крайние стихии — недвижно стынущую на месте и летящую, распаленную скоростью, — на вокзал и поезд. События всей жизни, зашоренной и взнузданной, закрученной и сорванной с резьбы, в конечном счете сводились к выбору между станциями и пассажирскими составами. Лишь они блестели огнями в этой зимней темени... И меня уже выбрал тот транзитный скорый, на котором под диктовку любви и печали предстояло одолевать пространство и время огромной страны, чтобы наконец ворваться на полном ходу в дальний приморский город, где было все озаглавлено многодневным риском ожидания, где тайфунам давали женские имена, где свора нетерпеливых женихов кичилась жалкими мужскими доблестями, где просоленный воздух внятно говорил от имени великого океана, где, наконец, меня точно ждали. По детской привычке я зажмурился — среди бесчисленных мерцающих существ, видимых только под закрытыми веками, каждое нуждалось в праве на свою таинственную жизнь и прибегало к моей защите. И теперь уже не Роза мне, а я сам спокойно повторял: «Не бойся, ничего не бойся», — зная наверняка, что меня слышат.



ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

*

СБЫЛИСЬ ВРЕМЕНА

Развивая Маркузе

Памяти 68-го.

1

Осмеяв леграновский мотивчик,
безоглядно ты сменила стиль
и уже давно не носишь лифчик
и штанами подметаешь пыль.
Но еще не зажила обида,
ибо выходило так подчас,
что пренебрегал твоим либидо,
изучая то, что сделал Маркс.

И когда в прозрачную кабинку
заходила голая под душ —
я спешил скорей сменить пластинку,
не поверив в розовую чушь.
И когда вдруг космы вороные
распускала махом по спине —
меры революции крутые
виделись оправданными мне.

Но пока ажан фундаментально
новый штурм готовит где-то там,
ты впервые леворадикальна
и отнюдь не безразлична нам.
Отдохнем от предстоящих схваток,
подсознание вышло из глубин.
Друг, форсящий клешами до пяток,
заряжает рядом карабин.

2

Боже мой, и ты еще хотела,
выбравшись в столицу из глуши,
в мастерской непуганое тело
продавать мазиле за гроши.

Он тебя, уже снимая пенки,
ест глазами, будто нувориш, —
перед ним одна на авансценке
ты совсем раздетая сидишь.

Пусть тебе, жестокая, неловко
станет возле моего одра,
ежели поспешно драпировкой
не прикроешь пышного бедра.
Переутопченна и мясисто,
выглядишь уже не по-людски,
разлетишься на импрессиониста
радужные бледные мазки.

К лилиям, кувшинкам, их излову
я и сам не равнодушен, но
уступаю не цветам, а слову,
что теперь в груди раскалено.
Мой удел — с линолеумным полом
в невпрогляд задымленных кафе
заседая, ссориться с глаголом
и посильно мыслить о строфе.

3

Н. Г.

Не мешая сонным рыболовам
куковать в преддверии зимы,
под зонтом раскидистым не новым
двигались по набережной мы.
Обгоняли баржи нас упрямо
в водяной назойливой пыли.
И клешни с наростами Notre-Dame
как всегда маячили вдали.

Много-много лет назад в России,
познакомясь, спрашивал тебя
о мещанской вашей энтропии,
в ту тихонько сторону гребя.
Горячась, ты отвечала грозно —
скоро, мол, на ней поставим крест.
Что же медлишь — или слишком поздно,
или трудно за один присест?

В шелковой рубашке на кровати
у меня тут в беженской норе
выглядишь принадлежащей к знати.
Восемьдесят третий на дворе.
Помнится, в сознании крутилась
новость, что Андропову хана.
И бывало дня не обходилось
без бутылки красного вина.

4

В солнцепек в необозримом храме
воздух все равно холодноват;
вековая копоть въелась в камень,
и зверьки оскаленные спят.
В алтаре гигантская розетка
с красно-синим блестящим витражом
словно Бога огненная метка
или космос, срезанный ножом.

Шли с тобой, нечесаные, темным
бесконечным нефом боковым
и таким же сердцем неумным
были ближе мертвым, чем живым.
А еще поблескивала кварцем
в получаше каменной вода,
чтоб смочить негнущиеся пальцы
прежде чем перекреститься, да.

Наконец, передохнув немного
на одной из лавок для мирян,
так и не отважившись с порога
испросить прощенье за изъян,
мы вернулись в городской зверинец,
малодушно оставляя тот
древний дом, похожий на эсминец,
что сойдет со стапелей вот-вот.

5

Трехэтажным обложив Монтеня,
я ничем уже не дорожу.
Чтоб не стать похожим на тюленя,
каждый день на стрельбище хожу.
Там куются наши идеалы,
раздается пролетарский мат
и бывлые интеллектуалы
возле брюха держат автомат.

И по горло нахлебавшись втуне
оппортунистических бодяг,
что не все приемлемо в Дзедуне
и в России вышло все не так,
словно выполняющие разом
сердцем продиктованный приказ,
мы идем притихшим Монпарнасом,
и не останавливайте нас.

С древних башен скалятся химеры;
ректорат сочувствует порой.
Хунвейбины, кастровцы и кхмеры,
каждый — диалектик и герой.
Ленин прав, что в надлежащем месте
в нужный час собраться должно нам
и, священнодействуя из мести,
вставить клизму классовым врагам.

6

Разгром

Я первым сам приду тебе сказать,
 что все проиграно — ребята отступили.
 К буржуазии, при которой жили,
 придется снова в рабство поступать.
 Нас полицейские по-царски наградили:
 у одного фингал,
 другой с рубцом на лбу,
 а третий вообще лежит в гробу,
 слезоточивым газом отравили.
 И он уже — лопатой борода —
 не свистнет весело:
 — Айда опохмелиться!
 Любимая, я думаю о шприце,
 всади на ампулу поболе, чем всегда.

Я видел, ты одна над схваткою была
 решительных идей с правами человека,
 но вдруг расслабилась — и чуть не родила,
 пока неистово гремела дискотека.

Есть в диалектике
 еще один закон,
 который нарушать борцам не должно всуе:
 тот быстро в правый катится уклон,
 кто после первых битв раскис и комплексует.

А если так, то чем же можем мы
 помочь безграмотным в большой политучебе,
 я — с розовым бинтом, подобием чалмы,
 и ты — с младенцем, плачущим в утробе?

1969, 1999.

* *
 *

Я давно гошу не вдали, а дома,
 словно жду у блестящей воды парома.

И несут, с зимовий вернувшись, птицы
 про границы родины небылицы.

Расторопно выхватить смысл из строчки
 потрудней бывает, чем сельдь из бочки:

в каждом слоге солоно, грозно, кисло,
 и за всем этим — самостоянье смысла.

Но давно изъятый из обращения,
 тем не менее я ищу общения.

Перекатная пусть подскажет голь мне,
 чем кормить лебедей в Стокгольме.

А уж мы поделимся без утаек,
чем в Венеции — сизарей и чаек;

что теперь к отечеству — тест на вшивость —
побеждает: ревность или брезгливость.

Ночью звезды в фокусе, то бишь в силе,
пусть расскажут про бытие в могиле,

а когда не в фокусе, как помажут
по губам сиянием — пусть расскажут.

...Пусть крутой с настигшею пулей в брюхе
отойдет не с мыслью о потаскухе,

а припомнит сбитого им когда-то
моего кота — и дыхнет сипато.

11.V.1999.

* *
*

Бывало под мухую
по молодости
приму и занюхаю.
Прости ипусти.

По жанру положенный
герой в боевик
так входит, поношенный
не сняв дождевик,

поклажу походную
неся на горбе,
чтоб душу бесплодную
доверить судьбе.

Ни роще в безлистии,
ни, проще сказать,
беде в бескорыстии
нельзя отказать.

Жизнь сделалась прожитой,
нагнавшей слезу
на кисти мороженой
рябины в лесу.

Раздетая донага
зазывная даль.
И с вальсом из «Доктора
Живаго» февраль.

Мнил, дело минутное,
но вот тебе на:
последние смутные
сбылись времена.

В оконце алмазная
купина горит.
И жизнь безобразная
уснуть не велит.

14.V.1999.



АНДРЕЙ ВОЛОС

*

СИРИЙСКИЕ РОЗЫ

Повесть

1

Рахматулло разогнулся и мельком, невзначай, как будто совершенно случайно поглядел в сторону виноградника.

Под навесом стоял топчан. Скрестив ноги, Карим Бухоро сидел на одеялах.

Рахматулло так быстро отвел взгляд, что даже не успел заметить, куда тот смотрит. Но, как всегда, почудилось, что хозяин смотрел именно на него, на своего садовника, на тощего Рахматулло... Так всегда было. Стоило ему оказаться в поле зрения Карима, как возникало тягостное, похожее на страх ощущение, что хозяин, недобро прищурившись, следит за каждым его движением: как Рахматулло поднимает кетмень, как опускает, глубоко ли рыхлит землю, достаточно ли дает ей воды, не портит ли чего, не наносит ли ущерба... Размышляя подчас об этом, Рахматулло понимал, что, по логике вещей, хозяину не должно быть до всего этого никакого дела — ведь за то Карим и платит деньги садовнику, чтобы не думать о кетмене, чтобы переложить на рачительного работника заботу о земле и воде... Но сделать с собой ничего не мог: кожей чувствовал какое-то иссушающее струение — вроде как знойным воздухом веяло с той стороны.

Как понять это?.. Пять лет назад, когда Карим Бухоро, дай ему Бог здоровья, взял его на работу (и мечтать он не мог, чтоб когда-нибудь работать у Карима!), Рахматулло совсем уж не знал, как свести концы с концами. Вдобавок ко всем тем мелким неприятностям, что, собственно, и составляют жизнь простого человека, добавилась крупная — взъелась на него община. А за что? Участок ведь он не сам выбирал — по жребию выпал. Жребий, он и есть жребий: как повезет. Вот и повезло в том году: самый хороший участок — на берегу чуйбора¹, заросшего ивой и тальником. Просто не участок, а дом отдыха — сооруди айван² над водой и сиди гоняй чай в прохладе. Конечно, если у кого время есть... Из-за этого-то участка он и поссорился с Искандаром-лепешечником. Тот предложил меняться, а в придачу сулил три мешка муки. Участок Искандара Рахматулло знал лучше, чем свои пять пальцев, потому что бугристый лоскут на самом краю солончака прежде доставался ему регулярно — чуть ли не через два года на третий. Поганный участок, спору нет. Но три мешка муки тоже ведь чего-то стоят, верно? — а к плохой земле ему было не привыкать. Он согласился. Тут-то и выяснилось, что Искандар-лепешечник имеет в виду вовсе не настоящие три мешка муки, а какие-то придуманные им три мешка муки, которые когда-то отец Рахматулло якобы занимал у отца Искандара-лепе-

Волос Андрей Германович родился в 1955 году. Закончил Московский нефтяной институт имени Губкина. Постоянный автор журнала. Лауреат литературных премий «Антибукер» и «Москва-Пенне». Живет в Москве.

¹ Большого арыка, канала (*тадж.*).

² Помост, возвышение (*тадж.*).

шечника, — и Искандар не *даст* их Рахматулло в качестве довеска к своему дрянному участку, а *простит*. Каков? Когда такое было? Три мешка муки! — да в жизни отец не занимал ни у кого трех мешков муки! — впроголодь жили, но все же на своей...

Ну и вот. Короче говоря, поссорились. И после этого все пошло наперекосяк. Недаром говорят: лучше с бедным делить престол Джамшеда, чем с богатым — сухарь. Искандар всю махалю³ настроил против Рахматулло... даже вспоминать не хочется... и если бы не Карим-ака, дай ему Бог тысячу лет жизни...

Он снова мельком посмотрел в сторону топчана. Ой, как не хотелось привлекать к себе внимание: хозяин поднялся затемно, был мрачен; выплеснул молоко, подогретое Хуршедом... едва не ошпарил бедолагу... Но и под виноградом надо рыхлить. Вздохнув, Рахматулло отбросил в сторону камушек. Ладно, что ж. Делать нечего. Суглинок легко крошился. Хорошо вчера попили воды... вдоволь.

Воду в сад он пустил вчера ближе к закату. До позднего вечера отворял ей то одни, то другие пути. Вода послушно разбредалась по мелким арычкам: при спадающей жаре струилась под яблони и гранатовые кусты, потом под виноград и к неглубоким корням персиковых деревьев, а напоследок, когда на сад легли синие сумерки, — в цветник.

Прошла ночь, земля подсохла.

Он снова неторопливо поплевал на ладони.

Суглинок схватился некрепкой коркой, и блестящая пластина кетменя вонзалась в него с коротким аханьем. Нужно позволить корням вдохнуть воздух. Кетмень поднимался и падал, поднимался и падал, и на каждые два его сверкания Рахматулло делал маленький шагжок, переступая ногами, обутыми в старые калоши.

Сколько себя помнил, жизнь всегда делилась на простые отрезки времени: между двумя ударами кетменя, когда рыхлишь землю под яблонями; между двумя шагами, если гонишь скотину или возвращаешься с поля; между двумя следующими друг за другом бросками вил и взмахами серпа.

Работая, он насвистывал себе под нос одну и ту же бесконечную мелодию — фью-фью-фью, фью-фью-фью... Мысли текли, цепляясь друг за друга, как весной цепляются облака, стекающие на город с холмов. Весна прошла. Дождей давно не было и уже не будет до поздней осени. Это кажется, что долго: не успеешь оглянуться — зима. Надо бы запасти пару мешков муки и несколько бидонов масла. А то потомхватишься — ан уже нету. Или втридорога. Цены растут. Ох, цены, цены... Слава Богу, своим людям Карим Бухоро, дай ему Бог здоровья, платит зелеными. И Хуршед за свою стряпню, и Музафар, и он, садовник Рахматулло, — все получают зелеными. Наверное, и охранники тоже. Да ну что там — наверняка зелеными. С ними разговаривать запрещено. Они и во дворе-то редко появляются. Один, правда, всегда торчит у ворот. А остальные — только когда хозяин выезжает. Да, конечно, они тоже получают зелеными... Вой-вой, какие все-таки разные бывают деньги! Вот он имеет в месяц одну зеленую бумажку — и живет так, что ему завидует вся махалья. Только и слышно: как разбогател Рахматулло, когда Карим взял его к себе садовником!.. Конечно, в чужих руках лепешка всегда блее. Но, с другой стороны, и впрямь: другие носят с базара рубли толстыми пачками — а что толку? Через день на базаре же и оставишь... Доллар, он и есть доллар. Хотя как посмотреть. В шестьдесят первом, когда вернулся из армии, дедушка Назри подарил ему новую сторублевку. Тоже была вещь! Не слабей теперешней зеленой. И где, спрашивается, дед ее взял? Так и не признался, только посмеивался: мол, ладно, ладно, не приставайте. Мол, не каждый день внук

³ Общину, квартал (*тадж.*).

из армии приходит. На вот, мол, купи себе чего-нибудь... Спасибо ему. Сколько времени прошло. Рахматулло сам теперь дед — две внучки, не шутка. А дедушка Назри умер. Совсем старенький был... Как это получается? Живет человек, живет, ходит, говорит, делает разные дела, а потом раз — и готово. Уже на кладбище. Нету. Исчез... Как-то странно. Разве может что-нибудь исчезнуть? Да хоть бы самые простые вещи взять. Вот пустил вчера воду. Она была: текла, журчала, поблескивала. А теперь нету. Но ведь никто не скажет, что вода исчезла! Никуда не исчезла, хоть ее нынче и не видно. В корни пошла, в листву... А человек, выходит, прямо-таки берет и исчезает? Разве он проще воды? Разве можно сравнить человека и простую воду? Нет, наверное, здесь что-то не так...

Ушла, ушла вода за ночь. В корни, в листву. Никуда не делась, не исчезла. Наверное, и с человеком так же. А иначе люди бы жили по-другому. Если все исчезает, о чем страдать? — поплеывай себе. Кой толк думать о всякой всячине, если в конце концов все исчезнет?.. А потом: вот он рыхлит землю. Ну и ладно, и смотри на эту землю — верно? Ну, на кетмень еще смотри. Больше тут ничего нет. Он и смотрит, но видит-то не кетмень. То есть кетмень он конечно же тоже видит; но ведь не только кетмень! О чем думает, то и видит. Думает о дедушке Назри — и видит дедушку Назри. Никуда не делся. Вот он. Седобородый, сутулый, старый, ходит по саду, бормочет, дело себе ищет... И что же? Как можно понять, что Назри совсем умер, если он, Рахматулло, рыхля землю, видит его именно так, как если бы тот был живым? Бывало, сидит у порога, кривой сапожной иглой к подметке вторую пришивает... посмеивается — мол, моим сапогам сносу не будет... Точно: так и не сносил, наверное, до самой смерти.

Вой-вой, бедно жили, что говорить. У других как-то все складывалось. Одно к одному. Корову купили — на вторую копят. Пять баранов есть — давай еще десяток. Зелень кто выращивает, на базаре продавец найдет, тот сидит за прилавком целыми днями, а денежки хозяину текут... А у них все через силу. Мать толковала отцу: мол, давай переедем к моим в Шашруд. Табаководческий колхоз, легче жить. Ни в какую... И так-то едва концы с концами. А еще Фарход чудил... Чудил, чудил, пока не посадили. Мать убивалась, конечно. Все в Хуррамабад ездила, за правдой. Хорошо, до города рукой подать — полчаса на автобусе. Да что толку... Отец в конце концов запретил. Мол, Фарход чего добивался, то и получил. Наверное... Деньги из семьи тянул, вот и вся от него польза. Но все равно его было жаль. Братишка. Были маленькими, ловили серебряных рыбок в арыках за риссовхозом... Фарход должен был вернуться через несколько лет. Ждали-ждали, ждали-ждали — и что? А то, что целая жизнь прошла, а от Фархода все годы ни письма, ни известия. Уже, грешным делом, и не надеялись. А тут вдруг бац! — здравствуй, брат. Здравствуй, родня. Оказывается, второй срок получил, потом еще, еще... Вот тебе и раз. А деваться некуда. Во-первых, Фарход говорит: когда отец умрет, половина дома моя. Отец, конечно, дай ему Бог здоровья, не умер еще, хоть и старый, и соображает плохо... едва узнал сыночка. Но что ответить Фарходу? И правда: половина дома должна быть его. Но даже не в доме дело. Дом, сказать по чести, слова доброго не стоит — развалюха, а не дом. Крыша просела, течет... к восточной стене пришлось приспособить подпорки. Как раз в переулочек: люди ходят, любуются — вот в каком хорошем доме Рахматулло живет со всей семьей. Нужно бы порушить эту стену к Аллаху, да намесить глины, да налепить кирпичей — и за пару дней поставить новую, а то еще, не дай Бог, завалит Халиму или внучек. Они там с утра до ночи крутятся у очага. Это он — птица вольная: затемно ушел, затемно пришел. Если бы еще Фарход помог... Да, Фарход. Ведь какой ни есть, а не чужой. Старый, без зубов... черный... лысый, голова как мирзачульская дыня... шрам во все лицо — а все равно брат... Только-только мать похоронили — на тебе, сва-

лился прямо на голову. И так в доме разор. Потому что каждый четверг и каждый понедельник пойдешь на базар. Купи рис, мясо, масло, свари хороший жирный плов, позови стариков, чтобы прочли молитвы... От этого тоже никуда не деться. А тут Фарход: мне, мол, теперь нужно есть много изюма и сушеного урюка... давайте мне урюк и изюм. Саида ему носит с базара урюк... детям не дает, внукам не дает, ему дает: брат есть брат, он из тюрьмы пришел, из России, как не помочь?.. Или еще сидит-сидит, смотрит в угол, разговор не поддержит, только качается, будто его сейчас падучая свалит, потом вдруг брякнет ни с того ни с сего: «Эх, люблю я все-таки анашу!» И опять молчит. Ну что ты будешь делать!..

Украдкой посмотрел в сторону топчана. Опустив голову, Карим Бухоро неподвижно сидел под навесом, увитым виноградом.

С чего он взял, что хозяин за ним следит? Вбил себе в голову эту глупость. Зачем это Кариму?.. Главное — самому в ту сторону не смотреть, вот и все. Вверх-вниз, вверх-вниз... у хозяина сколько дел! — ему только за садовником приглядывать... как же!.. К тому же сегодня — пятница. Должно быть, к обеду придет Ориф... Хуршеду забота — только успевай поворачиваться. Ну, у него работа такая. Повар есть повар. Правда, на прошлой неделе Ориф не приезжал. Кажется, и на позапрошлой тоже. Давненько к дяде не заглядывал. Но это ведь дело такое. Ориф — тоже занятый человек. Ему бы...

— Э, Рахматулло!

Рахматулло вздрогнул.

Вот! Так и знал!

— Слушаю, хозяин...

Карим Бухоро с хмурой усмешкой смотрел на него.

— Что-то ты частишь. Разве не знаешь — торопыга вырастит только шишки у себя на лбу. Помедленней... можешь помедленней?

Рахматулло растерянно оглянулся. Земля после его кетменя лежала ворсистым ковром.

— Не знаю, хозяин... Разве я... я ведь хотел...

— Ладно, ладно, шучу. Иди выпей пиалку чаю, отдохни.

— Спасибо, Карим-ака, — ответил Рахматулло, испуганно кланяясь и прижимая ладонь к груди. — Спасибо. Я не устал... честное слово, рыхлить надо, Карим-ака, пока солнце невысоко. Спасибо.

Карим вздохнул:

— Ну, иди.

Бойтся. Чего он бойтся? Смешной у него садовник. Может быть, сказать Музафару, чтобы прибавил в этом месяце десятку? Больше не нужно. Десятка — в самый раз... Что за тупая работа: взмах за взмахом, шаг за шагом. Тяп-тяп. Тяп-тяп. Лезвие поблескивает на солнце. И вот так всю жизнь. Каждый день одно и то же. Вчера полил — сегодня рыхли. Взрыхлил — завтра полей. Вверх-вниз... Да ну, просто привыкли люди говорить: тощий Рахматулло... а разве тощий? Такого же примерно сложения. Про него-то никто не скажет: тощий. Тощий Карим? Глупо.

Чай стыл, теряя аромат и свежесть.

С влажным гудением что-то пролетело, едва не коснувшись седых волос.

Шурясь, он поднял голову.

Должно быть, пчела. Летит к цветам. Мохнатая коричневая пчела, прижавшая лапки к брюшку. Он слышал всего лишь шум ее полета — сладковатое ж-ж-ж-ж-ж-ж...

Летит. Что-то влечет ее к цветам. Собственная воля?.. Или, наоборот, сила, с которой она не может сладить?.. Есть у нее воля? Или течение жизни и есть воля? Судьба. Путь. И с пути этого не сойти, как ни бейся, — ни пчеле, ни тем более человеку?..

Поднес пиалу к губам. Остаток — несколько капель и четыре чайники — выплеснул на дорожку. Пиалу поставил возле чайника.

Взглянул на часы. Ориф не пожалел денег на подарок: браслет светился жирным рыжевым. Карим всегда освобождал запястье, когда сидел здесь за чаем. Такая уж привычка: снять с руки и положить рядом. Тяжелый, что ли?.. Следить за временем; потом, поднимаясь, снова сунуть кисть в холод браслета...

Время стекло, унося жизнь. Мозаика листьев была живой. Калейдоскоп. Солнце стояло еще невысоко, но первые струи дневной жары уже трепетали, плавя прозрачный воздух; время от времени ветерок пробегал по листьям, и тогда золотые пятна шевелились на одеялах. Время... Куда летит пчела?.. Двадцать лет. Или чуть больше?.. Что ж. Еще не поздно отменить приказание. Время... Пятнадцать. Совсем недавно было ровно.

Что стоит набрать номер и сказать несколько слов?.. Что стоит?.. Все что-то стоит. Сколько-то стоит. Кто заплатит за эти несколько слов?.. Вот снова: 3-3-3-3-3-3-3... На этот раз быстро, кратко. Как пуля. Нет, пуля тоньше поет. К цветнику, должно быть. Да, пчела.

Разве он когда-нибудь что-нибудь пожалел для него? Нет, ему всегда казалось, что пожалеть чего-нибудь для Орифа — это все равно как пожалеть для себя. Ориф был очень, очень похож. Как будто не племянник, а сын. Такой же стремительный, здоровый, крепкий. Налит силой, которая позволяет игроку делать то, что другим не по плечу. Такой же вспыльчивый, такой же яростный в гневе. Неспособный выждать хотя бы секунду, чтобы взвесить последствия. Нет: сразу, без раздумий, наотмашь...

Племянник, сын брата.

Брат Халил был женат дважды. С первой его женой приключилась довольно неприятная история. Прошло много лет, и сейчас Карим даже не мог вспомнить ее лица. А вот свое бешенство — помнил... Ее звали Мухиба. Нет, не вспомнить лица. Просто белое пятно в черном обрамлении волос. Халила тогда забрали в армию. Однажды Карим сделал невестке справедливое замечание: она стояла у грузовика, беседуя с шофером из ОРСа, наглым и бессовестным парнем, гораздо дольше, чем позволяли приличия. Младший брат в ответе за семью старшего, если нет никого, кто мог бы взять эту ответственность на себя... Вместо того чтобы смиренно выслушать упреки, Мухиба ответила, что у него нет права за ней прислуживать. Так и сказала — прислуживать! Выходка привела к самым печальным последствиям: Карим сорвал со стены ружье и двумя выстрелами (хватило бы и одного, но он собой в ту минуту не управлял) сделал брата Халила не мужем Мухибы, а вдовцом...

Люди должны жить по тем законам, какие они себе устанавливают. Все бы обошлось. Во-первых, женщины значительно слабее мужчин и часто умирают неожиданно и быстро. Во-вторых, обычай предписывает передать покойницу земле как можно скорее, ибо именно этим отчасти определяется ее загробная судьба. Мухиба была родом из Согдисора, а это почти пятнадцать верст горной тропой. К тому времени, когда приехали родственники, ее уже похоронили. Однако что-то показалось им подозрительным. Карим сделал ошибку — снова вспылил, подрался с ее братьями, сломав одному переносицу, а другому — руку, и, разозлившись, уехал в Куляб — переждать, пока утихнет. Там его и схватили. Он успел, выбив раму, прыгнуть в окно, но оказалось, что внизу тоже стоял человек из угрозыска, а получить пулю Карим не хотел.

Тогда он еще почти не говорил по-русски. На печорской зоне к нему сразу же прилипло прозвище *Бухара*. Сначала он упрямо и честно пытался объяснить, что родом он вовсе не из Бухары, а из горного кишлака Кухинур километрах в десяти от большого города Куляба. Но понял, что это никому не интересно, махнул рукой и через двенадцать лет вышел по амнистии, уже и не мысля, что когда-нибудь его будут звать иначе.

В сущности, Карим не жалел об этих годах. Зачем жалеть о том, чего нельзя воротить? К тому же он потерял только два пальца на левой руке, а вынес це-

лый ряд бесценных убеждений. Одним из них было то, что в будущем, если останется возможность выбора, следует предпочесть смерть неволе.

Первые несколько лет, когда он не вылезал из БУРа, многому его научили. Он не лез на рожон специально. Наоборот — крепился до последнего, терпя такое, о чем бы на воле и не помыслил. Однако все-таки натура горца из рук вон плохо приспособлена к компромиссам. Вот натура и давала себя знать. Всем было известно, что между дракой и подчинением Карим Бухоро выбирает драку, пусть даже и с возможностью гибели, а между карцером и необходимостью смириться — только карцер. Когда он вышел, за ним тянулся шлейф серьезного авторитета.

Его снабдили деньгами, и он заехал в родной кишлак не с пустыми руками. Каждому родственнику достался приличествующий случаю подарок. Халил давно женился вторым браком и обиды на него не держал. Не до обид, когда пятеро детей на руках — четыре дочери и мальчик. Племянницы не заинтересовали Карима Бухоро. Зато он с удовольствием услышал, что, когда родился его племянник Ориф, на крышу кибитки слетела и трехкратно прокричала большая серая птица. Роды принимала Барокат-биби, местная потомственная повитуха, в силу своего происхождения и специальности досконально знавшая повадки злых и добрых духов — например, нехорошей косматой *албасти*, вечно норовящей пробраться к родильному ложу, чтобы причинить матери и дитю непоправимый вред. Отметив появление птицы на крыше, бабушка Барокат объявила, что это как нельзя более благоприятный знак, свидетельствующий о том, что младенец с годами станет большим и сильным мужчиной.

Орифу к тому времени исполнилось восемь лет, и это действительно был веселый, разумный и сильный мальчик, проникшийся к дяде естественным уважением.

Через несколько месяцев Карима навестили незнакомые люди и вежливо сообщили, что они представляют интересы человека по имени Исллом — человека очень, очень уважаемого и авторитетного; что указанный Исллом о нем, о Кариме Бухоро, слышал много добрых слов — в частности, от Пака Пагоды и Вити Корявого; и что уважаемый Исллом-ака хотел бы встретиться с уважаемым Каримом, чтобы обсудить некоторые вопросы, касающиеся возможностей совместной работы.

Он не возражал.

В назначенный день к дому подкатила белая «Волга».

Исллом оказался худощавым пожилым человеком, голящимся Кариму в отцы. Если не в деды. Узбекский разрез глаз. Смуглолицый. Гладко выбрит. Седоват. Одет просто: легкий чапан, ичиги с калошами, тубетейка. Казалось, одежда его немного старит.

Они сидели на топчане под виноградными лозами. Было тихо, только шумела внизу река да позванивали цикады. Пахло мятой, знойным воздухом. Легкий ветерок доносил запах дыма и жареной баранины.

— Видите ли, Карим, — сказал Исллом-ака, когда пришло время перейти к делу. — Я слышал о вас как о человеке решительном и серьезном. Не будем говорить обиняками, *по-таджикски*, станем говорить хоть и на родном языке, но *по-русски*. Скрывать не стану, я в вас нуждаюсь. Должно быть, вам известно, чем я зарабатываю себе на жизнь. Впрочем, деталей вы все равно не знаете. Я поясню. Наша республика выращивает хлопок. Однако тот хлопок, что действительно выращивает республика, составляет всего лишь три четверти того, за что она, республика, получает деньги. Не будем вдаваться в тонкости бухгалтерского и государственного учета. За приписки ответственны председатели колхозов. Я, как всякий честный человек, готов помочь государству в разоблачении преступников. Но могу и подождать, если они поделятся несправедливо нажитыми деньгами. Понимаете?

— Вполне, — ответил Карим Бухоро.

— Скрывать мне нечего. Немалая часть этих денег уходит на подмазку. Чем щедрее мажешь — тем спокойней едешь. Понимаете? Когда-нибудь я покажу вам... есть такая тетрабочка и в ней имена людей, которые получают от меня небольшие подарки. Кто раз в месяц, кто только к праздникам... по-разному. Это и милиция, и безопасность, и юстиция... Много, много. Очень много, уважаемый Карим. Но что делать! За все нужно платить, и лучше заплатить раньше, чем позже, верно?

Карим кивнул.

— Но все равно то и дело кто-то чего-то не понимает... чего-нибудь требует... иногда даже грозит. В головах у людей бывают такие глупости! — огорченно воскликнул Ислон-ака. — Вы не поверите!..

Помолчал. Карим терпеливо ждал продолжения.

— Как видите, я далеко не молод. Самому разбираться со всеми не хватает ни сил, ни времени. Это вечные разъезды, хлопоты... Детей у меня нет. Был бы сын... тогда... но что об этом говорить.

Он рассеянно покрутил в пальцах пустую пиалу, затем со вздохом отставил.

Сколько лет прошло, а об этом по сю пору поговаривали — вот и Карим слышал краем уха... В свое время у Ислон-ака родился сын. Однако добрые люди однажды раскрыли ему глаза на некоторые подробности его семейной жизни. Заподозрив жену в измене, он запер ее в доме вместе с младенцем, которого отныне считал плодом чужого семени. Дом сгорел, а Ислон больше не женился.

— Короче говоря, я предлагаю вам работу, — сухо сказал старик. — На самых выгодных условиях. И на условиях высокой ответственности. Самой высокой. Вы понимаете?.. Если мы заключим договор, отступать будет некуда. Обязанности простые. Кое-кто должен мне деньги. Но не отдает. Люди разные, уважаемый Карим. Но все придуриваются. Их трудно понять. Кто говорит — нету. Кто — позже. Кто прячется. Недавно один привел ко мне восемь человек детей. Зачем мне его дети? Мне бабки нужны, а не дети. Сумасшедший дом... Как вы с ними будете разбираться — меня не касается. Можете уговорами брать. Можете топором рубить. Всякие встречаются пристрастия. Ваше дело. Скажу кое-какие цифры. Например. При условии хорошо налаженной работы ежемесячный доход должен составлять как минимум... — Он помедлил, вытирая пальцами уголки губ, и назвал мыслимый им минимум. — Десять процентов ваши, и еще двадцать — с того, что этот минимум превышает. Я в свою очередь гарантирую поддержку в любых, даже самых сложных ситуациях. Должен сказать, что все предыдущие попытки найти себе помощника кончались для меня... точнее, для помощников... самым печальным образом.

Повар давно уже стоял в нескольких метрах от них — на расстоянии, гарантирующем, что ему не слышно ни слова из их тихой беседы. Ислон-ака кивнул. Сделав несколько семенящих шагов, тот поставил блюдо между ними и попятился, кланяясь.

— Это из перепелиных языков, — сообщил Ислон-ака, брезгливо рассматривая яство. — Попробуйте, пожалуйста, уважаемый Карим Бухоро... А плов будет позже.

Так он стал работать у Ислон-ака, Ислон-паука, как звали его те, кому приходилось иметь с ним дело.

2

Солнце весело играло на листве. Завязь была размером с ноготь и плотно усыпала ветви. В прошлом году яблоки не уродились — рановато их весна всполошила. Цвету было, цвету! — на тех пяти белый, а на этой сиренево-розовый, медовый. Да что толку: с Гиссара натянуло туч, ночью посыпал снег, а потом ливни дня на три... ну и смыли дожди весь цвет, и

уже нечем было пчелам поживиться. А в этом году, слава Богу, завязалось. Надо бы обработать, да Карим-ака не любит. Купорос вовсе запретил. Говорит — отравя. Можно золой. Какая отравя в золе?.. А, его не переспоришь: даже за навоз ругал — воняет, мол. Что уж ему так воняет? Обыкновенный навоз. Ну, не фиалки, конечно... да ведь так тоже нельзя — без навоза!.. У хозяина свой подход. Ты, говорит, не в кишлаке, Рахматулло. Нам не на продажу. Нам для красоты. И точка. Купорос — нельзя, с филоксерой воевать — тоже нельзя... В общем, пусть осыпается, гниет... дела нет. А еще говорят, что родом-то он вроде деревенский.

Рахматулло прислонил кетмень к яблоневому стволу и побрел в сторону кухни. Калоши мягко шаркали о бетон дорожки.

— Хуршед, ты здесь? — негромко позвал он, хоть и так понятно было, что здесь — где ж ему еще быть? К тому же слышно: бац! бац! — капкиром о казан.

— Хурше-е-е-ед!

Снова: бац! бац! Во колотит. Конечно, казан-то не свой, хозяйский...

— Ну?

Повар отвел марлевое полотнище и выставил наружу скуластую физиономию.

— Я говорю, денек-то какой, — сказал Рахматулло, показывая в улыбке немногочисленные зубы. — Славный денек-то. Понюшкой не угостишь?

— Сам когда покупать будешь? Сейчас, подожди...

Хуршед вышел на веранду, вытирая руки о фартук.

— Хороший какой у тебя табачок, — бормотал садовник, вытрясая на своей ладонь из полиэтиленового пакетика. — У-у-у-у табачок!.. Ты уж не сердись, Хуршедик... Я скоро куплю. Буду тебя угощать. Понимаешь, я дома-то не пользуюсь. Халима бранит: мол, дети от тебя этой дряни научатся. А что дети? — дети сами уже кого хочешь научат, верно?

Он запрокинул голову, широко раскрыл рот и тотчас же запечатал его ладонью, произведя такой звук, как если бы хлопнул по горловине большой бутылки. И стал, шевеля щетинистыми белыми усами, по-верблужьи двигать челюстью, укладывая насвой под язык.

— Да уж, дети... — вздохнул Хуршед, принимая кисет обратно и задумчиво взвешивая на руке. — Сына-то не забрали?

— Эт, — гнусаво сказал Рахматулло и помотал головой. — Эт, э, забвали.

— Так дома и держишь? На улицу не выходит?

Рахматулло заматал головой. Конечно, когда сосешь насвой, лучше бы помолчать, потому что, во-первых, толком все равно ничего не скажешь, а во-вторых, при каждом слове горький табачный сок растекается по всему рту. Но пренебречь беседой было решительно невозможно, ведь не зря говорят: чей хлеб ешь, тому и песню спой. Поскольку язык был скован, приходилось размашисто жестикулировать.

— Товко ночью, — сказал он. — Фецером.

— Понятно, — вздохнул Хуршед. — Что за времена? Собаку можно на улицу пустить, кошку можно, даже барана можно... А человека — нельзя!

— Невзя, — согласился Рахматулло. — Что ты! Тут же жаметут. Им шейчас совдаты ой как нужны!..

— Солдаты всем нужны, — заметил Хуршед. — Но ведь и дети нужны, верно? Они что думают? Они думают, я сына растил-растил, вырастил, а потом они пришли, говорят: давай сюда. Так, да? Я им сына отдай, они его кое-как нарядят и на третий день голодного — в Кашдару, оппозицию воевать. Пацан неделю как из школы, а там люди пять лет стреляют. Насобачились башки сносить — лучше некуда... А им что? Это ж мой сын, не их. Их сыновья в Кашдару не ездят. Нет уж. Я своего на будущий год в Россию отправлю. Целее будет.

— В Воссю? — испугался садовник. — Ц-ц-ц-ц-ц!

— А что? Подумаешь... Ничего. Можно было бы к брату, конечно... Да они сами там воют. У них оппозиция стоит. Тоже хороши. Слышал, какая штука недавно была? Пригнали два грузовика с той стороны. Через все посты... понял?

— С какой стовоны?

— Ну, со стороны оппозиции же! Понимаешь? Прямо через все посты. А что им посты? У кого деньги есть, тому посты не помеха. Дал кому надо — и пропустят за милую душу.

— Зачем? — спросил Рахматулло, сделав жест недоумения.

— Как зачем! Им же тоже солдаты нужны. По кишлакам много не наскребешь... А здесь раздолье — вон сколько парней по улицам шатается. Бери не хочу. Говорят, нахватали, сколько могли. Без разбору. Есть паспорт, нет паспорта, тот возраст, не тот — полезай в кузов, и дело с концом. Понял? И обратно уехали. Вот так. Правительство не поймало — эти подоспели. А какая разница? Пулю-то получать все равно где — что в правительственных войсках, что в оппозиции...

Сморщившись, Рахматулло длинным зеленым плевком избавился наконец от зеленой гущи насовая и пошел к водопроводному крану. Прополоскав рот, сказал, наслаждаясь свободой произнесения звуков:

— Нет, я своего младшего из дома не выпускаю. Сидит как пришитый. Повестку приносят, мать говорит — к тетке уехал. Три раза приходили. Что дальше будет? Не дай Бог, обыщут.

— А, ничего хорошего не будет... — вздохнул Хуршед. — Ладно, надо ему свежий чай заварить. Утром-то... слышал? — спросил он, понижая голос до шепота. — Молоко я, видишь ли, ему перегрел... обжегся. С градусником мне молоко греть, что ли? Ладно, иди постой рядом, чтоб хоть чай хорошо заварился. У тебя рука легкая.

— У меня правда легкая рука, — горделиво согласился Рахматулло. — Я же тебе рассказывал. Я даже на базаре денег почти никогда не плачу. Зачем? Меня там знают. Я говорю: брат, давай я рядом с тобой посижу, у тебя все быстро-быстро купят, а ты за это мне немного своего товара дашь. Ну, лука там... или моркови... или вот есть еще такой Мирзо-татарин, он зеленью торгует. Ну и вот. С базара иду — с полной сумкой, а ни за что не платил...

— В общем, побираешься, — уточнил Хуршед.

— Почему — побираюсь? — удивился Рахматулло. — Мне за легкую руку дают. Сам же говоришь: пойди рядом постой... я же не сам к тебе прихожу — ты меня зовешь. Это разве — побираться?

— Нет, все равно нечестно. Честно, когда своими руками. Заработал — твое.

— Э-э-э, честно! Что такое честно, скажи мне? Торговать — честно? Или сыновьями нашими командовать, если их, не дай Бог, в армию загребут, — честно? Не скажи, не скажи, Хуршедик... Тут даже ангел не может честным быть.

— Ангел! — фыркнул Хуршед, выплескивая горячую воду, которой ополаскивал чайник. — При чем тут ангел?

— А ты про Харута и Марута слышал? Вот видишь... Короче, однажды люди взмолились: Боже, говорят, Ты смотришь с неба, как мы живем на земле в нечестии и пороке, но сам-то Ты не спускаешься на землю и не знаешь, что невозможно здесь остаться чистым! Ну, Господь и послал трех своих лучших ангелов проверить, так ли тяжело на земле удержаться от соблазнов. Первый только ступил, только два шага сделал, только оглянувшись — и тут же сказал Аллаху, что не выдержит испытания. Попросился назад. А два других — Харут и Марут — остались. Ну и вот... Тут же им повстречалась одна разбитная бабенка. То-се, пятое-десятое — в общем, так они с ней загуляли, что спьяну даже выболтали заветное Божье слово, с помощью которого можно было попасть на небо. Вот так... Ну, ей-то чего?

Она их тут же кинула, сказала заветное слово, взлетела на небо и стала звездой. А Господь как увидел своих порученцев — грязных, пьяных, заблеванных, обманутых обманщиков, падших ангелов своих, — тут же велел заковать и подвесить на цепях вниз головой до скончания времен... Так и висят с тех пор... кто знает ту пещеру, приходит к ним колдовству учиться. Это мне дедушка Назри рассказывал. А ты говоришь — ангел.

— Это ты говоришь — ангел, — возразил Хуршед. — Сказочки мне плетешь.

Он щелкнул крышкой жестяной банки.

— Ц-ц-ц-ц, — восхитился Рахматулло. — Смотри-ка ты, какой все-таки крупный чай хозяин пьет!

— Да уж: китайский, английского развесу, — пояснил Хуршед. — Тот еще чаек. Мы с тобой такого не купим.

— А зачем покупать, он мне и так предлагал, — безразлично пожал плечами садовник. — Да я отказался: когда мне с ним чай распивать, дел полно... И с тобой вот засиделся. Ладно, пойду.

— Давай, давай... И впрямь, чем языком-то чесать. Не знаешь, Ориф приедет сегодня?

— Кто его знает... наверное.

— Наверное! Ничего не наверное... На прошлой неделе не приезжал. И в позапрошлую пятницу не было. То-то и оно... Музафара нет. А у него я боюсь спрашивать. — Хуршед кивнул в сторону виноградника. — Как глянет — у меня кровь останавливается. Ладно, буду на двоих готовить...

Хуршед постелил на поднос полотенце, поставил чайник, свежую пиалу и блюдечко с изюмом. Внимательно оглядел. На всякий случай несколько раз дунул, устраняя невидимые мусоринки. Потер ладони, как будто мерзли. Потом воздел поднос на растопыренные пальцы правой руки, немного согнул свой полный стан и пошел по дорожке к виноградному навесу, аккуратно виляя широким задом. Чем ближе подходил, тем меньше ростом становился.

— Пожалуйста, хозяин, — сказал он, останавливаясь в нескольких шагах от топчана и кланяясь. — Свежий чай. Позволите?

Карим вздрогнул:

— А-а-а... Спасибо. Поставь.

Протянул руку к телефону, потыркал клавиши. Заранее хмурясь, дождался ответа.

— Убайдулла? Здравствуй, дорогой. Хорошо, хорошо, благодарю... Сам как?.. Ну-ну... Почему вчера в маджлисе не был? Что за болезни еще? Смотри, Убайдулла, душа моя, я могу рассердиться... тогда твое здоровье и вовсе пошатнется. Ты что, урод, придуриваться решил?.. Ты должен сидеть там как пришитый!.. Я зачем тебя в депутаты сунул? Чтобы по ресторанам мандатом махать?! Твое дело выступать, ты понял? Ты должен маячить! Чтобы люди видели, чтобы знали, кто борется за их благо!.. Я плачу деньги не за то, чтобы ты прохлаждался по бардакам... Ладно, верю, верю, успокойся... Второе: ты нашел Муслима?

Некоторое время слушал сбивчивый рассказ о трудностях дела.

Тяжело вздохнул:

— Я понял тебя. Слушай, Убайдулла, дорогой... Ты, наверное, никак не разберешься, что к чему. Хорошо, я объясню снова. Если Муслима первым найдет Яздон-разумник, он его как пить дать пришьет. Следовательно, плакали мои четыреста тысяч. Ты понимаешь, душа моя? — четыреста тысяч! Я стрелки на тебя переведу, Убайдулла. А ты со всеми своими пропитыми потрохами, — брезгливо шурясь, сказал Карим, — не стоишь и половины этой суммы! Не боишься? Ведь долг есть долг, Убайдулла. Хорошо, если есть чем отдавать. А если нету?.. Говорят, у тебя дочери красавицы. Это тоже капитал, Убайдулла, кто спорит. Ты на него рассчитываешь? Его будешь в дело пускать... а?

Он сухо рассмеялся и замолчал. Убайдулла нашелся-таки, ответил шуткой:

— Ладно, ладно... действуй.

Показалось, что даже по телефону можно было почувствовать горячую волну от вскипевшего мозга Убайдуллы, услышавшего ленивое предположение Карима... Нашелся... отшутился... молодец. Ничего, ничего. Пусть ненавидит. Это нормально. Но пусть, ненавидя, боится. Главное, чтобы страх был больше ненависти. Тогда, милый мой друг Убайдулла, даже исходя черной ненавистью, ты будешь лепетать вежливые слова... Будешь находить новые шутки. Это хорошо. Веселая вежливая речь нежит слух.

Он-то знал, что такое ненависть... Любовь? Любовь тоже знал. Мать, когда он был маленьким... Еще, пожалуй, та женщина, которая... она тоже его любила... Господи, да как же ее звали? Дильбар, вот. Да, Дильбар. Ему пришлось от нее отказаться, но... А главное — Ориф. Сын. Да, он знал ненависть. Но знал и любовь. Только никогда не думал, что придется взвешивать их на одних весах...

Если бы с Халилом в свое время не случилось этого несчастья... В свое время Карим не раз пытался приблизить к себе брата: забрать из кишлака, устроить возле себя, под боком. С тех самых пор, как к нему перешло дело Ислома (старик скоропостижно скончался лет через пять после того, как Карим Бухоро начал на него работать), он нуждался в близком человеке. Ему нужен был верный человек — верный до конца, до последнего предела, за которым уже только смерть и небытие. Таким человеком мог быть только брат, и глуп тот, кто поверит кому-нибудь другому. Карим не собирался брать никого со стороны, как сделал в свое время Исллом, приблизив его, введя в тонкости дела и передав бесценные связи и ниточки, записанные в заветной тетрадке. Правильно говорил Исллом-паук: десять дураков все равно глупее одного умного человека. Карим не хотел повторять его ошибок.

Предлагая Халилу другую жизнь, Карим отчетливо понимал, что Халил к этой жизни не готов. При всей любви к брату — любви немного испуганной, боязливой: должно быть, не мог он забыть судьбу своей первой жены, — при всей готовности помочь Халил оставался все тем же самым колхозным трактористом: жил как колхозный тракторист, мечтал о вещах, интересных только колхозному трактористу, — и выбить из него этого колхозного тракториста Кариму не представлялось возможным...

Он и погиб по-дурацки.

Спешил домой из соседнего кишлака. Хлестал ливень, ватное небо ползло на скалы. Безобидный прежде ручей превратился в нешуточный поток — ревел, катил валуны, тащил вырванные кусты, хлеща ветвями по камням. В горах человек должен быть готов ко всяким неожиданностям. Наверное, Халил решил, что он готов. Халил не стал дожидаться, пока ручей успокоится и войдет в прежнее русло. Должно быть, потом он пытался спасти застрявший в потоке грязи и камней трактор, будь он трижды проклят... Следующей волной селя машину перевернуло и поволокло вниз. Халил смог выбраться из кабины. А может быть, его выбросило одним из ударов... Избитое камнями, изуродованное тело обнаружили через день далеко внизу, при впадении ручья в Варздарью. Если бы у селя хватило сил протащить его еще несколько сотен метров, уже никто и никогда не нашел бы Халила. Река, грохочущая в тесных скалах, полная, словно гюрза, злой весенней силы, в крошку размалывает камень, а уж не то что человеческую плоть...

Он помнил, как ехал в Кухинур на сороковины. Дорога серой лентой набегала под колеса. Вот и нет Халила. Нет брата... Потом стал думать о себе. Похоже, у него, как у покойного Ислома, тоже не будет детей. Зато вот у Халила четыре дочери и сын, потому что он был беден и ничем не управлял. Власть и богатство не оставляют времени для семьи. Разумеется,

женщина способна найти шелку в самой прочной броне: сначала пролезть тишком, по-кошачьи, а потом упрямо отжимать себе все больше и больше места. Он тоже однажды собрался было жениться. Ах, Дильбар, Дильбар... Нет, не ошибка... Был уже к тому времени достаточно умудрен. Своими руками рушить собственную же неуязвимость? — это неправильно. Зажал сердце в кулак... вырвал с корнем. Чтобы замять скандал, снабдил избранницу соответствующей суммой отступного. И выпроводил к родителям. С тех пор предпочитал содержать двух-трех некрасивых женщин, которых посещал по очереди...

Они свернули с трассы и через час подъезжали к месту по разбитой каменной дороге.

День клонился к вечеру. Недавние бури миновали, небо светилось яркой синевой, и заснеженные пики хребта Сангикабуд празднично сияли над прилепившимся к западному склону кишлаком — молчаливым, примытым случившимся несчастьем.

К дому Халила тянулись старики. Поначалу вечером каждого дня, а потом два раза в неделю их ждет поминальный плов.

Гафур раскрыл багажник, вынул по очереди две завернутые в мешковину бараньи туши, отнес в дом. Вернулся за рисом.

— Тяжело, — говорил Карим, обнимая плачущую невестку, — ой, как тяжело, Хафиза! Что делать будем, Хафиза!..

Когда старики разошлись, за окном мехмонхоны уже висели вязкие синие сумерки. Они наконец-то сидели за дастарханом втроем — ставшая за эти дни темнолицей старухой Хафиза, молчаливый Ориф, не отрывающий взгляда от дяди, и сам Карим Бухоро, плотный коренастый человек с широкими волосатыми кистями рук и плоскими ногтями, властное лицо которого производило впечатление тяжелой силы.

— Что за история с этим учителем? — негромко спросил Карим, наминая пальцами горку остывшего плова. — Почему меня позоришь?

Теперь он молча жевал, холодно глядя на племянника.

— Он сам виноват, дядя Карим, — буркнул Ориф, поднял было глаза, но тут же потупился. — Я же знаю, что отвечал на пятерку... А он меня перед всем классом начал стыдить — мол, ты не выучил... И поставил три... разве я виноват?

— Ну, — поторопил Карим.

— Ну а потом я дождался, когда он выходил из школы...

— Ну!

— Он выходил из школы... а я подошел и говорю: муаллим!..

— И что?

— Говорю: чего тебе надо, муаллим? Чего ты хочешь, муаллим? Зачем поставил мне тройку, когда я знаю на пять? А?! — Ориф все же поднял глаза, сощуренные гневом воспоминания. — А потом он пришел и стал скандалить... говорит, я его избил. Дядя, я его не избивал. Я только ударил два раза, как вы учили, — один раз с левой поддых, а второй — правой в челюсть... Он же сам виноват!

Карим молчал, размышляя.

— Понятно, — вздохнул он. — А скажи-ка, Ориф, почему мне говорят, будто тебя часто видят с этой девочкой, как ее...

— Сабзина... — проговорил Ориф, пунцовея.

— Вот-вот, Сабзина... Я слушаю тебя.

— Мы решили пожениться... — прошептал Ориф. — Я и отцу сказал... Он обещал поговорить с ее родителями. Он сказал: ничего страшного, сын-нок, я тоже женился в семнадцать лет!

— Вот как, — протянул Карим. — Понятно. И что же? Женишься, что потом будешь делать? Ты ее по крайней мере не трогал?

— Что вы, дядя!

— Хорошо, хорошо... Так что потом?

— Не знаю... — Ориф пожал плечами. — Можно много что делать...

— Например, работать трактористом, — предположил Карим.

— Например... — согласился мальчик, не уловив издевки в словах дяди. — Или вот еще в техникум...

Они помолчали.

— Ориф, — негромко сказал Карим, одновременно дожевывая кусок жилистой баранины. — Будь добр, отложи немного плова в тарелку, отнеси Гафуру, пусть поест.

— Может быть, сюда позвать? Неудобно как-то... — робко спросила Хафиза.

— Нечего ему здесь делать, — ответил Карим.

Когда Ориф вышел, он вытер руки о дастархан и сказал:

— Вот что, сестра... Орифа возьму с собой. Он мне нужен.

— Что вы, Карим-ака! — прошептала она. — Как можно! С кем я останусь!

— Э, много не говори! — грубо оборвал он. — У тебя дочери! Парень тут пропадет, не понимаешь? Что ему в кишлаке киснуть?

Хафиза, не поднимая глаз, перебирала пальцами краешек скатерти.

— Буду помогать тебе, — отрывисто продолжил Карим. — Недостатка ни в чем не будет. Не переживай, сделаю из него человека, через десяток лет сама к нему приедешь. Договорились?

Хафиза кивнула, вытирая слезы.

За окном совсем стемнело. Звезды мерцали, словно подмигивая друг другу.

3

Кто знает, может быть, в этом и была ошибка. Может быть, если бы Карим не забрал его от матери, то... Что тогда? Он бы вырос в родных горах, стал трактористом, как отец... женился на своей Сабзине... она родила бы ему детей... что в этом плохого? Конечно, он никогда не смог бы, как не смог его отец, войти с Каримом Бухоро в партнерские отношения, не смог бы окунуться в тот океан страстей, который уготовил ему дядя... Ну и что? Может быть, и лучше? Может быть, именно потому, что Ориф вырос рядом с ним, с человеком, слишком рано и слишком определенно познавшим простое устройство жизни, понявшим ее, как другие понимают разные ученые слова, — да, может быть, от этого и зачерствело его сердце.

Карим сощурился на солнце. Время текло медленно, очень медленно. Телефон молчал — значит, еще не поздно позвонить самому. Но стоит ли менять решения? Да и что потом? Что будет потом?..

А ведь как он был доволен, когда забрал Орифа к себе, чтобы воспитывать как сына... Поселил в своем доме, снабдил всем необходимым, нанял учителей. Вот, пожалуйста, на: живи, смотри, учись. Ему было приятно чувствовать, что здесь, рядом, в соседней комнате, находится близкая душа.

Люди к нему заходили часто. По своим делам, то есть тех, кому платил деньги и строго спрашивал, принимал в рабочей комнате. Она единственная в доме была обставлена по-европейски — старомодный и старый кожаный диван с деревянным резным верхом спинки и цилиндрическими пуфами по бокам, письменный стол, секретер, три стула у стены. В середине лежал хороший туркменский ковер. Тут ему отчитывалась разного рода мелкая сошка из правлений колхозов, за небольшую мзду снабжавшая его всей необходимой информацией. Как правило, это были усатые, загорелые до черноты люди в серых френчах полувоенного кроя, в пыльных брезентовых сапогах, вытиравшие пот, струившийся из-под тубетеек, большими красными платками. Робея и приниженно улыбаясь, они торопливо выни-

мали из карманов скомканные бумажки, на которых были записаны цифры планов, реальных площадей посевов, пересевов, количества техники, фактических показателей уборки, хлопкоочистки... Орифа Карим сажал рядом — пусть слушает взрослые разговоры, пусть вникает.

По другим — не денежным — делам Карим принимал во дворе. Ближе к вечеру к нему часто приходили за советом, за помощью. Заявлялись повздорившие с просьбой рассудить и решить спор, дожидались очереди пожаловаться на обидчика... По большей части это были совершенно незнакомые ему люди, обычно из далеких кишлаков, робко объяснявшие свой визит тем, что они слышали, будто такому-то и такому-то уважаемый Карим-ака помог в похожей ситуации. Карим Бухоро терпеливо вникал в чужие дела. «Чужие» — слово неточное, поскольку чужих дел для него не существовало: ведь всякое чужое дело при удобном случае может обернуться своим и принести пользу. Он раскидывал на пальцах, как разумнее поступить в том или ином случае, мог даже ссудить деньгами, если прозревал в будущем возможность использовать способности или связи должника. Жалобы слушал с плохо скрытым недовольством — считал, что, если человека обижают, он должен сам за себя постоять, а не жевать сопли. Впрочем, и тут иногда снисходил, обещал при случае замолвить словечко кому надо. Всякий пришедший навечно попадал в сеть его интереса. Проходило время — месяц или год, может быть, даже несколько лет, — но когда-нибудь Карим-ака непременно вспоминал о каждом... Ориф сидел рядом на кате⁴. Карим поглядывал на племянника — не зеваешь ли? мотает ли на ус? Он показывал ему жизнь как она есть — настоящей, а не такой, какой существует в нетрезвых головах разнообразных глупцов. Мир полон людей, но кто из них разбирается в жизни? Кто из них знает, какова она на самом деле? Только тот, кто сидит выше, кому первому приносят баранью голову... а как иначе?

Через год отправил Орифа в Хуррамабад, в Высшее училище МВД. Тот долго сопротивлялся: как же, дядя, они вас двенадцать лет за решеткой мариновали, а теперь я к ним в компанию?! Не хочу! Карим спокойно объяснял: человеком всюду можно быть, а кроме того, сынок, говорю тебе честно, охранять все же лучше, чем быть охраняемым. Однако Ориф упирался до последнего. Карим даже подозревал, что он рассчитывает провалиться на экзаменах — только бы не учиться. Фокус не прошел: нашлось кому позаботиться, чтобы парень получал одни пятерки.

Когда зимой приехал на короткие каникулы, Карим обнял его, потом отстранил, разглядывая.

— Ну, совсем командиром стал... Парочки орденов не хватает. Ладно, пойдем, покажу кое-что.

Вывел племянника во двор, протянул ключи.

— Держи, твое.

Скованно улыбался, глядя, как ошеломленный счастьем Ориф недоверчиво обходит сияющую машину.

Между тем прошлое начинало стремительно и, похоже, безвозвратно разваливаться. Перемены принесли ощущение неустойчивости. Прежде довольно было договориться с секретарем обкома, чтобы девяносто процентов проблем ушли с горизонта. Теперь началась какая-то чехарда. Зачастили из России, из Москвы, бригады следователей. Стали трясти уважаемых людей. Только и слышно: приписки! приписки! приписки! Опомнились... Хлопковый бизнес не то чтоб совсем увял, но сильно похилился. С приезжими найти общий язык было невозможно: бригадами их присылали неспроста — чтобы прислеживали друг за другом. И в средствах они, поганцы, не стеснялись. Карим присматривался, на рожон не лез. Ему казалось, что нужно потихоньку менять направление деятельности. Совсем

⁴ Кат — квадратный топчан (тадж.).

хлопок не бросать, конечно. Хлопок есть хлопок. Пока светит солнце и течет вода, его коробочки будут приносить свои барыши... Вообще-то он мечтал о честном владении землей. Что в этом плохого? Люди на полях всегда работали за кусок хлеба. Они и будут работать за кусок хлеба, кому бы ни принадлежала земля — колхозу или Кариму Бухоро. Что такое колхоз? Это председатель, присматривающий человек. Ему только свой карман набить, дальше трава не расти...

Эх, Карим был бы хозяином!.. Все бы взял в свой кулак: своя земля — не чужая, за своей глаз да глаз!

За Орифом в Хуррамабаде приглядывали верные люди. Доносили: оперился, верховодит кулябцами, твердой рукой держит шашку, нагличает, сбивает своих в стаю, чтобы противостоять ленинабадцам и памирцам, сам же и участвует в коллективных драках; нашел себе друга, зовут Зафар, зачем-то угнали машину (своей ему не хватает!), были пьяные, разбили; откупился деньгами, откуда деньги — неизвестно. Карим в глубине души посмеивался: как же, неизвестно! отлично все известно, он сам и дал... Потом история с этой девкой. Отец ее работал в ЦК и пер как сумасшедший — мол, пусть садится, и дело с концом! Едва замаяли. Карим не верил ни в какое изнасилование... ну, подвыпили ребята, с кем не бывает... не надо было крутить хвостом... шлюха, она и есть шлюха, прости господи!

Но все же несколько раз толковал с племянником. Ориф, не лезь на рожон. Ориф, будь осторожней. Ориф, жизнь сегодня не кончается, оставь что-нибудь на потом. Смотри сюда, Ориф. Например, есть такая-то проблема. Что бы ты предпринял на моем месте? И все? Понятно. А я — то-то, то-то, то-то и то-то. Вот что такое настоящая осторожность. Ты понял? Теперь вот что. Как ты знаешь, хлопок подвял. Поэтому мы начинаем совершенно новое дело. Оно опаснее прежнего. Смотри сюда: если оно опаснее вдвое, нужно быть осторожнее вчетверо. Если в десять — будем предусмотрительнее в сто. Ты понял меня? Ладно, иди... утром еще поговорим.

А дело он пока прибирал к рукам. Оно интересовало его всегда, еще со времен зоны, где он брезгливо разглядывал конченных, готовых на все за щепотку анаши, за несколько порошинок маковой соломки. Уже тогда Карим, присматриваясь, сделал вывод, что не может быть ничего более выгодного и простого, чем брать деньги с человека, неспособного управлять собой. Конечно, смотреть на них одновременно противно и жалко — но люди сами выбирают свою судьбу...

Кроме того, уже несколько лет тайно платил некоторым людям Фазлиддина, Салима Клоуна, Фархода Маленького и еще нескольких мелких торговцев. За это они исправно снабжали его кое-какими сведениями, благодаря чему Карим знал о делах их хозяев не меньше, чем сами хозяева. Самым крупным и удачливым дельцом был Фазлиддин, однако и его обороты являлись сущей мелочью в сравнении с тем предприятием, что задумывал Карим.

Когда Союз рухнул и республики принялись торопливо и неряшливо обзаводиться громоздкими причиндалами поддержания независимости — границами, таможнями, спецслужбами, — Карим понял, что пришло его время. Именно в этой неразберихе можно было сделать мощный рывок вперед и охватить новые территории, выйдя далеко за границы тех традиционных районов сбыта, где в советское время был налажен по мелочи более или менее надежный механизм распространения товара...

Однажды на исходе теплого апрельского дня стали съезжаться машины к воротам спортивной базы «Динамо» в нескольких километрах от города.

Никто не знал, по какому поводу именно его Карим-ака просил о встрече. Теперь, по мере того как прибывал народ, это понемногу становилось понятно. В конце концов в просторном помещении столовой собралось человек пятнадцать. Почти все были знакомы. Здоровались по

большей части сквозь зубы. Сделать окончательный вывод не составляло труда: Карим Бухоро решил зачем-то собрать всех кулябских торговцев наркотиками.

— Карим-ака, а милиция на автобусе приедет? — спросил Салим Клоун, вечно косивший под дурачка, что не мешало ему при случае показать совсем не дурашливые клыки. — А то в «воронок»-то мы все не поместимся...

Его шутка имела успех — многие рассмеялись, напряжение спало.

— Тихо, тихо, — сказал Карим, поднимая руки.

Он сидел во главе большого стола, празднично застеленного красным сукном. На столе стояли тарелочки со сладостями, лепешки, слоеные пирожки с медом и орехами, стопки чистых пиалок. Мальчишка в белом фартуке торопливо разносил чайники.

— Такие уважаемые люди обычно начинают застолье с коньяку, — улыбнулся Карим, — но сегодня мы начнем с чаю. Сначала поговорим на трезвую голову.

Кто-то неодобрительно хмыкнул.

Ему стоило большого труда улыбаться, произнося шутливым и необязательным тоном шутливые, располагающие к доверительной беседе фразы. Перед ним сидели, недоверчиво шурясь, не люди, а крысы — хищные злобные существа, накачавшие нечеловечески упругие мускулы в бесконечных и безжалостных подземных побоищах. Каждый из них, минуту назад поклявшись в вечной дружбе, при удобном случае без раздумий вцепится в глотку, если поймет, что это выгоднее. Их нужно давить, давить, как вшей! Не давать глотнуть воздуху! Только тогда будут послушны!.. Карим почувствовал, как что-то заклокотало под сердцем, — но сейчас он не мог позволить себе погрузиться в розовый туман ярости, в котором можно различить только силуэт врага, похожий на мишень.

— Повара уже стоят над казанами, не беспокойтесь... — добавил он.

— А в трубочку дуть не будем? — озабоченно спросил Салим Клоун. — А то я вчера выпил две кружки пива... может быть, я не гожусь сегодня?

Хмыкнув, Карим налил в пиалу чай из стоявшего возле него чайника, снял крышечку, вылил обратно в чайник, высоко поднимая пиалу. Повторил свои действия. И еще раз. Все выжидающе молчали.

— Давайте не будем говорить обиняками, *по-таджикски*, — негромко сказал он, закрывая чайник крышечкой. — Давайте говорить хоть и на родном языке, но прямо, *по-русски*. Ну-ка, Низом, скажи, ты сколько лет отсидел?

— Четыре года, — пожал плечами Низом Барышник. — А что?

— А ты, Фарход?

— Сколько ни отсидел, все мои, — буркнул Фарход. — Ну, шесть...

— А ты, Насрулло?

— Четыре... и год на химии...

— Вот, — сказал Карим. — Я могу задать этот вопрос любому, и никто не ответит мне, что обошел тюрьму стороной. И у каждого могу спросить, хорошо ли ему там было, и каждый скажет, что ему там было плохо. Верно говорю?

— Э, Карим-ака, бывает такая воля, что хуже тюрьмы! — горько пожаловался Салим Клоун. — Я иногда думаю: эх, чем тут в нищете биться, лучше бы уж на второй срок поскорее!

— Так и будет, уважаемый Салим, душа моя, — пообещал Карим. — Так и будет. Никому из вас не миновать второго срока, а кто уже отмотал, так и третьего... А знаете почему?

— Уважаемый Карим Бухоро, — гулко сказал Фазлидин.

По-видимому, это мрачное предсказание возмутило его до самой глубины души, глубоко запрятанной в большое рыхлое тело. Он со скрежетом отодвинул стул, поднялся и навис над столом, уперевшись в него руками.

— Карим-ака, может быть, вы и вправду являетесь представителем детской комнаты отделения милиции? Что за лекцию вы нам, малолетним преступникам, хотите прочитать? Мы вас уважаем, Карим-ака, но нельзя же отнимать у занятых людей столько времени!

Торговцы одобрительно зашумели.

Карим напрягся, но все же сладил с собой.

— Ладно, ладно, — примирительно сказал он, помолчав. — Сядьте, уважаемый Фазлиддин, прошу вас... Много времени я у вас не отниму, честное слово... Итак, все мы заняты одним делом и находимся примерно в одинаковом положении...

— Разве Карим-ака тоже занялся травяным бизнесом? — спросил Салим, наивно округляя глаза. — Тогда с вас, как с новичка, причитается...

— Я не новичок, — возразил Карим и продолжил, повышая голос: — Если хочешь, душа моя, я расскажу тебе, сколько килограммов конопли ты в этом году собрал, сколько сумел переправить, сколько — продать!.. сколько раздал взяток, сколько заплатил перевозчикам!.. Я не новичок. — Он покачал головой. — Я знаю, что говорю: все мы заняты одним делом и находимся в одинаковом положении. Ты все остришь, Салим... Это хорошо. Лучше быть веселым, чем грустным. Но скажи: почему тебя, такого веселого парня, кинули на кичу, когда взяли в Хуррамабаде с пакетом маковой соломки?

— Кодекс такой, Карим-ака, — явно не напуганный его напором, пожал плечами Салим Клоун. — Закон есть закон, как говорится...

— Нет, дорогой, не поэтому... А потому, что за тебя некому было хлопотать. И не было денег, чтобы заплатить тем людям, которые управляют исполнением закона. Вот ты и отрубил свое! И скажи еще спасибо, что здесь, а не в России... Короче, нужны деньги. Если мы сложим *общак*, тогда...

Фазлиддин захохотал — гулко, будто из бочки, — и вскинул ладони так, словно приглашал к своему веселью всех присутствующих, включая Карима.

— Я понял вас, уважаемый Карим! Я понял вас! — добродушно повторил он, цепляя лица настороженным взглядом заплывших глаз. — Вам деньги нужны! Вот в чем дело! Все понятно! Только зачем такой шум? Такие хлопоты? Да вы бы сказали сразу — мол, так и так, затруднения... не ссудите ли под приемлемый процент? Неужели бы никто из ваших друзей не откликнулся? — Он тяжело поднялся и махнул рукой. — Все, пошли! Нечего тут разговаривать! Слышите? Что расселись? Хотите, чтоб вас и дальше лечили?

Дельцы зашумели. Кое-кто загремел стульями, поднимаясь вслед за Фазлидином.

— От меня так не уходят, Фазлиддин, — с облегчением высвобождающейся ярости сказал Карим. — Тебе лучше сесть.

— В следующий раз договорим, Карим-ака! — похохатывал тот. — Не последний раз видимся. Я сегодня все равно без копейки, так что о займе...

Карим вскочил и шагнул к нему в багровом от ненависти воздухе — и, как всегда, через мгновение уже не смог бы объяснить, что именно сделал. Фазлиддин ухнул и с грохотом повалился на пол, ткнувшись напоследок лицом в ножку стола. Кто-то за его спиной кинулся к дверям.

— Стоять! — крикнул Карим, оборачиваясь. — На место!

С топотом влетел на шум Гафур Мясник — рука под полой пиджака. Оценив ситуацию, встал у притолоки, следя за сидящими.

— Спокойно, — сказал Карим. — Этого убрать. Очухается, скажи, что завтра его жду. Договорим... Садитесь, друзья, садитесь. Не будем обращать внимания на это недоразумение.

Сел сам, переводя взгляд с одного на другого: тяжело упирался в зрачки и ждал, когда они скользнут в сторону. Кто? Понятно... Никто.

— Так на чем мы остановились?

— Вы, Карим-ака, про какие-то деньги стали говорить, — встрял Салим. — Я их так давно не видел, честное слово... Деньги — это такие бумажки, что ли?

Кто-то хихикнул.

— Скоро ты вспомнишь, что такое деньги, — пообещал Карим. — Навар будет хороший, правду говорю.

Он поднял пиалу и смочил губы.

— Подумайте своими башками. Сейчас вы все — дикие лошади, связанные одним арканом: все рвутся к своей выгоде, поэтому табун только топчется на месте. Чем вы заняты? Несколько десятков сборщиков, доставщиков... проводники вагонов, которым вы платите, чтобы они, всю дорогу дрожа от страха, провезли в Россию пакетик анаши... разве серьезно? И сами трясетесь — как бы не влипнуть в очередной раз. Разве кто-нибудь из вас в отдельности может башлянуть милиции или пограничникам? Разве кто-нибудь может организовать доставку сырья с Памира? Или из южных районов Афганистана? Так и будете таскать на горбу мешки с травой. А ведь можно наладить переработку — и перевозить концентрированный продукт. Что лучше?..

— Вот-вот! — прорезался Касымка-полторы-ноги. — Верно говорите, Карим-ака, верно. Я сам так иногда думаю: хорошо бы собрать деньги, пустить на общее дело... ага? Да я и сам вчера почти так думал, честное слово! Нет, братья, правда, зачем эти мешки... ага? Надоело, правда! Концентрат хорошо... Верно? А главное — погранцам, погранцам башлянуть! Вот что вы правильно говорите, Карим-ака! Сам так только утром думал!.. Только кто за деньгами смотреть будет, Карим-ака?

— Помолчи, — отмахнулся Карим. — Все расскажу... Короче, если мы объединим усилия, то сможем переправлять товар не спичечными коробками, а вагонами. Поймите, вложив сегодня несколько миллионов, через год-два можно будет ворочать миллиардами. Расширяться, расширяться! Не сидеть на бабках, а рынок увеличивать! Свои цены называть! И не высокие цены, а низкие! В этом весь смысл. Чем доступнее будет дурь, тем больше навар. Такой маховик раскрутим — небу станет жарко!

— А потом? — тупо спросил Фарход Маленький. — Что потом?

Карим хмыкнул.

— Потом? Ты хочешь сказать — когда мы капитально заработаем? Скажу. Тебе же не хочется на кичу, Фарход? Верно? Так и надо думать об этом. Если раскрутимся как следует, можно будет начать совсем, совсем другую жизнь! Серьезное производство серьезных вещей... а, Фарход? Например, автомобилей, а? Почему нет? Электроники, а? Почему бы и нет, уважаемые друзья? Сколько еще веков мы будем жить в стране, которая способна продавать только виноград и семечки?

Он помолчал, рассматривая ошеломленных торговцев.

— Я приблизительно знаю, сколько у кого под кожей. Но дело добровольное. Понятно, что не стоит отдавать на общее дело последнюю свою копейку. С другой стороны, кто больше даст, тот больше и получит. Прикидывайте.

Салим Клоун крикнул и хотел было что-то сказать, но Карим властно поднял руку:

— Я не требую немедленного ответа. Думайте. Считайте. Совещайтесь. И надеюсь, в конце концов у нас будет повод съесть манты из перепелиных языков!..

Днем окна плотно закрыты, и душное благоухание цветника, примыкающего к дому, пропадает зря.

Здесь можно было ничего не касаться, однако Рахматулло решил все же пройти кетменем между розовыми кустами. Шесть из них представ-

ляли собой заурядную *Белую Ночь*, которой в прежние времена бесчисленно засаживали огромные клумбы возле фонтанов и правительственных зданий. На них было три или четыре десятка разлаписто раскрывшихся цветов, белый цвет которых, благодаря незначительному намеку на желтизну, вызывал в памяти образ свежестираного, чистого, даже стерильного и все же слишком долго ношенного белья. Зато три других — его любимого сорта *Маликаи Ачам*: всего лишь пять бутонов, но каждый из них завораживает взгляд беспримесным темным кораллом круто закрученных узких лепестков.

Рыхлить приходилось очень осторожно, потому что под влажно-растресканной поверхностью земли совсем неглубоко лежат нежные корни. И яблоневый-то корень можно повредить одним бездумным движением, а что уж говорить о розах. Махнул невзначай — и готово. Все-таки странно устроен мир. Вот взять эти розы. От них никакой пользы. Нет-нет, как же, ведь розовое масло делают из лепестков... Но это где-то в других странах делают — в Иране, наверное, в Индии... У нас не делают. У нас они растут совершенно просто так — ни за чем, для одной красоты. То есть пользы — никакой. Ни плодов, ни ваты, как из хлопка, ни даже на дрова не пустишь. Только цвет и запах. Совсем бесполезная вещь. А все же ему почему-то приятнее всего ухаживать именно за розами. И чем они красивее — тем приятней. Зачем это? Для чего? Ведь не запахом живет человек. Досыта все равно не нанюхаешься. Хлеба попросишь... Вот то же самое с женщинами. Тоже непонятно. Почему красивые — лучше? Сосед Кадыр года три назад бросил семью из-за одной. Сначала к ней ушел — а ведь все было хорошо: дом, дети, — потом вернулся... прощения просил... Не те времена, конечно. Раньше мужчины свободнее жили. Пришел, ушел — никого не касается. Ну, его приняли... а он скоро снова к ней. Месяца через полтора опять назад — пустите, не буду. Худой стал, страшный. Мучила она его, должно быть... И так целый год. Или полтора. Срамил себя на всю махалу: туда-сюда, туда-сюда. А кто его осудит?.. А потом встал на край хауза — он же в вооруженной охране на автобазе возле Путовского работал, — и выстрелил себе в голову, и упал в хауз, в воду... видно, хотел, чтобы совсем уж наверняка.

Нет, наверное, ему повезло, что, кроме Халимы, у него никого никогда не было. Кажется, когда их женили, Халима была очень, очень красивая. До свадьбы они считай что и не виделись, и когда он в полумраке поднял покрывало, то просто онемел. Или ему казалось? Она была так нужна и он так быстро к ней привык, прирос всем телом, что, наверное, если б на ее месте оказалась какая-нибудь курносая и рыжая или даже рябая, он все равно числил бы ее в красавицах.

А Халиме с ним, наверное, не повезло. Она никогда-никогда, ну просто ни разу ни единым словечком об этом не обмолвилась и даже, кажется, в жизни так не подумала, но он сам чувствовал: не повезло с ним Халиме. Она могла бы выйти за какого-нибудь ухватистого парня... вроде своего брата Инома, который и машину когда еще купил, и дом какой имеет — не то что у них, — а все потому, что заведовал детским садом, а там, он сам говорил, много чего оставалось после детей: и баранов кормил хлебом, и птице было что насыпать, да и мебелишку кое-какую привозил... это называется: списали. Что значит — списали? Ну, не важно, бумажные дела, их сразу не понять... Вообще, человек, который имеет дело с бумагой, всегда богаче живет, чем тот, что ковыряется в земле или что-нибудь комстролит своими руками. Правда, Инома в конце концов сняли и чуть не посадили, но ведь не посадили, а семью он вон как обеспечил. И друзья у него тоже от этого хорошие — все заведующие: кто баней, кто кладбищем... солидные такие люди. Не чета Рахматулло, что уж. Вон даже Хуршед говорит: побираешься. Хуршед пошутил, конечно, это понятно... вовсе он не побирается... просто легкая рука у него, вот и все. Накануне

Навруза со всех сторон махали к нему тянутся. Рахматулло-чон, пожалуйста, придите к нам рано-рано утром. Будете нашим первым гостем, у нас весь год хорошо пройдет: у вас ведь легкая рука, Рахматулло-чон, вам сопутствует удача... Придешь — насыпят конфет, крашеных яиц дадут сколько хочешь... Нет, конечно, спору нет: бедно живем, что говорить... Да ведь детям нельзя не помочь, верно? Брата на улицу не погонишь? Отца чужим людям не отдашь? Внушек куда? Вот так одно за другое, одно за другое... Бедно, конечно. Но иногда представишь: вот был бы ты, Рахматулло, богатым, как хозяин твой, Карим Бухоро... нет, этого и вообразить не получается!.. пусть все же как Ином, ладно. И что? Сами они к Иному в дом вовсе не заглядывают, а Ином если зайдет раз в год, то такой недовольный-недовольный, словно кому-то должен, а отдавать не хочет. Его угощают, а он посмотрит в плошку и обязательно что-нибудь такое скажет: «А-а-а, мол, атолу едите!» Да еще так укоризненно, будто сам он по бедности атолы отродясь не ест... А что такое атола? Мука с водой, вот и вся еда. Правда, у Халимы-то руки золотые, она горсточку луку поджарит, зелени накрошит — за уши не оттащишь от этой атолы... В общем, непонятно, что человеку нужно. Посмотришь на Инома — вроде и богатство ни к чему, на себя глянешь — а без денег и того хуже...

— Э, Рахматулло!

Рахматулло сделал еще несколько движений, доканчивая свою работу, а потом разогнулся, потирая левой рукой поясницу. Все, конец. Вот и Хуршед зовет. Пора пить чай. Одиннадцать. Как хорошо, что он добил последний рядок. Чисто, красиво... Теперь чай, лепешка... благодать. А потом он доведет до ума тот ряд виноградника — надо наконец обломать побеги, а то все руки не доходят.

— Иду, иду.

Он мельком глянул в сторону виноградника. Кто его разберет... так-то, умом-то понятно: на кой ляд ему следить?.. Рахматулло перехватил кетмень и, опустив голову, побрел в сторону кухни. Проходя мимо ката, невольно замедлил шаг и спросил, поклонившись:

— Как себя чувствуете, хозяин?

Ай, зачем он это сделал! Шел бы себе и шел!..

Карим поднял тяжелый сумрачный взгляд:

— А, это ты... Чай идешь пить?

— Чай пить, — закивал садовник. — Чай, хозяин. Хуршед звал.

— Мой чай не стал... — с неясным выражением сказал Карим.

Рахматулло похолодел. Действительно — ведь хозяин предлагал ему чаю... он отказался, а теперь...

— Я просто... время-то идет, хозяин, вы уж простите, — заторопился он, беспомощно озираясь. — Я просто... надо было рыхлить, Карим-ака... и я... а то ведь время... и вот... честное слово, я...

Карим молчал, и Рахматулло тоже молчал, ожидая решения своей судьбы.

— Иди, — хмуро сказал Карим.

— Спасибо, спасибо, — с облегчением забормотал он, мелко отступая. По спине бежали струйки пота. — Благодарю вас, хозяин... извините меня.

Он все кланялся пятясь, а Карим уже отвернулся.

Простой человек. Совсем простой. Честно сказать, раздражает. Топнуть ногой — умрет со страху. Даже если просто сказать: умри! — умрет... Хороший человек. С такими просто. Но неинтересно. Руку протянул — он твой... Люди разные. В одних всегда живет страх. В других страх убит другим страхом. В третьих страха нет вообще.

Нет, вранье. Сам он тоже всегда чего-нибудь боялся. Предательства. Случайности. Больше всего боялся потерять Орифа. Поэтому был предудомителен. Дальновиден. И его учил дальновидности.

Но не выучил.

Взять хотя бы весну девяностого. В Хуррамабаде полыхнуло. Дураки говорили — неожиданно. Карим локти себе кусал, понимая, что его опередили: то, что он собирался когда-нибудь сделать сам, сделали другие. Три дня кряду рвань громила магазины. Жгли киоски, переворачивали троллейбусы. Кто попал под горячую руку, не поздоровилось. Русский так русский, таджик — если не в чапане — тоже пойдет, таджичка не в национальной одежде — давай и таджичку... Бей-колоти! Правительство только разевало свой поганый рот. Ай, разве ленинабадцы могут что-нибудь, кроме как чесать языками? Это слыхано ли: первый секретарь обратился к населению с предложением защищаться самим — кто чем может. Ориф, болван, как на грех, попал в самую гущу — ехал со службы, в штатском, без оружия, наехал на погром, выскочил, попер с голыми руками... Ну и получил свое — огрели чем-то сзади по башке. Машину спалили, сам две недели провалялся в больнице. Потом приехал: мрачный, дерганный, зло сказал, что больше без ствола за поясом шагу не сделает.

— Э-э-э, дело не в стволе! Куда ты полез! — мягко попрекал его Карим. — Тут кулаками не поможешь. На больших деньгах заварено, поверь мне... Этот ход правильно задуман. Всем все видно: беспорядки, гибнут люди, целый город кое-как обороняется от бандитов. Кто виноват? — конечно же власть. Смотри, народ, как плохо тобой управляют. Давай-ка, народ, погони этих людей, позови нас — гиссарцев или каратегинцев — и тогда мы будем управлять тобой хорошо... Это же очень просто! Собрались уважаемые люди, обсудили, выработали план, сложились деньжатами... Правильно задумали: давно пора свалить ленинабадцев. Как сели семьдесят лет назад, так никого к власти не подпускают. Знаешь, какого труда мне стоило, чтобы тебя оставили работать в Хуррамабаде? Или чтобы дали капитана на два года раньше? Эге! Кулябец?! — и тут же вся ленинабадская сволочь встает стеной: Карим-ака, мы вас уважаем, но есть негласные постановления... вы понимаете, Карим-ака, при всем к вам уважении не могу рисковать своей головой... поймите меня правильно, Карим-ака, но... тьфу, лисы поганые!..

— Да ну, — отвечал Ориф. — Попробуй свали... У них армия, безопасность. Только сунься. А народ — что народ... Ему плевать. Его громят, а он все наверх смотрит — что власть скажет. Да и зачем их валить? И при них жить можно. Нужно только...

— Подожди, сынок! — Карим бросил четки на дастархан. — Ты, кажется, чего-то не понимаешь. Что значит — зачем? Да затем, что власть — у них. А должна быть — у нас. У нас, у Куляба. Куляб всегда был сердцем этой страны. Власть — дело Куляба. Наше дело, говорю тебе прямо, — наше с тобой дело. И ради этого...

— Да ну, дядя. — Ориф сморщился. — Власть, власть!.. Да к ней не пробьешься, к власти-то. Там столько всего наворочено — черт ногу сломит.

— Правильно говоришь, — согласился Карим. — Одни не пробьемся. А вместе с другими — пробьемся. Свалим. Поэтому не нужно бросаться с кулаками. Есть лучшие пути. Видишь, в этот раз мы и вовсе остались в стороне. Прозевали все. Это беда наша. Нужно искать организаторов. Уважаемых людей. Мол, так и так: в одиночку вам ленинабадцев не погнать. Сам говоришь: в их руках милиция, армия, безопасность. Давайте объединяться. При определенных условиях мы, кулябцы, тоже поможем деньгами... Понимаешь? Для начала сойдемся с кем угодно — с гиссарцами, с каратегинцами, с памирцами, с чертом, с дьяволом! Нужно свалить ленинабадцев, схватить шишку — а уж потом будем разбираться с партнерами... И еще как разберемся! Еще раз говорю: власть — это наше дело, сынок. Ты вообще представляешь себе, что такое настоящая власть?..

Нет, он так и не понял, что такое власть. Так и не осознал, что ему предлагали.

Карим покачивал в руке красную пиалу, и желтоватый блик скользил по белому глянцевому исподу.

Семь минут двенадцатого.

Он посмотрел на телефон. Может быть, с аппаратом что-то не в порядке? Протянул руку, нажал на «talk». Привычный гудок. Выключил.

Солнце уже палило всюду, а он кутался в халат: знобило.

Девять минут. Только что поставил пиалу прямо в солнечное пятно, и вот всего за две минуты солнце ушло, и теперь пиала касалась его только самым краешком.

А может быть, он преувеличил размеры грозящей беды?

Может быть, он ошибся? Не понял? Может быть, Ориф имел в виду что-то совсем другое?..

Неужели все? Еще не поздно отменить приказание. Но что потом? Что дальше? Уступить его требованиям? Смотреть, как этот безумец разрушает то, что он строил десятилетиями? Боже, ну зачем, зачем он встал на эту дорогу?! Ведь как отец к нему относился... как отец!..

Ему вспомнилось, как перед самой войной племянник примчался в Куляб после неудачной попытки найти общий язык с одним человеком из администрации президента. Был взвинчен и, вопреки обыкновению, казался растерянным.

— Э-э-э, бача, бача, — говорил Карим Бухоро, глядя на него с ласковой укоризной. — Эх, парень, парень...

Они сидели в деловой комнате. Ориф повесил китель на спинку стула. Недавно полученные майорские звезды тускло светились.

— Ты потребовал того, чего он не мог сделать ни за какие деньги. Ну нельзя же вынуждать человека ставить под удар все: положение, карьеру, честь, в конце концов...

Ориф фыркнул:

— Скажете тоже: честь! Откуда у этого человека честь!

— Э, не говори так. Всякий думает про себя, что он честен... Разумеется, ему пришлось отказаться. Я тебе говорил и еще раз говорю: не нужно заставлять человека делать то, что он делать ни в коем случае не должен. Ему будет гораздо спокойнее, если ему предложат всего лишь *не сделать* того, что он должен сделать. Ну это же азбука!

Ориф недовольно барабанил пальцами по столу.

— Да нечего с ним дипломатию разводить, никуда не денется... — буркнул он. — Вернусь в Хуррамабад, прижму как следует. Он знает, чего от меня ждать.

— Э-э-э, как глупо! Брось, брось, оставь его в покое. — Карим нахмурился. — Сейчас не это главное. Не нужно пережимать. Слава богу, и так все идет нормально. С тех пор как с уважаемым Фазлидином — мир его праху! — случилось это страшное несчастье, жить стало гораздо проще. Мне было его искренне жаль, правда... Он был дельный человек, и если бы... а, что говорить. Теперь никто не мутит воду, и это сильно облегчает жизнь.

Ориф пожал плечами. Когда Фазлидина и двух его охранников неизвестные расстреляли при выходе из ресторана «Ором», именно он приехал из Хуррамабада в качестве исполнителя прокурорского надзора. Убийцы найдены не были, дело повисло и перекочевало в разряд вечных, какие не раскрываются никогда.

— Конечно, перспективу видеть нужно, — продолжил Карим. — Но сию секунду важно совсем другое. Наша цель — свалить ленинабадцев. Верно. И цель эта сейчас близка как никогда. Но что получается? Если оппозиция погонит Асророва именно сейчас, это будет означать, что победили муллы. А они потом нас к власти и близко не подпустят. Опять в подполье? Опять шевелить пальцами, как немтыри? Опять?!

Не сдержался: в сердцах ударил ладонью по столу, вскочил, стал ходить по комнате, сжимая и разжимая кулаки.

— Не подпустят, — согласился Ориф. — А что делать? Демократы уже и сами не рады, что пошли на союз с ваххабитами. Да поздновато: те уже и шагу им не дают ступить. Деньги-то в мечетях. А без денег что остается? — только горло драть в одиночку... пока по башке не дадут.

— Именно, — заключил Карим. — Я уж не говорю, что не видать нам тогда ничего, кроме Куляба, — ясно, как Божий день: к столице нас не подпустят на пушечный выстрел... Допустим. Но ведь и то, что сейчас есть, они нам не оставят! Ведь эти фанатики все краны перекроют! Весь кислород! Ты понимаешь? Снова все коту под хвост!..

Ориф развел руками.

— Я не знаю, что с ними делать, — сказал он. — Это сила серьезная... за ними толпа.

— Э, сынок! Толпа! Чему я тебя учил? Если давать человеку каждый день немного денег, он будет с восторгом шуметь и требовать от власти то, что его попросят требовать... Всем ясно, что это за толпа. За этой толпой — деньги ислама. Понятно, что толпа сильно действует на нервы...

— Мне не действует, — хмыкнул Ориф. — Пару бэтээров бы...

— Тебе не действует, а мне очень даже действует, — сказал Карим. — Я бы их, сволочей... Но бэтээрами тут не поможешь. Только хуже будет. И все-таки Асророва сейчас отдавать нельзя! Сегодня нужно дать ему возможность выстоять. Он должен продержаться. Три месяца! полгода! Через полгода всем дуракам станет ясно, что как ни кричи, хлеба не прибавляется, — и оппозиция потеряет запал. Тогда мы сами его свалим. Нужно создать противовес толпе, что сидит на площади...

Он замолчал, глядя на Орифа с таким выражением, словно ждал, чтобы тот проявил свою заинтересованность.

— Какой противовес? — спросил тот.

— Да самый простой: другую толпу! Такой же беспрестанный митинг, только на соседней улице и с другими лозунгами.

Ориф побарабанил пальцами по столу.

— Нет, хуррамабадцы не пойдут, — вздохнул он. — То есть нормальные не пойдут. А все ненормальные давно уже на площади Шохидон.

— При чем тут хуррамабадцы? — удивился Карим. — Им веры нет, ими нельзя надежно управлять... Нет, там должны сидеть наши люди — люди из Куляба! Три-четыре тысячи молодых горских парней, непривычных к этой, как ты говоришь, дипломатии... — Он усмехнулся: — Должно подействовать, а?

— Четыре тысячи... — Ориф покачал головой. — Ну, допустим, привезем мы их туда...

— Стоп, стоп! — Карим поднял ладони. — Не хочу слушать, потому что знаю все твои вопросы. Ответ один: глаза бояться, а руки делают. Машины уже есть. Сегодня вечером уходят первые автобусы. Завтра пойдет колонна грузовиков — собрали по колхозам... — Карим огорченно покачал головой: — Вот какой ерундой приходится заниматься. Здесь мы разобьем их на десятки, назначим старших. Все объясним в подробностях. Все они будут твердо знать, зачем приехали, чего хотят, кто их друг, а кто — враг. Что будет, если ваххабиты свалят правительство. Как изменится жизнь. Твое дело — встречать их в Хуррамабаде. В первый момент не должно возникнуть проблем с властями. Если одни имеют право месяцами сидеть на площади Шохидон, то пусть никто не препятствует праву других сидеть на площади Озоди. Как думаешь, сынок?

— Не проблема, — отмахнулся Ориф. — Кому охота вязаться, когда непонятно, что будет завтра.

— Во-вторых, то, о чем я говорил тысячу тысяч раз. У людей должны быть деньги — пусть немного, но каждый день. Продукты. Возможность приготовить горячую пищу. Укрыться от дождя и жары... В общем, не мне тебе объяснять. Ты человек военный, лучше меня знаешь. Финансирование открыто.

— Ну дела, — протянул Ориф. — Просто войсковая операция...

За ужином толковали обо всякой всячине. Потом еще долго пили чай. Ориф рассказывал байки из жизни столицы, Карим смеялся, слушая, сам говорил немного. Просидели дотемна. Пожалуй, это был их последний хороший разговор. Моросил дождь, но Карим долго стоял у ворот, провожая взглядом меркнущие огоньки.

Он и сейчас помнил сладостное ощущение, с которым входил после этого в дом. Никогда прежде оно не было таким глубоким и радостным. Нет, конечно же он и раньше осмеливался думать, что все-таки вырастил себе сына — пусть не плоть от плоти, но мысль от мысли, стремление от стремления. Но в тот вечер, рассеянно следя за тем, как охранник запирает калитку, он физически чувствовал что-то необыкновенное: как будто второе сердце билось в груди, как будто вторая душа грела его, тесно прижавшись к первой.

Ах, если бы той ненастной ночью, когда Ориф гнал машину по извилюстой дороге в Хуррамабад, у него отказали тормоза или просто колеса на крутом повороте скользнули по мокрому асфальту — и долго кувыркалось бы изуродованное железо, снова и снова сшибаясь в полете с неподатливыми скалами, пока не грянулось бы на каменистое ложе дикой коричневой реки, — о, как оплакал бы тогда Карим своего единственного сына! О, каким огнем он жег бы себе душу, каким горем опалял бы все вокруг себя!.. Ничего, ничего уже не нужно было бы ему после этого несчастья — ни денег, ни власти, ни даже постылой свободы. Может быть, он поступил бы так же, как его двоюродный дед Ишанкул, чудом оставшийся в живых, когда дом и всю семью накрыл ночью оползень: построил бы тесную каменную келью — худжру — и коротал бы там остатки дней, нескончаемым горестным воем отвечая на подаяния...

Но нет: Ориф доехал благополучно.

С того вечера время изменило своим обычаям: торопливо побежало, лихорадочно затикало, чуть ли не поминутно заставляя принимать все новые и новые решения, каждое из которых в случае ошибки грозило неисчислимыми бедами.

Люди сидели на площадях... деньги текли... конца-краю не было видно... он выглядел спокойным... однако суетливая побежка цифр кого угодно может вывести из себя.

Может быть, Карим поторопился настоять на том, чтобы из Президентского дворца начали раздавать оружие сторонникам Асророва. Да, может быть, это было ошибкой. Эти двадцать или тридцать ящиков АКМов сорвали последние клапаны: через пару месяцев гроыхало в полную силу — потому что оппозиция тоже взялась за автоматы в открытую. У них-то, у них-то откуда было столько стволов? Осенью, после нескольких недель боев вокруг дворца, Ориф бежал из Хуррамабада: сопровождал Асророва, направлявшегося в Ходжент, чтобы организовать там правительство в изгнании. Старый баран Асроров... кто бы это ему позволил? Естественно, *чавонони Хуррамобод*⁵ прижала их в аэропорту. После недолгой перестрелки президент подписал отречение. А Ориф едва унес ноги и объявился в Кулябе тремя днями позже.

Здесь работа уже шла вовсю. Не прошло и недели, как был образован Народный фронт: Куляб выступил в поддержку режима с оружием в руках — против куда лучше к тому времени вооруженной оппозиции. Дом Карима Бухоро превратился в штаб армии. Бабки сыпались шуршащим зеленым снегом — он отчетливо понимал, что настал самый острый час его жизни: победа сулит исполнение желаний и возмещение всех убытков, поражение же грозит катастрофой такого масштаба, при которой деньги уже не будут иметь значения... Что делать? Такие пересеклись интересы, такие

⁵ Молодежь Хуррамабада (*тадж.*).

схлестнулись крутые игроки, такими кушами пахла игра — короче, не до экономии. Отбить бы свой кусок! не затерли бы! не сдвинули бы на край стола небрежным движением!.. Зубами впивался в любую возможность отжать еще.

Месяц... три.. полгода.... год... чехарда войны. Деньги, деньги, деньги.

Как только заняли Хуррамабад, Карим решил, что пришло наконец время перебраться в столицу. Бои еще погромывали на окраинах города, постепенно сползая к северо-востоку; на юге к тому времени победа была полной. Победа победой, но теперь он с горечью понимал, что лучше было бы обойтись без войны. Война расшатала жизнь и все поставила с ног на голову. Должно быть, тем людям, что в ней участвовали, казалось, что это веселье должно продолжаться вечно...

Вот и Ориф. Ради чего все было затеяно? Ради дела. Добились своего? Добились. Жизнь не стала проще. Наоборот: чем выше сидишь, тем больше видно самых разных сложностей. Но ведь за это бились? За это. Все — путь открыт. Действуй!.. Он и действовал. Еще как действовал... Засыпая, видел разноцветную карту страны... тропы... реки... границы... железнодорожные ветки... дороги... поезда, машины... и ручейки белого порошка, струящиеся дальше, дальше, дальше... а навстречу им такие же — только зеленые, шелестящие... Дело шло! шло дело! А что Ориф? Ориф никак не мог бросить свои цапки: командовал отрядом спецназа, гонял на пару с Негматуллаевым банду Черного Мирзо, широко гулял, чуть не погиб, наравшись на засаду во время Гиссарского мятежа, был легко ранен в боях под Дашти-Гургом... Это переполнило чашу терпения Карима. Приказом министра отряд был отозван с позиций, переведен в резерв командования и расквартирован в Хуррамабаде. Выйдя из госпиталя, Ориф вежливо отказался от предложения занять комнату в просторном доме дяди и вместо этого оборудовал себе более или менее благоустроенную квартирку в казармах. Являлся, как правило, раз в неделю, по пятницам. Дел особых у него не было; но и времени ни на что не хватало, потому что жизнь он вел примерно такую, какой она была у Карима после выхода из тюрьмы, — рассеянную, шумную, довольно опасную жизнь человека, с которым всякому лестно познакомиться. Наравне с другими, тоже в прошлом полевыми командирами, успешно баллотировался в маджлис. Однако и депутатское звание его характер не переменяло.

Вот снова: ж-ж-ж-ж... Самое время. Солнце поднялось. Цветы раскрылись.

Интересно, а где же улы? Он никогда прежде не задавался этим вопросом.

Ж-ж-ж-ж...

Карим протянул руку и снова нажал на клавишу «talk». Все в порядке, телефон работал.

5

— А у нас режим, — сообщил Рахматулло по-русски, но до неузнаваемости коверкая отдельные слова сильным акцентом. — Э-э-э-э... как это? Да: нажремся — и лежим!

Он бросил пиалу вверх дном на дастархан и, отдуваясь, отвалился на свернутый чапан, заменявший ему подушку.

— Ты так пыхтишь, словно съел не кусок лепешки с чаем, а целый казан плова, — недовольно сказал Хуршед.

— Да-а-а-а, — мечтательно протянул садовник, поглаживая себя по тощему животу. — И еще большую касу жирной-жирной шурпы, и немного самбусы — пять штук, и...

— И манты из перепелиных языков, — закончил повар. — Ну, размечтался!

— Из перепелиных языков? Ц-ц-ц-ц! Красиво. Это что-то вроде птичьего молока... Но вообще-то насчет манты ты прав: штукек семь-восемь мне бы не помешали... с каймаком и красным перцем...

Хуршед собрал дастархан, встряхнул и сказал, складывая:

— При чем тут птичье молоко? Бывает такое. Нам-то, конечно, не попробовать...

Рахматулло извинительно хихикнул.

— Не веришь? Ну и простак ты, Рахматулло... Мне Абдували говорил. Знаешь старого Абдували? Его дочка замужем за одним кулябцем, и этот кулябец, — Хуршед оглянулся и понизил голос, — знает повара, который прежде работал у нашего хозяина... а?.. слышишь?.. и этот повар рассказывал, что готовил ему. И не ему одному, а на большую компанию... понял?

— Господи! — с ужасом сказал Рахматулло и благоговейно приподнял сложенные ладони. — Где же они взяли столько перепелов?

— Кто его знает... ловят люди, наверное. Протяни-ка чайник...

Рахматулло сидел зажмурившись с таким видом, словно перед его взором встал сейчас, требуя ответа за свои загубленные жизни, весь призрачный сонм истребленных людьми птиц, а Хуршед продолжал, вытрясая из чайника в клумбу старую заварку:

— На всякое дело находятся умельцы, Рахматулло... Вот у нас в кишлаке был парень — Рахмон звали... знатный он был охотник, вот что я тебе скажу. Другой соберется пострелять — только сапоги на косогорах топчет. Рахмон пойдет следом — не козла завалит, так медведя... Кекликов ловил. Вот, спрашивается, как его поймать? К нему на полста шагов не подойти... А он ловил. Силками, наверное. Сетками, что ли. Наловит, поедет в район и продает. Всех продаст — еще наловит. А что ему? Их же полно, только уметь надо. Вот так... А уж кто что ест — это дело десятое. Как говорится, у ворона перо черное, а у лебедя белое. Верно? Нет, я к примеру говорю... Взять того же Рахмона. Он, бывало, берет мешок муки...

— Нет, не может быть! — сказал вдруг Рахматулло, встряхиваясь. — Ну сам подумай, Хуршед, дорогой! Ну вот сколько ты съешь мантушек? А?

Хуршед задумчиво поцокал языком.

— Смотря каких... если баранина хорошая, луку много... если в каждой кусочек курдючного сала...

— Ну в среднем! Десять штук съешь?

— Съем, — твердо сказал повар. — Я и двадцать съем, если луку много, и баранина жирная, и в каждой...

— Подожди! Десять, да? Допустим, нас пятеро!

— Допустим, — согласился Хуршед.

— Это уже пятьдесят! Сколько нужно перепелиных язычков, чтобы сделать одну мантушку?

— Смотря какую, — заметил повар. — Гиссарцы маленькие лепят, а на юге как залудят на полкило — в рот не лезет.

— Ну в среднем же! — взмолился садовник. — В среднем! Ну, десять? Ведь не меньше?

— Может, и десять...

— Это пятьсот! — торжествующе сказал Рахматулло. — И что же, ты хочешь сказать, что пятьсот перепелов они...

— Ха! — презрительно фыркнул Хуршед. — Тоже мне удивил — пятьсот! А десять тысяч не хочешь? Сколько надо, столько и поймают, понял? Были бы деньги. — Он пинком переставил табурет ближе к двери. — Если карман как следует оттопыривается, будешь не только перепелов, будешь крокодила кушать, павлином закусывать. Эх ты, садовая твоя голова...

Садовник сидел понурившись, и было заметно, что очевидная правота повара ему не очень приятна.

— Ладно, — сказал он со вздохом. — Тебе-то видней. Пойду, что ли. Пора.

Конечно, хотелось попросить у Хуршеда табачку... после чаю оно хорошо бы... да почему-то язык не повернулся. Рахматулло помедлил секунду, почесал затылок, потом махнул рукой и в задумчивости побрел к сараю. Пятьсот перепелов! Это мыслимое ли дело?.. А может, и больше, кто его знает. Хуршед прав. Кто богат, тот может себе позволить. Конечно. Что говорить... Неужели богатые и Бога не боятся? Не может быть. Правда, Карим не ходит в мечеть... Но Карим — большой человек, и не садовнику судить, что Карим делает правильно, а что — неправильно... Да, не его это дело. (Невольно оглянулся. Слава Богу, его загораживают кусты сирени). Но все-таки сегодня как-никак пятница. По пятницам в мечети большая молитва — хутба. Ведь как хорошо бы им вместе с Орифом туда заглянуть!.. Выходишь после молитвы — будто по лебяжьему пуху шагаешь. Того и гляди, взлетишь... И потом: люди-то все видят. Кто ходит, кто нет. Языков-то хватает у людей. Хоть и с трепетом, хоть и с восхищением его имя произносят, а все же при случае заметят: мол, в мечети-то его не увидишь... Нет, наверное, не пойдут молиться. Просто Хуршед, как всегда, приготовит богатое угощение. Сядут в холодке, будут неторопливо есть, неспешно разговаривать... Ориф, конечно, выпьет. А в мечеть — нет, в мечеть не пойдут. Ладно, что уж... Он рассеянно остановился у двери. Что-то ведь он хотел... Ах да... Сунул руку под стопку мешков, нашарил секатор. Новенький, блестящий, рукояти красные, пластиковые — еще даже и не испачкались. Такой не хотелось оставлять на виду. Рахматулло им гордился вот уже месяца полтора. Старый уж совсем был никуда... и починить невозможно — что с ним сделаешь, если сработался весь к Аллаху. И все равно целый месяц пришлось кланчить деньги у Музафара. Ну слава Богу, дал в конце концов. Ворчал, конечно, — мол, то одно, то другое. А что одно? что другое? Без секатора никак не обойтись, и так уж терпел до последнего... Красть-то тут некому, это понятно. Но под мешковиной все-таки целее будет. Как-то спокойнее. Подальше положишь — поближе возьмешь. Пошелкал лезвиями. Вещь. Прикрыл дверь и пошел к цветнику... Пятьсот перепелов! Уму непостижимо. Если бы набраться смелости и спросить как-нибудь у хозяина... может быть, врет все-таки Хуршед? Да разве спросишь такое? Карим Бухоро тут же сам спросит — а кто тебе сказал? Хуршед тебе сказал? А ну-ка подать сюда Хуршеда!.. Ведь не отопрешься потом — Карим, дай Бог ему здоровья, уж если в кого вопьется, живым не отпустит... Если дошло до дела — все. Вон как в прошлом году, когда к нему генерал этот приехал. Тремя машинами, с охраной. Фу-ты ну-ты. Охранники высыпали, сразу к дверям. Генерал прошел к хозяину. Уж о чем они толковали, один Бог знает. Карим-то никогда голоса не повышает — наоборот: чем тише говорит, тем страшнее. А гостя по первым минутам слышно было: отдельные слова доносились — громко, значит, разговаривал. Ну и вот. Пофыркал, пофыркал, да и скис: сидит виноватый, голову повесил... а потом просить о чем-то начал... да, похоже было, Карим ему отказал. А через день Музафар между делом газетку принес, а в газетке портрет давешнего генерала в черной рамке — слуга, мол, то-се, боевой, воевал и все такое, и так написано, что тоже понятно вроде: большой человек, заслуженный, — ну и вот, а он застрелился, оказывается. Как дело-то обернулось. И охрана не помогла. Какая может быть охрана, если сам себя? А сначала все фыркал... а тут не больно-то пофыркаешь. Ну и вот... Конечно, если бы между делом как-то навести разговор. Мол, знаете, хозяин, едал я однажды манты из перепелиных языков... вы человек опытный, как думаете, сколько их на одну штуку-то идет?.. Да ну, и по простым-то делам от ужаса язык заплетается, когда с Каримом разговариваешь, а уж это...

Он нагнулся и осторожно взялся за стебель, покрытый лакированными шипами. Вон какая вымахала... молодец. Стебель длинный, ровный. Красавица. Щелкнул секатором и разогнулся, держа розу в левой руке. Поднес

к лицу. *Маликаи Ачам* источала аромат. Она пахла нежно, как... нет, не пахла — благоухала, словно... словно что? с чем сравнить этот запах?

— А-а-а-а... — выдохнул Рахматулло. — Господи.

Зачем она такая красивая? Непонятно. Ну, допустим, пахнет — это ясно: чтобы пчела могла найти цветок. А зачем красота? Пчеле-то, должно быть, все равно, откуда брать нектар. Им вон на фанерку сахара насыпать, водой брызнуть — так со всей округи слетятся. С фанерки им еще лучше: все готовое. Значит, даже если бы роза была фанеркой, они бы все равно к ней полетели. А зачем тогда роза такая красивая? Дедушка Назри говорил, что Бог создал часть вещей, чтобы они печалили человека, а часть — чтобы радовали. Может быть, поэтому? Но разве роза радует? Да, она радует, конечно, но одновременно и печалит. Потому что она прекрасна. Она так прекрасна, что, наверное, бессмертна. Да, да... а как иначе? Если нет, то почему она кажется такой настоящей?.. Вот иногда думаешь: разве все это — жизнь? Нет же, это просто сон... Все пройдет — и страх, и смерть, и радость, и беда, и голод, и сытость, и нищета, и деньги, и сила, и немощь, — а роза будет цвести. Разве может коснуться ее страх или смерть? Нет, роза будет так же прекрасна. И печальна. А красота ее — так же недостижима... Вот и сжимается, плачет сердце от этого великолепия: никогда, никогда не достичь красоты!..

Он осторожно положил срезанный стебель на соседний куст и потянулся ко второму. Щелк!

— Господи.

Нужно взять у Хуршеда старый кумган и налить воды. Он наберется смелости, подойдет к хозяину и скажет: Карим-ака, кажется, у вас сегодня тяжелые мысли. Вот вам розы, пусть они радуют ваше сердце. Жизнь так тяжела, Карим-ака. Это *Маликаи Ачам*, Карим-ака, сирийский сорт. Вы с Орифом будете обедать и смотреть на розы. Не браните меня, хозяин.

Щелк!

6

Потому что все стоит денег, и даже... о чем это он? Ах да, альчики.

Сам, грешник, в свое время немало сил и времени уделил игре: поражала близость судьбы, непреклонность ее решений: тебе сдают еще одну карту, и если эта карта — десятка, ты станешь богаче и счастливей, а если нет — бедней и несчастней. Вот она уже в руке, и можно потянуть пару секунд, как будто за пару секунд что-то изменится — вызреет она, что ли, поменяет, что ли, масть; еще остается время суеверно поглаживать пальцами засаленную рубашку, словно от этих поглаживаний девятка превратится в даму, а если надо, то и в туза; но только секунду или две, три от силы: судьба не ждет.

Ну хорошо, карты — ладно. Но альчики! Ох уж эти бараньи кости — альчики!

У каждого три. Каждый долго трясет их в сомкнутых ладонях, подносит ладони ко рту, шепчет колдовские глупости, заповеданные отцом или дедом, братом или шурином — не важно: такими же, должно быть, одинаково пропащими людьми. Бросают по очереди, непременно выкрикнув ничего не значащее слово «гаркам!». Каждый при этом производит те ужимки и жесты, которые должны открыть перед ним ворота счастья: один привстает, другой мечет из-за плеча, третий бледнеет и не может сдержать стона. Все, свершилось! Если падает горбом вверх — говорят: ослом упала, горбом вниз — конем. Выпало тебе три коня или три осла — кричи, плачь, смейся, снимай весь куш. Выпало у другого — куша нет, плакали твои денежки. Если ни у кого — добавляй на кон и снова кидай. Время идет быстро: день-ночь, день-ночь... бывает, и днем ни у кого трех ослов, и ночью — тоже. На кону — состояние, в голове — звон, в ушах —

гул. Шану не курят — после нее тянет в сон; вместо этого немного ханки — хватит еще на час, на два. День-ночь, день-ночь... На кону — вороха денег, расписки... перстни, золото... Но в конце концов кому-то везет — выпали три коня! Ах, как жаль, что не тебе!.. Если больше нет ничего — можешь трижды сыграть в долг. После третьего раза — конец. Иди за деньгами, другого пути нет. Правда, может, и смилостивится кто-нибудь: ладно, где тебе взять сразу триста косых... я ж не зверь, братан, чего ты! Давай по-другому. Пойди к Мумину... знаешь Мумина-торговца? Принесишь его башку — и все, братан, базара нет... А то еще, бывает, самые отчаянные играют на зубы. Зуб по-разному ценится, зависит от кона. Когда кон небольшой, может в тысячу зеленых пойти, а если серьезный — тогда и в двадцать. Кинули. Гаркам! Проиграл. Вот плоскогубцы, бери, ломай проигранный зуб — он теперь не твой, — кидай на кон... Дальше играешь? Гаркам!.. Опять проиграл?.. Ох, игра! Три вагона риса? Машина? Вторая? Дом? Ничего: пришла третья ночь — отыграл все назад, кроме зубов, конечно... да это ничего, теперь не золотые — алмазные себе вставишь!.. Вот какая игра! Ну не глупость ли? Разве это игра — кидать гнилые кости? Разве сто тысяч — выигрышь?!

Толковать с ним об этом было бессмысленно: или удивленно похихатывал — мол, дядя Карим, о какой ерунде мы говорим, да я и не играю почти; или морщился, стараясь перевести разговор на другое. А сам — как война утихла — года за два, за три прославился лихостью в узких кругах бросальщиков сих поганных костей; да в Хуррамабаде какая игра? — мало! — не раз и не два таскался тайком по этому делу в Иран: есть там такие игорные дома с гостиницами для самых сумасшедших. Неделями можно на улицу не выходить, знай себе кричи *гаркам*. Точнее не доносили, но и так было известно: сотни тысяч на кону. Выигрывал, проигрывал, опять выигрывал... круговерть.

И вот однажды — ба-бах! — среди ясного неба. Ждал, ждал Карим беды, знал, что придет. Дождался. Примчался Гафур Мясник, рассказывает: ваш племянник с какими-то людьми засел в доме Усмона Рахимова, Усмон с ними — они его держат, а ребята Усмона, стало быть, готовятся к штурму, хозяина отбивать, — так что делать будем? Карим минуту сидел молча, чувствуя, как клокочет гнев под сердцем, как пламя охватывает мозг... потом сказал, что делать: гнать в казармы, поднимать спецназ, ребят Усмона к дому не пускать, — и сам поехал разбираться. К тому времени перестрелка уже началась, и началась довольно неудачно: пуля отщепила кусок деревянного карниза, вонзившийся Орифу в щеку. Через пять минут все было прекращено, вышел Ориф, вышел и Усмон, недовольно встряхиваясь и с ненавистью глядя на Орифа. Тот, ухмыляясь, смахивал струящуюся по щеке кровь, пока кто-то из его головорезов не протянул кусок марли. Усмон сказал Кариму несколько разумных слов, тут же все прояснилось, и было решено, что ребятам Усмона, как и подтянувшемуся к тому времени взводу из батальона Орифа, делать здесь совершенно нечего.

— Ты дурак?! — кричал Карим Бухоро. Он уже спалил свою ярость в себе и теперь говорил свободно, не страшась собственного гнева. — Доигрался? Я для того тебя вырастил, чтобы тебе разнесли башку за твои проигрыши? Хоро-о-о-ош! Новым шрамом будешь перед девками хвастать! Вот смотрите, какой я смелый! Лезу под пули ради чужих денег! А если бы в лоб эта пуля угодила? Я для чего тебя растил? Чтобы ты командовал спецназом?! Чтобы рэкетиром подрабатывал?! У тебя нет дела? У тебя в руках может быть власть, кретин! Что в мире дороже власти? А ты вышибаешь чужие бабки из Усмона?! Да Усмон умней тебя в сорок раз! Уж если Усмон кому-то что-то не отдает — значит, так тому и быть. Тебя подставили, ты хоть это-то понимаешь?.. Ты почему ко мне не пришел? Почему не сказал, что должен деньги? Я тебе когда-нибудь в чем-нибудь отказал? Может быть, я говорил тебе: нет, Ориф, я бедный человек, не рассчиты-

вай, что я дам тебе денег? Может быть, я хоть раз сказал: нет, Ориф, ты сам запутался, сам и выпутывайся, мои деньги не для того, чтобы кидать их на ветер по твоей глупости? Было такое? Говори — было?

Замолчал, тяжело дыша. Ориф презрительно кривил губы. Ноздри раздувались. Ишь!.. Ах, болван!.. пацан!.. тридцать два года дураку!.. а у него еще и молоко на губах не обсохло!..

— Ладно, — сказал Карим, садясь. — Не стоит нам в таком тоне... мы родные, Ориф. Мы не должны ссориться.

Ориф угрюмо молчал, глядя в пол. Середина марлевого тампона уже промокла.

Карим потянулся к колокольчику.

— Пошли-ка машину за нашим табибом, Музафар... Скажи, может быть, щеку тут одному деятелю зашить придется, пусть инструменты захватит. И быстро, быстро!

— Власть, власть... — буркнул Ориф. — Кой черт толку в этой власти? Власть — чтобы деньги были.

Карим вздохнул.

— Ты не прав, сынок, — сказал он. — Конечно же деньги лежат рядом с властью. И все же деньги — это не власть. Сначала деньги нужны, чтобы была власть. Потом власть дает кое-какие деньги. Но главный смысл власти — в самой власти, и ни в чем больше. Тебе нужно думать об этом. Я стар и...

Ориф расхохотался.

Это было так неожиданно, что первые несколько секунд Карим не знал, чем ответить.

— Стар! — повторял племянник, досмеиваясь. — Ну, вы скажете, дядя! — Он поднял взгляд вовсе не смеющихся, а холодных и злых глаз. — Старость? Вы хотите сказать — бессилие старости? Ого-го! Мне бы в мои годы вашу старость! Вы же все свое держите — не вырвать! Какая старость? Вы шагу мне ступить не даете! Уж я не говорю о слежке — ладно, пускай. Но эти ваши бесконечные требования — давай дело, давай дело, давай дело, тебе нужно заниматься делом, я тебя вырастил для нашего дела!.. А как только перестаю послушно выполнять ваши указания, как только я хочу сделать шаг в сторону вашего дела — свой собственный шаг, такой, какой мне самому видится нужным, — так вам это сразу поперек! Не спеши, Ориф! Не торопись! Остынь! Посиди! Лучше пойди и сделай то, что я тебе скажу, Ориф!.. Вот всегдашние слова! Вы на самом-то деле не хотите, чтобы я делал дело. Потому что в этом случае часть дела, которая переходит ко мне, уходит из ваших рук. А вам это — нож острый! Вы хотите, чтобы все было в ваших руках! Все! От начала до конца! Как говорится, гори все синим пламенем, лишь бы мой котел кипел! Вы сами только что сказали: смысл власти — в самой власти. Что вы, дядя! Я ваше дело смогу получить, только когда вы умрете, уважаемый! Да-да: в наследство, не раньше!..

— 3-3-3-3-3-3...

Опять он не увидел мохнатую пулю пчелы, пролетевшую в жаркий дурман цветника. И все равно, все равно... Все равно еще было не поздно отменить приказание. Ну, в конце концов, он же мог рискнуть? Правда, приходилось рисковать слишком многим — никогда прежде он стольким не рисковал. Правда, все сходилось не в пользу Орифа. Правда, Гафур Мясник несколько дней назад принес совсем уж черную весть: явился Салим Клоун, рассказал кое-что. Сам пришел. Не из преданности, конечно. Просто испугался... Карим говорил с ним. Слушал Салима и не понимал, на каком он свете. Неужели?! Ориф задумал такое?! Против него?! Может быть, Салим выдумал все это? Может быть, Салим ведет свою игру? Но нет, все сходилось. Значит, как в свое время он взял дело из остывших рук Ислома-паука, так теперь и... Это было так страшно, что даже собственный его гнев

испугался: не выдал себя, не высунулся из черной норы кипящего сердца. Вот так... вот так... И все равно еще думал, думал, думал об одном и том же: может быть, как-то иначе развязать узел? Удалить от себя? Выслать? Но как? Что его удержит?.. Ох, не зря кричала птица на крыше. Права была старая повитуха: из мальчишка и впрямь вырос большой сильный мужчина... Слишком сильный, чтобы кого-нибудь пожелать — даже себя.

Ах, проклятая жизнь. Не нужно было забирать его из деревни... Хотел стать трактористом — ну и черт с тобой, становись... Ковырялся бы в земле, как папаша... или вон как тощий Рахматулло. Целыми днями червяк червяком — тят-тят, тят-тят... Тогда бы о нем у Карима душа не болела. Червяк, он и есть червяк. Одним больше или меньше — кто считал? Жив ли, нет ли... попал под каблук или вовремя отполз — кому интересно? Пыль. Шаркнул ногой — и нету. Одного раздавил — другой ползет. Какая разница? Разве стал бы Карим горевать о таком? Да ну. Минуты бы не подумал... Но ведь не таким вырастил! Забрал! Приблизил! А теперь?.. Ах, Ориф, Ориф, что ж ты наделал! Не червяк, нет. Не один из безликих тысяч, нет. Близкий. Понятный. Равный. Плоть от плоти, дух от духа... Поэтому так жалко. Поэтому так болит душа. Его потерять — это как руку отнять. Свою руку. Близкую каждой жилкой. Знакомую до последнего заусенца. Родную каждым шрамом. Топором — раз! Может быть, еще не...

— Хозяин, — услышал Карим Бухоро и поднял голову.

Тревожно улыбаясь, садовник стоял у ката, держа в руках кумган, из которого торчали длинные стебли коралловых роз.

Мелькнуло в голове: что у него?! Кумган?! Зачем?.. Почему сам подошел? Случайно? Подослали?! Запретить. Нельзя...

— Чего тебе?

— Хозяин, дай вам Бог здоровья, — пролепетал Рахматулло, ежась под колючим взглядом. Собственная смелость вдруг ужаснула его. — Вот розы я... они пусть... а?.. Это розы, хозяин... потому что... вы здесь с Орифом будете на них... ведь красота...

Зазвонил телефон, и Рахматулло скованно замолчал, не зная, что делать с кумганом — ставить или все же дожидаться разрешения.

— Алло, — сказал Карим, не отводя настороженных глаз; и тут же мгновенно севшим голосом: — Гафур, ты?

— Я, хозяин, — ответил Гафур. — Большое несчастье, хозяин.

Карим слушал, как потрескивает в трубке. Наконец выговорил:

— Где?

— На мосту через Хуррамабад-дарью. Короче, недосмотрели, хозяин. Рвануло прямо на середине моста... Дистанционный, как вы и предполагали. Карим молчал.

— Мы долго стояли, — добавил Гафур. — Полчаса. Где упала, там глубоко. Милиция тоже приехала. Но он не выплыл.

Садовник сделал маленький шажок и потянулся, чтобы поставить кумган на кат.

— А второй? — силно спросил Карим. — Придурок-то этот?

— Зафар? — напомнил Гафур. — Да, хозяин. То же самое. Одновременно. Так две машины и ушли. Друг за другом.

Рахматулло со сконфуженной улыбкой поставил сосуд и распрямился, бормоча какие-то извинения.

— Приезжай, — неслышно сказал Карим Бухоро.

Что-то мешало ему смотреть, маячило перед глазами, словно бешеный вихрь взметнул черный прах, затмив, как в сказаниях, луну и солнце.

Он ударил наотмашь.

Кумган повалился.

Вода плеснула на землю.

— Вой-вой! — запричитал Рахматулло, присаживаясь на корточки. — Сейчас, хозяин, сейчас!..

— Уйди, — выговорил наконец Карим. — Прочь, сказал!..

Пятна света прошивали ослепительную лаковую тьму.

Вот и все... вот и нет Орифа... снова путь открыт... двигаться дальше... нет Орифа... вот такая проклятая жизнь... а ведь кто-нибудь будет следующим... вот и нету его... круг... круг... вот и все... дальше... дальше... дальше...

Несколько раз глубоко вздохнул. Еще, еще.

— Прочь, — повторил он.

Понемногу стало проясняться — выплывали ветви деревьев, небо, крыша дома.

Перевел дух. Воздух горчил, словно ивовая кора.

Что?

Поднял голову. Слава Богу, рядом уже никого не было.

Кончено.

— Ж-ж-ж-ж-ж!..

Угрожающе гудя, она села на край пиалы и быстро поползла, пульсируя брюшком и жадно хватая с фарфора содрогающимися жвалами невидимые капли влаги. А-а-а-а... вот она... Теперь Карим увидел пчелу. Да, он увидел пчелу. Это была пчела. Нет, это была не пчела. Нет. Зеркальное чудовище, раздробленное лучами света в горячих линзах его бессмысленных слез.

Карим Бухоро по-волчьи помотал головой, протянул дрожащую руку и точным щелчком сбил ее с ободка.



СЕРГЕЙ НОВИКОВ

*

СПЕКТРАЛЬНАЯ ВОДА

* *
*

Ушедших года в тридцать два,
непоседевшими, без отчеств,
полуслучайные слова
вдруг обретают суть пророчеств.

Вдруг обнажают скорбный смысл
их речи о судьбе, о смерти,
тот смысл, что был сокрыт, размыт,
таился, как письмо в конверте.

И нас на горестной меже
проводят из овальных окон
глаза не сверстников уже —
скорей нечаянных пророков.

Чрез много лет и много дел,
дивясь давнишнему исходу,
«Как в воду, — скажут, — он глядел...»
.....
А он глядел совсем не в воду.

Воспоминание о Ялте

О, как мне хочется туда,
где бредит тенью черепица
и где спектральная вода
не устаёт о днище биться,
где свод царит над головой
дремучих звезд в чаду шелковиц
и ресторанных пустословиц
взлетает к небу сноп цветной.

Новиков Сергей Леонидович родился в 1951 году в Крыму. Выпускник педагогического факультета Крымского государственного университета. Переменил много специальностей. Ныне — журналист. Автор сборника стихов, изданного в родном городе. В «Новом мире» публиковался дважды (1997, № 6; 1998, № 10). Живет и работает в Ялте.

Мишурный, парусный, пеньковый,
ты был мне столько лет назад
под ноги брошен, как подкова,
(а это к счастью, говорят),
когда я к свету бестолково
спешил незрячим, наугад.

И звонкую свою удачу,
тебя, каленую дугу,
я с той поры у сердца прячу,
сиротской ночью чуть не плачу
и наглядеться не могу.

Ночь на рейде

И угольщик тусклый, и юный норвежец,
и нырких баркасов флотилия птичья
мерцают на рейде во мгле побережий,
где волны, покатые спины набыча,
волна за волной с монотонностью бреда
идут, вспоминая Босфор и Фареры,
идут по велению лунного света,
идут, как, наверное, шли до Гомера...

А дальше за мысом — такие пространства,
такие бездонные дышат глубины,
что как не тянуться душою пристрастной
туда, где скрывается клин лебединый!
И, сферу пробив циклопической ночи,
впервые ослушник слепой Птолемея
вдруг Космос за сферой увидит воочью,
пред ним ужасаясь и благоговая.

Памяти матери

Жили — купно, жили — кучно...
Все — страда, страда, страда...
А в итоге — сын и внучка —
вот и вся ее страна.

За окном не жизнь — потрава.
Тьма вокруг, но свет в душе.
Вот и вся ее держава
на четвертом этаже.

И, как зарево, без звука,
вестником иных широт
небывалая разлука
по утру в окне встает.

Но, как Парка, год за годом
вечерами нишет нить,
чтоб успеть перед уходом
все заштопать, починить...

Ах, цветное рукоделье,
кружевная благодать!..
.....
За веселье и похмелье
больше некому ругать.

И — заветная покупка —
в шифоньерке под замком
спит цигейковая шубка
с вытертым воротником.



НАТАЛЬЯ АРИШИНА

*

ЭТО ПУШКИН В РОССИИ ВСЕГДА ВИНОВАТ

Томилино

У шлагбаума гипсовый Пушкин сидит.
Бакенбарды ему побелили.
Ходит стрелочник, стая воронья галдит.
До утра поезда отменили.

Это Пушкин в России всегда виноват,
вот сидит тут по давней привычке
и доволен, поди, что всю ночь не гремят
столь любезные нам электрички.

Не ищи виноватых. Терпеть не могу
объяснений, но будет простое:
это стрелочник, стрелочник гонит пургу,
тополиное семя пустое.

* *
*

Что еще придумает природа?
Ветер с ног сбивает пешехода,
с крыш гремит литаврами.

Не хнычь,
жди себе на голову кирпич,
не моги роптать, не слышен ропот,
сапожищ и тех не слышен топот,
карк ворон не слышен, вдовый плач,
рев сирен, стихи, проклятья, стоны.
Носятся воздушные драконы,
все взбесилось, все пустилось вскачь.
Уясни, что тщетно ждать ответа,
сколько до конца осталось света,
и надежду брось на дно реки.
Ни одна не сбудется примета.
Дождь и снег летят в начале лета —
вместе, врозь и наперегонки.

Новоселье

Дагеррокопии в углу,
поблекшие родные лица.
И без подушек на полу,
не правда ли, неплохо спится?

Мы объявились впопыхах
и бытом занялись ретиво.
Наследственный тяжелый прах
не станем отрясать безглаголиво.

Смотри, на блюде расписном,
как галантир, застыло время.
Мы на хранение возьмем
былой уклад, чужое бремя.

Но мы не будем жить в гостях.
Прости мне женское упорство
и быт на собственных костях
не принимай за чудотворство.

У этих стен тяжелый бред,
кровавый пот, ночные страхи.
Не унывай, расстелен плед
и свежевывыты рубахи.

* *
*

Обманутой в такие времена
не стыдно быть. Прощу любой скотине.
Не причитать же: в чем моя вина?..
Плюнь, разотри. Сокроемся в пустыне!

Ее увековечим. Золотой
бархан восточный станет нашим домом
единственным. Пока еще пустой,
молчит и ждет в пространстве незнакомом.

Так хороши весною миражи,
и звезды укрупняются во мраке,
и, Господи, особо закажи:
на всю округу — маки, маки, маки.

Не совестно, что я безумно жить
хочу бесценный дней моих остаток?
Не уповать, не спорить, не сорить
и на челе безоблачном носить
достоинства бесспорный отпечаток.

* *
*

В сумерках окончила стихия
буйство многих сил.
Сквозь прогнозы редкостно плохие
вечер проскочил.

Осторожно засвечу фонарик
вместо костерка.
Снимется разбуженный комарик
с влажного песка.

Где же ты, Небесная Ткачиха?
На небе побудь.
Для тебя одной светло и тихо
льется Млечный Путь.

* *
*

Ряску с парчою сравнить не умею.
Пруд обмелевший обходит и гусь.
Под колоколенкой не онемею,
но и молитву шепнуть не решусь.
Церковь безгласна на ветхом подклете.
Прочь убегает дорога, пыля.
Можно увидеть и в розовом свете
эти руины, холмы и поля.



НАТАН ЗЛОТНИКОВ



КРАСНОВИДОВСКИЕ СТРОФЫ

1

Наш адрес вроде под замком,
Его не знает почта,
И наш овраг не всем знаком.
Наш адрес значит вот что:

Живем у края крутизны,
Земля — ничья в округе
И старые нам дарит сны,
И что ни сон — о друге.

Ручей летит в далекий пруд,
Цепляя дно оврага,
Он чист и копит весь мой труд,
Как добрая бумага.

Над ним — крутые берега,
Простор и ветер вольный,
И молодой луны серьга,
И голос колокольный.

Куда уходят наши дни
И весь наш сор бумажный?
Лишь электричества огни
Летят в провал овражный.

2

За темною стеной лесов
Стена дождя прозрачна.
У птиц не хватает голосов
Вещать и петь судьбу часов,
Когда судьба удачна.

Но если что-то нас и ждет,
То, верно, ждет разлука,
Знай всякий овощ свой черед —
Морковь иль стрелка лука.

Трава пожухла — нынче зной,
 А путь дождя не сладок,
 Стоит он светлую стеной
 Вблизи зеленых грядок.

Нелегко труд и кропотлив,
 И выяснится вскоре,
 Что всякий разовый полив
 Нуждается в повторе.

Судьбу не знаешь наперед,
 Зато известно точно:
 Где есть при доме огород,
 Живут там сытно, прочно.

3

А мимо новеньких дворов
 Течет неспешно стадо.
 На впалые бока коров
 Бросает тень ограда.

И в створке каменных ворот
 Корова за коровой
 Идут, и дней круговорот
 Богат заботой новой.

Всей жизни молодой размах
 Для новых дней привычен.
 А голос церкви на холмах
 То нежно-тих, то зычен.

4

Наш путь за дальние леса.
 Куда? Маршрут неведом.
 Еще мы верим в чудеса
 И в то, что будет следом.

Там вновь малина расцвела,
 Там ворон водит оком.
 Но крепко спят колокола
 У звонаря под боком.

Они проснутся в ранний час,
 Счастливым час, начальный,
 Когда на землю сходит Спас
 И свежий звон пасхальный.

Они, как стайка певчих птиц,
 Кричат-звонят на храме,
 Вдали от грязи и столиц,
 Над Истрой и горами.



СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

*

ПОСЛЕ ИНФАРКТА

Рассказ

Бог, женщина и мужчина в свое время немного постарались, и у Николая Кирилловича Смирнова появился шанс побывать на планете Земля.

Он не пренебрег этим шансом, отнюдь, — он пользовался им непрерывно, денно и нощно, уже много-много лет.

Нынче, пожалуй, самым заметным признаком его внешности являлась русая (аккуратная) бородка, склонная к рыжеватости, тем самым она была склонна и к умолчанию его возраста.

Поэтому автор сразу же приводит некоторые данные, которые принято называть анкетными.

Рост Смирнова 171 см, вес 73 кг, возраст... возраст — 77 годочков. Образование высшее. Цифра семь у некоторых народов считается счастливой, вот и Смирнов — не то чтобы он на эту цифру ставил, но он ей доверял. И дома, и на работе. Дома у него была жена (первая и последняя), дети были, сын и дочь, — взрослые, жили отдельно на своей собственной приватизированной жилплощади, имели своих детей, то есть внуков Смирнова, общим числом три.

Работал же Смирнов в должности главного редактора книжного издательства «Гуманитарий». Издательство это принадлежало фирме «Феникс-Два». Почему «Два» — никто не знал.

Многие нынче говорят и пишут о крахе интеллигенции — почему? Начиная с 1917 года русская интеллигенция пережила столько трагедий, столько раз была оплевана — не счесть, но несмотря ни на что сохранилась. Даже больше, чем, скажем, крестьянское сословие, чем класс пролетариев с его лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Разве академик Сахаров — не русский интеллигент? А Свиридов? А Лихачев? А Солженицын?

Конечно, интеллигенты, но есть и разница.

Дореволюционные интеллигенты шли в народ: в учителя, в медики, в земство. Без их участия и самопожертвования не было бы в России земства. Всего этого не учитывает Солженицын, когда земство пропагандирует. Кто его возглавит? Нынче? Местные — совсем уж дурные пройдохи, не сумевшие стать хоть какой-нибудь властью и потому мелочно-завистливые, озлобленные, недоброжелательные. Учителя-интеллигенты в свое время ни у кого не встречали сочувствия: помещики считали их безнадежными неудачниками, крестьяне — непомерными богатеями. Еще бы: жалованье тридцать рублей в месяц! И все равно они делали свое дело, исполняли свое призвание.

Да что там говорить — все редакторы издательства «Гуманитарий» были интеллигентами, уж это точно. Всех на работу пригласил в свое время Смирнов, всеми ими — тринадцать человек — он гордился, и отношения к каждому было у него как к безусловно интеллигентным личностям. Этого нельзя было сказать, когда речь заходила о технических сотрудниках

издательства. Тут Смирнов брал вину на себя: техническую часть формировал он же. Следовательно, он был повинен в том, что года два-три тому назад недосмотрел и нынче не только про себя, но и во всеуслышание кого-то называл не иначе как «внутрииздательской мафией». Однако менять что-либо в кадрах было поздно: фирма «Феникс-Два» была против. Ее вполне устраивали раскол и доносительство. Фирма непосредственно руководила отделом политической и рекламной литературы, а он, Смирнов, — отделами прозы, поэзии, критики и публицистики — в том составе профессионалов, которому, он считал, и равных-то не было.

Подвел Смирнова случившийся с ним два с лишним года назад инфаркт. Подвел и как главного редактора, и как писателя — Смирнов кое-что (в прозе) написал, было такое дело. Инфаркт же отлучил его и от жизни общественной, к которой доинфарктный Смирнов питал постоянный интерес. В силу этого интереса возникали у него знакомства в самых разных кругах и сферах — театральных, политических, посольских... Ему казалось, что интерес был взаимным: всюду находил он своих читателей.

Читатели же были ему очень интересны, хотя когда он писал, то делал это исключительно для себя. Никто даже из самых близких ему людей никогда не знал, что он пишет. Роман? Рассказ? Эссе? Он и сам этого не знал. Что-то должно было получиться — и что-то получалось. Но читатели были для него полной неожиданностью, чудом каким-то...

С собственной прозой дело у Смирнова обстояло сложно еще и потому, что начинал он свои сочинения, будучи человеком одного склада, одного мышления, а кончал уже другим (именно потому, что кончал). Он ведь за время этой работы и читал, и ТВ смотрел, и думал — с пристрастием — все о том же сочинении. Так вот, этот другой по-другому смотрел и на начало своей работы, с сомнением смотрел, далеко не всегда и во всем доверяя первым страницам. Впору было начинать сначала. Он и начинал, случалось, пять-шесть раз. Частичный выход из положения он знал, но только частичный: надо было писать быстро, чтобы не успеть измениться. Но далеко не всегда это удавалось. К тому же его одолевало — правда, так и не одолело — желание порвать и начало, и конец, все до последней странички, порвать к чертовой матери. На том и кончить.

К инфаркту Смирнов отнесся если уж не доброжелательно, то совершенно спокойно: всему свое время. Все, что происходит вовремя, — все справедливо. А ему в ту пору было уже почти семьдесят пять — это ли не время?

Тысячи и тысячи людей перенесли инфаркт, часто не вовремя, — и ничего, встали на ноги. Вот и Смирнов надеялся, что у него тоже обойдется: переболеет, а потом станет таким, каким был «до». А если умрет, так, чувствовал, не без удовольствия.

Однако врачи вытащили его из небытия (инфаркт был тяжелый, обширный). Врачи не спрашивают больного, хочет он жить или не хочет, они лечат и младенцев, даже еще не родившихся, и дремучих стариков. С одинаковым старанием лечат и хороших людей, и убийц каких-нибудь. Такая у врачей планета.

Однако инфаркт Смирнова разделил его жизнь на две очень разные части: прединфарктную и постинфарктную. Не важно, не имело значения, что по своей продолжительности это были совершенно несопоставимые части, все равно так было, и Смирнов совершенно точно угадывал неприятности, сопряженные с его постинфарктным состоянием. Первое, что с ним случилось, — он потерял координацию движений. Опять-таки ничего непредвиденного: в районе своего пятидесятилетия он уже эту способность терял...

Постинфаркт завел Смирнова в заведомо неизлечимую болезнь старости. В разговорах с женой Смирнов отзывался о старости не стесняясь в

выражениях. Не стесняясь, хотя жена была только на три года моложе его. Но то — разговоры. На самом же деле Смирнов старался свою старость ничем не раздражать. Признавая ее силу и могущество, делал все, что от него зависело, чтобы старость не очень уж возносилась. К сожалению, для этого у него было слишком мало возможностей. Старость — это, по существу, антипод жизни. Если в молодом и зрелом возрасте человек чуть ли не идеально обслуживается всеми своими органами, как видимыми, так и никогда не видимыми им, обслуживается так бескорыстно, так аккуратно, что он этой службе даже и не замечает, то при вступлении в болезнь старости положение радикально меняется: теперь он сам должен этим органам подчиняться, должен их обслуживать всеми своими силами.

И так он уже чувствовал себя — не без основания — серьезным специалистом по старости. К примеру, он точно знал, что все дело в органическом веществе. От этого вещества и само название «организм» произошло. Ну а если бы, положим, человек (да и вся остальная фауна) состоял только из костей, а те — из веществ неорганических — тогда как? Тогда человеку износу не было бы и срок его жизни исчислялся бы тысячами лет. Однако скелет и снаружи, и — особенно — изнутри окружен самой разнообразной мягкой органикой, а всякая органика, как известно, только и делает, что исчезает и восстанавливается, исчезает и восстанавливается — в этом ее суть. Органика существует по воле Божьей, а неорганика эту волю как бы игнорирует.

Первые признаки болезни, называемой старостью, — повышенный интерес ко всему тому, что является не самой жизнью, а функциями собственного организма. Как-то: слух, зрение, дыхание, пищеварение, мочеиспускание, сердцебиение, кровяное давление, проблемы передвижения в пространстве и определение границ этого пространства.

Очень и очень противно: глаза слезятся, из носа течет, кожа все время чешется; если разобраться, так все у тебя болит, все без исключения, а самое главное — утрачена координация движений: голова кружится до тошноты, ходишь, придерживаясь стен, в сознании своего бессилия. Ведь любое существо, любая букашка потому и живет, что двигается. С момента рождения до момента смерти все живое двигается. Именно движение стало причиной существования слова, было прасловом и прамыслью, и «пра» терять нельзя, без «пра» ты никто и ничто. Старость деспотична, она не сегодня, так завтра свое возьмет, возьмет тебя в рабство. Без согласования с ней ты ничего не можешь — ни выйти погулять, ни посидеть за письменным столом, ни поругаться с кем-нибудь, ни съесть конфетку. Ничего!

Поначалу Смирнов видел в своей старости и нечто положительное, ну, скажем, у него появится возможность не торопясь, без суеты обдумать всякого рода проблемы (к примеру — есть ли Бог?). Однако же оказалось, что и в роли больного пенсионера, инвалида второй группы, лишённого права состоять в каком-либо штатном расписании, суеты он все равно не миновал. Надо было стричься-бриться, отвечать на телефонные звонки и самому изрядно позванивать, гулять с внуками, беседовать со своими взрослыми детьми и уметь общаться со своей женой, иначе говоря — уметь полностью жене подчиняться. Жена в послеинфарктной его жизни вполне логично приобрела бесспорные права главнокомандующего и пользовалась этими правами с размахом. Размах был обоснован и формально, и морально: это мужчина может объявить свою старость во всеуслышание — и взятки с него гладки; не то старушка — она до последнего дыхания хлопочет по дому, а если одинока, то выхаживает какого-нибудь попугайчика, какого-нибудь полудохлого котенка или глупую-преглупую собачонку.

Кстати говоря, Смирнов был большим мастером снов, может быть, непревзойденным. Кто и чего ему только не снилось! И пейзажи самые разные — арктические и тропические, и родители снились, и внуки — это

понятно, но еще ведь и убийство Александра Второго видел во сне. И с Юрием Гагариным летал — правда, не в космос, но куда-то летал.

Кажется, после инфаркта Смирнов стал предпочитать жизни наяву жизнь во сне. Во сне он ни разу не чувствовал себя мертвым — а наяву то и дело. Во сне он не задумывался над будущим людей и животных, жизни вообще; жизнь становилась бесспорной, он не ждал в будущем худшего ни для себя, ни для кого другого.

Ну а к утру он относился теперь более чем прохладно: что утро могло Смирнову предоставить? Какие такие радости или поучения? Кажется, уже говорилось, что он ждал от болезни-старости возможности вволю подумать. В течение всей своей предынфарктной жизни у него такой возможности не возникало. Хотя не было у него в так называемой сознательной жизни не то что дней, но и нескольких часов наяву, когда бы он ни о чем не думал...

Прежде — и в пятнадцать, и в двадцать пять, и в пятьдесят пять лет — он не догадывался, что вот как раз сегодняшний, сиюминутный он станет когда-нибудь объектом долгих-долгих воспоминаний. Собственных и никому больше не свойственных, нередко — удивительных. Значит, по сути дела, он уже сейчас, сию минуту — воспоминание. Но ни это соображение, ни чувство близости к нему собственного небытия не мешали ему заниматься своим делом — жить.

Он сознавал: люди к старости относятся по-разному. На Западе, пожалуй, считают, что старики впадают в неразумное детство, на Востоке — будто старики-то и есть самые мудрые люди. К самому себе Смирнов за решением вопроса не обращался. Заранее знал, что ничего ему это не даст.

Нечего и говорить, что Смирнов еще до вступления в старость догадывался о предстоящем ему исчезновении. Другое дело, что в разные периоды он по-разному относился к этой перспективе.

По правде говоря, постинфарктный период все-таки оправдал некоторые его надежды: появлялась возможность подумать о жизни. В целом. В формах, несколько, а то и порядком отвлеченных от повседневного бытия.

Он, например, понял, почему врачи лечат всех людей без разбора, а врачи ветеринарные, тоже почти без разбора, — всех животных.

Дело в том, понимал он, что Бог, будучи Высшим Разумом для человека, не исключал возможности существования некоего Разума и над Ним, причем не одного, а множества, все более и более высоких. Бог человеческий, извлекая бытие из небытия, вместе с жизнью вменял в обязанность каждой созданной Им твари, будь это мышка или слон, не говоря уж о человеке, избежать смерти всеми данными ей, твари, силами и средствами. Живи, да еще в обязательном, в обязательнейшем порядке. Конечно, среди людей, да и среди животных тоже — китов, например, встречаются случаи самоубийства, но люди-то, живые-то, как к этому относятся? Что при этом думают? Наверное, спрашивают у Бога: а когда же Он Сам найдет нужным прибрать их к Своим рукам?

Обязанность же жить касается не только фауны, но и флоры тоже. Флора создала фауну, породив на Земле растительный слой не только ради самой себя, для своего собственного удовольствия, но и для времен будущих, для двуполых существ, противоположных миру споровому, бактериальному. Божественный Разум уже на стадии растительной готовил мир животный, мир донельзя одушевленный. Готовил — и приготовил: внутри Земли огненная лава, поверх лавы, километров тридцать — тридцать пять, слой грунтовый, еще сверху — метр, того меньше — слой почвенный. Снаружи — лава солнечная, а на этой тонюсенькой растительной пленочке, между двумя лавами-огнями, — жизнь. Да еще плюс ко всему — человеческая. Это какой же требовался Разум (какие Разумы?), чтобы именно таким образом все обустроить?

И надо же, чтобы человек разрушал это божественное творение — своим так называемым прогрессом! Который есть не что иное, как стимул к бесконечному возрастанию человеческих потребностей. Для всех организмов их потребности раз и навсегда определила природа, и только человек определяет их сам для себя, никого не допуская к этому занятию. Даже Бога.

Если в природе существуют ландшафты, то цивилизация создает ландшафты антропологические. Если в природе существуют реки, то цивилизация создает из рек застойные водохранилища. Ну а как же иначе — человек, он ведь царь природы? Ее высшее достижение?

Три четверти всех потребностей человека — потребность во все новых и новых источниках энергии. Природа и тут не поскупилась — вот она, естественная энергия: солнечная, ветры, морские приливы и отливы. Но... возни слишком много, чтобы сосредоточить эту рассеянную энергию в одном месте, в один кулак, как это делает человек. Хотел бы Смирнов посмотреть — что получится с земным шаром ну хотя бы лет через пятьдесят? Через сто?..

Такая история... Такая, в представлении Смирнова, паскудная. Вернее — такой бесславный конец истории.

Все чаще и чаще в сознании Смирнова возникала не то чтобы сценка, а некий отвлеченный факт: не то он едет, плывет, летит куда-то, не то куда-то идет и вот на минуту, какое там, на секунду только закрывает глаза... В эту секунду он и не увидел того, что должен был увидеть, что увидеть ему с момента рождения было предназначено, что нужно для того, чтобы иметь моральное право умереть по своему усмотрению. Существовать еще будешь и без этого видения, но жить — нет. Жить-то ведь можно, лишь точно зная, что рано или поздно, но обязательно умрешь. Без такого знания жизни нет, человека нет. А ты свое видение проворонил!

Проморгав это видение в реальной жизни, Смирнов стал надеяться на сны: во сне привидится. Сон вознесет его высоко, сон покажет ему нечто такое, что никто никогда не видывал.

«Дай-то Бог!» — думал он теперь перед каждым сном, откладывая книгу и гася над головой свет. «Будет, будет!» — верил он. Неужели человеку не дано еще при жизни увидеть нечто ему предназначенное? Хотя бы во сне?

А сны ему снились странные. Ну, например: на асфальте двух проспектов (обязательно этих двух — Ленинского и Ленинградского) произрастает пшеничка: тощие колоски-заморыши, зернышки щуплые, стебельки тонюсенькие. Смирнов их рассматривает внимательнейше, так, что и его тоже начинают рассматривать прохожие, главным образом пожилые женщины.

— Это, — говорят они, — что? Вот на Ленинградском, там хлеб еще гораздо хуже!

Смирнов же в свою очередь объясняет женщинам:

— Это — нормально, — говорит он, — и называется «коммунистический капитализм»! Понятно? — И объясняет дальше и дальше, и начинает радоваться подобию уверенности в своих объяснениях, подобию доверия к нему со стороны своих слушательниц, подобию реальности всего происходящего и еще многим-многим подобным же подобиям. Просыпаясь, он уже знает: не то! — и тем сильнее ему хочется увидеть какой-то настоящий сон.

А месяца два тому назад Смирнов во сне слышал пение. Дивной красоты женский голос исполнял что-то классическое, что именно — Смирнов не разобрал.

Во сне же он решил, что Пушкина очень многие любят за то, что поработал за них: за них подумал...

А недавно — надо же! — ему приснилось, будто он вознесся на невероятную высоту, с которой и обозревал Галактику со всеми ее миллиардами небесных тел. Что прежде всего поразило Смирнова? По нашим земным представлениям, одно небесное тело отстоит от другого на тысячи, на десятки тысяч световых лет. На самом же деле их там напичкано — не счесть, толкучка так толкучка! Хотя, в общем-то, столкновения сравнительно в редкость, не то что на дорогах Земли между автомашинами. И это при всем том, что светофоры отсутствуют, а о регулировщиках нет и речи.

Странно, но астрономия в наше время — наука уже второстепенная. Придатком космонавтики она стала, что ли? Листая справочник Российской академии наук, Смирнов не нашел в нем самостоятельного упоминания о науке астрономии: политика вытеснила ее отовсюду. В сочетании с физикой еще встречается. А почему не с механикой? Точнее же?

А еще — как? Человечество истоптало свою планету вдоль и поперек, вот и устремилось в пустоту, в космос, надеясь найти в пустоте что-нибудь интересное. До сих пор Смирнов относился к этим устремлениям более чем прохладно, но теперь попробовал и он. И нашел. И был пусть во сне, но очень смущен своим незнанием Галактики.

Время покорено календарем, пространство — микронами, километрами, световыми годами, другими единицами измерения, — а все, что измерено, то уже покорено. А тут? Покорено, но не увидено.

Смирнов глубоко уважал Польшу: Коперник, современное представление о мироздании. Чуть ли не полтора тысячелетия прошло от Клавдия Птолемея (Солнце вращается вокруг Земли) до Николая Коперника (Земля вращается вокруг Солнца).

Тут, в России, только-только закончилось Смутное время (закончилось ли?), а там великий польский Николай...

И все же налицо была потрясающая картина. По всей логике, не может существовать такого видения. Но вот оно!

Для начала Смирнов, хоть это и был сон, закрыл от растерянности глаза, но спустя время заставил себя открыть их и увидеть Галактику почти что реально.

Не могло быть, чтоб Вселенной было абсолютно наплевать на человечество — то ли оно есть на какой-то из планет, то ли нет и не было никогда. И никогда не будет.

Это обстоятельство подтолкнуло Смирнова к мысли о том, что человеческая многоязыковая речь очень несовершенна, что только два слова в ней могут иметь безусловный смысл: «вечность» и «бесконечность».

Какие краски увидел Смирнов! Восторг! Ну, если человек не мог такие же изобрести, может быть, следовало поручить дело какой-нибудь толковой обезьяне?

Дальше — больше, и Смирнов почувствовал себя не только зрителем, но и существом соответствующим, вполне причастным к этому движению, к этому невероятному движению, называемому астрономией. Да, он чуть ли не равноправно в нем участвовал. Недаром же аппетит приходит во время еды. В картинной галерее — как? Иная картина потрясает своей красотой, и мало этого — своей правдивостью. Но и это не все, а вот картина, которая убеждает: здесь изображен не кто-то там, но ты сам. Ты, да и только! Независимо от того, что и кто изображен — мужчина, женщина, ребенок, пейзаж какой-то или попросту неизвестно кто и что — неведомая конструкция, пятна разных красок. Еще оказалось, что Галактика пусть в какой-то мере, но изображает и его, Смирнова. Его — Николая Кирилловича. Оказывается, в нем тоже происходила орбитальная толкучка, тоже присутствовала дымчатая Земля, и все еще не кончалось Смутное время, и не было признаков его окончания. Зато были явственные признаки новой смуты — и военной, и экологической.

Ну конечно, поискав глазами Землю, он нашел и ее. Крохотка. Чуть розовенькая, чуть голубенькая, чуть зелененькая, а еще, что называется, дымчатая. Уловил Смирнов (кажется) и отношение к Земле других планет: они ее недолюбливали. Во-первых, за то, что она такая красивенькая, во-вторых, потому что она пристроилась существовать недалеко от Солнышка.

В прошлом Смирнову казалось, что он может вызывать сны по своему собственному заказу. Он не без гордости это отверг: сны — явление демократическое, какие считают нужным прийти, такие и приходят (Смирнов ведь и самого себя, безусловно, считал демократом). И вот результат: этаким астрономический сон! Недемократическим путем он никогда бы до такого не дошел.

Вдоволь, почти что вдоволь налюбовавшись, Смирнов вдруг поразился неожиданно пришедшей к нему мысли: почему эта картина досталась ему — человеку русскому? И ведь нельзя сказать, что вопрос застал его совершенно врасплох — оказывается, внутренне он к нему был подготовлен.

По другим, исключительно земным, поводам, при других обстоятельствах, в другой форме, но вопрос возникал перед ним не раз и не два: а что же это такое — русский человек? В частности, как это так: именно ему — такому непутевому — Галактика представилась во всей своей красе и мощи? И во всей своей правде? И во всех своих изумительных оттенках...

Ну ладно — многие народы не только ходят на своих ногах, но еще и носят себя на собственных руках; в России такого умения нет. Попытки были — не удались.

До сих пор не удается ей и европеизация. Петр Первый как старался — самолично плотничал в Голландии; а какие человеческие жертвы он принес на строительство Петербурга! Но не успел. Ему бы пожить еще лет двадцать. Или не родиться совсем.

Более двух веков спустя другая идея — марксизм. Опять же европейское начинание, но в Европе-то оно не нашло продолжения, а Россия затеяла распространить его на территорию всего земного шара. Включая мировую океан. Нет, непутевая она, эта страна.

И откуда началась этакая нескладная российская история? Может быть, с монголо-татарского ига? Почти трехсотлетнее рабство не проходит даром, оно надолго искажает представления людей о действительности, о самих себе, так что это вполне возможно: монголо-татары, потом крепостное право, потом большевики. Метод один: обещания. Выполняются они или ничуть — дело второстепенное, важно обещать. Ну вот так же, как наш нынешний президент на своих выборах: обещаю за четыре года сделать Россию страной процветающей. Сделал? Может быть, лучше было бы варягов снова призвать: сами собой править не уедем, Богом не дано? Все еще не может Россия найти своей государственности.

Смирнов догадывался — не хотел, но все равно догадывался: его болезнь — это болезнь страны. Болезнь называлась социальной, ежели уточнять — социалистической: рецидив социализма. Ничто так не учит воровать, как социализм. После социализма это уже все умеют — лгать и воровать. Без этого уже не могут, хотя и лгут и воруют в соответствии со своими «новыми» убеждениями: кто строго по-коммунистически, кто по-демократически, кто по-эндээровски, кто беспартийно, то есть профессионально. Если в недавнем прошлом источник воровства был общим — эксплуатация трудящихся (в том числе и самих себя), то нынче всемогущей стала взятка, услуга за услугу, обманы, ложные обещания, выклянчивание. Если в начале века на Руси была поговорка: «Не обманешь — не продашь», так нынче несколько по-другому: «Не обманешь — не выклянчишь».

Смирнов болел неумением обманывать — вроде как порок смешной и глупый у него был. И чувствовал себя до того непутевым, дальше некуда... Его обманывали — так и надо, — вот логика.

А вот ужасом для него было пережить жену. Ну если он ее вдруг переживет? На несколько лет? И несколько лет на эти темы ему слова сказать будет некому?! Несколько лет один, при том, что он и кашу-то сварить не умеет! Страх! Нынче уровень жизни понизился во много раз по сравнению с доперестроечным. Сегодняшняя пенсия — пять-шесть доперестроечных рублей. А ну-ка проживи! Один! Без жены! Сумей! Попробуй! И не подохни... И тут же — чеченская война. Потом призвал президент в премьеры мальчика, тот ухом не повел, куда как бодро взялся за дело. С азартом. Результат: катастрофа 17 августа.

Кроме всего прочего, президент не знает: а кто другой? Может быть, Зюганов? Ничего, кроме банальных слов... Ничего! И как низко, как отвратительно, по-базарному Зюганов критикует! А ведь это он, именно он проиграл Ельцину выборы. Проиграл — сиди и помалкивай, так нет же: теперь он первый критик президента. Заболел президент — прекрасно: пусть уходит! Сегодня же подает заявление! Принял на работу не того человека — пусть сам и уходит. Таким образом, Зюганов, проиграв на выборах, наверстывает в склоках и дрызгах, в чем, в чем, а в этом он надеется своего соперника опередить.

Он нынче едва ли не главная лидирующая фигура — нет, несомненно, самая главная во всех государственных склоках и разборках, которые в свою очередь являются важнейшим занятием государства, его мужей.

Смирнов был убежден: власть делает из человека подобие человека и он начинает дышать властью, а не воздухом.

Много для этого не надо: чтобы была некоторая фантазия, а совесть отсутствовала бы, и вот вам двенадцать чемоданов Руцкого с компроматом. Ни из одного чемодана не представлено ни одного документа. А никто и не спрашивает. Наоборот. Руцкой избран губернатором и с теми же чемоданами ведет дела области.

Если бы Смирнов ударился во власть, это было бы для него равносильно тому, что из него сварили суп. Плохой. Ничего нелепее быть не может...

Смирнов не мог понять: как так, почему наш президент не подсчитает и не возьмет на себя лично хотя бы один процент тех бед, которые свалились на страну? Сорок три миллиона человек находятся ниже черты бедности; один процент от этой цифры — четыреста тридцать тысяч. Вполне достаточно, чтобы ужаснуться, сказать вслух: «Больше не буду!» Нет! Ни слова! За прошлый, девяносто восьмой год в стране двадцать семь тысяч человек, читал Смирнов, покончили с собой. Один процент — двести семьдесят человек. А это — как?

Президент наращивает правоохранительные учреждения, всяческие службы безопасности — это чуть ли не самое излюбленное его занятие, но кто поставляет преступников? Да государство же и поставляет: перед голыми людьми возникает выбор — или умирать, или идти на преступление... Ради своих детей.

И при всем при том Смирнов не хотел бы быть ни немцем, ни американцем — только русским. Только им. Особенно после того, как Галактика представилась ему во всей своей красоте и мощи.

Во сне?

Ну и что, это даже логичнее.

Итак, русский человек удостоен видом Галактики. Но все-таки почему русский? Потому только, что Смирнов никем другим — ни американцем, ни французом, никем-никем другим — и представить себя не мог. Не мог и не хотел. Не дано Смирнову было сообразить, как это, положим, так: у Пушкина, Достоевского, у Толстого — один родной язык, а у него, у Смирнова, родной же, но другой?

Собственно говоря, думал Смирнов, жизнь состоит из двух количественно неравных частей: из жизни как таковой и из ее изображения. Что

касается части первой, так его страна была нынче где-то на задворках, но вот часть вторая... Смирнов не раз встречал иностранцев, мужчин и женщин, которые, прочитав Достоевского в переводе, не то ошалев, не то просветлев, бросались изучать русский язык, чтобы читать его в подлиннике. Потом становились переводчиками, потом специалистами, преподавали русский в школах и вузах своей страны.

Так ведь и Смирнов тоже: он сперва был инженером и только в зрелом возрасте стал филологом.

Не обошлось и без пейзажей... Если бы он не видел пейзажей своей страны: то на юге под Сочи, то в Ненецком округе на Севере, не видел их, европейских, под Смоленском и азиатских — на Ангаре и Амуре, в пограничных между Европой и Азией районах, — вряд ли его посетил бы сон с пейзажем астрономическим, вселенским: подготовительный класс он прошел.

И все это при том, что Смирнову вроде бы и не было за что свою страну хвалить, а вот ругать и поносить — пожалуйста. Сколько угодно. Современность — так в первую, в первейшую очередь. Америка — у нее мало истории, зато самоуважение. У России истории навалом, не счесть, но ни самопонимания, ни самоуважения нет и нет.

Смирнов ведь был пессимистом вопреки расхожим, в том числе и правительственным, мнениям о том, что Россия столько вытерпела, столько мрачных страниц было в ее истории, что и нынешнее время она обязательно переживет и обязательно процветет. Вопреки такого рода утверждениям он в будущее своей страны не верил. Не верил, что год 1999-й будет «переломным», лучше года 1998-го, что год 2001-й — лучше 2000-го. Смутное время, некое подобие гражданской войны — вот что ждет Россию...

Ну когда это, в какие времена какое государство, потерпев, предположим, серьезное военное поражение, оставляло за пределами своих новых рубежей миллионы, десятки миллионов собственных граждан?

Но нынче и войны не было, было некое внутригосударственное поражение, развал был, однако такого рода факт имел место, и сколько ни взывали к своему государству люди, неожиданно оказавшиеся за границей, — никакого впечатления.

Еще Смирнов продолжал думать о том, что ложь эта не только нынешняя, она подготавливалась всеми российскими правительствами двадцатого века, во всяком случае начиная с Николая Второго, кончая нынешним все власти соревновались между собой во лжи, все в ней прогрессировали.

А на кого же нынче надежда? На Зюганова и зюгановцев, которые если что и могут, так это свергнуть страну в распрекрасное лагерное прошлое? В карточную систему? И встречают при этом немалое понимание: прошлое так прошлое, пусть хоть монархизм (при отсутствии сколько-нибудь подходящей личности монарха), лишь бы было что жевать. Может быть, это уже люди, каждый из которых сам себе партия?

А ведь не так уж много и нужно: одно-единственное поколение зрелых людей, которые умели бы не только критиковать и ругать престарелых, не только от всей души желать им поскорее сдохнуть, но и делать дело сами. Могли бы избавиться от собственных пороков, от той же лжи, от самомнения, от бойкой пустоты.

Одно-единственное умное и нравственное поколение — и ничего больше не требуется: судьба страны изменится навсегда. Ругать же и отвергать все бывшее, все прошлое — худший принцип прошлого, чисто коммунистический принцип. Устанавливать для живых людей «срок их годности», как будто речь идет о кефире и молоке, — отнюдь не лучшее мероприятие. Отвергать классику — Достоевского, Толстого — исходя из все тех же «сроков» — дикость. (Ленин о «Бесах» Достоевского: «Мразь».) Уже сколько поколений молодых (и молокососов) пытались это сделать — и что? И ничего, древнегреческие мифы живут, римское право живет, русские классики живут и будут жить вопреки авторам нынешних бестселлеров. Но что

такое тот же Достоевский? Он прежде всего человеческие сомнения, то есть опять же пессимизм.

Вот так: и без сомнений нельзя, и с ними жить тяжело. Выбирай. Смирнов выбрал, потому и стал пессимистом.

Правда, в своем астрономическом сне он еще и почувствовал: язык! Русский язык не претендует на английскую всеобщность, но и без него планетка Земля много потеряет. А то и очень много.

А еще пессимизму Смирнова способствовал, угнетал его повсеместный грабеж, повсеместные, запросто, убийства. Как будто так и надо! Как будто это норма жизни!

Тут шел он (уже после инфаркта и потому шел тихо, осторожно) по переходу, что под площадью трех вокзалов, вдруг — крики какие-то. А это четверо пацанов грабили древнюю, согбенную уже старушку. Старушка брыкалась, взывала о помощи, два встречных потока людей шло — никто не остановился: пацаны могли быть и с ножами, могли порезать. Смирнов тоже не остановился — старик. Но, может быть, старость, старый человек тут-то и нужен был?

Что там у старушки было-то, сотня рублей — пять, того меньше, долларов. Вряд ли, но все-таки возможно, что и на иссохшей своей груди она еще сотню припрятала. Подальше упрятала, чтобы не украли.

Но ведь у толпы своя была логика: дело-то стоит одну-две сотни, не больше того. А вот кое-кто в три часа ночи выносит из Кремля (на избирательную президентскую кампанию, надо полагать?) коробку, в коробке, говорили, — пятьсот тысяч долларов. Активисты были задержаны кремлевской охраной — и что? И ничего. До сих пор ни судов, ни другого какого-либо разбирательства не было.

А вот еще недоумение: среди всей этой лжи, коррупции и криминализации существовала-таки малочисленная, но русская же интеллигенция. Щепетильная, как и та, что была в самом начале двадцатого века, в самом начале, чуть ли не до революции 1905 года. В то время подобные представители России редко-редко были интеллигентами потомственными, второго или даже третьего поколения. Они происходили из тех, кто именовался «народом», — из крестьян, из мещан. Ну, скажем, как Чехов Антон Павлович вместе со своими братьями.

Так ведь и нынче так же: интеллигенты России современной — это тоже выходцы из семей крестьянских, семей мелких служащих, учительских и медицинских, которые нынче обещаниям власти не верят. Сил нет верить: они, интеллигенты, при смерти.

В чем же все-таки дело — почему Смирнов ни под каким видом не хотел быть человеком не русским? Он ничуть не упрекал тех прекрасных специалистов, умных людей, кто смотался «за бугор» — в Америку, в Германию, в Австралию, но сам к этому никогда не был готов, сам себе этого не представлял хотя бы краешком сознания. Не мог. Чтобы уехать куда-нибудь и там уже не голодать, не ждать нищенскую зарплату по полгода, а то и больше, не перебиваться с хлеба на воду, не мучиться проблемой, у кого бы из знакомых занять, — а жить сегодня, как жил вчера. И завтра тоже как сегодня.

Нет, не смог бы Смирнов жить по неизменному западному порядку. У него ведь его письменный стол уже был бардаком из бардаков: бумаги, бумажонки, газеты, варианты, черновики, наброски, вставки в еще только задуманные сочинения, конверты. Места для машинки не хватало, он ставил ее на стул рядом со столом. Он нужную вот сейчас, немедленно, страничку искал полчаса, ругая самого себя всяческими словами, но иначе у него, хоть убей, не получалось. Вряд ли где-нибудь в Европе нашелся бы такой же письменный стол. В России — другое дело.

Да, он собирался все эти бумажонки со стола сгрести, изорвать к чертовой матери и никогда-никогда к ним не возвращаться. Не собрался. И,

пожалуй, это было скорей хорошо, чем плохо. Пожалуй, по-другому быть у него и не могло.

А может быть, в этом и дело: перед Россией уже который век стоит вопрос: как жить? Как быть?

И вовсе не была она единственной страной, перед которой стоял этот вопрос, но решала она его по-своему, наглядно показывая и доказывая человечеству, как жить нельзя, невозможно.

Все может быть: а вдруг Россия догадывалась, что человечество живет и руководствуется не своими знаниями, а своими незнаниями? Не своим бытием, а своим небытием?

Смирнов, тот всегда чувствовал свое небытие где-то совсем рядышком. Если не с детства, так с юности воспринимал его как нечто совершенно естественное. Такая особенность не то характера, не то мышления.

Еще — инфаркт. Еще — возраст. Все вместе взятое предоставляло ему возможность легко уйти с работы. Он и ушел, подал заявление не моргнув глазом, ничуть не сомневаясь, что только так и надо, хотя редакторский персонал очень просил его остаться, бывать в издательстве хотя бы раз другой в месяц.

У русских людей нет достаточного чувства обязательности жизни. Жизнь того же Смирнова была для него не столько жизнью, сколько подготовкой к тому настроению, с которым он когда-нибудь, вот уж скоро-скоро, умрет.

Детство у каждого взрослого человека уж очень затягивается, успевая заложить в него множество вопросов без ответов. (Вопросы Толстого, Горького, Короленко.) Вот они и теснят взрослость. Даже склонность к людоедству жизнь не успевает изъять: недавно Смирнов прочел, что в Южной Америке пойман человек, который на своем веку съел пятнадцать мужчин — женским мясом он пренебрегал.

Людоедством, собственно, была и попытка Ленина (обошлась в миллионы человеческих жизней) пустить на слом десятки кораблей, а из остатков построить один-единственный корабль.

Под конец жизни Ленин понял: не выйдем! — и ввел НЭП, но было уже поздно: на смену пришел еще больший ленинец, чем Ленин, — Сталин. Вот и нынче к власти рвутся строевые генералы — с генеральской лирикой и с ленинскими замашками. Жириновский — тот уже обзавелся полковничьим мундиром — пойдет на фронт Третьей мировой.

Самым древним языком был язык движения; вот он, этот язык, и господствует по сие время: двигаться только вперед, а к чему, к какой цели — дело второстепенное.

Очень странно было Смирнову просыпаться и жить после своего астрономического сна; кроме всего прочего, Смирнов еще и уверился, что он уже мертв: не дано было, казалось, живым людям увидеть то, что увидел он, и остаться при этом снова в живых. Как так?! Он уже вступил в тот свет, который человеку земному постигнуть не дано: никого вокруг тебя нет, ничего вокруг тебя нет, нет и тебя самого... Это ли не тот свет, который поистине противостоит этому? Который извлекает не абсолютный и абсолютно бесцветный свет из полной тьмы, а цвет из солнечного света? Что может быть светлее? Практически и теоретически?

Ну а в Вихревой системе, там-то как? Есть ли люди? Если есть — так же, как на Земле, дети играют во взрослых, которые все-все понимают, а взрослые — в детей, которым не дано понять больше, чем они по-детски понимают...

Уж очень было не по душе умирать в системе, которая через десять лет войдет в историю России как «период хаоса Ельцина» (и его оппозиционеров). А время Америки — как время блуда, клятвопреступления ее президента и окончательного завоевания всего мира через НАТО! Поплевывая на ООН...

Смирнов не умел, так и не научился, не спать. Уж если он улегся на ночь, так обязательно должен был уснуть, а не слушать, что и где гудит — где ветер, где далекий самолет, а где совсем-совсем близко ворчит на судьбу собственное брюхо. Поэтому Смирнов в любых дозах принимал снотворное (одновременно со слабительным).

Если же его миновал сон, тогда на него наваливались вопросы, именно все эти безответные вопросы.

Или вся страна болеет его болезнью старости, думал он, или это он болеет ее болезнью?

Вот и на работе... То какой-нибудь бездарный автор приносил рукопись с конвертом:

— В конверте — две тысячи зеленых, напечатаешь — они твои!

Другой, понаходчивее, предлагал:

— Доходы моего предприятия будут поступать на банковский счет твоего издательства. Десять процентов — твои, что хочешь, то с ними и делай, с этими процентами. Это в три-четыре раза повысит доходность твоего «Гуманитария».

И ведь все это и многое другое говорилось тоном самым обычным, никакого заговорщического оттенка, никакой секретности, речь как будто шла о чашке чая, безо всякой выпивки. Смирнов догадывался: в фирме «Феникс-Два», а то и в самом издательстве завелся наводчик, он и объяснял посетителям такого рода, когда прийти, о чем поговорить заранее. Мало того, проводилась предварительная подготовка: два его заместителя, имеющие отношение к финансам издательства, были побиты кем-то во дворике, который надо было миновать при входе-выходе из издательства.

«Здесь безобразия», — писал в своих многочисленных анонимках завхоз Коробейников, которого по новому штатному расписанию предлагалось уволить.

Смирнов с постинфарктной тоской оглядывал свой захудалый домашний кабинетик-спальню, книги на полках, на шкафах, в стопках на полу и подоконниках. Он их никогда не читал, только покупал, почти все прочитала жена: она страдала бессонницей и читала ночи напролет. Само собой, Смирнов ночами и на свой письменный стол взглядывал с укоризной. Жена тоже старела, но никогда ничем не возмущалась. Никогда не говорила «может быть», «а вот если бы»... Не то что Смирнов, который «может быть» и «если бы» произносил повседневно и по многу раз.

Теперь, когда он с каждым днем все явственнее чувствовал, как старость наступает ему на пятки, между Смирновым и его старостью обходилось не только без скандалов, но и без взаимных упреков. Смирнову даже казалось, будто его старость обладает медицинскими знаниями, а потому все делает точно так, как нужно. Ему только и оставалось, что подчиняться знаниям старости, а не своим собственным. Они вдвоем с его старостью — весьма пожилой дамой с глубокими, чуть ли не до самого затылка глазами — вместе разбирали его астрономический сон, еще и еще прокручивали его — во сне же. Разумеется, не в целом, а лишь в некоторых деталях — к примеру, каков все-таки цвет Земли? Выше в нем процент голубого или зеленого?

Однажды Смирнов будто бы спорил с коммунистом (лицо знакомое):

— Что это ваш вождь в Думе так банально ругает президента? «Я — лучше тебя! Ты — хуже меня! Отдай мне власть! побыстрее! Завтра же!»

Коммунист обиделся: во-первых, у нас нет вождя... Во-вторых, это не только мое мнение! Это мнение партии.

— Во-первых, — отвечал Смирнов, — коммунизм не может быть без вождя. Во-вторых, Зюганов правильно понимает ленинизм: Ленин был гением примитива.

Собеседник обиделся еще больше, презрительно улыбнулся и ушел.

Еще Смирнов переживал за астрономию: у астрономов и металлических касок не было, чтобы постучать ими об асфальт.

Сны такого рода часто прерывались, он открывал глаза, оглядывал свой убогий кабинетик, сплошь заваленный книгами. Теперь уже ясно: он не прочтет их никогда.

А тут еще у Смирнова появился бзик: почему это он, видя перед собой как есть всю Галактику, всю Солнечную систему, не заглянул в соседнюю? Она тут же рядом просматривалась, мерцала. Это у Смирнова просто-напросто школярского внимания не хватило.

А ведь была возможность чуть ли не до уровня самого Николая Коперника дотянуться. Может быть, там какие-то живые существа удалось бы обнаружить, леса какие-нибудь или травы? Органические вещества? Какие-то бактерии?

Смирнов ясно чувствовал: не так уж много раз ему еще предстоит ложиться спать вечерами, а утрами просыпаться, и, укладываясь, он истово молился: «Боже! Позволь вознестись мне еще однажды на ту высоту, на которой я уже однажды был! Ты же такой могущественный, чего Тебе стоит, а для меня это разом объяснит и осветит всю прошлую мою жизнь, а может быть, и всех моих предков!»

Но вместо этого даже самые незначительные обрывки снов-сосунков становились все более редкими, еще менее эстетичными.

Конечно, странно, и тем не менее существует неукоснительное правило: сны посещают только тех, кто живет сегодня.



АЛЕКСАНДР НЕКЛЕССА

*

ПАКС ЭКОНОМИКАНА, ИЛИ ЭПИЛОГ ИСТОРИИ

Размышления у дверей третьего тысячелетия

О чудо... Сколько вижу я красивых созданий!
Как прекрасен род людской...
О дивный новый мир, где обитают такие люди.

Шекспир, «Буря».

В начале 90-х годов я оказался в Стэнфордском университете. И как-то гуляя ранним светлым утром по кампусу, набрел я на удивительную скульптурную группу, созданную Роденом, в которой присутствовал знакомый Мыслитель, правда, в несколько измененных пропорциях и своеобразном окружении. Нечто странное, даже тревожное чувствовалось в этом на редкость впечатляющем творении мастера. Центром его было другое изваяние — огромные медные двери, притягивавшие взоры остальных скульптурных персонажей, да и не только их. В таком «контексте» Мыслитель выглядел совсем иным персонажем, нежели его общеизвестный знаковый образ. Скульптурный ансамбль, выстроенный на площадке калифорнийского кампуса, словно являл собой то самое, сакраментальное: «Я увожу к отверженным селяням...» Но вовсе не Данта изображал при этом сидящий у притворенных врат «Мыслитель»...

МИР ПОСТМОДЕРНА ЛОМАЕТ ГОРИЗОНТ ИСТОРИИ

Не имея возможности направиться в высшие сферы,
я двинулся к Ахерону.

Вергилий.

1

Мир XX века заставляет вспомнить смутные и баснословные времена переселения народов, лежащие в основании современной цивилизации. Исходный рубеж нынешнего столетия был также ознаменован волнами массовой миграции миллионов людей, зримо подтвердив обретенную человеком власть над земными просторами. Теперь век завершается, демонстрируя неведомые ранее возможности мгновенного «перемещения событий», глобального информационного мониторинга, прямой и действенной проекции властных решений практически в любой регион земли, обеспечивая единство рода человеческого уже не только в пространстве, но и в реальном времени. К тому же многие угрозы и вызовы, вставшие в полный рост перед нами на пороге *третьего тысячелетия* от Рождества Христова, также носят глобальный характер.

Александр Иванович Неклесса — заместитель директора Национального института развития Отделения экономики РАН. Руководитель проекта РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований) «Глобальное сообщество: изменение социальной парадигмы» (№ 97-06-80372). Статья написана в рамках проекта, журнальный вариант.

Возможно, однако, что сближение столь отдаленных по времени эпох содержит в себе нечто большее, чем просто внешнюю аналогию. Социальный бульон, бурлящий сейчас на планете, явно готов породить на свет новое мироустройство, открыв заново главу всемирной истории. Пружина и внутренняя логика траектории уходящего века — исчерпание исторического пространства Нового времени, фатальный кризис его цивилизационной модели. Нестабильность, изменчивость социального kaleidoscope парадоксальным образом становятся чуть ли не наиболее устойчивой характеристикой современности. Происходит интенсивная трансформация общественных институтов, изменение всей социальной, культурной среды обитания человека и параллельно — его взглядов на смысл и цели бытия.

Подобный сдвиг времен и мешанина событий, естественно, усиливают интерес к эффективному стратегическому прогнозу, повышая роль общественных наук, являясь не только *социальным*, но также *интеллектуальным* вызовом эпохи (не говоря уже о его духовном содержании). Однако вопреки ожиданиям современная теоретическая мысль продемонстрировала изрядную растерянность и неадекватность требованиям времени, упустив из поля зрения нечто качественно важное, определившее в конечном счете реальный ход событий. И тому были свои веские причины.

На протяжении ряда десятилетий общественные науки (а равно и стратегический анализ, прогноз, планирование в этой сфере) были разделены как бы на два русла. Интеллектуальная деятельность коммунистического Востока, отмеченная печатью явного утопизма, оказалась в прокрустовом ложе догмы и конъюнктуры (прикрытом к тому же пеленой расхожей мифологии и лишенной реального содержания лозунгов), а следовательно, не готовой к неординарному вызову времени. Но ведь и западная социальная наука, особенно североамериканская футурология, связанная с именами Даниела Белла и Маршалла Мак-Люэна, Германа Кана и Олвина Тоффлера, Джона Несбита и Фрэнсиса Фукуямы, также в значительной степени пребывала в плену стереотипов постиндустриальной политкорректности, обобщенных в образах эгалитарной «глобальной деревни» и благостного, либерального «конца истории».

Впрочем, все эти иллюзии и клише имели единое фундаментальное основание: они являлись двумя вариантами единой идеологии Нового времени, базируясь на ее ценностных установках и парадигме прогресса. Но так уж сложилось: именно этот фундамент и подвергся существенному испытанию на прочность в конце XX века, именно данная концептуалистика и переживает ныне серьезный кризис. В то же время в недрах европейской по преимуществу социологии назревал серьезный поворот, связанный с критической оценкой самих начал современного общества, переходом к анализу новой реальности как самостоятельного исторического периода, эры социального Постмодерна. И что отнюдь не то же самое — к ее рассмотрению с позиций философии и культурологии постмодернизма.

В 90-е годы, после исчезновения с политической карты СССР, вопреки многочисленным прогнозам и ожиданиям глобальная ситуация отнюдь не стала более благостной. Напротив, став другой, она обнажила какие-то незалеченные раны, незаметные прежде изломы и теснины. Мир словно бы заворочался, привстал на дыбы... На фоне неумолимо приближающегося *fin de millennium* меркнут многие несбывшиеся мечты и ложные зори. Сохранение миропорядка становится все более актуальной, но и более трудновыполнимой задачей. Наряду с рациональным оптимизмом в духе упомянутого «окончания истории» начал открываться сумеречный горизонт неизжитого, первобытного ужаса перед ее разверзающимися глубинами.

Различные интеллектуальные и духовные лидеры, влиятельные общественные фигуры от Збигнева Бжезинского до Сэмюэля Хантингтона, от папы Иоанна Павла II до современного «алхимика» Джорджа Сороса заговорили о

наступлении периода глобальной смуты, о грядущем столкновении цивилизаций, о движении общества к новому тоталитаризму, о реальной угрозе демократии со стороны неограниченного в своем «беспределе» либерализма и рыночной стихии... События последнего десятилетия, когда столь обыденным для нашего слуха становится словосочетание «гуманитарная катастрофа», разрушают недавние футурологические догмы и социальные клише, предвещающая весьма драматичный образ наступающего XXI века.

В XI энциклике папы Иоанна Павла II «Евангелие жизни» (март 1995 года) современная цивилизация подверглась интенсивной и суровой критике как колыбель специфической «культуры смерти». Государства западного мира, констатирует Иоанн Павел II, изменили своим демократическим принципам и движутся к тоталитаризму, а демократия стала всего лишь мифом и прикрытием безнравственности. Или другой пример — если не исторического пессимизма, то отчетливой обеспокоенности. Известный, а главное, хорошо информированный финансист Джордж Сорос в статье «Свобода и ее границы», опубликованной в начале 1997 года в американском журнале «Atlantic Monthly», приходит к следующему настораживающему и для многих, вероятно, неожиданному из данных уст выводу: «Я сделал состояние на мировых финансовых рынках и тем не менее сегодня опасаясь, что бесконтрольный капитализм и распространение рыночных ценностей на все сферы жизни ставят под угрозу будущее нашего открытого и демократического общества. Сегодня главный враг открытого общества — уже не коммунистическая, но капиталистическая угроза».

...Так что на наших глазах происходит серьезная переоценка ситуации, складывающейся на планете, пересмотр актуальных по сей день концептов, уверенно предлагавшихся еще совсем недавно прогнозов и решений, их ревизия с неклассических, фундаменталистских, радикальных, эсхатологических, экологических и качественно новых мировоззренческих позиций. Новый международный порядок постепенно начинает восприниматься не столько как оптимистичная схема грядущего мироустройства, но скорее как постмодернистская *idea fixe* века XX (не без стойкого привкуса утопизма), на протяжении всего уходящего столетия в различных обликах смущавшая умы и охватывавшая народы.

Социальная организация предшествовавшего периода достигла своей вершины, глобализации (хотя это определение и не получило в ту пору распространения) где-то около Первой мировой войны. После которой, собственно, и возникла проблема нового порядка как по-своему неизбежная череда вариаций на тему формы и содержания новой планетарной конструкции. В ее ли версальском варианте с приложением в виде Лиги Наций; большевистской версии перманентной революции и планов создания всемирного коммунистического общества; германского краткосрочного, но глубоко врезавшегося в историческую память человечества *Ordnung'a*; ялтинско-хельсинкского «позолоченного периода» XX века, увенчанного ООН и прошедшего под знаком биполярной определенности...

И наконец, в конце века возникла устойчивая тема Нового мирового порядка с заглавной буквы в русле американоцентричных схем современной эпохи. (Отражая, впрочем, не только наличествующие тенденции истории, но и попытки подправить их политически мотивированной стратегией глобального обустройства.) «Это поистине замечательная идея — новый мировой порядок, в рамках которого народы могут объединиться друг с другом ради общей цели, для реализации единой устремленности человечества к миру и безопасности, свободе и правопорядку, — заявлял в 1991 году сорок первый президент США Джордж Буш, добавив при этом, что «лишь Соединенные Штаты обладают необходимой моральной убежденностью и реальными средствами для поддержания его (нового миропорядка. — *А. Н.*)». А в 1998 году на торжествах, посвященных 75-летию журнала «Тайм», нынешний, сорок второй, президент США Уильям Клинтон уточнил: «Прогресс свободы сделал это столетие Аме-

риканским веком. С Божьей помощью... мы сделаем XXI век Новым Американским веком». Черта была подведена на самом краю уходящего столетия — в марте 1999 года, когда явно просел каркас политического и правового мироустройства Нового времени, определенного еще триста пятьдесят лет назад Вестфальским миром 1648 года.

Однако история, которая есть бытие в действии, в своих построениях оказывается шире умозрительных социальных конструкций, непредсказуемое политически мотивированных прогнозов. И наряду с моделью исторически продолжительного североцентричного порядка (во главе с Соединенными Штатами) сейчас с пристальным вниманием рассматривается смутный облик следующего поколения сценариев грядущего. Среди них: вероятность контрнаступления мобилизационных проектов; господство постхристианских и восточных цивилизационных схем; перспективы развития глобального финансово-экономического кризиса с последующим кардинальным изменением основ мирового строя; будущая универсальная децентрализация либо геоэкономическая реструктуризация международного сообщества... Существуют и гораздо менее распространенные в общественном сознании ориенталистские схемы обустройства мира эпохи Постмодерна — от исламских, фундаменталистских проектов до конфуцианских концептов, связанных с темой приближения «века Китая».

Зримо проявилась также вероятность глобальной альтернативы цивилизационному процессу: возможность распечатывания запретных кодов мира антиистории, освобождения социального хаоса, выхода на поверхность и легитимации мирового андеграунда.

2

В сумбурной на первый взгляд реальности наших дней можно выделить *три* основных конкурирующих версии развития человеческого универсума, три крупноформатных проекта обустройства планеты.

Основной социальный замысел, развивавшийся на протяжении последних двух тысяч лет и в значительной мере предопределивший современное нам мироустройство, — проект *Большого Модерна*, был тесно связан с христианской культурой. Отринув полифонию традиционного мира и последовательно реализуя евроцентричную (а впоследствии — североцентричную) конфигурацию глобальной Ойкумены, он заложил основы западной, или североатлантической, цивилизации, доминирующей ныне на планете.

Его историческая цель (или по крайней мере цель его последнего этапа — эпохи Нового времени) — построение универсального сообщества, основанного на постулатах свободы личности, демократии и гуманизма, научного и культурного прогресса, повсеместного распространения «священного принципа» частной собственности и рыночной модели индустриальной экономики. Его логическая вершина — вселенское содружество национальных организмов, их объединение в рамках глобального гражданского общества, находящегося под эгидой коллективного межгосударственного центра. Подобный ареопаг, постепенно перенимая функции национальных правительств, преобразовывал бы их в дальнейшем в своего рода региональные администрации...

Частично реализуясь, грандиозный замысел сталкивается, однако, со все более неразрешимыми трудностями (прежде всего из-за фундаментальной культурной неоднородности мира, резкого экономического неравенства на планете), и кажется, он достиг уже каких-то качественных пределов, претерпевая одновременно серьезные метаморфозы. Например, система демократического управления обществом, распространяясь по планете, не только в ряде регионов существенно меняет свой облик, но и заметно модифицирует содержание, рождая, в частности, такие химеры, как «управляемая демократия» или даже «авторитарная демократия», либо откровенно симулируя парламентские

формы политического устройства общества, иной раз прямо сосуществующие с достаточно выраженной автократией (например, в ряде стран Третьего мира или же на постсоветском пространстве).

Не менее симптоматично распространение квазидемократии «акционерных обществ», то есть организаций не обязательно экономических, принимающих решения по принципу «один доллар — один голос». Параллельно с такого рода мутациями политических институтов все отчетливее проявляется еще один тип перестройки механизмов публичной политики. Так, наряду с признанной системой выборных органов власти все активнее действует многоярусная сеть подотчетных гораздо более узкому кругу лиц (по сравнению с представительной демократией) разнообразных неправительственных институтов и организаций. Серьезно разнясь по своим возможностям и уровню влияния на социальные процессы (подчас весьма эффективного), они в совокупности формируют достаточно противоречивую и не всегда простую для понимания, но все более ощутимую систему контроля над обществом.

История XX века развела модернизацию мира и экспансию христианской культуры, усилила их взаимное отчуждение. Глобализация христианской цивилизации объединила многочисленные и разнообразные культурные и религиозные меньшинства. Стремясь поддержать необходимый баланс между обществом духовным и гражданским, целями метафизическими и политическими, христианское сообщество подверглось парадоксальной культурной агрессии именно вследствие своего доминирующего положения. Поскольку в ходе нарастающей прагматизации общественного сознания происходило постепенное перерождение *секуляризации* западного сообщества в фактическую *дехристианизацию* его социальной ткани, это неизбежно влекло за собой коррозию и распад начал двухтысячелетней цивилизации. Кроме того, сейчас становится все более очевидным расхождение основополагающих для западного социума векторов политической *демократизации* и экономической *либерализации*, особенно заметное на глобальных просторах. Модернизация явно утрачивает прищипку ей ранее симфонию культуры и цивилизации.

Феномен Модерна (уже претерпев серьезную трансформацию внутри североатлантического ареала) был по-своему воспринят и переплавлен в недрах неотрадиционных восточных обществ, в ряде случаев полностью отринувших его культурные корни и исторические замыслы, но вполне воспринявших внешнюю оболочку современности, ее поступательный цивилизационный импульс. Иначе говоря, духовный кризис современной цивилизации проявился в расщеплении процессов модернизации и вестернизации на обширных пространствах Третьего мира. В результате во второй половине XX века традиционная периферия евроцентричного универсума породила ответную цивилизационную волну, реализовав повторную встречу, а затем и синтез поднимающегося из вод истории Нового Востока с секулярным Западом, утрачивающим свой привычный культурный горизонт.

Их предыдущее столкновение на путях экспансии европейской христианской цивилизации утвердило когда-то модель евроцентричного космоса, запустило процесс модернизации мировой периферии. На сей раз, однако, встреча культур происходит под знаком социального Постмодерна и одновременно — вероятного пробуждения неорархаики. Знаменует же она, судя по всему, некую новую версию ориентализации мира... Старые цивилизации начинают говорить на вполне современном языке центров экономического влияния, политических коалиций и международных систем управления.

В ходе как подспудной, так и явной ориентализации планеты на месте возводимого двухтысячелетней цивилизацией *Universum Cristianum* постепенно утверждается синкретичный и материалистичный *Pax Oeconomica*, своего рода прообраз муравьиного «царства Магога», возвращая из исторического небытия призрак дурной, *горизонтальной* бесконечности Древнего Мира. По-

своему ориентализируется и проваливающийся в «азиатчину», прозябающий в скудости и неурядицах постсоветский мир.

Роли основных персонажей исторической драмы как бы перевернулись: теперь, кажется, Запад защищает сословность, а жернова Востока распространяют гомогенность. Культура христианской Ойкумены, все более смещаясь в сторону вполне земных, материальных, человеческих, слишком человеческих ценностей, столкнулась с рационализмом и практичностью неотрадиционного мира, успешно оседлавшего к этому времени блуждающую по планете волну утилитарности и прагматизма. Первые плоды глобализации имеют в итоге странный синтетический привкус, а порожденные ею конструкции, являясь универсальной инфраструктурой, подчас напоминают «ирригационную систему», чьи каналы, в частности, обеспечивают растекание по планете уплощенной информации и суррогата новой массовой культуры. В результате распространение идеалов свободы и демократии нередко подменяется экспансией энтропийных, понижающихся стандартов в различных сферах жизни, затрагивая при этом не только духовные и культурные, но и социально-экономические реалии — такие, например, как предпринимательская этика, качество товаров массового спроса, множасьихся формы новой бедности и т. п.

Рожденная на финише второго тысячелетия неравновесная, эклектичная и в значительной мере космополитичная конструкция глобального сообщества есть, таким образом, продукт постмодернизационных усилий и совместного творчества всех актуальных персонажей современного мира. Происходит плавная смена мирового этоса. Культурно-исторический геном эпохи социального Постмодерна утверждает на планете собственный исторический ландшафт, политико-правовые и социально-экономические реалии которого весьма отличны от прежних общественных институтов. Постмодернизационный синтез, объединяющий на новой основе мировой Север с мировым Югом, выводит прежние «большие смыслы» — в виде ли развернутых политических или идеологических конструкций — за пределы современного исторического контекста. Несостоявшееся социальное единение планеты на практике замещается ее хозяйственной унификацией. А место мирового правительства, действующего на основе объединения наций, фактически занимает безликая или даже анонимная экономическая власть.

Сегодня в лоне глобального сообщества происходит вызревание вполне определенного мироустройства — наднационального неэкономического континуума, объединяющего на основе универсального языка прагматики светские и посттрадиционные культуры различных регионов планеты.

Наконец, все более заметны признаки демодернизации отдельных частей человеческого сообщества, пробуждения комплексных процессов социальной и культурной инверсии, ставящих под сомнение сам принцип нового мирового порядка, формируя обратную историческую перспективу *постглобализма* — подвижный и зыбкий контур новой мировой анархии. Так, мы наблюдаем разнообразные, хотя и не всегда внятные признаки социальной деконструкции и культурной энтропии, когда под внешне цивилизованной оболочкой утверждаются паразитарные механизмы, противоречащие самому духу эпохи Нового времени и рождающие масштабные стратегии и технологии — например, в валютно-финансовой сфере.

Параллельно механизмы цивилизационной коррупции шаг за шагом разъедают упорядоченный социальный контекст как в кризисных районах посткоммунистического мира, так и мирового Юга. В результате на планете возникает непростой феномен нового, «глубокого» Юга, объединяющий в единое целое и трансрегиональную неокриминальную индустрию, и трофейную экономику новых независимых государств, и тревожные признаки прямого очагового распада цивилизации (ярким примером чему могут служить Афганистан, Чечня, Таджикистан, некоторые африканские территории, разнообразные «золотые земли» и т. д.).

Процессы демодернизации — это также второе дыхание духовных традиций и течений, взглядов и воззрений, иной раз прямо антагонистичных культурным основам, нормам, устремлениям Нового времени, но выходящих сейчас на поверхность то в виде разнообразных неоязыческих концептов, плотно насытивших культурное пространство западного мира, то как феномен возрождения и прорыва квазифундаменталистских моделей (а равно и соответствующих политических инициатив) на обширных просторах бывшей мировой периферии.

Демодернизация не является магистральным направлением социального развития, но она, пожалуй, уже и не просто аморфная сумма разрозненных явлений преимущественно маргинального характера. Скорее всего, это многозначительный дополнительный вектор формирующегося Нового мира. В данной тенденции прослеживается нарастающая вероятность наступления некоего момента истины цивилизации, ее критического пикового переживания и, не исключено, *поворота истории* — утверждения на планете неоархаичной культуры, уже сейчас, подобно метастазам, в полускрытых формах пронизывающей плоть современного общества, фактически лишённого значимой социальной перспективы.

3

Серьезную трансформацию претерпевает североатлантический мир, вплотную столкнувшийся с кризисом своих исторических целей. Наряду со впечатляющими изменениями социального и культурного климата, ставшими столь очевидными где-то с конца 60-х годов, кардинальные перемены происходят также в «скучной» хозяйственно-экономической сфере. В 70-е годы прекращается бурное поступательное развитие послевоенной экономики, падают темпы роста и, что, пожалуй, еще серьезнее, намечается тенденция снижения нормы прибыли в сфере промышленного производства. Таким образом, оказался сломан «золотой ключик» кейнсианства, которое, как достаточно опрометчиво предсказывалось, сумело развязать гордиев узел индустриальной экономики.

Еще в 1972 году нашумевший доклад супругов Медоуз и их коллег Римскому клубу прямо поставил вопрос о *пределах роста* потребительской техногенной цивилизации. Правда, последующие десятилетия показали, что ее границы реально проявились все-таки не столько в связи с истощением сырьевых ресурсов, сколько в области экологических констант, то есть ограниченности хозяйственной емкости биосферы.

Резко повысилась в те годы актуальность проблемы демографического взрыва. Интенсивное обсуждение темы допустимых пределов численности населения планеты привело к проведению в 1974 году в Бухаресте первой конференции ООН по народонаселению (созываемой впоследствии каждое десятилетие). Конференция в целом прошла достаточно драматично и сформулировала настоятельные рекомендации о необходимости осуществления политики планирования семьи в глобальном масштабе.

Определенную угрозу себе индустриально развитые государства почувствовали также в становлении нового коллективного субъекта международного сообщества — Третьего мира, получившего свое название по аналогии с историческим третьим сословием, некогда сокрушившим господствовавшее мироустройство. (Кстати, жизненно важные для развития индустриального мира природные ресурсы находятся во многом именно на территориях данной группы стран.) Так сложилась весьма драматичная коллизия: как раз в момент актуализации проблем, связанных с кризисом индустриального развития, возникла перспектива еще большего ухудшения условий производства из-за неизбежного повышения цен на невосполнимые сырьевые ресурсы, а также растущей вероятности введения в той или иной форме экологического налога. В дополнение ко всему начала давать серьезные сбои сложившаяся система мировых валютно-финансовых связей. Непростая ситуация существовала так-

же в области противостояния Востока и Запада, хотя именно в этот период она временно была смягчена хрупким механизмом детанта.

Не случайно в 70-е годы в ходе интенсивных консультаций по поводу происходивших и назревавших перемен рождается такой влиятельный институт современного мира, как ежегодное совещание семи ведущих индустриально-промышленных держав — своего рода глобальный «экономический Совет Безопасности».

В целом ответ индустриального сообщества на вызов времени оказался весьма неоднозначным. Во внешней политике, помимо попытки стабилизировать отношения с Советским Союзом, велся интенсивный поиск действенной модели отношений с Третьим миром, была предпринята стратегическая инициатива в отношениях с Китаем. В сфере же экономики было реализовано несколько параллельных стратегий, хотя и взаимосвязанных между собой, но все-таки существенно различающихся по долгосрочным целям, конечным результатам.

На волне нефтяного шока (1973 год) произошла определенная интенсификация научно-технического развития. Были инициированы исследования в области энерго- и ресурсосбережения, а также поиск иных перспективных технологий. Наметилась перестройка промышленности, связанная со структурным обновлением производственных мощностей, пересмотром всей индустриальной политики. Но одновременно развивался и набирал силу другой, и, надо сказать, весьма многозначительный, процесс.

...Кризис 70-х годов высветил некоторые неожиданные обстоятельства. В условиях научно-технического прогресса резко возрастают затраты — прежде всего у крупных производителей — на фактически перманентное техническое перевооружение производства. Потому в целях экономии радикальная модернизация подменяется комплексной оптимизацией имеющихся механизмов, технологий, схем построения производственного и торгового процесса, или, проще говоря, изощренная рационализация мало-помалу вытесняет инновационный прорыв.

Оптимизация совокупной промышленной деятельности в масштабе планеты влечет за собой рост прямых иностранных инвестиций (что, кстати, косвенно указывает на возросшую неравновесность ситуации). Быстрыми темпами формируется глобальная экономика — *метаэкономика*, уже несводимая к простой сумме торгово-финансовых операций, но реально озабоченная изменением географии промышленного производства, трансформацией всей прежней социоэкономической картины. Складывается система производства и сбыта на обширных просторах земного шара, максимально использующая удобные условия в том или ином регионе: состояние социальной и промышленной инфраструктуры, производственные стандарты и местное законодательство, квалификацию рабочей силы, уровень ее социальной защиты и оплаты, устойчивую и солидную разницу между паритетом покупательной способности мягких валют и их обменным курсом по отношению к валютам твердым, близость к источникам сырьевых ресурсов и даже такой фактор, позволяющий снижать в определенных ситуациях издержки производства, как благоприятный климат.

В результате подобных мер получение ощутимой выгоды оказывается возможным не только вследствие конкурентных преимуществ, возникающих из-за инновационного прорыва. Более эффективным методом в рамках глобальной экономики становится именно оптимизация — умелое сочетание *различных* условий экономической деятельности в *различных* регионах планеты в рамках *единого* хозяйственного организма, ориентированного вместо поддержания непрерывного научно-технического прогресса на глобальное перераспределение имеющихся ресурсов и мирового дохода. В результате творческий импульс незаметно переместился из области фундаментальных изобретений и открытий в сферу извлечения геоэкономических рентных платежей.

Занятая решением судьбоносных и весьма неоднозначных проблем стратегического планирования, масштабной перестройкой экономики, реализацией новой схемы взаимоотношений стран и народов, цивилизация вплотную подошла к рубежу, по ту сторону которого все явственнее проступал контур новой исторической эпохи.

ЭТОТ НОВЫЙ ДРЕВНИЙ МИР

Экономика — наука сумрачная.

Т. Карлейль.

1

Философия истории — непростая наука: ее многочисленные загадки и парадоксы прямо сопряжены с уникальным статусом человека в мире, свободой его воли. И в то же время — с гораздо более предсказуемыми, хотя отнюдь не элементарными законами развития и трансформации сложных систем. Жизнеспособность подобных структур во многом связана с их внутренней неоднородностью, «цветущей сложностью», разнообразием, голографичностью.

Подобная неоднородность на уровне всеобщей истории теоретически может проявляться самым различным образом — например, как плодотворное взаимодействие частей (стран и народов, культурно-исторических типов или цивилизаций), сведенных в некую более-менее естественную иерархию целостности. Либо как конъюнктурное, форсированное стремление к доминированию одной или нескольких доль, использующих ресурсы системы в собственных интересах, иной раз серьезно понижая общую жизнестойкость конструкции. Или даже как острый, антагонистичный конфликт всего и вся, «битва цивилизаций», способная привести к слому, гибели системы. Приходится также считаться с реальностью соприсутствия в одном историческом пространстве весьма разнородных, *разновременных* социальных организмов.

Впрочем, философия экономики — судя по всему, не менее сложная область знания. Знамения времени — стремительная прагматизация, технологизация — не обошли стороной и экономическую науку: все более заметно сужение ее предметного поля, в результате чего она начинает иной раз смотреться как некий специфический набор банковских прописей. Складывается впечатление, что реальная задача современной экономики лежит не столько в области фундаментальной науки, сколько в сфере универсальных технологий и стратегий поведения в условиях ограниченности и противоречивости нашего знания о глубинах экономического космоса. Этот дефицит особенно ощутим в переломные моменты истории, когда рушатся многие устоявшиеся догмы и становится ясно, что экономика — наряду с политикой, идеологией — есть прежде всего феномен культуры. Возможно, нынешнее состояние мирового хозяйства было бы лучше понято, откажись экономика от сознательных и подсознательных претензий на статус естественнонаучной дисциплины, вспомни она о своих гносеологических корнях, осознай себя вновь частью этики и политики, то есть сферы целеполагания и «категорического императива» поведения человека в мире.

Кризис потребительской цивилизации рождает не только значимые духовные или культурные следствия, но несет миру серьезные социально-экономические потрясения. Появление масштабных геоэкономических технологий, реализующих новую концепцию глобализации, явно затрудняет достижение социальной однородности мира.

Оптимизация, как и экономия, — вроде бы естественные атрибуты хозяйственного процесса. Однако если пристальнее взглянуть в феноменологию происходящего, то обнаруживается ряд не всегда очевидных, но достаточно тревожных проявлений данной глобальной тенденции. Например, нарастающий импорт дешевых (несмотря на транспортные расходы, подчас весьма зна-

чительные) товаров и ресурсов зачастую есть не что иное, как оборотная сторона закрепления социальных аберраций в ряде районов земного шара, а также множущихся ограничений свободного передвижения на рынке труда. И стало быть — фактического экспорта сверхэксплуатации. В свою очередь из-за деформации объективной конкурентоспособности труда (что наиболее отчетливо обнаруживается, по-видимому, в области сельскохозяйственного производства) заметно искажается структура общества Модерна. В результате труд в ряде случаев становится скорее *социальной*, чем *экономической* категорией, требуя компенсации из соответствующих фондов, либо грозя массовой безработицей, либо перемещаясь в какие-то другие области деятельности, носящие иной раз квазиэкономический характер.

Неравновесная ситуация прослеживается также в сложной схеме мирового разделения труда (в неравные условия поставлены целые направления хозяйственной деятельности) и перераспределения мирового дохода. Прежде всего это проявляется в общеизвестном феномене ножниц цен, наглядно подтверждающем тот не всегда очевидный факт, что мировая экономика не является аморфной «глобальной экономической зоной свободной конкуренции», но умело организуемой, сложноподчиненной и управляемой системой.

Оптимизация экономической деятельности, таким образом, плавно перерастает в социотопологию: целенаправленное обустройство планеты, придающее глобальному сообществу желаемую форму, закрепление и поддержание которой обеспечивается затем *всеми* имеющимися в распоряжении современной цивилизации средствами.

Историческая цель западной цивилизации по созданию гомогенной социальной конструкции в виде вселенского гражданского общества все чаще вступает в противоречие с ее же вполне прагматичными устремлениями: желанием обеспечить высокий уровень жизни и потребления в первую очередь для собственных граждан — пусть и за счет населения других стран. При этом индустриально развитые страны попадают в некоторую ловушку. Экспортируя сверхэксплуатацию во внешний мир в попытке ослабить социально-экономические проблемы, общество вынуждено сталкиваться с последствиями своего экономического двоемыслия, в частности — со значительным уровнем безработицы, развившимся в условиях формально удовлетворительных экономических обстоятельств.

Размышляя о столь неоднозначной ситуации, невольно ловишь себя на мысли, что типологически она все чаще напоминает былую структуру античной демократии, как известно, гибко и, на первый взгляд, парадоксально сочетавшей существование общества, обладавшего широким комплексом гражданских прав, с реальностью параллельного «теневого» сообщества рабов. Структуру, в каких-то своих специфических и знаменательных проявлениях, кажется, продолжающую подспудно присутствовать в человеческом универсуме, однако на сей раз — в глобальном масштабе.

Впрочем, некоторые другие черты современной цивилизации вызывают еще более неожиданные ассоциации, заставляя заново переосмысливать недавний опыт тоталитарной архаики XX века или даже вновь вспомнить величественные империи Древнего Востока. (Чего стоит, например, все чаще возникающий образ исподволь возводимой в современном мире Великой иммиграционной стены.)

Наконец, отметим еще одно существенное обстоятельство. Реализация глобальных схем координации и управления мировым хозяйством оказалась возможной во многом благодаря революции в области информационных (и коммуникационных) технологий, что позволило объединить географически разнoliko пространство в единое целое, осуществляя глобальный мониторинг экономической деятельности и контроль над нею.

В свою очередь, интенсивно развивавшаяся отрасль информационно-коммуникационных услуг быстро превращалась в самостоятельный сегмент экономики, часть постиндустриальной сферы, растущую едва ли не самыми бурны-

ми темпами. Действительно, если привычные виды промышленного производства, имеющие дело с материальными объектами, оказались в тисках «пределов роста», то горизонты информатики стали своего рода дальним рубежом цивилизации, вполне свободным от подобных ограничений.

2

Кардинальное воздействие на судьбы современной экономики (и будущее цивилизации) оказал процесс формирования энергичной и призрачной неоэкономики финансовых технологий. Ее становление тесно связано с логикой развития информационной революции, приведшей к стремительной *виртуализации денег*, прогрессирующему росту всего семейства финансовых инструментов. В результате мир финансов стал фактически самостоятельным, автономным космосом, утратив прямую зависимость от физической реальности (что нашло свое выражение в отказе от рудиментов золотого стандарта, то есть самого принципа материального обеспечения совокупной денежной массы).

Пороговым событием здесь явилось изменение статуса и состояния фактической мировой резервной валюты — доллара. В августе 1971 года США отказались от золотого обеспечения своей валюты (на уровне 35 долл. за унцию). Таким образом, перестал действовать, хотя уже и усеченный (после 1934 года существовавший только для банков других стран), принцип обмена американских бумажных денег на золото. После устранения формальной связи доллара с золотом рыночная цена последнего поднялась за короткий срок на порядок, и это в условиях роста добычи желтого металла с применением современных технических средств.

Новая финансовая реальность оказалась необычайно эффективной и жизнеспособной именно в условиях технологизации, компьютеризации и либерализации валютно-финансовой деятельности, раскрепощенной как в национальных границах, так и на обозначившихся просторах транснационального мира. Быстрое развитие микропроцессорной техники, цифровых технологий, телекоммуникаций создавало необходимую информационную среду, способную координировать события и действия в масштабе планеты, а также в режиме реального времени, оперативно производить многообразные платежи и расчеты и мгновенно перемещать их результаты в форме «электронных денег», стимулируя, таким образом, интенсивный рост новой глобальной субкультуры — *финансовой цивилизации*.

Монетаризм не отменяет институциональное управление экономикой, но передает его функции от правительства (осуществляющего налоговую и бюджетную политику, фискализм) центральному банку (регулирующему экономику кредитно-денежными методами). Однако подобно тому, как в мире намечается перетекание властных полномочий от выборных органов в мир НПО (неправительственных организаций), также и частные финансовые институты начинают конкурировать с соответствующими национальными и даже международными организациями. Союз влиятельных международных структур (наподобие «большой семерки») и транснационального финансового сообщества, перенимая гипотетичные функции мирового правительства (но при этом неизбежно редуцируя их), выступает в качестве системы управления, реализующей в глобальном масштабе и фискальные (геоэкономические рентные платежи), и монетаристские (сжатие мировой денежной массы за счет слабых национальных валют) механизмы.

В конце концов, порожденный веком Просвещения привычный образ прогресса, осуществляемого человечеством на основе коллективного согласия относительно целей и ценностей общественного развития, оказался в настоящее время существенно поколеблен. В социальном универсуме и сознании людей вместо идеалов гражданского общества и рационально-созидательных форм поведения утверждается примат анонимных, стихийных сил, существующих и действующих независимо от человеческой воли, творящих вне рамок

осознанных намерений общества принципиально непостижимую, спонтанную версию реальности. Уходящая куда-то в бесконечность «темная» мировая конструкция создает между тем свою систему социальной регуляции, основанную на скрупулезной денежно-финансовой фиксации поведения индивида и соответствующей формализации жизни. Новый социальный проект обладает и собственным мировоззренческим комплексом, и даже отчасти метафизикой — развившейся из идолопоклонства «священной корове» экономического либерализма, «невидимой руке рынка».

Данный концепт в его современной интерпретации, хотя привычно и опирается на авторитет Адама Смита, является, в сущности, полупародийной модификацией его взглядов. Английский экономист в своих рассуждениях и построениях фактически исходил из традиционных для мира западного христианства воззрений (восходящих в свою очередь к позиции Блаженного Августина). Одновременно в его построениях были заложены постулаты, предвосхитившие ряд идей «гуманистической психологии» XX века. Суть рассуждения в общем и целом такова: благое в своей основе мироустройство требует от человека естественного поведения, следования должному (не нарушая при этом норм закона и правил общественной морали), полагая, что из суммы правильных и разумных в каждом конкретном случае действий может проистекать лишь общий позитивный результат. При этом истина реализует себя в достаточной мере независимо от индивидуальной воли и намерений (которые иной раз могут оказаться глубоко ошибочными), проявляясь в сумме свободных и конструктивных действий всего человечества. В том числе и даже в первую очередь в экономической сфере жизни. «Каждому человеку, пока он не нарушает законов справедливости (курсив мой. — А. Н.), — писал Адам Смит, и именно этой существенной оговоркой очерчивалось русло его умозаключений, — предоставляется совершенно свободно преследовать по собственному разумению свои интересы и конкурировать своим трудом и капиталом с трудом и капиталом любого другого лица и целого класса». Таким образом, «невидимая рука» мыслилась, по сути, властью Провидения, исполнением человеком воли Божьей, выстраивающей мир. А основой экономики оказывался синтез общественной морали и естественного желания человека улучшить свое существование. В нынешней же, постхристианской интерпретации это рассуждение ставится иной раз прямо-таки с ног на голову. Образовавшийся в современном секуляризованном обществе метафизический вакуум заполняют безликие стихии, по-античному роковые «силы рынка», выстраивающие собственную, никому до конца не ведомую версию дольнего мира. В таком варианте принцип «невидимой руки» утверждает, пожалуй, диктат своеволия и антиобщественных интересов, слишком часто прямо попирающих именно *законы справедливости*.

3

К концу XX века на планете уже сформировалось вполне самостоятельное «номинальное» поле разнообразных валютно-финансовых операций, все более расходящихся на практике с интересами человечества, потребностями и нуждами «реальной» экономики, ее возможностями, объемом. Более того, подвергающих дальнейшее развитие общества, а возможно, само его существование серьезной опасности.

За последние десятилетия XX века было разыграно несколько стратегических валютных и финансовых комбинаций, последовательно поднимавших ставки в глобальном казино. Один за другим возникали многоходовые, долгосрочные сюжеты: распространения мировой резервной валюты, обеспечивающей источник перманентного кредита (евродоллары); масштабной игры с нефтяными ресурсами, превратившей ресурсы Третьего мира в плоть и кровь глобальной кредитно-финансовой системы; аккумуляции совокупного глобально-

го долга, последующей его рециклизации и перехода финансового сообщества к косвенному управлению такими макроэкономическими объектами, как национальные экономики... (Что, в частности, позволило отодвинуть далеко в будущее сценарий резкого скачка цен на природные ресурсы. В результате вместо взлета стоимости полезных ископаемых в 80-е годы на планете разразился настоящий сырьевой бум.)

Технология масштабной геэкономической игры выглядела приблизительно следующим образом. Радикальное изменение цены на нефть привело к настоящему взрыву на рынке кредита за счет нефтедолларов. Кредит стал общедоступным, даже избыточным. Началась яростная конкурентная борьба за клиентуру; процентные ставки серьезно понизились (и даже, в условиях инфляции, порой становились отрицательными), то есть финансовые ресурсы на глазах превращались в скоропортящийся товар. В результате возник своего рода финансовый Клондайк. И в числе основных потребителей избыточных средств оказались многочисленные развивающиеся страны, недавно обретшие независимость. При этом проценты по вкладам, как правило, погашались за счет новых займов, банки имели устойчивый доход, а экономика процветала в условиях низких учетных ставок и массивных капиталовложений. Однако подобное благополучие зиждилось на весьма непрочном фундаменте. Именно тогда в результате коллективных усилий различных сторон в мире сформировалась основа перманентного «глобального долга».

В 80-е годы ситуация развивалась следующим образом. В условиях нового повышения цен на нефть очередной виток инфляции потребовал принятия достаточно жестких мер, в том числе увеличения процентных ставок. Кроме того, к этому времени сами нефтедобывающие страны увязли в трясине многочисленных — нередко дорогостоящих и амбициозных — проектов. В Европе же и других ареалах мирового Севера были оперативно задействованы финансово-экономические механизмы, позволяющие перераспределять геосферную ренту в их пользу. И наконец, на роль крупнейшего заемщика стали претендовать Соединенные Штаты, столкнувшиеся в силу ряда обстоятельств с устойчивым ростом государственных расходов и бюджетного дефицита.

Оскудение кредитных рынков быстро создало проблему выплат по ранее взятым долговым обязательствам, множество развивающихся стран начали погружаться в дурную бесконечность «потерянного десятилетия», а в результате еще более ужесточалась политика банковского сообщества, очутившегося перед угрозой глобального финансового краха. И действительно, первой его ласточкой был долговой кризис 1982 года.

Спасением стал переход банковских учреждений к коллективным действиям. Во главе комплексной стратегии оказались влиятельные международные экономические организации: Международный валютный фонд и Всемирный банк, созданные в свое время как координирующие институты в рамках почившей в бозе бреттонвудской системы, но обретшие в сложившихся условиях «второе дыхание», новую перспективу. Основой политики стала методичная реструктуризация, а порой и списание задолженности стран-заемщиков, санация их финансового положения, сокращение бюджетного дефицита, а также структурная перестройка экономик, сопряженная с широкой приватизацией, максимальной либерализацией внутренних цен и внешней торговли, ведущая к сжатию внутреннего спроса, возрастанию экспорта, а соответственно и валютной выручки, остро необходимой для расчетов с кредиторами. В итоге мировая финансовая система устояла, однако глобальная экономика приобрела качественно иной облик.

Новообразовавшаяся экономическая модель несет в себе также фундаментальное противоречие между стимулированием развития национального частного сектора и внерыночным характером действий международных организаций, обусловленным их устойчивым влиянием на процесс принятия решений в странах-реципиентах. В результате, несмотря на продекларированные цели,

фактический контроль за социально-экономической деятельностью в конце концов переходит не столько к местному частному сектору, сколько к иностранным донорам и международным организациям, формируя контекст весьма своеобразного североцентричного «макроколониализма».

4

Кризис индустриального мира привел не только к воплощению оптимизационных и паллиативных схем по его преодолению. Одновременно новая экономическая эра открыла шлюзы, сдерживавшие развитие откровенно спекулятивных тенденций. Быстрыми темпами стала расти хищническая квази-экономика, паразитирующая на новых реалиях и имеющая мало общего с конструктивным духом экономической практики Нового времени.

Сегодня в мире происходит неуклонное и последовательное вытеснение идеологии честного труда альтернативной ей идеологией финансового успеха. Деморализация экономических отношений — явление весьма тревожное, влекущее за собой массу самых серьезных последствий.

Так, глобализация финансовой деятельности — при относительной слабости институциональной и правовой среды в масштабе планеты — позволяет действительно преодолевать ряд законодательных ограничений и норм, все еще существовавших в пределах национальных границ. На карте мира появляются как бы условные государства: терминалы транснациональных организмов наподобие оффшорных зон, чье истинное предназначение нередко — реализация разнообразных схем лукавой экономической практики, включая весьма асоциальные комбинации.

В намечившемся расщеплении социальных и финансово-экономических целей общества можно, кстати, усмотреть определенную историческую преемственность от времен Великой депрессии, когда в гигантских размерах уничтожались *продукты хозяйственной деятельности* человека ради достижения *финансовой выгоды*.

В последние годы происходит явное умножение сфер человеческой практики и рост числа территорий, прямо пораженных «трофейной» и криминальной активностью, сливающихся в единый феномен *деструктивной квазиэкономики* — более чем специфической хозяйственной сферы, подчиняющейся качественно иным, нежели легальная экономика, фундаментальным законам (фактически производя *ущерб*, то есть своего рода отрицательную стоимость) и уже сейчас ворочающей сотнями и сотнями миллиардов долларов. Распечатываются и интенсивно эксплуатируются (в глобальном масштабе, с применением самых современных технических средств) запретные виды псевдоэкономической практики: производство и распространение наркотиков, крупномасштабные хищения, рэкет, контрабанда, коррупция, казнокрадство, компьютерные аферы, торговля людьми, дешевое захоронение токсичных отходов, отмывание «грязных» и производство фальшивых денег, коммерческий терроризм и т. п.

Симптоматично, что некоторые из видов деятельности, в сущности, той же природы: игорный бизнес, распространение порнографии и некоторые другие виды индустрии порока расположены в легальной сфере, а их коммерческий результат включается в подсчет ВВП соответствующей страны. Эффект от агрессивной экспансии подобного извращенного паразитического базиса начинает все сильнее сказываться на социуме, подрывая его конструктивный характер, вызывая многочисленные моральные и материальные деформации, ведя к внутреннему перерождению общества. Мы видим, как под воздействием разнообразных деструктивных процессов и тенденций на «обочине цивилизации» зреет новая, весьма непривычная форма организации общества.

Попробуем теперь обобщить все эти построения и понять если не внутренний смысл, то хотя бы драматичную логику происходящего.

Деградация модели расширенного воспроизводства Нового времени прошла несколько нисходящих ступеней. Вначале был велик соблазн сверхдоходов, получаемых за счет эксплуатации иных геоэкономических регионов и видов деятельности, искусно поставленных в подчиненное положение. Данный процесс, в свою очередь, стал источником дополнительных ресурсов, питательной средой для различного рода финансовых операторов и развития соответствующих технологий, приведших к утверждению достаточно неожиданной «постиндустриальной» надстройки над привычной хозяйственной деятельностью — финансово-правовой системы.

Метаморфоза денежной сферы в необъятный виртуальный континент, в свою очередь, способствовала развитию в ее недрах целого семейства изощренных финансовых практик. По форме — более-менее легальных операций и инициатив, однако по сути все отчетливее расходящихся с нуждами реальной экономики, разрушающих ее смысловое поле, паразитирующих на результатах конструктивной деятельности человека.

Дошло затем и до откровенных спекулятивных атак и подрывных акций, имеющих целью получение дополнительной прибыли без производства реальной стоимости. (Как не создают ее, к примеру, кражи или, скажем, азартные игры, хотя и они способны приносить доход и перераспределять материальные ценности. А ведь здесь речь идет об «играх», основанных не на слепой случайности, а методично организуемых и управляемых, то есть в определенном смысле — «шулерских».)

Дальнейшим этапом становится смещение подобных практик в серую, трудно контролируемую зону еще более сомнительных операций, нередко используя при этом разночтения в законодательствах различных территорий или общее несовершенство правовой базы, с трудом поспевающей за стремительным разрастанием разношерстного семейства финансовых инструментов. Тут уже происходит фактическое смыкание полулегальных спекулятивных комбинаций с прямо криминальными действиями, слипание «горячих» денег и денег «грязных»...

Проявляется также (в качестве самостоятельного вида квазиэкономической активности) и такой род хозяйственного вампиризма, как прямая деконструкция цивилизации, инволюционное расхищение ее плодов, наиболее подходящее название для которого, пожалуй, — «трофейная экономика». Следующим логическим шагом в этой цепочке становится общий хаос, возникающий в результате завершения исторической мутации феномена экономики.

Некогда Новое время, освобождаясь от заскорузлой психологии «собиранья богатств», формировало энергичную экономику, преобразовавшую, перестраивавшую мир, превращая золото, сокровища в деятельный капитал. И вот теперь капитал постепенно умаляет свою производственную составляющую, вновь трансформируясь в квазизолото финансово-информационных потоков. При этом становится все труднее избавиться от впечатления, что утро XXI века заслоняет тень *Второй великой депрессии*, но на этот раз глобальной и, что еще более важно, выходящей за рамки собственно экономических неурядиц.

5

Броская примета надвигающегося кризиса — сложная социальная ситуация на планете, которая к тому же грозит выйти из-под контроля.

Механизмы разрушения традиционного общества перманентно производят люмпенизированные слои населения, в своей массе отчужденные от производительного труда, заполняющие псевдогородские конгломераты, плодя трущобы и бидонвилли, постепенно утверждая в мире какой-то незнакомый, но странно устойчивый и по-своему универсальный тип культуры.

О вероятности масштабной неоархаизации мира свидетельствуют, в частности, материалы Социального и Продовольственного саммитов, состоявшихся в 1995 году в Копенгагене и в 1996 году в Риме.

...Итог двадцатого столетия, почувствовавшего вкус земного изобилия, познавшего искус «позолоченного века», века научно-технического прорыва и интенсивнейшего развития производительных сил общества (хотя и заметно деформированных молохом военного производства и высокоиндустриальных войн), — итог этот в общем и целом все же неутешителен: на пороге третьего тысячелетия существования современной цивилизации социальное расслоение на планете Земля не уменьшается, а растет.

Соотношение уровней доходов богатых и бедных, «золотого» и нищего миллиардов планеты заметно увеличилось от 13 : 1 в 1960 году до 60 : 1 в текущем, завершающем век десятилетия. А ведь по сравнению с серединой столетия совокупный объем потребления, по оценкам ООН, вырос приблизительно в 6 раз. Однако 86 процентов его приходится сейчас на пятую часть населения, на остальные же четыре пятых — оставшиеся 14 процентов. Но даже в этих цифрах отражена не вся истина.

Доля мирового дохода, находящаяся в распоряжении беднейшей части человечества — а в настоящее время примерно 1,3 млрд. людей живут в условиях абсолютной нищеты, — еще на порядок ниже, составляя около 1,5 процента. Это означает, что уровни дохода двух полярных, но примерно равных по численности групп населения действительно резко разнятся. Таким образом, на планете помимо североатлантической витрины цивилизации (хотя местами и параллельно, на одних и тех же с ней территориях) сопresentствует некий ее темный двойник — «четвертый», зазеркальный мир, населенный *голодным миллиардом*.

Каковы же условия существования на этой «изнанке» цивилизации? Около миллиарда людей в мире оторваны от производительного труда: 150 млн. — безработные, более 700 млн. — частично занятые, неопределенное, но значительное число вовлечено в криминальную деятельность. Миллиард — неграмотны. Примерно 2 млрд. прозябают в антисанитарных условиях. Почти каждый третий житель Земли все еще не пользуется электричеством, 1,5 млрд. не имеют доступа к безопасным источникам питьевой воды, 840 млн., в том числе 200 млн. детей, голодают или страдают от недоедания. В бедных странах ежегодно умирают 14 млн. детей от излечимых болезней и 500 тыс. женщин от родов. Половина всех случаев детской смертности в странах Юга вызвана недостаточным питанием.

Особенно тяжелое положение сложилось в некоторых районах Южной Азии и Африканского континента. От хронического недоедания страдают 43 процента населения Африки к югу от Сахары. Средняя продолжительность жизни африканца немногим более пятидесяти лет. Количество политических эмигрантов и жертв межэтнических конфликтов стремительно возросло с 8 млн. в конце 70-х годов до 23 млн. человек к середине 90-х. Еще 26 млн. человек являлись временными переселенцами. Число их в последующие годы увеличивалось интенсивными темпами и продолжает расти.

Растущую тревогу вызывает также положение, складывающееся на дестабилизированном постсоветском пространстве. Здесь, в этом новом ареале социальной катастрофы, общее количество беженцев и вынужденных переселенцев за последнее десятилетие превысило 6 млн. человек.

Социальные проблемы, в том числе и угроза анонимизации, разложения общества, не являются, впрочем, исключительной принадлежностью слаборазвитых обществ и «стран с переходной экономикой». Во внешне благополучных странах происходят менее очевидные (и потому не столь драматичные), но не менее кардинальные изменения. Это мир, все дальше отходящий от своих культурных основ и исторического замысла, объединяемый суммой прагматичных интересов его членов, мало-помалу утрачивает смысловой вектор событий.

В лоне переживающей системный кризис цивилизации Нового времени возникают зачатки новой культурно-исторической общности (пока еще воспринимаемой все-таки скорее как социальный эксцесс или карикатурная антропологическая аберрация) — атомизированного конгломерата интернационального общества потребления. Связи между людьми, выходцами из различных культур, их актуальный статус все чаще определяются здесь степенью причастности к процессам глобального перераспределения денег, информации, развлечений. Иными словами, реальный постиндустриализм предстает по преимуществу как гипертрофированная сфера услуг, причем не столько в области науки, культуры или высокого образования, сколько — финансов, информатики, шоу-бизнеса. В этом зыбком, виртуализированном космосе как на дрожжах растет и влияние нового «элитного» класса — людей услуг.

Как же не похоже все это на умозрительные и наивные проекты постиндустриального творческого универсума, призванного преобразовать окружающий мир, избавляя человека от тягот и несовершенств внутренней и внешней природы. Общество, реально формирующееся на наших глазах, демонстрирует достаточно неожиданный ракурс «нового постиндустриализма», контрастно отличный от первоначального прекраснородушного замысла и идеалистического прогноза.

Распад привычного культурно-исторического ландшафта, торжество эклектичной «глобальной иллюзии» сопровождаются прогрессирующим уплощением, стерилизацией и одновременно невротизацией личности, выводимой за пределы культурного контекста Большого Модерна и прямых человеческих связей. Ведь становление индивида, критически важные условия его внутреннего роста предполагают *произнесение слов* и *совершение действий*, имеющих персонифицированный характер, порождающих отклик, результат в рамках некоей осязаемой общности. Массовость же и анонимность уходящих в бесконечность социальных схем и информационных конструкций многоликого «планетарного субъекта» есть некоторым образом мера коррозии общества. Эти же факторы продуцируют регрессивное *mobile* современного блуждания народов, генезис нового варварства, растекающегося по унифицированным коридорам глобального мира.

В нарастающей угрозе всеобщей карнавализации и обезличенности кроется, по всей вероятности, исток спорадичных (но упорно повторяющихся) разнородных, нередко абсурдных с точки зрения здравого смысла попыток утверждать методами эксцентрики и насилия свое право быть услышанным. При этом техногенная коммуникация активно вытесняет и подменяет прямое человеческое общение.

Безбрежный, атомизированный универсум чреват как массовым конформизмом, так и повсеместным, «аморфным» тоталитаризмом (что, если вдуматься, одно и то же), ибо последний есть отсутствие выраженной индивидуальной позиции по отношению к обезображенной целостности — позиции, существующей в качестве повседневной нормы, а не отдельного героического акта.

Отметим заодно, что «информационное событие» в современном мире — это, как правило, все же не само событие, но скорее его тиражированная интерпретация, *версия*, по отношению к которой императивно необходима самостоятельная оценка личностью. Гиперинформатизация физически истощает способность человека противостоять шквалу новостей, принуждая в конце концов к их некритичному восприятию (то же можно сказать и о навязчивых механизмах рекламы), что искажает саму основу взаимоотношения индивида со словом, провоцируя его девальвацию, унижение и соответственно исподволь предуготовляя кризис личности, нередко фатальный.

Отсюда проистекает также нарастающее равнодушие к профанированию слова и цинизму публичных политиков, что подрывает уже основы политического мироустройства. Под ярлыком информационной революции происходит сложный и неоднозначный процесс перераспределения и оптимизации ранее полученных человечеством сведений, косвенно свидетельствуя о метафизиче-

ской усталости эпохи. Повозка цивилизации, преодолев ухабистый, непростой, бурный и неровный «позолоченный век», закрипела, а колея ее, кажется, пошла под уклон.

Очевидная растерянность мирового сообщества перед происходящими переменами особенно ярко проявилась в фатальном отсутствии социального горизонта, перспективной стратегии, адекватной масштабу и характеру перемен. Популярная, но крайне невнятная концепция устойчивого развития вряд ли может считаться таковой, являясь все-таки паллиативным ответом на вызов времени, скорее констатирующим его серьезный характер, нежели предлагающим действенные средства выхода из засасывающей цивилизацию воронки.

Вся же совокупность, *сумма* обнаружившихся на пороге третьего тысячелетия явлений и тенденций оставляет странный привкус: впечатление, будто мир современности находится на пороге какого-то невероятного, отчасти карикатурного, отчасти карнавального, но в целом достаточно последовательного возрождения, казалось бы, навсегда ушедших в прошлое теней и смыслов — возрождения (или все-таки следует сказать — вырождения?), которое в отличие от исторического Ренессанса, некогда оживившего реалии и идеалы Античности, быть может, способно при определенных драматичных обстоятельствах пробудить спящую беспокойным сном душу глубокой архаики Древнего Мира.

Человечество, демонстрируя более чем парадоксальную безграничность своей свободы, словно бы готовится совершить в третьем миллениуме трагическое *salto mortale*. Оказавшись перед исторической альтернативой с заглавной буквы, оно при помощи миллиардов цепких рук и усталых сердец может решиться содеять нечто головокружительное: обратить время вспять, замкнув, таким образом, собственные дальние горизонты в переливчатое кольцо вечно-го возвращения. В попытке освободиться от тягот исполненного ответственности и требующего нравственных усилий подвига бытия возвести на пьедестал близкую повседневность, утвердив на планете универсальную и деятельную иллюзию жизни.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ

*

«А Я ГОВОРЮ ВСЛУХ: КОНЦА СВЕТА НЕ БУДЕТ...»

Из дневниковых записей 1981—1982 годов

5.1.81.

<...>

Вот и отпраздновали Новый год. Уложив Ольгу спать, заходили в новогоднюю ночь Бочковы¹. Остальные праздничные дни прошли без гостей, тихо и спокойно для души. 31-го пришла телеграмма из «Советского писателя», поздравили с выходом книги². Может, и правда вышла, думаю я теперь, — настолько устал ждать. Чем дольше не выходит, тем страшнее перечитывать, да и не стану. Ту не перечитывал и эту не буду: не смогу. Собственного — теперешнего — суда своего боюсь.

Пришли новогодние поздравления от Ф. Абрамова, С. Залыгина, А. Адамовича. Тома прочитала письмо Адамовича³ и расстроилась: показалось ей, что я скрыл от нее какие-то упущенные мною возможности перебраться в Москву. А я, разумеется, ничего не скрыл; все эти «возможности» более всего — разговорные. Да и что такое — нынешняя литературная Москва? «Что имеем, не храним...» — не нами сказано.

Сегодня звонил Ф. Абрамов, советовался: включать ли в третий том статью 54-го года о Бабаевском и прочих⁴. Ему говорят, что статья и сегодня заденет Бабаевского, Е. Мальцева, затронет столь чтимую память критика А. Макарова и т. д. Я посоветовал печатать. Единственный серьезный аргумент против: это стилистическая неровность статьи, в ней — сильная и неизбежная дань тогдашней политической фразеологии. Но умный читатель поймет и простит.

В январской «Иностранной литературе» Селезнев и Кожин плохо выглядят в споре с Лакшиным и Карякиным о Достоевском⁵. Их узкие и мелкие

Продолжаем публикацию фрагментов из дневников литературного критика, публициста и культуролога Игоря Александровича Дедкова (1934 — 1994) (см.: Дедков Игорь. «Как трудно даются иные дни!..». Из дневниковых записей 1953 — 1974 годов. — «Новый мир», 1996, № 4 — 5; Дедков Игорь. «Обессоленное время». Из дневниковых записей 1976 — 1980 годов. — «Новый мир», 1998, № 5 — 6.

Публикация и примечания *Т. Ф. ДЕДКОВОЙ*.

¹ Бочковы — костромские друзья Дедкова и его семьи.

² Дедков И. А. Василь Быков. Очерк творчества. М., «Советский писатель», 1980.

³ В письме писателя А. Адамовича шла речь об очередной (неосуществившейся) попытке друзей Дедкова перетянуть его в Москву на постоянную литературную работу.

⁴ Имеется в виду статья писателя Ф. Абрамова (1920 — 1983) «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» («Новый мир», 1954, № 4), в которой критиковался роман С. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» и ряд других произведений за идеализированное изображение жизни послевоенного колхозного села. На статью Ф. Абрамова резко отреагировала официальная советская критика.

⁵ Дедков упоминает полемические статьи литературных критиков и публицистов Ю. Селезнева, В. Кожина, В. Лакшина и Ю. Карякина о творчестве Достоевского, появившиеся в ту пору в периодической печати к столетию со дня его смерти.

цели, их пренебрежение к иной мысли, к иной культуре, их настаивание на глобальном и первостепенном — несравненном! — значении Достоевского способно только оттолкнуть.

Кстати, толкуя о Достоевском и «народности», они обходят простой и очевидный факт: народному мирозерцанию художественный мир Достоевского — чужой. Толстой с народным мирозерцанием считался больше и понимал его лучше; и в конечном счете смог его выразить, проникся им.

8.2.81.

Вчера вернулся из Москвы. Ездил на пленум правления «Советского писателя». Книжка моя о Быкове появилась в Костроме в середине января: 54 экземпляра на всю область. Я так и не понял, почему одна из работниц базы книготорга (точнее, одна из товароведов) решила сообщить о том, что книга поступила. Но она позвонила, я явился и забрал 44 книжки. Одну подарил этой женщине <...>. Потом я жалел, что забрал столько книг; подумалось, что позднее я бы все равно сколько-то купил бы в Москве, а тут вышло так, что в Костроме книжка в продажу не поступила практически совсем. Да что было поделывать — не возвращать же.

Большую часть книжек уже отослал, раздарил. Уже пришли письма от Быкова⁶, Лазарева⁷, Петра Алексеевича Николаева⁸. Пока не ругают. Давно ничего нет от Богомолова⁹.

31 января выступал на межвузовской конференции, посвященной Некрасову. Впрочем, тема конференции была обозначена широко: что-то вроде — Некрасов и литература Верхней Волги; много было краеведческих докладов. Я же обозначил свою тему так: «Провинциальная русская жизнь как источник литературного творчества». Текст, смонтированный из статей ярославской книжки¹⁰, а кое в чем и новый, я читал, и, кажется, произвело впечатление это мое сочинение, моя взволнованность и прочее.

Почти весь январь ушел на чтение и рецензирование рукописей: некоего Коноплина (по просьбе Ивана Смирнова, ярославского отв. секретаря), потом Г. Баженова (о благосклонности к нему просил Залыгин, но я написал не очень-то лестно), потом С. Трегуба и, наконец, некоего неизвестного, чьи рассказы были переданы мне через Тому ректором технологического института Сусловым (оказалось, что сочинил их сын академика Ильюшина, изобретателя каких-то прекрасных бронебойных снарядов). Так что мало доволен я этим месяцем, столь удачным в прошлом году.

В Москве виделся с Оскоцким, Е. Сидоровым (были на пленуме), а также с Аннинским¹¹, да и еще с многими, правда, на ходу. Побывал только в «Дружбе народов» и совсем мельком в «Нашем современнике» (брал январский номер журнала для мамы). <...>

⁶ Быков В. В. — белорусский писатель, автор романов и повестей «Мертвым не больно», «Атака с ходу», «Круглянский мост», «Сотников», «Карьер» и др. Ныне живет в Финляндии.

⁷ Лазарев Л. И. — литературный критик, ныне главный редактор журнала «Вопросы литературы».

⁸ Николаев П. А. — академик РАН, литературовед, историк литературы. В 50-е годы читал лекции по русской литературе на факультете журналистики МГУ, был научным руководителем дипломной работы Дедкова.

⁹ Богомолов В. О. — писатель, автор повестей «Иван», «Зося», романа «В августе сорок четвертого...» («Момент истины»). Далее в тексте упоминается как В. О. — Владимир Осипович.

¹⁰ Дедков И. А. Во все концы дорога далека. Литературно-критические очерки и статьи. Ярославль, 1981.

¹¹ Оскоцкий В. Д., Сидоров Е. Ю., Аннинский Л. А. — литературные критики.

10.2.81.

Отправил заявку в изд-во «Советский писатель», а также повторил просьбу о переиздании «Возвращения к себе»¹² — на этот раз уже не Байгушеву, а Леониду Фролову¹³ (он теперь там, а на его месте в журнале — Ю. Селезнев¹⁴).

И. М. Сапов, фоторепортер «Северной правды», откровенничал с Бочарниковым¹⁵. Рассказывал, подвыпив, как сопровождал в поездках по области Ю. Н. Баландина¹⁶. Моментом наивысшего торжества Игоря Михайловича, ко-ему сейчас далеко за пятьдесят, было: Ю. Н. отсылает прекрасных девушек и командует: «Пусть подает Игорь!» И наш седовласый Игорь подает: и коньячок, и икру, — Василий Алексеевич захлебнулся, перечисляя... Девушки, прекрасные, разумеется, отстраняются ненадолго... Зная характер Сапова, не сомневаюсь: не врёт и не преувеличивает. Проговаривается, но меру, черту знает...

Сапов уже давно обкомовский — придворный — фотограф. Он запечатлевает пребывание московских сановных лиц на костромской земле и в кратчайшие сроки, недосыпая, недоедая, изготавливает к их отъезду альбомы фотографий, где упомянутые лица изображены в своей кипучей разговорной деятельности.

Сапов — человек проверенный. Он не раз намекал мне в прежние годы, что неоднократно выполнял деликатные поручения госбезопасности: фотографировал «пуговицей».

О Милевском, председателе костромского облпрофсовета, Бочарников, видимо со слов Сапова, сказал, что этот «лидер» профсоюзов занят главным образом обслуживанием Баландина и его окружения.

Об исключительном месте Б<аландина> в костромской иерархии говорит хотя бы такой факт: зам. председателя костромского горисполкома рассказывал Тамаре, как тяжело пришлось ему в пору отсутствия своего начальника; однажды, едва ли не в самые последние дни старого года, случилась большая поломка на хлебозаводе, еще что-то, но главное — сломался лифт в доме, где живет Баландин. Всё в конце концов починили, но второго января злополучного заместителя госпитализировали в предынфарктном состоянии.

Недавно в зале горкома партии проходила встреча интеллигенции творческой с руководителями города. Заранее были собраны вопросы, но можно было спрашивать и с места. Тома там была и рассказывала, как нервничали начальники и как некоторые из них не выдержали и пришли к концу в большое раздражение.

Тома подала там вопрос о молоке. До каких пор, спросила она, в нашем городе будет продаваться молоко <только> пониженной жирности (1,4%)? Ответ был таков: молоко будет таким и впредь. В стране сделано исключение (жирность: 3,6%) для Москвы, Ленинграда, Киева и еще нескольких городов.

Разумеется, никто этому не удивился. Нас уже приучили к существованию привилегированных городов, пространств, слоев и групп населения. Почему московские дети должны жить в лучших условиях, чем большинство их сверстников? Этот вопрос не возникает.

Раньше — думаю, даже еще в послевоенные годы — продукты питания, производимые в России, были дешевле в провинции, чем в столицах. Если нужно было купить что-то подешевле, стоило ехать куда-нибудь вон из большого города и сходить на маленькой станции.

Теперь все перевернулось: со всех маленьких станций, со всей России едут в большие города, но, не найдя и там колбасы, мяса, творога, а то и масла, устремляются в Москву.

¹² Переиздания книги Дедкова «Возвращение к себе» не было.

¹³ Фролов Л. А. — писатель, директор издательства «Современник».

¹⁴ Селезнев Ю. И. (1939 — 1984) — литературный критик, литературовед, автор книг «В мире Достоевского», М., 1980, «Достоевский» (серия ЖЗЛ), М., 1981. В 1981 году стал первым заместителем главного редактора журнала «Наш современник».

¹⁵ Бочарников В. А. — костромской писатель.

¹⁶ Баландин Ю. Н. — первый секретарь Костромского обкома КПСС в те годы.

Какая-то Ирина знакомая сказала ей, что читала в парижской «Русской мысли» обзор современной советской литературы и там увидела мое имя в числе сочувственно упомянутых имен. Что-то не поверилось мне в это сообщение; не придумано ли, не померещилось ли? <...>

Ф. Абрамов прислал январские номера «Севера» и «Невы» со своими новыми рассказами. <...>

Читал вчера выдержки из «Тюремных тетрадей» Грамши¹⁷. Это тот марксистский взгляд, которого наши идеологи стараются не знать; они придумали себе нечто удобное, грубое, сильнодействующее и назвали это марксизмом. Марксизм сегодня — это то, что говорит сегодняшнее начальство. <...>

Вспомнил не записанное прежде: на межвузовской конференции сидел рядом с Куприяновским из Иванова. Он специалист по Д. Фурманову. В своем выступлении сказал, в частности, что в первые послереволюционные годы Иваново по издательской деятельности занимало третье место в стране (после Москвы и Харькова), что А. К. Воронский¹⁸, редактируя «Рабочий край», напечатал там (года за два) свыше трехсот статей и рецензий. Я спросил Куприяновского, остался ли кто из семьи Воронского? Оказывается, жива дочь, которая отбыла в ссылку 17 лет (ей было 23 года, когда она была арестована). Арестована была и ее мать, которая так и не дожидая освобождения.

Прочитал работу Л. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли». Послал в Люберцы, в издательский комбинат ВИНТИ, просьбу о присылке наложенным платежом всех четырех частей этого не изданного пока гумилевского сочинения¹⁹.

Да, еще из не записанного прежде: в январе приезжала Л. Г. Баранова, сотрудница «Литературной учебы», я переписывался с нею в связи со статьей о Проханове²⁰ и подготовкой статьи о Личутине²¹. Она весьма интересовалась моими взглядами на «лит. процесс». Когда же, кажется, все было выяснено сполна, она впрямую спросила, а как я смотрю на «национальный вопрос». Я ответил и на это. Когда же Баранова с Негорюхиным заехали к нам домой и Негорюхин вскоре ушел по своим делам, Лариса Георгиевна достала из сумочки и предложила мне почитать письмо С. Куняева²² (открытое) в Цека партии о «сионизме», его происках в литературе (примеры из С. Липкина, Б. Ахмадулиной, О. Сулейменова, А. Вознесенского и т. п.). Потом оказалось, что Баранова хорошо знает Стасика Куняева, и у меня появились основания думать, что она явилась в некотором роде как эмиссар этой «национальной» группы.

¹⁷ Грамши Антонио (1891 — 1937) — основатель и руководитель Итальянской компартии. В 1926 году был арестован и приговорен (в 1928 году) фашистским судом к двадцати годам тюрьмы. Освобожденный из заключения в 1937 году, через несколько дней скончался. В заключении Грамши занимался разработкой проблем философии, политики, истории. Его заметки, статьи, наброски, сделанные в фашистском застенке, после смерти Грамши были изданы в Италии в нескольких томах под общим заглавием «Тюремные тетради». Перевод «Тюремных тетрадей» издавался и на русском языке.

¹⁸ Воронский А. К. (1884 — 1937) — литературный критик, мемуарист, прозаик, свою литературно-критическую деятельность начинал в Иваново-Вознесенске. Основатель и ответственный редактор толстого литературного журнала «Красная новь» (1921), которым он руководил до 1927 года. Позже Воронский был обвинен в троцкизме, репрессирован и расстрелян. Дедков работал несколько лет над книгой о Воронском, которую не успел завершить.

¹⁹ Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1979. Это роталитное издание ЛГУ было депонировано Всесоюзным институтом научной и технической информации, и его можно было заказать на производственно-издательском комбинате ВИНТИ в Люберцах. Книга была издана «нормальным» типографским способом только в 1989 году и позже неоднократно переиздавалась.

²⁰ Дедков И. Тотальные аргументы Александра Проханова, или Жизнь по-новому. — «Литературная учеба», 1980, № 3.

²¹ Дедков И. Долгая память Зимнего берега. О творчестве В. Личутина. — «Дружба народов», 1981, № 3.

²² Куняев С. Ю. — поэт, публицист, литературный критик, ныне главный редактор журнала «Наш современник».

14.2.81.

Сегодня поступил февральский номер «Нашего современника», где в замах у Викулова — Ю. Селезнев и В. Устинов. Номер подчеркнуто правоверный, предсъездовский, но и правоверность могла бы выглядеть поблагороднее. Тут же — заискивание.

Прошли т<ак> н<азываемые> Дни советской литературы на ЗИЛе, о которых широко оповестила пресса. Фотографии писателей в цехах сами по себе чрезвычайно выразительны; от них веет какой-то придуманной жизнью и противоестественностью. Но вот выписка из репортажа о Днях в «Лит. России»: «С особого разрешения радушных хозяев можно было даже принять некоторое участие в процессе сборки. Этим, в частности, воспользовался Ф. Кузнецов²³. Получив инструктаж, он поднялся на движущуюся по конвейеру машину, и на некоторое время его руки с инструментом погрузились в чрево будущего автомобиля... Конечно, такой момент трудового содружества был зафиксирован вездесущими фотокорреспондентами и операторами, которые умчались затем снимать оживленную беседу А. Кешокова с передовой сборщицей Валентиной Заболотной. А вскоре осветили софитами В. Бокова и Л. Васильеву, крепивших рессоры другого автомобиля» («Л<итературная> Р<оссия>», 1981, 13 февраля).

Вপুরе читать с эстрады.

20.2.81.

На улицах вывешены красные флаги — к съезду²⁴. В редакции сегодня объявлено, что на дни съезда будет «удвоена охрана», т. е. будут дежурить два вахтера. В магазинах ближе к вечеру бывает масло — дают по двести граммов. Продают ливерную (шестьдесят копеек) и кровяную колбасу; берут, но без очередей. Зато большие очереди за маслом. На бюро Костромского райкома партии призывали к бдительности: где-то сожгли грузовик, где-то отравили несколько коров... Шпанченко со слов своей приятельницы, члена бюро, рассказывал об этом как актах «вредительства».

Появились сведения о том, что на Козловых горах (там — обкомовские дачи) построен гостиничный комплекс стоимостью в полтора миллиона, прекрасно оборудованный, для приема столичных гостей. Поговаривают и о том, что обком начал строительство новых современных дач на Волге ниже Красного. Но все эти сведения нуждаются в уточнении.

«ЛГ» поместила две отталкивающие, грубые корреспонденции И. Андроннова о Польше. <...>

Написал письмо в изд-во «Сов. писатель» М. М. Числову о рукописях В. Леоновича²⁵ и Л. Григорьяна²⁶.

В декабре к областной партийной конференции был пущен новый блок мощностью в один миллион двести тысяч киловатт (вторая очередь ГЭС²⁷). Очень торопились. Обком нажимал. Получили приветствие Брежнева. Показали по телевидению. И вот в канун съезда беда: образовалась в результате возникшей вибрации трещина в вале ротора (кажется, так), блок вышел из строя по крайней мере на год. Ерохин рассказывал, что на городской конференции Баландин перебил выступавшего начальника строительства ГЭС: «Так вы твердо скажите — будет пущен блок к областной партконференции или нет?» И вот пустили.

²³ Кузнецов Ф. Ф. — литературный критик, литературовед, доктор филологических наук, ныне директор ИМЛИ.

²⁴ XXVI съезд КПСС.

²⁵ Леонович В. Н. — поэт, автор книг «Во имя», «Нижняя Дебря», «Хозяин и гость» и др., переводчик грузинской поэзии. Родился в Костроме, в 70 — 80-е годы работал в Костромской области.

²⁶ Григорьян Л. Г. — поэт, живет в Ростове-на-Дону.

²⁷ Костромская ГРЭС.

Адамович прислал минское, более полное издание «Карателей»²⁸. <...>

В февральской книжке «Нового мира» такие стихи Виктора Бокова: «По Спасской башне сверьте время. По съезду партии — себя. У нас у всех одна арена, у нас у всех одна судьба... Мы у марتنенов, где гуденье, в цехах и шахтах — тоже мы. Мы коммунисты. Мы идейны, принципиальны и прямы...»

Зима теплая, снежная; наутро после снегопада — бело, чисто, лишь к полудню на дорогах и тропках образуется желтизна, постепенно все более и более темнеющая.

В такие чистые, здоровые дни жить легче.

Прочел у П. Флоренского о «гуманитарном альтруизме», в основе которого «лежат либо карьера, тщеславие и гордость, либо слабонервность и истерическая внушаемость при виде страданий» («Страх Божий», 1918). Флоренский отделяет такой альтруизм от истинной любви, религиозной. Уязвимое в альтруизме схвачено очень точно. Есть над чем задуматься.

25.2.81.

<...> Сегодня приходил ко мне Алексей Ильющин, автор двух рассказов и пьесы, которые я прочел в январе по просьбе ректора технологического института Н. Н. Сулова. Читал я его как автора московского, но анонимного, как сына приятеля Сулова, значительного лица. Из этого чтения и моего письменного отзыва произошло следующее: Н. Н. Сулов счел себя обязанным и пригласил нас с Тамарой на воскресную прогулку в Караваево, где у них дача, а потом — на обед. <...>

Алексею — лет двадцать восемь. Он окончил юридический факультет МГУ, три с половиной года проработал в адвокатуре. С апреля прошлого года, как я понял, не работает и пытается пробиться как литератор. Хотя, упоминая родителей, морщится, они, надо полагать, ему помогают, иначе — как бы он существовал на зарплату жены. У Алексея есть машина — купил как-то подержанную «Волгу». Он спросил меня, что лучше все-таки для него — устроиться на работу или продолжать теперешнюю жизнь. Я ответил, что лучше бы ему работать, потому что теперешнего знания жизни — даже в случае литературного успеха — ему хватит ненадолго. Но еще важнее другое, сказал я, жизнь в напряжении: лучше писать, урывая время у сна, у отдыха, так будет больше получаться. <...> Воззрения Алексея на жизнь я как следует не понял, не почувствовал. Литературные симпатии — в какой-то мере — да, но воззрения на жизнь — нет... Был и тревожный оттенок в одном его рассуждении насчет преуспевающих драматургов на телевидении. Я сказал, что стоит ли им завидовать, если вы твердо знаете, что все это плохо и что это не ваш путь. Зачем вам играть в общую игру? — сказал я. Он вполне искренне ответил: обидно как-то, ведь это они получают деньги...

Поездка в Караваево, а затем пеший ход через караваевский лес на гридинскую дорогу — всего около девяти километров — кое-что дали мне. Не знаю, как Тома (она шла вместе с Зинаидой Васильевной Суловой, то впереди нас, то отставая), но я разговаривал мало, а был слушателем. Еще в автобусе, когда только познакомились, Николай Николаевич (64 лет) начал рассказывать свою жизнь, со второй половины тридцатых годов, когда он после окончания, видимо, строительного или геодезического техникума работал в системе НКВД на Дальнем Востоке как техник. В ту пору он жил и работал на Сахалине и в Хабаровском крае и повсюду имел дело с зеками, как политическими, так и уголовными. Т. е. у него были бригады рабочих из зеков, с которыми, как теперь рассказывает, он умел ладить. Среди заключенных в ту пору,

²⁸ Адамович А. М. (1927 — 1994) — писатель, публицист, общественный деятель. Автор дилогии «Партизаны», «Хатынской повести», книг «Я — из огненной деревни» (совместно с Я. Брылем и В. Колесниковым), «Блокадная книга» (в соавторстве с Д. Граниным), «Каратели» и др.

сказал он, можно было найти всех: от шорника до академика. 37-й год он назвал «варфоломеевским» годом. Ни тени возмущения, явной горечи, ни открытого неприятия тогдашних порядков. Он вряд ли одобряет их, но во всех его соображениях и тоне есть смирение: это случилось, и расклад сил этих как бы предопределен, каждому — свое, и погибшие, сгинувшие, изведенные в те времена словно в чем-то да виноваты. Неспроста же это все затеяно?

10.3.81.

Прошел съезд. Без перемен. Руководители компартий Италии, Испании, Франции не приезжали.

Накануне съезда лучшие ателье города шили платья и пальто для костромских делегатов съезда.

Сегодня киоскеры города получили указание сдать все имеющиеся польские издания. До сих пор «Трибуна люду» поступала один раз в неделю — дней за пять сразу, но с пропусками. Теперь, вероятно, и этого не будет. <...>

Пишу статью о «московской» прозе²⁹. До чего же надоело мне ее читать. Ничего как человек я из этого чтения не вынес. Это самое большое мое разочарование в нашей литературе, испытанное за последние годы.

20.3.81.

<...> Вернулся из Москвы с совещания начальник обллита (цензуры). Собирал подчиненных, рассказывал. По пересказам подчиненных, глава цензуры призывал бдительно относиться к сочинениям Абрамова, Белова, Можая, Распутина, потому что они считают коллективизацию ошибкой и вредным делом. Об Адамовиче якобы было сказано, что он «оправдывает» карателей. Цензура оживленно разговаривает.

Читал витиеватого, многозначительного А. Кима (пустое занятие), поглядывал на экран (шла программа «Время») и вдруг подумал, что эти дикторы с их глазами и голосами, с всученными им текстами относятся к нам как к кроликам. В этом они почти не виноваты — разве что только в том, что предоставили свои голоса, свои тела, — так как им передалось существо текстов, их интонации, их логика, содержащийся в них, в каждой строчке, расчет. Расчет именно на «кроликов», на нашу глупость, податливость, беспамятность, нашу послушность.

В Польше опять тревожно. Задумываясь о будущем, испытываешь яснее всего чувство беспомощности. Сделают все, что захотят.

Аркадий Пржиалковский купил в магазине грампластинок запись рассказа Василия Аксенова в исполнении автора. (Аксенов месяца два назад лишен советского гражданства.)

22.3.81.

<...> Мое детство я не могу назвать счастливым. Это слово не приходит в голову. Все выжили, все уцелели, не потерялись в той круговерти, с голода не помирали. И все-таки от военного детства и первых послевоенных лет самые ясные и памятные ощущения — ощущения боли и горечи. А радость — оттого, что вот на Пишпеке было что есть: помидоры, огурцы, кукуруза, соленые маленькие арбузы...

Родители не знали и не знают про эту боль. Боль не пересказывается. Пересказанная, она становится неправдой, каким-то преувеличением, жалобой. <...>

²⁹ Дедков И. Когда рассеялся лирический туман... О «московской прозе». — «Литературное обозрение», 1981, № 5.

Было бы так просто: протянул руку, выдернул вилку из розетки — и отключился. Как любой электроприбор: утюг или телевизор.

А Бог захочет и включит тебя опять.

А может не захотеть. Просто устал и навсегда — отключился. <...>

Такие записи только и делать что в одиночестве. Они и означают одиночество и еще боль — за близких, за себя — тоже.

31.3.81.

В минувшую среду <...> в полдень мы с Никитой пошли гулять. День был теплый, солнечный, таяло, текло, капало, брызгало, сверкало. Мы решили спуститься к Волге и около кинотеатра «Орленок» свернули на улицу Чайковского. На противоположной стороне улицы у магазина стояла очередь; у меня еще мелькнула обычная мысль: за чем? — но Никита о чем-то спросил, я повернулся к нему, и тут раздался этот шум обвала, крик, я оглянулся и увидел, что очередь сокрушена и разбросана по тротуару оползнем снега и льда с крыши этого трехэтажного дома.

Можно сказать, что все случилось у нас на глазах. Суматоха, толпа, бегущие к телефонам-автоматам люди... Я оставил Никиту стоять на месте, сам пошел туда. Кто мог встать, тот встал. Трое женщин лежали неподвижно, двое сидели, их поддерживали. Валялись глыбы льда. Потом одна за другой стали подъезжать машины «скорой помощи». На сегодняшний день итог таков: две женщины умерли (одна была из Галича, приехала в командировку), еще трое — в тяжелом состоянии. На следующий день состоялся городской актив, по всему городу принялись чистить крыши, опутали тротуары красными флажками...

А очередь была за майонезом. Еще женщины лежали и сидели на земле, еще ужас был на лицах сгрудившейся вокруг толпы, а очередь за майонезом уже снова стояла, на всякий случай прижимаясь к стене дома, и зрелище случившегося несчастья ее не распугивало. Эти женщины в очереди уже успели привыкнуть к тем неподвижно лежащим в странных и даже безобразных позах, в мертвом безразличии ко всем земным приличиям... Не расхотелись, стояли... Как они ели потом этот майонез? <...>

15.4.81.

В городе продают индийский лук. Давно уже нет сыра.

Польша еще свободна, собираются перевозить из Англии прах генерала Владислава Сикорского³⁰, пытается быть мудрым и сдержан в страсти Лех Валенса; наши разнообразно продолжают вмешиваться в польские дела (это видно по «Правде» и «Литгазете»); трудно поверить, что обойдется без ввода наших войск; все идет к этому, других аргументов нашей постоянной непоколебимой правоты — нет.

Сегодня Тома была на заседании городского комитета народного контроля. Рассматривались злоупотребления в торговле. Т. е. скрытое распределение всех дефицитных и высокого качества товаров среди начальства, знакомых и т. п. Один из участников заседания сказал: вы дискредитируете нашу власть. Если у нас случится что-нибудь в польском роде, то из-за таких, как вы (обращаясь к торговому начальству). Председатель комитета твердо возразил: у нас такого никогда не случится. Не следует преувеличивать.

Западное радио дня три назад передало сообщение о том, что Максим Шостакович и его сын Дмитрий, находящиеся на гастролях в Германии, решили не возвращаться на родину.

³⁰ Сикорский Владислав (1881 — 1943) — польский генерал, премьер-министр польского эмигрантского правительства в 1939 — 1943 годах, подписал (30 июля 1941 года) договор с СССР о возобновлении дипломатических отношений. Погиб в авиакатастрофе. В 1981 году в польской прессе поднимался вопрос о перенесении праха Сикорского из Англии на родину.

Вчера благополучно завершил двухдневный полет американский космический корабль-челнок «Колумбия». Он предназначен для многократного использования. Нам показали, как он садился, — как самолет. Наши об этом исключительной важности события говорят сквозь зубы — в-десятых. Если хотеть действительной разрядки и стремиться жить в мире, то дружеский жест признания этого успеха американской — и общечеловеческой — науки и техники сделать было необходимо. Но наше чванство, гордыня, страх перед успехом других — безмерны. Но стыдно было вчера за телекомментаторов, когда они в двух словах хладно говорили о полете и посадке «Колумбии». Так же сквозь зубы сообщалось в свое время о беспрецедентном полете американцев на Луну.

Спесь не величие, а великой стране пристало величие. <...>

30.4.81.

Сегодня отправил Оскоцкому в «Лит. обозрение» статью «Эти наши „прорывы“ в „высочайшие духовные сферы“» (2 п. л.). Что-то с нею будет. <...>

Поляки объявили, что первомайская демонстрация на этот раз пройдет без «почетной трибуны».

Наши сообщают об этом без комментариев. Они надеются, что этот факт сам по себе вызовет недоумение советского народа своей бессмыслицей: да можно ли без трибуны? Какие-то детские глупости! Уж мы-то до этого абсурда никогда не опустимся! <...>

20.5.81.

<...> Западные радиопередачи глушатся. Глушение возобновилось явно в связи с польскими событиями. В Польше собираются торжественно принять прах генерала В. Сикорского. Чрезвычайно знаменательное событие. В нашей печати об этом не было ни слова. В «Трибуне люду» читал об этом три материала.

Рецензий на книгу³¹ нет, но промелькнула доброжелательная заметка в «Огоньке» (без подписи). Вероятно, писал В. Енишерлов³², т<ак> к<ак> именно он прислал номер журнала.

В утренней литературной передаче по Всесоюзному радио читал стихи В. Леонович. Это хорошо, но надо бы узнать предысторию.

В. Оскоцкий пока ничего не пишет о моей статье. Не шокировала ли она его и редакционных? Было бы жалко; там кое-что есть ко времени и есть резкость, коей не хватает нынешней лит<ературной> критике.

Вообще много печального: обстановка в мире плохая, тревожная; но никто из нас, из десятков и сотен миллионов людей, не способен что-либо предпринять, чтобы не дать войне разразиться; нормальное ощущение жертв или топлива — для костра. Литературное чинопочитание и политиканство продолжают разрастаться; к художественным достижениям это, разумеется, не приводит.

Читаю Л. Гумилева, а в параллель О. Тьерри и книжку Е. Рашковского о Тойнби.

Кажётся, решено, что я буду писать книжку о С. Залыгине. Эти исторические чтения мне пригодятся. <...>

Первого мая заходили Виктор с Ларисой. Виктор рассказал интересную историю из студенческих времен. Один из его приятелей (жили они в общежитии), кажется, Роберт Маланичев (это его аппликация «Князь Игорь» висит у нас в комнате), набросал портрет товарища-студента (ничем особенным не примечательного, не «знаменитого»), и то ли прибил его на палку, то ли холст

³¹ Речь идет о книге Дедкова «Василь Быков» (М., 1980).

³² Енишерлов В. П. — литературный критик, член редколлегии журнала «Огонек» в те годы. Ныне главный редактор журнала «Наше наследие».

уже был на палке. Какая-то забежавшая в комнату девушка в шутку утащила портрет во двор общежития, побегала с ним, а потом бросила в кучу портретов, подготовленных для первомайской колонны. И забыла о том, и умчалась. Наутро разбирали портреты, раздавали, кто-то не глядя взял и этот, и потащил, и был остановлен у самого входа на Красную площадь; там есть такие люди, которые лишь за лозунгами и портретами смотрят, такие «специалисты». Вот они и углядели, и последовало целое дознание, но время было после- сталинское, обошлось криком и предостережениями.

48-летнего Гектора Шевелева (ныне он референт обл<астного> общества «Знание») отправили на месячные воинские сборы в Горький. Это так они готовятся к войне. Смысл подобного — лишь в напоминании гражданам о том, что они всецело в руках государства. И государство в любой день, в любой час дня и ночи может протянуть к ним свои железные руки. Вызвали же Юру Лебедева, доктора филологических наук, заведующего кафедрой института, среди ночи, чтобы он разносил по городу повестки. Так и меня могут потащить куда захотят, и еще будешь благодарить, если только дело ограничится беготней с повестками.

Н. Н. Яновский³³ прислал пятый том «Литературного наследства Сибири» (Н. М. Ядринцев³⁴). Так вот, когда были арестованы члены «Общества независимости Сибири» (1865) — молодые люди Ядринцев, Потанин и другие, то следствие шло долго, около двух лет, и подследственные томились в Омской крепости и — придумали же! — испросили себе разрешение изучать сибирские архивы. И дозволили, и они изучали и, сидя в крепости, опубликовали свои изыскания...

Мыслимое, возможное, допустимое, естественное становится немислимым, невозможным, недопустимым, противоестественным. Это один из путей, которыми идет т<ак> н<азываемый> прогресс.

В принципе, людям все равно, как называется, самоназывается их время. Люди живут однажды, и волнует их существо, содержание жизни, это и есть мера всего. <...>

21.5.81.

Райкомовский шофер то ли в Павине, то ли в Боговарове (рассказчик ссылался на Плюснина, бывшего редактора райгазеты, ныне секретаря райкома партии) был уволен с работы после того, как посмел обогнать на пыльном проселке машину, где ехал Баландин. Шофер пытался защититься, ходил к прокурору, но бесполезно. (Нужно бы уточнить, но источник надежный.)

27.5.81.

<...> В воскресной «Международной панораме» промелькнул в японском сюжете Лех Валенса; шел по проходу в зале к сцене, улыбаясь, приветствуя собравшихся поднятыми сжатыми кулаками.

Наши газеты перестали писать о Польше. Последний номер «Трибуны люду», продававшийся в наших киосках, — от 15 мая.

Наконец-то пришло письмо от Лени Фролова. Кажется, никаких обид нет. Любопытно, что Ланшиков³⁵ уже упомянул Фролова в одной из своих статей (в «ЛГ») — весьма лестно. Прежде, до того, как Фролов занял крупный пост в издательстве, он, насколько мне известно, его книг не замечал. Припоминаю,

³³ Яновский Н. Н. — литературный критик, литературовед.

³⁴ Ядринцев Н. М. (1842 — 1894) — выдающийся общественный деятель, публицист, ученый, исследователь Сибири, автор книги «Русская община в тюрьме и ссылке» и др. Дедкова интересовало творчество сибирских писателей Г. Н. Потанина, А. Е. Новоселова, А. П. Шапова, все «сибирское областничество».

³⁵ Ланшиков А. П. — литературный критик, автор книг «Времен возвышенная связь» (М., 1969), «Славься, Отечество» (М., 1975), «Чувство пути» (М., 1983) и др.

как после назначения В. Кочеткова секретарем парткома В. Кожинев тотчас назвал в «ЛГ» его одним из лучших поэтов фронтового поколения. Таковы нравы.

3.6.81.

За эти дни закончил и отправил статью о прибалтах³⁶, написал рецензию для нашего СП о трех повестях бывшей матвеевской (Парфеньевский район) учительницы, ныне (насколько мне известно) пенсионерке А. А. Избековой. Живет она в Иркутске, оттуда и прислала свои сочинения. В Иркутске, по-моему, преподавала марксизм в высших учебных заведениях. Это обстоятельство наложило на ее «свидетельства очевидца» о коллективизации непоправимый отпечаток. <...>

Негорюхин куда-то тут ездил на экскурсию (в Углич, что ли). Экскурсоводом была женщина, которая сказала, что ее муж погиб в Афганистане. Негорюхин же видел в соседнем дворе — там, где он живет, — странные похороны. Медленно подъехала специальная военная машина-катафалк; прибыл военный караул (?), были отданы воинские почести; он слышал, как кричали женщины. Б. Негорюхин говорит, что тела доставляют в цинковых гробах, но с «окошечками», чтобы можно было признать: он ли?

7.6.81.

<...> В «Лит. газете» рецензия А. Туркова на моего Быкова³⁷. Грибовская контора³⁸ не спешит, там ко мне отношение сложное. Это пустяки; моя отстраненность их раздражает, и часто — не умом, а чувством — я отчетливо понимаю, какое благо для моей души, образа жизни, направления мысли — эта отстраненность. <...>

Читаю «Плотину» В. Семина³⁹; глубокий был у него ум; а сколько там боли — от ненормальности — болезни — мира, человеческого общества, противоестественности человеческого поведения, искаженного страхом и ненавистью.

14.7.81.

И отъехал, и приехал. И больше месяца жизни прошло. И возвратились на круги своя. Только Володя⁴⁰ где-то под Коломной — почтовое отделение «Индустрия» — цементирует со своей бригадой полы в коровниках. <...>

Из Москвы в Сочи вылетал в очень жаркий день; взмок уже в автобусе по пути во Внуково. В самолете рядом со мной сидел парень цыганского вида с девушкой; он снял туфли и носки, только что не вывесил сушиться; блаженствовал. Тома встречала в аэропорту, и мы помчались на такси: до «Красного штурма» (так называется санаторий, где был Никита)⁴⁰. Так начались мои две недели в Хосте. Здания санатория оказались по обе стороны дороги, соединяющей Хосту и Сочи («Красный штурм» — почти посредине). Из спального корпуса в столовую ребята ходят по подземному переходу. Здание, где ребята спят, расположено на выступе горы, как бы на мысу, — лицом к морю. Здание это — бывшая вилла, как рассказывал Никита со слов воспитательницы, принадлежавшая некоему графу, начальнику московской полиции, и построена в году четвертом-пятом. Дом очень понравился Никите, да и мне: три этажа и еще полуподвал; небольшой замок со смотровой (м<ожет> б<ыть>, стороже-

³⁶ Дедков И. Простор рассказа, воспарение души, или За какую команду вы играете? О прибалтийском рассказе. — «Дружба народов», 1981, № 9.

³⁷ Турков А. Энергия справедливости. — «Литературная газета», 1981, 3 июня.

³⁸ Редактором «Литературной России» в те годы был Ю. Т. Грибов.

³⁹ Семин В. Н. (1927 — 1978) — писатель, автор повестей «Семеро в одном доме», «Женя и Валентина», романов «Нагрудный знак ОСТ», «Плотина» (не окончен).

⁴⁰ Володя и Никита — сыновья Дедкова.

вой) башенкой, верандой и балконом, обращенными к морю. От угла дома, от балкона, вела длинная каменная лестница к морю; ныне она разрушена; можно подумать, что этим обломкам много веков. К дому сходилось несколько аллей, сейчас остались две; остальные сносятся бульдозерами, так как вокруг идет стройка: детский санаторий доживает свой последний сезон, сооружается санаторий для нефтяников. <...>

Санаторий этот, конечно, в трудном положении: кинотеатра своего нет, пляжа своего тоже нет, душа — тоже нет; вот и приходится возить детей на автобусе в два рейса (детишек около пятидесяти, а автобус маленький) и на мацестинские ванны, и в хостинский городской душ, и на пляж. А дорога извилистая, крутая, узкая, и всякая поездка — бывало три на дню — толика риска. Попали же мы с Томой в автобус (четвертый маршрут), который мчался наперегонки с каким-то автобусом (тоже «четверкой»), старавшимся опередить наш автобус в нарушение расписания (как объяснила нам кондуктор). В нашем автобусе почти началась паника, когда начался более оживленный участок дороги, и гонщикам пришлось несколько успокоиться. Надо отдать этим страстным водителям должное: в пропасть мы не полетели и распорядились они своими громоздкими «Икарусами» виртуозно. А разбиться можно было вполне.

Жили мы с Томой в стороне от дороги, почти в ущелье. Во всяком случае, дом этот (фамилия хозяев — Яковлевы; старик, видимо, русский, старуха — осетинка) — на отшибе; сначала по тропе поднимаешься, потом спускаешься; там, кажется, даже климат другой: тенистее, прохладнее, влажнее. После того как целый день лил дождь, две ночи — не преувеличиваю — все шумы покрывал грохот воды в ручье, несущемся с гор. Когда Тома уходила, а я оставался дома, то она исчезала из моего поля зрения в правом верхнем углу окна: туда уводила ее тропа. Огромный старый дуб нависал над домом, давая ему тень со своей высоты, потому что он сам рос тоже в том самом углу окна, когда смотришь изнутри дома. Жить в том доме можно было бы совсем неплохо, но кроме нас (в соседней комнате) там жили еще женщина с сыном и еще одна женщина, которую накануне моего приезда свалил солнечный удар, но она вскоре оправилась и тоже взяла из санатория своего сына-дошкольника. Потом приехала еще женщина с дочкой и была поселена в углу коридора за шторой. Помимо стариков-хозяев в доме жила семья их сына <...>. Немалое народонаселение, но это можно было бы снести, если б не тон, в котором велись в этом доме все разговоры. Кричали и старуха-хозяйка, и ее сын, и невестка и не отставали (главным образом воспитывая детей) наши соседки, тоже — по совпадению — медсестры из Советской Гавани и Хабаровска. Вот так они кричали, что не припомнить мне, когда я в последний раз слышал такой крик, да и слышал ли вообще.

15.7.81.

Самое популярное, что там кричалось — детям ли, друг другу ли: «Не гавкай». И далее следовали менее литературные выражения. Часа в два-три мы возвращались в свое жилье, чтобы переждать жару. Пытались читать или заснуть, иногда удавалось. Порою, в особо шумные дни, думалось: зачем я хожу среди этих людей, слушаю их голоса, поневоле вникаю в их отношения, зачем пускаю в свою жизнь? в нашу жизнь? И ясно понималось, что все это лишнее, отягощающее, напрасная трата и рассеяние души. Но вечером, когда сидели на скамеечке под магнолией у генеральской виллы и ждали Никиту с ужина, чтобы минут сорок пять посидеть вместе, поговорить, расспросить, все наше нескладное здешнее бытие немедля получало полное оправдание и объяснение, и все огорчения исчезали, а если и не исчезали совсем, то отодвигались куда-то далеко, где им и надлежало быть по справедливости, по своей несущественности в сравнении с главным.

Все-таки я ухитрился там кое-что прочесть: разочаровывающе слабый роман Юры Куранова «Заозерные звоны», книжку Б. Шахматова о П. Ткачеве, повести И. Грековой и Н. Евдокимова в «Новом мире». Особенно полезной для меня оказалась книжка Шахматова. Я и прежде думал, что мы легко стали судить радикалов той эпохи, с неким чрезмерным высокомерием, с чувством превосходства. Шахматову удалось показать, что уровень теоретической (философской, социологической) мысли П. Ткачева был достаточно высоким — для той поры, для его условий жизни, для его возраста. После третирования — понимание; маленькая ли перемена? <...>

Вечером 29-го позвонил Валентину⁴¹; в СП дали мне не гостевой билет, а просто пропуск на все заседания съезда⁴², и это вполне меня устроило. В Москве, когда мы там появились, стояла страшная жара. Мы с Оскоцким договорились встретиться на Библиотеке Ленина (в метро) и взять с собой пиджаки на руку. Так и сделали. В Кремле ходили в пиджаках, потому что там кондиционеры и вполне можно дышать спокойно. Так начались три дня, даже четыре, считая тот, когда я уезжал (третье июля), — три памятные дня. Я наконец-то познакомился с В. Быковым, А. Адамовичем, Г. Баклановым. Кроме того, с Я. Брылем, В. Козько, В. Колесником, Н. Гилевичем, А. Адамчиком, В. Лихоносковым и т. д. Третьего июля днем мы вместе с Быковым ездили к Богомолу. Всем этим встречам я был рад.

16.7.81.

<...> Второго числа после заседания поехали в гости к Оскоцкому: Быков, Адамович, Брыль, А. Нинов, Калесник⁴³; Адамович приехал после десяти: провозжал жену в Минск. С женой Адамовича я познакомился накануне, на заседании. Она преподает белорусский в Институте культуры. Женщина скромная, похожа на учительницу; не из московских развязных болтушек, очень под стать своему Саше. На съезде впервые, да и сам ее Саша, кажется, впервые. Сидеть, слушая речи, скучно, поэтому и мы, и почти все вокруг разговариваем: «И зачем сюда было ехать?» — «Повидать хороших хлопцев», — отвечает Саша. На второй день с Адамовичем сидела Нуйкина Галина Владимировна из критики «Нового мира», и поговорить хорошо не удалось: инициатива была в ее руках. Ну а в первый день мы все-таки с Адамовичем успели немного поговорить. Он рассказывал о замысле новой своей работы — художественно-философической повести «Не убий». Адамович — очень живой и в то же время серьезный, сосредоточенный ум. Жанр московского литературного трепа им не освоен, как не освоен и Быковым. Их дело жизни — серьезно, и чувство ответственности их, кажется, не оставляет. Я сужу по тому, что ничего не пробалтывается, словно ни на минуту не забывается: с них есть спрос. Вспоминается то, что было решающим в жизни: цепь поступков; то, чем можно гордиться (не стыдиться), то, что нужно объяснять.

Адамович: я твердо знаю, что убил двух человек: немца и власовца. Но когда вспоминаю и думаю об этом, не чувствую ни сожаления, ни раскаяния, ни ужаса содеянного. Что-то должно со мной произойти, чтобы я испытал этот ужас. Но раз его во мне нет, то для «Не убий» я не совсем готов. (Запись, разумеется, приблизительнона.)

На секционном заседании съезда Адамович выступал после Ю. Жукова, который что-то говорил о разделенном мире, о классовом подходе, о неправомоч-

⁴¹ Валентин — В. Д. Оскоцкий.

⁴² Речь идет о Седьмом съезде Союза писателей СССР, который проходил в Москве с 30 июня по 4 июля 1981 года.

⁴³ Быков В. В., Адамович А. М., Брыль Я. А., Колесник В. А. — белорусские писатели, поэтому Дедков сохраняет в дневнике белорусское написание фамилии Колесника — Калесник. Далее в дневнике А. Адамович, Я. Брыль и В. Калесник фигурируют как авторы книги «Я из огненной деревни...» (Минск, 1975).

Нинов А. А. (1931 — 1998) — ленинградский литературный критик и литературовед. Ниже он обозначен в дневнике инициалами А. Н.

ности самого слова «земляне» (видимо, в связи с романом Ч. Айтматова). Адамович начал свое выступление словами: «Дорогие товарищи и друзья! Земляне!» Он все-таки привел письмо своей читательницы, от зачтения которого отговаривала накануне его жена. Краткое содержание письма таково: когда-то я читала книгу по средневековой истории Англии и была потрясена обилием пролитой крови, жестокостью казней и нравов. Я подумала, какое счастье, что в прошлом нашей страны этого нет. Но годы спустя я прочла «Повесть временных лет», и мне показалось, что кровь стекает со страниц книги мне на руки. После этого я подумала, что никакой народ не должен заноситься перед другим народом и думать, что он всех чище и лучше. У всех у нас страшное кровавое прошлое, и единственное, что мы должны постараться сделать: отрешиться от него, оставить его позади, покончить со взаимными счетами и обидами...

Это письмо включено в текст статьи Адамовича о Достоевском для «Нового мира», и Г. Нуйкина предлагала его снять, опасаясь упреков за его непатриотическое содержание. Адамович, разумеется, не согласился.

Адамович рассказывал также о том, как он, едва переехав из Минска в Москву, чтобы работать на филологическом факультете МГУ, отказался подписать письмо против Андрея Синявского (то письмо было напечатано «Лит. газетой», под ним были подписи В. Турбина, Т. Мотылевой, декана [А.] Соколова (он-то и уговаривал Адамовича). Так и не подписал и вернулся в Минск, а в Минске уже не прописывают... (Продолжения истории пока не знаю.)

О том, как появилась подпись Быкова под письмом против А. С.⁴⁴, я слышал прежде. Как слышал, так, оказывается, и было. Разговор был по телефону, согласия не давал, а наутро по радио услышал свое имя, стоящее под только что опубликованным письмом.

Быков выступал на второй день съезда. В Минске его выступлением (текстом) никто не интересовался. Но то ли в первый день съезда, то ли накануне Быкова тронул за локоток зав. сектором Цека А. Беляев и попросил разрешения посмотреть текст речи. Были сделаны пометки против двух абзацев (снять!), и предложено было упомянуть «Малую землю» Брежнева. В гостинице «Россия» мы читали эту речь с пометкой, где следует сделать вставку. Помеченные абзацы Быков снял, но про «Малую землю» не упомянул. Я был уверен, что Беляев ничего ему не скажет; он, Беляев, сделал свое дело, посоветовал, и если с него спросят, то и он спросит. Мне казалось, что тут была своего рода перестраховка, усердие на всякий случай. Но я ошибся: в перерыве Беляев подошел к Быкову и сказал, что он напрасно не последовал его совету. Быков стал объяснять, что он не нашел места, где можно было бы сделать эту вставку, а Беляев повторил свое бесстыдное «напрасно». И еще добавил, что «ждите неприятностей от маршалов и генералов» (это — за критику мемуаров).

Кто-то сказал, что Ф. Абрамов не давал свою речь читать никому, но не помню кто, а кто-то видел, как Абрамов, взлохмаченный, сидел в комнате президиума с ленинградским секретарем по идеологии, склонившись над листками своей свободной завтрашней речи... <...>

Что меня сейчас мучает, так это то, каким я им показался? С моей отвычкой — незнанием — такой среды, с моей неловкостью... Всегда ругаю себя, да как переделаешься?

18.7.81.

Куда от себя денешься? Другим не прикинешься.

От Ф. Абрамова было письмо: чтобы я брался за статью о нем для «Вопросов литературы» (сегодня Н. Анастасьев подтвердил, что старая наша договоренность возобновляется)⁴⁵. Кроме того, Ф. А. намекнул, что он не прочь, что-

⁴⁴ А. И. Солженицын.

⁴⁵ Дедков И. О творчестве Федора Абрамова. — «Вопросы литературы», 1982, № 7.

бы я написал о нем книжку для «Современника» (правда, оговорился, что слышал о моей занятости другим персонажем /т. е. Залыгиным/). Статью я напишу, но книгу — невозможно. Кстати, пришло письмо из «Сов. России» (издательства) о том, что в августе будет принято решение об издании книги о К. Воробьеве. Спрашивают, не передумал ли я ее писать? Не передумал.

Г. Бакланов сидел на съезде в президиуме, но в первый день явился в Кремль в длинной светлой рубашке навыпуск. У него был вполне дачный вид. Н. Грибачев, поднимаясь в президиум вслед за Баклановым, заметил ему: «Надо бы пиджачок-то надеть». Бакланов же сказал ему, что он-то не знал, что придется идти в президиум. <...> В другие дни Бакланов был в пиджаке (стало на дворе попрохладнее) и сразу построжел, стал узнаваемее и обаятельнее. Мы поговорили с ним о возможной будущей книге о нем, и я не раскаялся, что дал согласие писать о нем⁴⁶.

Мне это выяснение национальной принадлежности людей осточертело; отвратительное дело, низкие побуждения.

Богомолов, к сожалению, очень втянулся в расследование, связанное с какой-то, видимо центральной, железнодорожной больницей <...>. Об этом рассказал мне Быков; сам же В. О. в подробности не вдавался. «Люблю сидеть, Володя, у тебя на кухне», — сказал Быков. И вправду хорошо; не потому ли уезжал я из Москвы в светлом состоянии души. Разговаривали о съезде, обо всем, что всплывало в связи с ним; выпили немного водки (к четырем Быкову нужно было идти на заседание съезда: голосовать); В. О. достал из холодильника огурцов, помидоров, прекрасной ветчины, какую-то банку с колбасой вскрыл. Все как обычно: просто, строго, и все безупречного качества (Быков не преминул заметить, что именно это на богомоловской кухне ему очень нравится: все простое, свежее, безупречное). Это не пустяк, это черта характера и образа жизни. <...>

Я спросил В. В.⁴⁷, когда сидели у Оскоцкого, издавали ли его в ФРГ. «А как же, — сказал он, — однажды в Западном Берлине я долго ходил вокруг банка Шпрингера (кажется, так было сказано) и думал, зайти или не зайти за своими деньгами. Так и не зашел, так там и лежат». — «Наверное, вы не один там ходили, — сказал я. — Вдвоем, должно быть». «Скорее всего так», — усмехнулся В. В.

В связи с этим была рассказана А. Н. такая история: после окончания съемок «Ватерлоо» С. Бондарчук (режиссер и исполнитель одной из ролей) должен был получить полагающиеся ему деньги. Ему об этом сказали (он еще находился во Франции), но он тянул, не шел в банк. Наконец его пригласили в наше посольство и напомнили, что нужно получить деньги. Так, дескать, полагается. «Я не знаю такого закона, где это написано», — якобы сказал Бондарчук. И уехал домой, оставив деньги в банке. В Москве его пригласили в Министерство культуры, напомнили ему о его гражданском долге и прочем. Он заявил, что деньги за границей ему нужны, что <бы> не выглядеть нищим среди своих зарубежных коллег. И он не намерен изменять свое решение. После этого он выложил на стол журнал «Лайф» и развернул его на крупной фотографии сына Гришина⁴⁸, снятого в Кении после удачной охоты на тигра. Под фотографией указывалось, сколько стоила лицензия на отстрел тигра. «Я не хочу, — сказал Бондарчук, — чтобы заработанные мною деньги шли на это. Оставьте это себе, — добавил он. — У меня есть еще экземпляр». И ушел. И больше его никому не вызывали. И о случившемся не напоминали.

Что это — легенда? Правда?

Вчера послал Янке Брылю свою книжку о Быкове. Дней десять назад я получил от него книжку 81 года «Рассвет, увиденный издалека». Он обещал

⁴⁶ Дедков И. О судьбе и чести поколения. — В кн.: Бакланов Г. Собр. соч. В 4-х томах, т. I. М., 1983.

⁴⁷ В. В. Быков.

⁴⁸ Гришин В. В. (1914 — 1992) — первый секретарь Московского горкома КПСС и член Политбюро ЦК КПСС в 1967 — 1985 годах.

прислать и прислал. Думаю, что прочитаю и потом напишу ему. И Брыль, и его друг Калесник произвели на меня сложное впечатление. Не Адамович нашел их, а они Адамовича для работы над книгой о Хатыни (так объяснил мне Быков). Кажется, я завел разговор о Польше и очень быстро почувствовал, что отношение Брыля и особенно Калесника к тамошним событиям и вообще к польскому вопросу и полякам очень сложное и скорее неодобрительное. По мнению Калесника, то, что происходит в Польше с августа прошлого года, — результат многолетней подпольной контрреволюционной работы. О вине каких-либо руководителей, внедренного порядка жизни и т. п. он вообще не говорил. Неодобрение простиралось не только на Валенсу (он много раз видел и слышал его по телевидению: в Бресте польские передачи общедоступны): «простак», которого используют стоящие за его спиной люди; малоквалифицированный рабочий и т. д. Брыль был уклончивее и, кажется, мягче. Позднее В. В. скажет, что Калесник прекрасно разбирается в литературе (он учился в польской гимназии — до «воссоединения», теперь преподает в Брестском пединституте (?), был подпольщиком, потом — в партизанах), но в общественных вопросах — консервативен. <...>

Отношение к Сикорскому у Брыля и Калесника разное. У первого — уважительное, даже почтительное, у второго — жесткое: «Это тот же Пилсудский».

Тут есть над чем подумать. Но одна встреча и застольный разговор мало что могут объяснить. <...>

Мне предлагают ехать в сентябре в Петрозаводск и Мурманск в составе группы под началом С. Залыгина (приглашены: Белов, Распутин, Лихоносов, Троепольский, Крупин, Астафьев, еще кто-то этого уровня и я) для обсуждения прозы «Севера» и мурманских сочинений. Беда не только в том, что нужно прочесть много сочинений, но и в обилии всяческих встреч и вечеров, которые запланированы. Поехать — потерять месяц. Это невозможно.

21.7.81.

<...> Было письмо от Л. Аннинского: неужели ты, спрашивает, прочитав мою статью о «Карателях», смолчишь? Неужели не задело?

Это Оскоцкий сказал ему, что я прочитал.

А я-то журнал привез, да отложил — и не прочел (журнал мне подарил Адамович). И вот тотчас сел и прочитал и сегодня послал письмо в три страницы машинописи.

Опять на магазинах и конторах белеют объявления: «Все в колхозе» — или: «Все на сельхозработках». Уполномоченный по делам церкви выезжает на заготовку сена через день. Повезло городской библиотеке имени Пушкина: ее отравили пропалывать картофель.

В Антроповском и Парфеньевском районах не хватает доярок. Около двухсот коров оставались недоеными. Придумали: из Куниковской женской колонии (под Костромой) направляют туда заключенных. Те требуют подъемных, пропивают их, потом сколько-то работают, снова пьют, и тогда их сменяют и шлют новых. Когда <-то> Игорь Громов, нынешний начальник областного отдела юстиции, рассказывал мне, какое это жуткое место — Куниковская колония и какие там царят нравы. Если рассказанное (рассказывал человек из бывших предриков, ныне — уполномоченный по церкви <...>) — правда, то — горестная.

При облисполкоме есть буфет, где дают колбасу и т. п. Сокращенно это именуют: УДП. Расшифровывается так: усиленный дополнительный паек, или Умрешь Днем Позже.

Пишу предисловие к сборнику Быкова, который готовит Барнаульское издательство. Предстоит ответить издательству «Советская Россия»: буду ли писать книжку о К. Воробьеве. В августе, видимо, будет принято решение такую книжку издать и встанет впрямую вопрос об авторе. Несмотря ни на что нужно будет согласиться.

С удивлением обнаружил свое имя в интервью Михаила Алексева («Наш современник», № 7). Он называет там тех, кого признает критиками: М. Лобанова, Л. Аннинского, Палиевского, Кожинова, Золотусского и меня. Ряд любопытный. Но любопытнее всего, что я не только ничего не писал об Алексееве, но и не упоминал его никогда. То же самое могут сказать многие из им упомянутых. Да и отношу я себя к другому «крылу» литературы. Вот и пойми, в чем тут дело и «тайна».

22.7.81.

Видел на съезде В. Распутина. <...>

Стояли разговаривали втроем или вчетвером. Я спросил Распутина: «Ну как там у вас (имея в виду президиум), кондиционеры, должно, посильнее?» Он улыбнулся: «Да что кондиционеры. У нас там буфет посильнее. Я достал кошелек, чтобы расплатиться, бумажки мусолю, а официант смотрит на меня странно, как на какого-то чудака. Оказывается, тут все бесплатно, а я-то, провинциал, а он на меня как на дурака смотрит...»

Бакланов за столом в «России»: «Хотите расскажу, как кормят президиум?» Все охотно прислушались. «Значит, так: выходишь в первую комнату, там посреди стол, а на столе — огромная чашка с черной икрой и вокруг ложки. Каждый подходит и ест ложкой сколько хочет...»

Все рассмеялись, и про вторую комнату он сочинять не стал.

Хорошо встретились на съезде с Б. [А.] Можаяевым. На второй день он принимал поздравления: в «ЛГ» прошла его статья на полосу о сельскохозяйственных несчастиях. В первый же день он взял меня за пуговицу и стал толковать о моей книжке. Хвалил за то, за это, а потом стал упрекать, что я никак не заметил той особенности минувшей войны, что впервые в русской истории на стороне врага воевало очень много наших соотечественников. На другой день Б. А. говорил, чтобы я не придавал большого значения этим его упрекам, что книга хорошая и т. д. А я, разумеется, и не придавал.

Читал на съезде листок машинописи — не помню, кто принес, — где две цитаты: одна из очерка С. Борзунова о М. Алексееве (дескать, все знают Ясную Поляну, Спасское-Лутовиново, станицу Вешенскую, а теперь все знают село Монастырское, где родился замечательный наш писатель Михаил Алексеев), другая — из статьи М. Шагинян, опубликованной в прошлом году «Коммунистом Грузии» и перепечатанной в «Вечернем Тбилиси» (там написано о прекрасном городе Гори, где родился великий сын грузинского народа Иосиф Виссарионович Сталин, и далее в торжественных тонах перечисляются его великие заслуги перед советскими народами). Петр Алексеевич Николаев переписал эти старческие бредни, но сказал, что своей Иринке (так, кажется; это его жена) он этого не покажет, потому что она заплачет (у нее репрессированы были родители, сама она, как и П. А., воевала, была ранена)...

Петра Алексеевича я не видел почти четверть века. Но узнал его сразу, да и он говорит, что меня узнал. Разговаривали с ним мало, хотя он весь лучился доброжелательностью и расположением ко мне. <...>

Опять о костромском быте. На улице Советской, неподалеку от редакции, некоторое время назад открылся «Салон красоты». Тома заходила туда однажды из любопытства. Руководит салоном жена А. И. Кузнецова, заместителя председателя облисполкома (сама бывшая председатель Кадыйского райисполкома). Большая, яркая, безвкусная женщина — так характеризует ее Тома. В салоне — все респектабельно, но — ни души. Оказалось, что там можно получить (за три рубля) консультации специалистов: какой костюм вам будет к лицу, какая прическа, какая обувь («Мода и одежда», «Мода и прическа», «Мода и обувь»); итого — девять рублей. И — все. Зато к услугам посетителей — бар; на взгляд Тома, получше пицундского в Доме творчества. Не так давно Кузнецова В. И. устроила в «Салоне красоты» прием для высшего на-

чальства. Ю. Б.⁴⁹ там, видимо, понравилось; <из> салона к автомашине его вели под руки; ноги уже не слушались... «А что, — сказала Валентина Иванова, — мне еще сына надо выводить в люди».

Еще о Ю. Н. Б. рассказано, что зимой был пьян, упал и сломал три ребра.

То-то поляки так разошлись, что не могут остановиться. Это их обновление нам поперек горла.

Шел сегодня по улице — вокруг пестрая летняя, очень живая толпа — а думалось: какие мы все послушные и покорные.

Читаю дневники С. Танеева, письма «сепаратиста» Г. Н. Потанина, прочел «За чертой милосердия» Д. Гусарова⁵⁰. Сочинение Гусарова способно сказать внимательному человеку о многом, но сам автор предпочитает сообщаемое не обдумывать. Это не художественная проза; никакого сравнения с романом Богомолова. Прочитал «Записки мелиоратора» С. Залыгина (опубликованы в сб. «Пути в незнание», 1970). Еще раз понял, что этот человек ума глубокого и независимого; интересен его подход не только к конкретной теме, но как бы сама школа его мысли, или иначе — его методология, общий подход.

Втягиваю в работу; лишь бы шла да ничего не мешало. Но так не часто бывает. <...>

30.7.81.

Володя отозвался. И телеграмму прислал, и два письма. Заработался. Пишет, что в стройотряде их факультета (работает в Хакасии) погиб второкурсник — убило током. По стране это стройотрядство, должно быть, дорого обходится. «Где сын-то ваш погиб», — спросят потом, когда-нибудь родителей того юноши. «Да студентом был, на инженера учился, а погиб, когда курятник за тридевять земель строил»... <...>

Вчера открылось очередное заседание польского сейма, где, в частности, обсуждается вопрос о «вознаграждении» руководящим работникам государства, т. е. о зарплате членов правительства. Представляю себе, как передергивает при чтении сообщений из Польши наших руководителей. До чего дошли, как распустились!

Информация из Польши после съезда в наших газетах отсутствует полностью; западные радиопередачи старательно глушатся; «Трибуна люду» в киоски давным-давно не поступает. Ни одного номера «Шпилек» за этот год наша библиотека не имеет. Это все вместе и называется: полная и объективная, своевременная информация. Кто-то — по какому и где зафиксированному праву — решает, что должен и что не должен знать наш народ. Что полезно ему знать и что вредно. Им-то, разумеется, не вредно, их не совратишь, а вот остальным двумстам с лишним миллионам — вредно и опасно.

Леня Фролов удружил мне, прислав на рецензию, не предупредив, два романа. Один из них — огромный (700 страниц), под названием «Не поле перейти» Ивана Курчавова (Москва), члена СП, — я сегодня закончил читать. Завтра предстоит писать, и думаю об этом с тоскою и даже ужасом. Скажу здесь одно: роман — сочинение внехудожественное, журналистское, но самое главное — написан человеком, тоскующим по великому Сталину. Судя по всему, автор — армейский политработник, и свою правоту, правильность он не устает демонстрировать. Среди некоторых фактов (роман автобиографический) есть явно подлинные, сбереженные памятью как уникальные. Герой романа работает в годы войны в политическом управлении армии старшим инструктором информации, т. е. сочинителем докладных и донесений о моральном и идеологическом состоянии солдат и офицеров. Он постоянно имеет дело с органами трибунала, прокуратуры, СМЕРШ, участвует в разборе всякого рода

⁴⁹ Ю. Б. и Ю. Н. Б. — инициалы тогдашнего первого секретаря Костромского обкома КПСС Баландина Ю. Н.

⁵⁰ Документальный роман Д. Гусарова об одном из драматических эпизодов Великой Отечественной войны в Карелии; был опубликован в журнале «Север» (1976, № 7 — 9).

происшествий аморального характера. В частности, рассказывается, как в 1943 году было прочитано письмо Сталину некоего бойца, который требовал от Сталина отречения и передачи власти сыну Василию. Тут же следует воспоминание героя о некоем учителе московской школы, который принес перед уходом на фронт в Политуправление письма, полученные от Сталина по поводу Василия (он учился у этого учителя). Дескать, в тех письмах строгий отец не называл сына иначе как хамом, негодяем и т. п. Один из персонажей романа считает, что бойца надо отправить в сумасшедший дом, другой — требует расстрела и т. д. Это существует в романе на правах краткого эпизода...

1.8.81.

<...> Прочел рассказы Ю. Трифонова в июльском «Новом мире». Много горечи и печали; нет ничего, что было бы выше смерти. Ощущение, что все усилия, все достижения призрачны.

Н. Н. Яновский прислал составленную им книжку «шутейных» рассказов Вяч. Шишкова и хорошее письмо.

С пользой читаю В. Зазубрина⁵¹. Попалась вчера в магазине книжка С. Резника об ученом-хлопковом Г. Зайцеве (1887 — 1929). Прежде читал книжку С. Резника о Н. И. Вавилове. Вчера прочел и эту: выбирает он героев прекрасно; такие судьбы производят на меня огромное впечатление. Мир может безумствовать, исходить в ненависти и злобе, но Вавилов и Зайцев продолжают возиться со своими семенами, посевами, бесконечными кропотливыми опытами... Они работают и оказываются правыми перед людьми, своей наукой, историей...

Многим поколениям десятилетиями навязывали буденных, ворошиловых, калининых, сталиных, забивали голову, извращали воображение. И до сего дня — ворошиловы, буденные, дзержинские и еще, и еще...

А надо бы, чтобы учились у Вернадского, Ухтомского, того же Зайцева, Н. И. Вавилова, им подобных — учились бы тому, что действительно составляет смысл и достоинство человеческой жизни, человеческой работы...

Забыл записать, что 3 июля — день рождения Владимира Осиповича. В этом июле ему исполнилось пятьдесят пять лет. Когда мы пришли к нему, он сказал, что это неправда, что это событие случилось месяц назад и что он вообще после смерти матушки не отмечает больше этого дня, и сказал Быкову, чтобы тот дал отбой задуманной им поздравительной телеграмме от всех друзей и сказал всем, кто собирался ее подписать, что это ошибка...

Собираю В. О. посылочку из книг. Пока не соберу, не стану ему писать. Не знаю, какой бы знак признательности и самого искреннего расположения мог бы я сделать, кроме книг. А хотелось бы...

Из стихотворения А. П. Шапова (1861?): «Совет отживших стариков судьбой народов управляет, совет жандармов-дураков совет народный заменяет» (Потанин Г. Н. Письма. Иркутск, 1977).

12.8.81.

Коля Голоднов вернулся из командировки в Мантурово. Ехал домой на автобусе. При выезде из Мантурово обогнали похоронную процессию. Рядом с Колей сидел агроном Мантуровского сельхозуправления, и он рассказал, что хоронят 20-летнего парня, убитого в Афганистане. В конце июля, кажется 29-го, в военкомат пришло извещение, чтобы встречали тело. Ждали долго, т<ак> к<ак> тело везли семь дней. Когда сопровождающие гроб солдаты выгру-

⁵¹ Зазубрин В. Я. (1895 — 1938) — сибирский писатель, автор известного романа «Два мира» (1921). Творчеству Зазубрина посвящен второй том «Литературного наследства Сибири» под редакцией Н. Н. Яновского и том в серии «Литературные памятники Сибири» (Иркутск, 1980).

жали свой дальний груз из вагона, встречавшие заметили в глубине вагона еще несколько гробов. Хотя гроб был запаян, поспешили хоронить, т<ак> к<ак> запах пробивался. На гробе окошечка не было. Этот юноша должен был скоро отслужить свой срок, и мать уже начала ждать своего единственного сына. И вот дождалась.

Один из костромских комсомольских работников (из райкома комсомола) рассказывал Томе, что теперь военкомат привлекает к организации похорон афганских жертв и комсомольских деятелей. Недавно в Кострому вернулся из Афганистана солдат без руки и ноги. Он лежал в костромском госпитале, когда его навестила девушка, которую он любил. Они собирались пожениться. Будто бы девушка сказала: сейчас не война и мне он такой не нужен. Этот парень покончил с собой.

Сегодня по телевидению показывали фрагменты документального фильма о русской женщине, чей сын сражался в югославском партизанском отряде и похоронен в Белграде. Это был ее единственный сын. Старая женщина сидела перед камерой и вспоминала, как впервые приехала на могилу сына, как припала к каменной плите и стала ее целовать. Тома заплакала.

Комментировал этот фильм Г. Боровик. Он много говорил о горе матерей, потерявших своих детей в годы войны. Я смотрел и все думал, что эту передачу видит, возможно, та женщина из Мантурова. Что происходило в эти минуты в ее душе? Как объясняет она себе то, что случилось? Кого винит? Как понимает и понимает ли, за что погиб ее сын?

Тома передала мне рассказ Голоднова вчера. Вечером была передача о Международном конкурсе пианистов в Вене. Показывали, как играл победитель конкурса, московский студент, армянский юноша лет двадцати. Я подумал, что все это соседствует и происходит в одном мире, где есть разделение труда и судеб: один музицирует, а его сверстник догнивает в цинковом гробу, убитый на необъяснимой, бессмысленной войне, затеянной по чьей-то непредусмотрительности и недальновидности. Во всяком случае, присутствия разума в этой афганской операции не видно.

Когда Тома рассказывала эту мантуровскую историю, я невольно спросил — будто вдруг забыл, а так и было — на минуту забыл: а — сколько лет нашему Володе? — Двадцать один.

— Если бы такое случилось с моим сыном, я бы этого никогда не простил, — сказал я то, что очень ясно почувствовал. Именно почувствовал, а не подумал или размыслил. <...>

Приехал в Кострому погостить к родственникам Николай Скатов⁵² с женой и дочкой. Встретил его сегодня на улице, и проговорили около часа. Обещал зайти. Ссылаясь на Ю. Селезнева (тот якобы сам спрашивал у В. Распутина), говорит, что Распутина пытались убить, и что уцелел он чудом (видимо, решили, что дело сделано), а юные, чуть ли несовершеннолетние убийцы получили условное наказание, и что подобраны они были специально в расчете на безнаказанность. Я сказал Скатову, что Селезнев — драматический рассказчик, но Скатов принялся меня убеждать, что именно так и было, что Распутин вызывал в Иркутске чье-то раздражение. <...>

20.8.81.

<...> Пришла в Кострому моя ярославская книжка⁵³. От нее желтит в глазах. Пока купил сто экземпляров, куплю еще сто.

Но еще прежде мы попали с Никитой в Кинешму. Собирались в Ярославль прогуляться и купить масла, но вверх долго не было «Ракет», и мы махнули вниз до Кинешмы. Шли по кинешемской базарной площади, и у часо-

⁵² Скатов Н. Н. — доктор филологических наук, директор Пушкинского дома.

⁵³ Дедков И. А. Во все концы дорога далека... (Обложка у книги неудачная, ярко-желтого цвета.)

венки на лотке я вдруг увидел свою книжку. Еще один экземпляр — последний — купили в магазине. Когда увидел на лотке, то невольно рассмеялся: вот куда пришлось плыть, чтоб увидеть свою книжку! От Ярославля до Костромы много ближе, чем до Кинешмы, да мне потом объяснили, что у костромского книготорга горячего для машин нет, ехать за книгами не на чем. А вернулись мы из Кинешмы, Тома и говорит: так ведь это неспроста! С Кинешмы сорок восьмого года книжка начата, в Кинешме и суждено было мне ее в руки взять. А пошли с Никитой, уже купив книжки, гулять по городу и тотчас оказались у кинотеатра «Пассаж», куда мы с отцом заходили после поликлиники, в том самом сорок восьмом, когда я руку сломал и мне здесь, в Кинешме, гипс накладывали. Такие вот бывают совпадения.

Рецензию на Курчавова отправил. Как бы он со мной не рассчитался как-ким-нибудь хитрым, а то и простым макарон. Он, видать, из людей тех еще.

Теперь пишу о романе Ф. Шахмагонова «Не жалею, не зову, не плачу». В другом роде, но тоже печатать невозможно. И опять — член Союза писателей, из Москвы. Вот такой у нас союз. Не знаю, как и благодарить Леню Фролова: столько времени на одно чтение убил.

22.9.81.

<...> Дела в Польше все хуже. Как и в шестьдесят восьмом году, наше Цека отправляет предостерегающие, предупреждающие письма, публикуются резолюции рабочих собраний, проводятся у польских границ маневры и т. д. Вся беда, что когда пар скапливается долго и выхода ему нет, то от прорыва его, от взрыва и взрывов ждать соблюдения «правил», «приличий» и «норм» — невозможно. Слишком много скопилось... И чистоты, и грязи...

Сегодня в «Советской культуре» про Анджея Вайду написано, что он «полностью скатился в болото врагов социализма».

Брал в библиотеке горьковскую «Летопись» за 1916 год, искал что-нибудь сибиряка А. Новоселова. Наткнулся на статью К. Левина («Летопись», 1916, № 1) «А. И. Герцен и Польша». Хоть перепечатавай — как раз к нашим благословенным дням.

5.10.81.

<...> Газетная быль: в раздевалке в углу — кладбищенский венок. Кому? Бывшему редактору⁵⁴ Дмитрию Алексеевичу Смирнову. Как? Его же позавчера похоронили. Общий переполох. Забыли венок отвезти. Редактор поручил своему заместителю, заместитель — заместителю секретаря партбюро, а тот, уезжая по личным делам, наказал, чтобы венок отвез шофер. Ну и остался венок в углу раздевалки. Решили, что отвезут на девятый день. На партсобрании в тот же день, как нашли венок, рассуждали об ответственности за порученное дело. Было невдомек, что никакого дела не было; это продолжало утрачиваться человеческое, разрасталась и приходила к абсурду проформа.

В «Дружбе народов» и «Литературном обозрении» мои статьи. Нравились, ждал, увидел, пустота. Вот радуюсь: эпитафия из Хаксли хорош. Лучшее, что напечатал, — эпитафия.

Оказывается, — это я забыл записать после возвращения из Москвы, — мой прадедушка по маминой линии⁵⁵ (рассказала папе тетя Наташа) был священником церкви при Смоленской богадельне (возможно, называлось это учреждение иначе), принадлежавшей Ланиным. Папа говорит, что эта церковь сохранилась до сих пор. <...> Еще тетя Наташа вспоминала, как жили в Дорогобуже: сначала в отдельном доме, в прекрасных условиях, потом переехали в

⁵⁴ Газета «Северная правда», г. Кострома.

⁵⁵ Богданович Владимир Петрович.

домик попроще, поменьше и наконец очутились в казенной квартире, полагающейся акцизному чиновнику Сергею Владимировичу Богдановичу, моему дедушке. Папа связывает этот «спуск» с тем, что Сергей Владимирович был честным человеком. Тетя Наташа говорит, что не помнит, с чем связан этот переезд из квартиры в квартиру.

Читаю Л. Берга («Труды по теории эволюции») с большой пользой. Неожиданно наткнулся на интереснейшую статью Д. Чудинова о крестьянстве в «Сибирских огнях» 1922 года. Читаю А. П. Шапова и о Шапове, об идее областничества и федерации, восходящей к вступительной лекции Шапова в Казанском университете 1861 года. Или к каким-то его статьям самого конца пятидесятых годов.

Поразили меня проводы Шапова в Петербург после безденских событий⁵⁶. Провожали студенты, набились в комнаты, стояли во дворе, шли по улицам, потом сели в лодки и поплыли по реке Казанке к пристани. Плыли и пели песню. (Приведенный в воспоминаниях текст песни я переписал.) Песня народная, протяжная; ныне, кажется, забытая. Поразила меня и вся картина на реке, и заключенный в песне тон — тон исчезнувшей жизни, для которой эта песня годилась. Не поэзия утратилась, а состояние своей прикосновенности, принадлежности высокому чувству, высоким помыслам. У жизни не было сценария, и она росла наперекор несвободе — свободно и говорила как хотела.

Еще фольклор. Из уст газетного шофера: «Пусть бутылка стоит восемь, все равно мы пить не бросим. Доложите Ильичу, нам и десять по плечу. Ну а если станет больше, будет то же, что и в Польше» (в связи с повышением цен на водочные изделия, золото и т. п.).

Одна за другой вышли три книжки о Гитлере (с польского, с немецкого и наша). Продавщица в книжном магазине: а что, у него какая-нибудь дата?

Москва перевела нас в другой часовой пояс. Надо же создавать впечатление, что в жизни что-то происходит. Почти шучу: отняли час жизни.

19.10.81.

Тома выступала на т<ак> н<азываемом> «дне депутата» (обмен опытом) во Дворце текстильщиков. Там же выступал нынешний первый секретарь горкома комсомола В. Е. Пучков <...>. Он, в частности, сказал, что сейчас в комсомоле состоит лишь 68 процентов костромской молодежи. 2100 человек при переходе с предприятия на предприятие «скрыли свою принадлежность к комсомолу». 53 процента новорожденных проходят через обряд крещения, половина браков после гражданского акта освящаются церковью. «Мы можем упустить молодежь, — сказал он, — как упустили ее в Польше, где 90 процентов членов „Солидарности“ — молодые люди до 25 лет». И еще сказал этот болтливый молодой функционер: у нас тоже есть нездоровые настроения. Пройдите вечером по улицам, посидите в ресторанах, послушайте разговоры — и вы услышите, что говорят о нашем времени, о партии и т. п. Потом он объявил, что из Афганистана в Кострому вернулся авиадесантный полк, в котором теперь есть и Герои Советского Союза, и награжденные орденами и медалями. Но, добавил он, оказалось, что не вся наша молодежь достаточно закалена физически, а также в волевом отношении.

За последнее время получил письма от В. Кондратьева, В. Быкова, Ф. Абрамова, В. Богомолова, С. Лесневского с поддержкой моей статьи в «ЛО». Разумеется, это поднимает дух. Но настроение у меня странное: написанное написано и думаю я теперь о будущем, о том, что предстоит написать. Покоя на душе нет, большой удовлетворенности тоже. Впрочем, об «антимосковской» статье не жалею. Это нужно было сказать.

⁵⁶ Волнения крестьян Казанской губернии в апреле 1861 года в ответ на земельную реформу. Центр волнений — село Бездна. Крестьяне требовали раздела всей помещичьей земли. Толпа была расстреляна войсками.

Вчера сообщили об отставке С. Кани⁵⁷. Что бы ни было дальше, что бы ни избрело наше начальство, мы — в зрителях.

Неподалеку от нас, по проспекту Мира, по соседству с горкомом партии, развернулась прямо-таки кипящая скоростная стройка. На пустыре, на месте снесенной бани (образца конструктивистской архитектуры тридцатых годов), цементируют, бетонируют, выкладывают плитами расходящиеся лучами дорожки... Возводится грандиозная Доска почета. Надо бы узнать, в какую цену она обойдется. <...>

Недавно Виктор Бочков⁵⁸ рассказывал, как Ф. М. Нечушкин, его начальник (начальник областного управления культуры), заговорил с ним о том, что он, Виктор, позволяет в своей частной переписке негативные отзывы о внешней и внутренней политике нашего правительства. И что ему, Виктору, нужно над этим серьезно подумать. Виктор сказал, что больше это не повторится. Такого обещания было достаточно; во всяком случае, Нечушкин показал, что он удовлетворен. Виктору было известно, что несколькими месяцами ранее его приятеля Роберта Маланичева (где он живет, не помню) вызывали в госбезопасность, где речь шла о письмах Бочкова. С тех пор Виктор стал аккуратнее, но «дело» было как бы не закрыто, и Нечушкин его «по совместительству» «закрывал». То-то мне Тома говорит: остерегись. Но я-то в письмах правительству не ругаю совсем. Я о нем и о прочих властях молчу. С какой стати я буду нарушать всем известные правила нашей советской частной переписки.

Пишу текст выступления на 75-летию Сергея Маркова⁵⁹. Отмечать будут в Парфеньеве; туда и должны поехать двадцать четвертого. Читал Маркова без пользы. И есть что сказать.

11.11.81.

И съездил, и сказал... День тот воскресный для конца октября выдался блистательный: немного тяжеловатые белые облака на синем небе, сверкающие на солнце лужи... Нас возили по Парфеньеву на автобусах, и водители старались причаливать свои машины вплоты к дощатым тротуарам. Мы-то явились по-городскому, в ботиночках-туфельках, а в них улицу пересечь трудно, потому что не улицы, а реки жидкой грязи. Ночью, когда нас трясло и мотало на разбитой дороге от Николо-Поломы, я поглядывал в окошко, и сердце сжималось от вида бедности, вдруг вырванного фарами из тьмы, от каких-то сменивших лесное мрачное сплетенье ветвей и стволов, покосившихся заборов, кривых сараев и темных, каких-то нестройно торчащих изб... Потом при въезде в Парфеньеве явились вдоль дороги, забелели, застрочили черными строчками призывы и обязательства, вышагивающие нам навстречу на двух прямых ногах, явно показывая, что мы уже в пределах порядка и четкой перспективы и вообще празднично украшенного житья, отмобилизованного и призванного... Но солнце — вот лекарство от тоски и печали! И бедность всего здешнего быта никуда не делась, но словно что-то притупилось во мне, или же успел я уже к ней привыкнуть, или же смотрел теперь вокруг не из бросаемого, прыгающего автобуса, а спокойно — на все мерное и как бы застывшее... Когда же пошли открывать мемориальную доску на доме, где родился Сергей Марков, и я увидел высыпавший на улицы парфеньевский народ, чернеющий и пестреющий вдоль заборов, то я думал уже не о бедности, а какая-то умиленная сердечная дрожь поднялась вдруг во мне... Вот вышли все из домов своих, встали как на выносе, а почему, зачем, из какого интереса? Мало

⁵⁷ Каниа Станислав — первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии в 1981 году.

⁵⁸ Бочков В. Н. (1937 — 1991) — историк, краевед, писатель, друг И. Дедкова. В это время КГБ вел «дело» Бочкова, его нигде не принимали на работу.

⁵⁹ Марков С. Н. (1906 — 1979) — поэт, писатель, автор книги «Юконский ворон», исторических повестей «Идущие к вершинам», «Люди великой цели» и др. Родился в посаде Парфеньеве Костромской губернии.

кто Маркова читал, сам он сюда взрослым никогда не навещался, и никто уже не помнил, как он бегал по этим улицам малым мальцом... И вот высыпали, облопотились на заборы, стоят на крыльцах... Любопытно? Событие в монотонной здешней жизни? Хочется посмотреть на съехавшихся незнакомых, должно быть, важных людей? Так и есть, должно быть. Они смотрят, и мы смотрим. Сумрачные мужики торчат у столовой и магазина, — вот кому тяжело и обидно: понаехали какие-то, а из-за них ни водки, ни какого-нибудь портвейна не купи... Зло на нас поглядывают, а больше прячут глаза. Куда им деваться? Спасет какая-нибудь сердобольная запасливая бабка...

А вот на торжественное заседание в райком партии пришло мало людей: зал был заполнен, пожалуй, наполовину. Интересовались бы тем же Марковым, пришли бы. Но все равно кто-то собрался и даже детишек с собой привел... Вот для них всех я и говорил, но не знаю, что было понято и насколько оказалось нужно для их ума. Нажим центральный был у меня на былую русскую инициативу, предприимчивость; должно было прослушиваться, что ничего подобного сейчас нет и «короткие тусклые мысли тогдашних начальственных лиц» — не столько про тогдашнее... Боялся, что стану нервничать, задрожит в какой-то миг голос, но трубки дневного света так дребезжали и ныли над головой, что пришлось напрягать голос в опасении, что этот дребезг и треск отделяет его от зала, и потому-то все сказалось гораздо спокойнее, чем думал: физическое усилие отвлекало и гасило чувства.

Чтобы не забыть: в доме, на котором повесили мемориальную доску, — двухэтажный, деревянный, не большой даже, а крупный, дородный среди окрестной нередко трехконной мелочи, — так вот, в доме этом жил (до Марковых? или одновременно?) А. Т. Виноградов⁶⁰, о котором я упомянул в желтой своей книжке; а в послевоенные годы располагалась служба госбезопасности.

На марковский юбилей приехали из Москвы: жена Маркова — Галина Петровна, ее дочь, двое внуков, двое племянников, сестра Маркова, муж другой сестры и еще какие-то родственники, а также старушка, оказавшаяся скульптором Вашенко (весь день она решала главную свою задачу: пыталась заручиться обещанием, что районные или областные власти купят у нее бюст Сергея Маркова), и еще — Евгений Осетров, Валерий Ганичев и отец с сыном, если не ошибаюсь, Мильковы (отец — литератор, сын — фотограф). Из Ленинграда приехал Илья Фояков с женой, предвительно побывав в Костроме, где предложил театру свою инсценировку «Юконского ворона» (пока не знаю, что из этого вышло). Из Костромы были Юра Лебедев, Аркадий Пржиалковский, Виктор Игнатьев, Ермаков из Управления культуры и Алексей Голубев из обкома партии. Приезжал и оператор телевидения Опельянец (сюжет его, однако, до сего дня не прошел). Словом, «гостей» было человек двадцать пять. Всех нас парфеньевские власти кормили бесплатно завтраком, обедом, а вечером устроили ужин с коньяком и водкой. «Разорили Парфеньевский район», — шутили мы потом. Ну а в самом деле: на какие это все средства? Тот же коньяк пять звездочек, бывший в избытке? <...> В Парфеньевской столовой нас обслуживали, как мы не сразу, но поняли, не официантки, а учительницы (Ю. Лебедев узнал бывшую свою студентку) и работники райкома партии и комсомола. Был воскресный день, но весь аппарат райкома не отдыхал: все старались принять гостей («писатели!») наилучшим образом. Что ж, они сумели это сделать. Первый секретарь райкома партии А. Е. Викулов, небольшого роста, всем своим обликом здешний крестьянский человек, невзрачной внешности, был с нами довольно откровенен. Рассказал, что в 1932 году в районе жило 32 тысячи человек, сейчас — едва набирается десять тысяч. Во-

⁶⁰ Виноградов А. Т. — выпускник Петербургской медико-хирургической академии, земский врач, с 1878 по 1905 год работал в посаде Парфеньеве, был его почетным гражданином, умер, простудившись в поездке по деревням.

обще ничем не хвастал. Но манера держаться — знакомая: грудь развернута по-баландински, ноги расставлены, только что не покачивается на носках по-архиповски. Мал мужичок, но когда говорит из-за своего секретарского стола, его будто кто подкачивает, надувает, увеличивает в значении. Вот кто эффектно выглядел — наш Негорюхин: борода как у Маркса, рубаха желтая, волосы длинные. Пожалуй, рубаха да борода, нет — борода да рубаха, — этого вполне достаточно, чтобы что-то значить и обозначать. Больше можно ничего не иметь. «А ему нравится, пожалуй, сидеть в президиумах, слыть писателем или околописателем», — подумал я, когда выступали в школе. Ничего я против Б. Н. не имею, даже не осуждаю его ни за что, а это подумалось само собой: борода заменяет многое. Любопытно, что в школе все учителя сидели где-то в последних рядах, и когда Г. П. Маркова преподнесла школе стопку книг мужа, то принимать их после явной заминки выслали из задних рядов старшеклассника; ни директор, никто из учителей не решились выйти: застеснялись... Школа — новая, большая, на краю села выходишь, — и как в Шабанове, открывается полукругом окрестность с уходящими к горизонту ярусами леса...

Было приятно побывать в парфеньевской картинной галерее (там открыли в трех комнатах музейную экспозицию, посвященную С. Маркову); после уличной грязи, всей остро ощущаемой заброшенности и бедности, которой, кажется, насыщен сам воздух, входишь в галерею, словно переступаешь порог...

24.11.81.

...какого-то строгого и чистого мира, где поддерживаются другие законы и другой климат. На крыльце ты еще в одном мире, вошел — в другом, и — подчиняйся. Не бог вещь какое искусство, но строгость и требовательность — от него: смотрят со стен глаза, сверкает синее небо, всходит над лесом солнце. Шуваловский Сергей Максимов сидит⁶¹ у окна в избе, плотный и монументальный, с бородой как у Фридриха Энгельса.

Помню, заходил ко мне в редакцию московский столяр Ухов со своими стихами; ничего, кажется, я тогда у него не смог выбрать. Был он уже немолод, крупный, рыхлый, благообразный человек, рассказывал, что собирается подарить родине — Парфеньеву — свою коллекцию картин современных художников, сложившуюся из подаренных ему работ. Оказалось, он делает для художников рамки и прочую столярную работу. Одинок, и вот пришел час думать о том, куда и как пристроить собранное, чтобы не пропало. На мое сдержанное отношение к его стихам не обиделся, словно и сам понял, что вряд ли это увидит свет... Зато картинная галерея свет увидела, и выходит: не зря жил человек...

Ужинали долго, москвичи отправились в Николо-Полуму часов в девять, мы сидели до одиннадцати, потом продолжали ужинать в гостинице и еще немного уже в поезде часу в третьем, а то и в четвертом.

Было много анекдотов, но памяти у меня на них нет. И слава богу. Но один запомнил. В Мавзолее Ленина что-то задержался приезжий грузин. Ходит вокруг саркофага, удивляется, под саркофаг заглядывает, что-то ищет. Потом спрашивает у солдата: «Тут лежал такой небольшой, рыжеватый, с оспинками грузин. Где он?» Тот отправляет его наверх: там, у постовых, спросишь. Грузин спрашивает у тех: «Тут лежал такой небольшой, рыжеватый, с оспинками. Где он?» Постовые отправляют его дальше, к Кремлевской стене: там спросишь. Грузин опять спрашивает: «Тут лежал...» и т. д. Ему отвечают: «Его нет. Родственники забрали». Грузин замолкает, потом говорит: «А у того, что там лежит внизу, что — родственников нету?»

⁶¹ Максимов С. В. (1831 — 1901) — русский писатель-этнограф, академик Петербургской академии наук, автор книг «Лесная глушь», «Бродячая Русь», «Крылатые слова», «Нечистая сила» и др. Родился в Парфеньеве. Речь идет о портрете Максимова работы Н. В. Шувалова.

13.12.81.

Сегодня с 00 часов в Польше введено военное положение. Весь день варшавское радио передавало «серьезную» музыку. Эта музыка показалась мне печальной; такую передают в дни государственного траура. Через каждый час — во всяком случае, в первой половине дня — музыка прерывалась и звучала запись обращения Ярузельского к народу. До и после обращения — польский гимн.

Наброшена военная узда.

Если бы это случилось где-нибудь на Западе или в Латинской Америке, то это событие было бы названо военным переворотом, приходом к власти военной хунты.

У Ярузельского нет выбора: чтобы удержаться у власти, он должен подавить оппозицию. Уйти от власти он не может. Это не предусматривается социалистической государственной системой. Оппозиция в такой системе к власти не допускается. Оппозиция вообще не допускается. Ее возникновение и узаконивание в Польше расценивалось в нашей стране как ненормальность, как нечто преступное, требующее подавления.

Непредставимо, чтобы Миттеран, например, почувствовав, что его партия растеряла авторитет и власть из его рук ускользает, решил на аналогичную меру. Ему бы пришлось уступить свое президентское кресло другому, а самому вернуться в положение лидера оппозиции.

Сейчас около полуночи. Варшава передавала военные марши, а сейчас зазвучали и песни. Сейчас там уже действует комендантский час. Что-то там будет завтра, в рабочий понедельник. Чтобы не было забастовок, рабочих и служащих мобилизуют как «резервистов». Управлять будут через приказы. Ну вот очередной бравурный марш... Как на праздник.

Секретариат Союза писателей СССР присудил мне одну из четырех ежегодно присуждаемых премий за лучшие литературно-критические работы: за книжку о Быкове и за статьи 1980 года (о Ф. Абрамове и А. Адамовиче). Быков прислал по этому поводу поздравительную телеграмму. В городе литгазетовскую nonпарель тоже прочли и стали поздравлять. Я знал о присуждении премии с октябрьских праздников (пришло письмо от В. М. Озерова)⁶², но никому не говорил. Знак этот, конечно, неплохой, но радость быстро прошла: все мысли — о новых, будущих работах. Как и прошлая осень, эта тоже суетна: работаю не столько и не так, как хочу.

Недели две назад часов в одиннадцать дня звонок в дверь. Открываю — Можавев. Оказалось, что у него в Костроме живет брат 54 лет, наладчик линотипов, ездит по районным типографиям, наездился, устал, просится на спокойную службу в отдел кадров и нужно ему в этом устройстве помочь. Вот Можавев и приехал на своей машине, чтобы посетить наши конторы и все устроить. От меня Б. А. поехал в обком, обещав часа в три вернуться. Так и вышло, посидели, выпили чаю, поговорили, а как ехать — образовался сильнейший гололед. К нашей с Томой радости вынужден был Б. А. ночевать в Костроме; за мост-то он проскочил легко, в городе дорога разъезжена, а километрах в двадцати его ждал лед и развернутый поперек дороги грузовик с прицепом, вот он и вернулся. Вечером приехал к нам, и мы о многом поговорили.

На прошлой неделе я прочитал вторую часть «Мужиков и баб» и вчера отправил Б. А. письмо. Потом я сказал Томе, что издать бы эту книгу наряду с некоторыми другими массовым, общедоступным тиражом, сопроводив радио- и телеоповещением, и народное образование значительно бы выросло. Может быть, кое-что прояснилось бы в умах. И «Блокадную книгу» тоже не мешало бы издать именно так, чтобы дошла до большинства. Ну и еще кое-что в це-

⁶² Озеров В. М. — литературный критик, в ту пору один из секретарей Правления СП СССР.

лях «просвещения» и знания отечественной истории... Теперь же каждый день почти в каких-нибудь хроникальных кадрах нам показывают физиономию Сталина. Прямо-таки навязывают нам ее: смотрите, смотрите, смотрите... И сколько превратного, сколько лжи и неправды рассеивает по стране одно это навязывание... Лучше бы, напоминая о сражении за Москву 41-го года, показывали солдатские и офицерские лица (тогда, правда, офицеров не было)... Я снова и снова убеждаюсь в преступной — по сути своей — безответственности инспираторов и «делателей» этой пропаганды.

Книга Можаяева, как и «Блокадная книга», заставила заново думать о «больном» и тяжелом в судьбе и истории нашего народа. Что думать — заново переживать, травить воображение, мучиться беспомощностью, молчанием, безгласностью.

Перепечатал записки костромской жительницы А. А. Макаровой, обратившейся ко мне с неожиданной просьбой прочесть их — «просто так». Может быть, эта несколько «нетипичная» история из конца 30-х годов мне пригодится, скажем так, для «рассказа»... Хотелось бы мне об этом написать. <...>

Было много хороших писем, в том числе особо важные для меня — от Кондратовича⁶³ и Буртина⁶⁴. <...>

И. Васильев, очеркист из Калининна, пишет в «Сов. России» о понижении «жизненного тонуса» в народе, о том, что этот тонус нужно «культивировать». «Культивировать» бесполезно, чепуха какая-то, но про «понижение» верно, и хорошо, что это сказано.

Надо бы написать здесь о «Блокадной книге», о «Мужиках и бабах», которые автор еще надеется напечатать. Но рука медлит, легко про это не напишешь. Тома сегодня сказала: «Делают с нами что хотят». Это верно.

Челюсти государства.

Забыто, что социалисты всегда были антигосударственниками, хотя бы в теории: зло, тайное, заключенное в государственном механизме, ясно осознавалось.

Теперь мы — лютые государственники. Лютое, кажется, нет. <...>

14.12.81.

Ждем вестей из Польши. Западное радио сообщает, что связь со своим корреспондентом поддерживает лишь агентство Рейтер. Остальная связь запрещена. Информация из остальной Польши в Варшаву не поступает. Распущены на неопределенно долгие каникулы школьники и студенты.

(Окончание следует.)

⁶³ Кондратович А. И. (1920 — 1984) — литературный критик, заместитель главного редактора «Нового мира», когда его возглавлял А. Т. Твардовский, автор «Новомирского дневника (1967 — 1970)». Отдельным изданием «Новомирский дневник» вышел в 1991 году под общей редакцией И. Дедкова (М., «Советский писатель»).

⁶⁴ Буртин Ю. Г. — литературный критик, публицист, сотрудник журнала «Новый мир» при А. Т. Твардовском.

О П Ы Т Ы

МИХАИЛ ЗОЛОТОНОСОВ, НИКОЛАЙ КОНОНОВ



З/К, или ВИВИСЕКЦИЯ

Этот текст родился из телефонных бесед критика МИХАИЛА ЗОЛОТОНОСОВА с поэтом НИКОЛАЕМ КОНОНОВЫМ. Цель — создание комментария к стихотворению. Странно при живом поэте комментировать его стихи без участия самого поэта, словно сам он уже умер; лучше подвинуть поэта на автокомментирование, уговорив его на участие в «живосечении» его поэтического состава.

* * *

В заведении одном — не то в цирке, не то в театрике, не то в курильне
Возле соляного порта утром в день воскресный мне приятель показал
Ради развлечения совершенно безобидную забаву — новыми не более десятки,
Ощущенье — будто на козловом кране через ленту раскаленного проката переносят.

А всего лишь — ерунда — два на десять величиной и весом — шепоть соли,
Но признаюсь, скользкая зараза, можно выронить, тогда не оберешься
Неприятностей и в грязной подворотне могут и со знанием дела
Пюэделей отвесить пять сотрудников внештатных. Но признаюсь, пронесло на этот

Раз, надеюсь, не последний. В общем — срамота и стыд, и нежность и отрада,
Если только угадаешь пять последних букв — греческие две, кириллицею две
и одна — не спрашивайте лучше.
Выглядит ужасно — в волосне, небритая, от попойки словно бы не отошла на следующее
утро,
Правда, теплая на ощупь, мухами засижена и пахнет. Но дойдет до дела, угадаешь, ибо

Страсть и похоть по сравнению с этим — как плевательница рядом с колокольней,
Полной звона, благовеста, голубиной благодати и голубизны в проплешинах бурана, но
Другое время года нынче — то ли осень посинела, то ли две синицы
На карниз уселись — что конечно же для этих смутных берегов невероятно...

Есть в стихах у Кузмина одна вещичка, но не то совсем, да и не вещь, пожалуй, это,
Благостное ощущение — то ли голода великопостного, то ли сытости, как будто зубочисткой
Голый нерв в дупле, как птенчика, разбередил и заплакал, благодарный, что и хуже
Сам себя бы мог, глубоко окуная. Окунем плывет
и Лазарем встает и спать ложится канарейкой,

Только ласковым платком накроют клетку мне грудную, как бандуру гарной песней
О Днепр широком, и заголосят, как поле с жаворонками, сойками и славками, —
вот ястреб

Круг обводит, словно мальчик гаснувшим бенгальским жаром — ту, ту самую
Блаженную неназванную букву — быстро-быстро, и вот-вот и след и дух ее растает.
Мама! Бабушка! Дружок мой! Дорогие! Что ж это такое...

Кононов Николай Михайлович — поэт, прозаик, эссеист, издатель. Родился в 1958 году в Саратове. Окончил радиофизический факультет Саратовского университета и — после переезда в Ленинград в 1981 году — аспирантуру при философском факультете ЛГУ. Печататься начал в середине 80-х годов. Автор поэтических книг «Орешник» (1987), «Пловец» (1992), «Лепет» (1995), «Змей» (1998).

Золотонос Михаил Нафталиевич — литературовед, критик. Родился в 1954 году в Ленинграде. Окончил Политехнический институт; кандидатскую диссертацию защитил в Институте театра, музыки и кинематографии (1989). Публикуется с 1979 года, автор нескольких книг. См. его полемическую статью «Книга о „голубом Петербурге“...» в № 5 «Нового мира» за этот год.

З. Как вы относитесь к идее подвергнуть ваши стихи деконструкции с вашей собственной помощью? Вас это не пугает?

К. Испытываю двоякое чувство. Мне это очень интересно, так как это напоминает одну картину Рембрандта, на которой изображен анатом с учениками, анатом разрезает труп. Сейчас мне представляется эта картина: это прекрасное о страшном, и, таким образом, страшное снимается.

З. Что вы имеете в виду под страшным?

К. Под страшным я имею в виду свою внутреннюю жизнь, которая травматична.

З. Значит, когда вы пишете стихи, вы своей внутренней жизни «заговариваете зубы»? То есть не подвергаете ее анализу, стараетесь скрыть от себя травмы?

К. Само писание стихов — это не анализ, это транс. Если бы я был чистым позитивистом, то меня бы тогда занимала идея тождества или равенства между тем, что я описываю, и тем, что я хочу получить в итоге. Но так как я совсем не позитивист, я занят совсем другим.

З. Чем?

К. Меня интересует, как я понимаю свое понимание недоумения перед тем, что я хочу описать, но это недоумение — единственный побудительный мотив стремления к пониманию. Это похоже на ленту Мёбиуса, но не из бумаги, а из слов, которые вдруг могут все перевернуть. И мир делается миром. И сияет.

З. Как соотносится транс с пониманием недоумения? Мне показалось, что у вас не хватает слов для описания внутреннего процесса.

К. С момента, когда не хватает слов для понимания внутреннего процесса, надо начинать писать стихи, потому что это уже другая плоскость, не плоскость разговора, то есть тут и начинается транс. Это трезвый транс.

З. При чем же тут страх?

К. Есть внутренняя стража, которая не позволяет себя будить и держит ворота на запоре. И эта стража очень сильна, поэтому мало хороших стихов. Каждый может найти в себе поразительные вещи, но не каждый может найти ключи, которые могут открыть язык для описания страшного.

З. Значит, все ваши стихи о страшном?

К. Я бы не хотел называть это словом «страшное», пожалуй, это то, за что придется отвечать.

З. То есть за содержание стихов придется отвечать?

К. У стихов нет содержания. Стихи — это звучащая, значащая форма. И фонизм неотделим от содержания. Например, ритмическая и фоническая фигура неотделима от интерпретации метафоры.

З. Тогда все-таки за что отвечать?

К. За то, за что отвечают перед Богом.

З. Может быть, обратимся к конкретному тексту?

К. Рискнем. Что вы хотите узнать?

З. Я хочу узнать, о чем это стихотворение? Вас не смущает такая формулировка?

К. Смущает, потому что из контекста стихотворения проистекает невозможность ответить на такой вопрос.

З. Если я сейчас сдамся или пойду у вас, поэта, на поводу, то это будет означать, что смысл стихотворения и все интересующие вас аспекты сводятся к смутной семантике ритма и интуитивно улавливаемому смыслу звучания. Типа: а — ы — у... Это такой дословесный уровень понимания. Вы к этому меня толкаете?

К. Но ведь это стихотворение действительно написано о довербальном. Стихотворение я написал быстро, от начала до конца. Потому что оно вдруг предстало передо мной как эксцесс и провокация. Оно о том самом недоумении, о котором я начинал говорить. Это примерно как трибуна на сцене, куда выходит человек, который должен сделать доклад, и слушатели ждут этого доклада, а докладчик всего лишь выливает себе на голову графин воды, поворачивается и уходит. То есть это стихотворение написано о том, что сюжет стихотворения никогда стихотворению не равен, потому что я на самом деле не знаю, какая последняя буква, но догадываюсь. Главный импульс для этого стихотворения — уничтожение привычных лирических тропов. Дело в том, что я хотел выстроить лирический сюжет на а-лирическом материале, в котором есть все приметы постмодерна: скрытые цитаты, апелляции к разным способам лирического письма — от достоверности до абсурдности. В частности, меня занимала абсурдность достоверного. То есть я хотел показать, что не абсурдна и одновременно достоверна только лишь лирическая речь как таковая, осененная ритмом и уколами узнавания.

З. Так как с моей дружеской помощью вся процедура должна увенчаться созданием автокомментария к стихотворению, сложность и нондискурсивность которого вы сами признали, начнем приводить примеры. Давайте сначала поговорим о скрытых цитатах.

К. Строчка, где упоминаются Кузмин и «одна вещица», — отсылка к стихотворению Кузмина «Есть у меня вещица...». Вокруг этой «вещицы» Кузмина разгорелась пародийная война комментаторов. Один писал о том, что это грампластинка, другой — что это некая хрустальная штука, преломляющая свет, третий доказывал, что это есть некая «тайна пола». Но ни одному из них не могло прийти в голову, что это просто ноуменальное ничто, некое чудесное зияние, вакансия, в которую всегда будет попадать читательское внимание. И в сущности, мое стихотворение об этом зиянии, потому что, клянусь, какая это последняя буква, мне самому неизвестно. Ее нет, но она задана всем, что было в моей жизни. Но когда я писал это стихотворение, мне хотелось заманить читателя полупристойным сюжетом. Это как в ТВ, в криминальной хронике. Но способ построения видеоряда этих передач на нашем ТВ аморален. Ведь во всем мире трупы и прочую валь покрывают рябой компьютерной шашечкой. И зрителю показывают не смерть, а ее покров. Мне как раз хотелось показать покров, под которым может быть все, что угодно. Ибо там, в конце, говорится, что это нечто встает Лазарем. Стихотворение о том, что мы все можем увидеть свою загадочную сущность, которая тает, как гаснущий бенгальский жар. То есть мне хотелось, чтобы даже разгаданное это стихотворение вызывало недоумение и вопрошание. Я хотел на какой-то миг показать одну картину и тут же за руку отвести от нее зрителя. То есть я хотел создать объект для вуайеризма и тут же его убрать.

З. Вы заманили, но смысл ускользает и возникает замкнутый логический круг. Если стихотворение о непостижимом смысле, то сама категория непостижимости должна быть ясна из текста, ее надо назвать, как это сделал Кузмин («А как та вещь зовется, я вам не назову, — вещьня разобьется сейчас же пополам»), а то всегда будет оставаться ощущение, что просто имеет место дефект канала связи. Отсюда и мысль о мучительности. Потому что вы некорректно нарушили условие речевой коммуникации. В тексте вы хотели сообщить нечто о загадке, о непостижимости, но вместо этого стали изъясняться на языке, который никому не ясен и сообщений на котором никто не может разобрать без вашей помощи. Так, кстати, возникает необходимость в объяснении.

К. Я так не думаю. То, что не хотел назвать Кузмин, даже не названное, тысячу раз разбилось. Мы сегодня имеем дело с совершенно иным лирическим опытом и иным лирическим материалом. Сегодня мы достоверно не знаем, что же такое стихи.

3. А Кузмин знал?

К. Конечно. Во всяком случае, уж это — стихи — точно не сложность, которую могут разгадать спецы, окружившие себя словарями по мифологии и психоанализу. Стихи скорее тонкость, и слабость, и голизна, которые и есть сила. Самый слабый человек — это Иисус Христос. Хороший аргумент, не правда ли? Во всяком случае, сегодняшняя филология, всяческие ее школы как восточнее, так и западнее Тарту, ничего не может сказать нам о том, что же такое прелесть. Не думаю, что я поступаю жестоко, ибо жестокое — всегда внятно и ощутимо. Скорее я поступаю инфантильно и безответственно, так как ответ мне придется держать совсем в другом месте.

3. Про инфантильность вы здорово сказали, потому что стараетесь вместо ответа на любой вопрос загадать загадку и тем увернуться от темы разговора. Но у вас ничего не выйдет!

Итак, Кузмин — первая цитата. Вы использовали Кузмина только для того, чтобы открылся вход в проблематику неясного и загадочного?

К. Нет, не только. Кузмин, на мой взгляд, сегодня очень актуальный поэт, так как он — анти-Мандельштам. В нем нет метафизики, и он насквозь психологичен. Это поэт не культурной загадки, это поэт чистой прелести. Он для меня в момент написания являлся камертоном, по которому можно проверить строение стиха и оправдать разрывы смыслов, так как он строит свои стихи как серию театральных интермедий, где одни действующие лица сменяют других по непостижимым законам. Я позвал его как бы в адвокаты. С его помощью я хочу также оправдать прыжки смысла и у себя.

3. Где конкретно в стихотворении даны манифестации разных способов лирического письма?

К. В первой строфе я провозглашаю профанный и вульгарный способ говорения. В третьей я прибегаю к речи провокатора, в четвертой — элегического богослова, в пятой — травматика, а в шестой я становлюсь сам собой. Это как бы пять сурдин, искажающих звук, изменяющих его тембр, но в конце концов они позволяют мне наделить мой «чистый прямой» голос самостоятельной ценностью.

3. Вы пропустили вторую строфу.

К. Это интонационное развитие первой и создание у читателя недоумения.

3. В результате вырисовывается метасюжет. Я правильно понял?

К. Лучше сказать, психическая динамика метасюжета.

3. Вы затруднились назвать другие, помимо Кузмина, цитаты. Ничего добавить не хотите по части цитат?

К. Мне кажется, что цитаты имеют природу не прямого следования чужому тексту, а мне представляется, что я цитирую некий побудительный звук, который сродни тем самым ласточкам. Это одновременно и фонетическая фигура, и зияющий смысл.

3. А если без шаманства, то о каком звуке идет речь? Какой гласный звук, скажем?

К. Я думаю, что это звук «а». Долгий, южный, бытующий в южнорусском говоре. Слышание которого отличало Третьяковского от Ломоносова, силлабические вирши от силлаботоники.

З. Протяжный, долгий звук а-а-а... Это звук душевной боли, звук травмы?

К. Травмы тоже. Но и песни. Поэт не болтает, этот стон у нас песней зовется.

З. А вы эту психическую динамику, то есть названия для «пяти сурдин», сформулировали еще в процессе работы над стихотворением или вербализация произошла впервые только сейчас, по ходу нашего разговора? Это важно понять, чтобы оценить, насколько эти «сурдины» объективно существуют в стихотворении. Если вы придумали про них только в разговоре со мной, коль скоро я жму на вас и ситуация диалога напоминает допрос, то так ли уж эта психическая динамика метасюжета объективно присуща стихотворению? Ведь если судить по некоторым вашим высказываниям, процесс творчества у вас невербальный, чисто психологический. Недаром же вам мил поэт чистой прелести Михаил Кузмин. Так что, выходит, психическую динамику метасюжета вы вывели специально для меня, таким образом назвав то движение от одной лексики к другой, которое у вас тогда возникло невольно и бессознательно.

К. Я вам отвечу, приведя примеры из других поэтов. Но сначала скажу вам свое «но». Все стихи, если тексты являются стихами, — устройства герметические. И фигурирующий в беседах или статьях «психологизм лирики» — просто непонимание самой психической доминанты письма. Доминанта — это стрела, это интенция, которая не может быть вербализована каким-то другим способом, нежели стихотворением, в котором существует. Так, например, стихотворение Мандельштама «Ветер нам утешенье принес...» (1922) наряду с полемичностью, направленной на тютчевский образ дневной звезды, содержит простой психический троп — мускульное усилие, следование движению зрительного луча, взгляда, подымающегося в самые небеса, где совершенно не за что будет зацепиться и приходится констатировать победу Азраила. И так почти в каждом его стихотворении: можно найти подобное исходное психическое движение.

Поэтому то, о чем спрашиваете меня вы, не так важно, ибо «пять сурдин», изгибающих ленту повествования, насыщающих и собирающих эту ленту в складки, делают текст связным, полным переключек, созвучий и абсурда. Недавно мой приятель очень хорошо объяснил, что такое абсурд. Он сказал, что это выход за плоскость рассуждения, своеобычное восстановление перпендикуляра, с высоты которого видны совершенно другие связи разной природы, как тесные, так и далекие. И все дело, насколько удастся взять с собой в эту высокую абсурдную сферу читателя. Насколько я смогу зажечь его своим опытом по отрицанию реальности. Насколько мы с ним можем стать дезертирами. Насколько, если уж говорить совсем красиво, насколько мы будем харизматичны для самих себя. Ведь удовольствие от стихотворения — это вечное экзистенциальное самоупоение, где поэт делается равным читателю, и наоборот.

З. Итак, есть психическая динамика стихотворения, выраженная на фонетическом и лексическом уровне. Первая и вторая строфы: каковы лексические средства выражения профанного и вульгарного, каковы опорные в этом смысле слова и звуки?

К. Я хотел воссоздать доверительную атмосферу убогого и смешного разговора с усталым, как и я, собеседником, к которому я очень хорошо отношусь. Я очень ему рад и хочу его позабавить какой-то историей, байкой. Но так как это стихи и я не Слуцкий, я не могу рассказать ему линейную историю, в которой все будет понятно. Я хочу ему рассказать что-то про себя, о чем не знаю сам.

З. Вас как бы что-то гнетет, хочется довериться и вылиться?

К. Но изливание — это вообще способ письма, любое письмо — это изливание. Другое дело, как оно может себя охолостить. Первоначальный порыв

именно такой: сообщить, поведать, спеть. И поэтому я хочу заинтересовать собеседника, причем собеседником, может быть, являюсь я сам. Я хочу общаться с другой частью моего «я».

З. Это шизофрения.

К. Раздвоение и раздвоенность — одна из главных травматических тем моих стихов.

З. Иными словами, вы боретесь со страшным.

К. Не смею спорить, доктор.

З. Но помимо модуса первых двух строф, модуса бытовой беседы, тут есть и определенные слова. Скажем, козловой кран. Между прочим, в цеху над прокатным станом ходит не козловой, а порталый кран.

К. Но это слишком декоративный эпитет. Какие к черту «порталы»!..

З. И потому вы вставляете сюда полубсценного «козла», растопырившего ноги над лентой металла?

К. Раскаленного, опасного, сожигающего дотла. И это важный мотив для стихотворения.

З. А где этот мотив развивается далее?

К. Этот мотив характеризует самую важную, последнюю из неназванных букв, букву угрожающую.

З. А что это за буква?

К. А вот это неизвестно. И это — честно, меня много раз об этом спрашивали. Совершенно точно не «а». Потом эту букву обводит мальчик гаснущим бенгальским жаром в последней строфе. В четвертой строфе — она знак благодати, великопостной эйфории, греховной сытости.

З. А почему этот символ загадки вы именуете «буквой»? Не потому ли, что «буква» — это «литера» и речь, в сущности, идет о литературе...

К. Но и о законе, законе неумолимого. О страшном, как вы говорите.

З. Значит, стихотворение — о неназываемом страшном, которое есть некий симбиоз литературы, то есть творчества, и генитальной сферы.

К. Ну вот опять вы за свое... И вы попались! Это засада, зияние, куда можно угодить. Тогда ваше понимание аннигилирует, этой догадкой вы убеете понимание, ибо само понимание и есть наслаждение в своем становлении. Ибо дальше сказано: «Страсть и похоть по сравнению с этим — как плевательница рядом с колокольной...», в провоцирующей форме к тому же сказано, потому что Это — другое. Ибо настоящее (в смысле времени) отменено, здесь в силу вступают законы снов. Поэтому я хотел создать психоделическое стихотворение, и на это есть провоцирующие намеки.

З. В третьей строфе провокация какая-то чересчур очевидная, не кажется вам, что это сделано как-то наивно?

К. Лучше сказать — инфантильно.

З. Но в чем состоит специфика лирического высказывания третьей строфы? Чем оно отличается от первой и второй? Та же незамысловатость беседы то ли с кем-то, то ли с самим собой?

К. А вам хочется замысловатости?

З. Мне хочется, чтобы в стихотворении, которое мы совместными усилиями комментируем, было бы соответствие между формулой общей структуры, кото-

рую вы дали, сказав про «пять сурдин», и конкретными строфами, их лексикой и фоникой.

К. Но я же говорил, что здесь для меня звучит некая грубая пародийность на отчужденную метафизику современной лирической поэзии, где зачастую пытаются построить лирический дом, государство только из одних щитов, ничего не сказав про себя. Поэтому возникла бессмысленная, обозначенная зиянием несуществующая буква, закон, показана через грубые, прозаические бытовые приметы: «в волосне», «небритая» и т. д. Этот закон — мой ответ мнимости, моя полемика с метафизикой.

З. Если в третьей строфе вы пародируете метафизику, то почему в четвертой возникает она же, но в виде элегического богословия? Вы что, с сатанизмом боретесь?

К. Нет, с элегическим богословием. Я борюсь с экологией, с идеей необременительности культурных следов для жизни. Я хочу, чтобы они были обременительны. Чтобы они были токсичными и вредными.

З. Ничего не понял. Контрольный вопрос: вы про экологию придумали сейчас или знали раньше?

К. Контрольный ответ: я про нее знаю очень давно. И этот ноосферный бред меня сильно раздражает.

З. Вас не пугает, что ваше стихотворение, посвященное отказу от называния, оказывается, если его хорошо потрясти, практически обо всем?

К. Вы его не дотрясли до конца, из него может выкатиться зерно смысла.

З. Но вы же меня, черт возьми, уверяли, что никакого зерна нет и сама постановка такого вопроса глупа и вульгарна и что смысл стихотворения в самом тексте, его звучании, в словах.

К. Но ведь вы хотите смысла, который похож на линнеевский горох. А я хочу смысла, из которого произойдут ветви животных.

З. Я наконец понял и поверил, что вы не знаете, о чем написали, не понимаете смысла анализируемого стихотворения. Кстати, мне он уже ясен, причем именно вы навели меня на это понимание — без ваших ответов, точнее, без упорного ухода от ответов я бы ничего не понял.

К. Это возбуждает...

З. То, что происходит между нами, похоже на психоаналитический сеанс, я вроде бы помогаю вам что-то вспомнить, найти разгадку, которую вы зашифровали в стихотворении.

Вопрос для начала легкий: что такое в вашем понимании метафизика, которую вы так не любите? Точнее, это второй вопрос, а первый другой: вы это стихотворение написали на заре? опишите для клинической истории русской поэзии бытовую обстановку и ваше психическое состояние, в которых было написано это стихотворение. А потом уже разъясните про метафизику.

К. Это стихотворение я написал в Гамбурге после посещения гамбургского порта, точнее, его музеефицированной складской части. Она нынче совершенно стерильна, хотя лет восемьдесят тому назад за каждым углом могла произойти катастрофа. Эта площадка напомнила мне «площадку» многих стихов Кузмина, там могут быть притоны, питейные заведения, дешевые гостиницы и опиумокурильни. То есть это арена катастроф. И этот мотив даже в чистеньком портовом квартале сохранился. Но потом я отказался от конкретного места, и этот отказ от конкретности натолкнул меня на идею отказаться вообще от любого явного хода в этом стихотворении. Я подумал о том, что это, может, и азиатский порт, грязный и гнусный. То есть это место конца. Конк-

ретьность стихотворения не связана с тем, что я увидел. И мне действительно этот порт показал мой приятель, мы смотрели его из окна автомобиля. Ну а все мнимые удовольствия, которые там описаны, я домыслил. Они возникли от чувства вовлеченности в картину мира. Зрительное впечатление от порта каким-то образом развернулось, пружина развернулась, зазвучала музыка, как в волшебном сундучке, полном секретов.

Я не могу сказать, что я не люблю метафизики, — я не люблю ее убогое понимание. Есть метафизика спекулятивная, механицизм в некотором смысле или плоская система объяснений. А есть метафизика, которая решает проблемы бытия. Например, метафизика в хайдеггеровском смысле. Это вечная проблема достоверности нашего сознания, нашего знания, нашего чувства. Это та метафизика, где сильно выражено наше «я». В моем понимании есть метафизика безличностная и личностная. И первую я не выношу.

З. В начале беседы вы противопоставили Кузмина Мандельштаму как поэта чистой прелести поэту-метафизику. Можете пояснить, за что конкретно вы не выносите Мандельштама?

К. Это слишком сильно сказано вами. Я не выношу то, что он дал возможность его профанно интерпретировать. Хотя это прекрасный, волшебный поэт.

З. Метафизическое связано в вашем понимании с возможностью наглядного представления поэтического образа?

К. Да, вы попали в самую точку. Это и есть метафизическое, неличностное.

З. Вернемся теперь к двум первым строфам вашего стихотворения. Думая о скрытых цитатах, наличие которых вы декларировали в самом начале, я нашел связи с двумя произведениями Блока. Его драмами «Балаганчик» и «Незнакомка». Со второй есть связь через обстановку какого-то кабака, что вы и подтвердили, указав на порт как место создания стихотворения. Там, у Блока, тоже сидят какие-то люди и о чем-то просто говорят. А потом падает звезда и начинаются какие-то психологические приключения поэта, зашифрованные его, блоковской, системой символов. Что же касается «Незнакомки», то о ней я бы сказал чуть ниже, прежде скажите вы, что вы думаете о цитатах из Блока.

К. Я думаю, что это весьма опосредованные цитаты, потому что локализация действия стихотворения весьма типична для литературы. Ведь точно так же развиваются «маленькие трагедии» Пушкина, да и стихи Анненского, и «Форель...» Кузмина. Для меня это было литературным ключом: встать в ряд, чтобы было возможно говорить. Иногда у Моцарта вдруг звучат охотничьи рожки, которые предлагают слушателю чистый пафос, приподнятое зрелище прозрачного леса. Думаю, что здесь такой же принцип. Эта экспозиция должна настроить читателя на расслабленный лад.

З. Для меня все-таки смысл вашего стихотворения лучше фокусируется, если войти через блоковский вход. Ибо в двух названных пьесах есть общее пространство, в котором исходная ситуация обыденности вдруг наполняется чем-то иномродным. Допускаю, что это есть у многих и вообще такова общая модель стихотворения, но дело в том, что в «Балаганчике» появляется нечто, что мистики опознают как смерть. В «Незнакомке» это дева-звезда, которая, к слову сказать, рифмуется с (не)упоминаемой вами...

К. Не говорите, я знаю!

З. ...Но еще более важно, что у вас под сакральной буквой подразумевается не только эта рифма и не только литература или творчество как таковое, но и смерть. И буква эта, одна буква, которую вы ощущаете, но названия которой не знаете, — это такой маленький крестик, которым прежде в текстах обозначали смерть рядом с годом, когда человек скончался. Я едва только понял, что озна-

часть эта ваша страшная буква, сразу охватил смысл стихотворения в целом, и все детали его сразу стали означать это самое. Могу, если хотите, привести примеры.

К. Хочу, чтобы вы привели примеры.

З. Прежде всего творчество, половой акт и смерть на уровне архаического мышления, которое давно и прочно прорвалось в образность поэзии нового времени, все эти три феномена — суть одно и то же. Отсюда триединная природа вашей загадочной буквы. Само это триединство ассоциативно связано с троичной природой некоего божества. Но главное — это то, что самое страшное. Вагина описана как страшная, но весь этот страх должен скрыть от себя более глубокий страх — страх смерти. Отсюда такие образы, как, скажем, ястреб, который смертоносен для жаворонков и соек, образ Лазаря, встающего из гроба, упоминание бабушки. А круг, который обводится бенгальским огнем, — это нимб над изображением Иисуса. А сам крест как «буква смерти» — место его распятия. Это, как я понимаю, образы, в которых проявился некий текст на вашем внутреннем, недискурсивном языке. Вы имели в виду смерть и две ее метафоры — творчество и половой акт. Все это страшно, неназываемо. И как раз описывается словами «срамота и стыд, и нежность, и отрада». Ибо и смерть, и творчество, и половой акт могут быть описаны этими словами. Дополнительно могу сказать, что крест, по-гречески «ставрос» (а у вас упоминается зачем-то греческий), фонически связан со срамотой и стыдом. «С», «р», «т» — они как бы анаграмматически задают этот «ставрос».

К. Действительно, я один раз сидел на берегу очень высокого обрыва над Волгой. Это одно из самых красивых мест, которое я когда-либо видел. Пожалуй, одна из самых высоких точек над Волгой. Вокруг меня кружил ястребок, он хотел меня отогнать от своего гнезда. Если существует рай, то, наверное, зрелища, которые наблюдаются там, примерно такие же. Но с другой стороны, стометровый обрыв — конечно, синоним гибели. И это для меня очень глубокая, почти невербальная память. Так что вы все угадали правильно. И может быть, еще правильнее домыслили. Но если бы я это знал в тех категориях, которые вы употребляете, заранее, я бы никогда этого не написал. Потому что двигало мной только недоумение по поводу того, что и радость и ужас могут исчезнуть вместе со мной. То есть это стихотворение для меня было изначально знаком некоторого очень пронзительного состояния, которое я пережил, как будто бы я был около мировых пружин. Как будто бы я вдруг все понял, увидел, как Менделеев свою таблицу. И все оказалось связанным, абсурдным, прекрасным, жалким и отвратительным одновременно. Помните то стихотворение Блока о пляшущей цыганке в раю? Я очень его люблю. И я поражен тем, что со-чувствие может быть аналитическим, мне это очень нравится и излечивает меня от слабости. Мне начинает казаться, что я наглею и создам из тяжести великое. Но согласитесь, что я никогда бы не смог сказать то, что сказали вы во внятных терминах, потому что самопсихоанализа не существует, а если и существует, то на него способен лишь законченный шизофреник.

З. Если я вас правильно понял, вам интересен тот результат, к которому мы пришли, тот дискурсивный итог анализа, который собрал все воедино.

К. Да, мне это интересно как один из способов понимания. Потому что для вашего способа понимания необходимо предельное додумывание. Когнитивный итог для вас всегда имеет эротический пафос. Просто вы так понимаете материал. Это, безусловно, очень интересно, но читатель может понимать и иначе. Не вербализуя. Но ваш способ, в том случае, когда я о нем знаю, мне, конечно, дороже, потому что позволяет посмотреть на самого себя как бы со стороны, увидеть свое фотографическое изображение, понять себя. А понять себя для поэта — всегда возможность двигаться дальше, раскрепоститься, то есть еще сильнее заболеть. Или излечиться, что в поэзии одно и то же.

З. Мне не ясно, какие могут быть иные способы понимания.

К. А фоническое? А ритмическое? А песенное? Неужели чтение стихотворения читателем не может быть в некотором смысле совместным пением?

З. То, что вы перечислили, предполагает не понимание, а эмпатию, сочувствие, досмысловое, поэтому, может быть, более проникающее, но только не понимание, под которым подразумевается смысл.

К. Я с этим не спорю. Я хочу лишь сказать о том, что внимание к стихотворению не может начаться с вашего когнитивного понимания, а начинается с момента очарования. То есть с красоты, с тепла.

З. Все, что вы говорите, естественно, потому что вы боитесь смерти и вам очень ценно человеческое сочувствие, ответное тепло, некое невербальное общение. Читатель вам нужен за тем же, зачем нужна женщина. Отсюда и некоторое совпадение слов, которыми вы описываете читателя, со словами, которыми можно описать женщину.

К. Лучше сказать — любовь. Ее нежность и компромисс, агапэ. Этого любой поэт хочет, он лишь при этом и может писать. Меня поразила ваша настойчивость, ваше желание вложить мое стихотворение в прокрустово ложе ваших объяснений. Но, может быть, это и есть комментирование. Бог весть. Но я хочу все-таки вернуть вас к тексту и напомнить, что смертность и гибельность «лирического героя» заявлены в двух последних строфах, где говорится о «ласковом платке» и «гарной песне», которые накрывают грудную клетку героя, как саван. И если вам движение гаснущего бенгальского огня напоминает нимб, то мне, пожалуй, тоже, только в этом я ничего смертного не вижу, а скорее наоборот.

З. Стало быть, стихотворение не о смерти, а о бессмертии? И та буква «смерть», крестик этот неназванный, — все это досузное выдумки?

К. Нет, вы меня суженно понимаете. Я не протестую против вашего комментария, я просто хочу вам сказать, что вместо смерти я вижу преобразование, переход. Хотя проекции ваших отгадок очень точны. Я соглашаюсь почти со всем, единственное, что хотел бы подчеркнуть, — что у категории смерти, пола и творчества для меня несомненен мощный инфантильный пафос. Я всегда весь антропоморфизм черпаю в ранних детских впечатлениях. А я вообще помню с трех лет (я не шучу, в этом возрасте я получил очень серьезную соматическую травму и начиная с этого момента себя помню). Хочу продолжить свою мысль. Букву отгадывает мальчик, он обводит ее, играя, бенгальским огоньком, наверное, в темной комнате и знает, что это такое, потому что он таким образом отвоевывает самого себя у тьмы, где остается и зрительный след этой буквы, и дух ее жара.

З. Что касается смерти или бессмертия, то с учетом того, что я неверующий, а вы, как я понимаю, человек верующий, так и должно быть. Там, где для меня конец, исчезновение, абсолютное и окончательное, для вас есть переход, преобразование или хотя бы надежда на такой переход. Поэтому, если принять в расчет нашу разность отношения к тому, что может быть после смерти с человеком, понимание пришло к некоему единству, максимально возможному в нашем случае.

К. Хочу вам заметить, что ваш атеизм скорее не является таким абсолютным, как хотите представить вы. Исходя из вашего страстного картезианского интереса, я никогда не поверю, что эти проблемы для вас закрыты. Моя жизнь складывалась так, что я касался смерти близких людей своими собственными руками. Просто на моей родине в Саратове жизнь устроена весьма примитивно. Умершего там хоронят из дома, где он умер. И я был замешан несколько раз в этот процесс от начала до конца. От агонии до поминок. Но

понял одну важную вещь, что, конечно, есть страх смерти, физический и тяжелый, но есть еще другой страх — страх этого страха, который, будучи чисто интеллектуальным, в тысячу раз страшнее, так как дан лишь людям культуры. Поэтому они и страшатся маеты и томления. Когда умирал очень близкий мне человек — моя бабушка, воспитавшая меня, то все действия, связанные с ее уходом из жизни, были для меня настолько тяжелы и мучительны, что я их позабыл и вспомнил только через несколько лет, как это ни дико покажется, в состоянии очевидного счастья, которое переживал тогда. И вот это счастье позволило мне подробнейшим образом вспомнить, что происходило раньше. Об этом я написал роман, в котором проанализировал каждый миг ухода человека и соответствующие механизмы психики, вытесняющие реальный страх и ужас. С тех пор это мое понимание стало очень важным мотивом. Во всяком случае, я понял, что смерть — это не военный рубеж, а некое кишение, дисперсия и мы в это погружены. Мы не должны об этом думать, нам помогает естественная брезгливость. Но мне доводилось руками осязать, как из человека уходит дух. И тогда я понял, что смерти как ритуальной суммы бояться не стоит. Ведь знаете, как называют труп, какие синонимы приводит Даль: мертвечина, валь, туша.

З. Иными словами, этих предутренних страхов, ощущения, что все напрасно, коль скоро так ненадолго, у вас нет?

К. Почему же, очень даже есть, но я боюсь не потому, что ненадолго, а потому, что все остальное безвозвратно: любовь, творчество, да и смерть тоже. Рискую навлечь на себя ваше раздражение, но хочу припомнить Фета, который был атеистом. В стихотворении, посвященном Бржеской, он прямо говорит, чего будет жаль. Не жизни и не смерти, а огня. «А жаль того огня, что просиял над целым мирозданьем, и в ночь идет, и плачет уходя». К сожалению, об этом сказать можно, только лишь написав какое-то другое стихотворение, потому что для внятного ответа прозой не хватит средств... Ибо эти темы таковы, что требуют строительства особых контекстов — доверия и соборности, с чем справляется только стих.

З. Скажите, пожалуйста, мои догадки о букве под названием «смерть» были для вас неожиданностью, то есть вы до нашего диалогического анализа знали этот смысл стихотворения или нет? Или он жил в вас на уровне смутного ощущения, которое вам просто не требовалось облекать мясом слов?

К. Это так, я соглашаюсь с вами, это так; для меня это было ясно тематически, как в музыкальном произведении, я это понимал контекстуально, я это хотел сказать. И то, как вы это точно поняли, меня и испугало, и обрадовало. Испугало потому, что, когда вы это мне говорили — о знаке креста и о греческом звучании слова «крест», меня не отпускало ощущение, что я присутствую при сакральном преступлении, чем вообще-то и является анализ. Наверное, понимание искусства вообще сакрально и молчаливо, и когда для меня ваш анализ был явлен с такой же лирической убедительностью, с какой некто водел моей рукой, когда я писал это стихотворение, то я испугался. И почувствовал себя марионеткой. Честно говоря, я пережил экстаз, какую-то внутреннюю истерику. И я не хотел, чтобы вы это про меня знали. Но с другой стороны, ведь именно это я и сказал. То есть в итоге анализа раздвоилось мое «я», как будто бы кто-то наблюдал меня голым, или во время поцелуя, или в то время, когда я за чем-то подглядываю.

З. Вы, поэты, и впрямь существа парадоксальные. Зачем тогда писать послание, которое, будучи понятым, хотя и с огромным трудом, и даже с вашей помощью, потом вгоняет вас в стресс, потому что, во-первых, вы сами поняли его смысл, а во-вторых, это понимание разделили с другим, а как известно, ад — это другие. Я наконец понимаю с вашей помощью абсурдную природу лирического высказывания как такового. И возникает вопрос: зачем такой текст потом дово-

доть до чьего-то сведения или даже понимания? Тут одни противоречия громоздятся на другие. И их так много, что тут уже не до страха смерти.

К. Хочу заметить, что лишь сложная система, которую вы описали, может существовать. В обозначенных вами противоречиях, в сомнительности, тонкости и заключается, на мой взгляд, сила, связанная вообще с возможностью высказаться в искусстве. Для меня несомненно: сила заключается именно в слабости, беззащитности и непоследовательности. Поэт благодаря некоему качеству может говорить ничтожные и высокие речи, то есть то, что все знают, но не говорят. Экссесс, который я упомянул выше, связан с тем, что вами было сказано, о чем говорить не принято. Но для того, чтобы вы это сказали, вам понадобился я. Во всяком случае, так я оправдываю наши беседы. А откуда берутся подобные речи, которые бывают стихами, к счастью, не знает никто. Они просто есть. Когда они написаны — они данность. Мне бы хотелось, чтоб Бог тоже так хотел.

3. Вообще говоря, мы исчерпали темы, на которые провоцирует анализ этого стихотворения. Меня, литературоведа-позитивиста, твердо знающего, что смысл есть в любом тексте, что его надо искать — и он найдется, интересовал как сам этот смысл, который мы обрисовали, то есть я назвал, номинировал, а вы утвердили своей резолюцией, так и обстоятельства формирования лирического высказывания вами и производства истины мною при вашем участии (хотя и не без известного сопротивления). Единственное, что меня угнетает, так это неединственность смысла. То есть не исключено, что я мог реконструировать что-то немного иное, а вы и это бы санкционировали, поскольку вас это могло устроить, показалось бы похожим на то, что вы неосознанно делали, и т. д. Я страдаю из-за этой неуловимости смысла, превращающейся в его неединственность.

К. Я рад, что даже после такого длительного анализа у вас осталось ощущение множественности, то есть вы утвердили меня в том, что смысл бывает в искусстве больше нашего конкретного понимания. Я почему-то вспомнил одну замечательную картину Леонардо да Винчи, «Благовещение», где ангел, принесший весть Марии, читающей книгу, настолько сосредоточен на своей вести, сообщении, что помрачен и смотрит исподлобья. Какой в этом смысл? Этот взгляд, эта светлая мрачность заставляют нас думать об этом еще и еще.

Санкт-Петербург.

НЕЕДИНСТВЕННОСТЬ СМЫСЛА: ШУТКА

Я не позитивист-психоаналитик, у меня иная метода извлечения «смысла» из поэтической акции, и я никогда не позволила бы себе предать свою доморощенную шутку гласности, когда бы об этом не попросил меня сам автор загадочного стихотворения — тоже в телефонном (междугородном, межстоличном) разговоре. Видно, так ему хотелось остаться после сеанса живосечения не до конца распотрошенным, что сушая безделица показалаась не лишней...

Вот эта выдумка (настаиваю: не более чем выдумка). «Пять букв», из которых с такой фрейдистской отвагой сложил заборное русское слово доктор Золотоносов, могут быть при желании заменены другими буквами — и конечная отгадка получится немного другая. Две греческих — «пси» и «ипсилон», две кириллицей — «хер» и «есть», а последняя, о которой «лучше не спрашивать», та, кою бессилен назвать сам сочинитель, та, что «выглядит ужасно, в волосне, небритая», — это пресловутая буква «я», на которую, как на крючок, мы вешаем свою самость. Целое же, как нетрудно теперь догадаться: ПСИХЕЯ. Дальше все пойдет как по маслу: и «окунание» души-психеи в некий баптистерий — погружение в смерть, и вос-

стание ее — Лазарем — из гроба, и прочее, и прочее, открывающее новый простор для упражнений, стоило нам лишь слегка переместиться от Фрейда к Юнгу и обновить запас психоаналитических отмычек.

Впрочем, «душа» в стихотворении действительно присутствует, потому что это хорошее стихотворение, а не шарада. А смысл... Там есть острый намек на божественность физиологического и физиологичность божественного, острый, личный, своеобразный намек, — но продолжать не буду, не мое это сейчас дело.

Лучше добавлю несколько слов о методологии. То, что психоаналитику открывается с м ы с л художественного произведения, — заблуждение. Ему открываются и н в а р и а н т ы («комплексы» — фрейдисту, «архетипы» — юнгианцу), извлекаемые из бесчисленного множества творений и иллюстрирующие его гипотезы об общем устройстве человеческой психики. Если подходить к произведению как к сырью, как к «письменной продукции» пациента (говоря языком психиатрии), то такие инварианты, как *смерть*, *пол* и *творческий акт*, можно наскрести где угодно — и притом не без оснований.

Вот у Цветаевой: *«Стихи растут, как звезды и как розы, / Как красота — ненужная в семье. / А на венцы и на апофеозы — / Один ответ: — Откуда мне сие? // Мы спим — и вот, сквозь каменные плиты, / Небесный гость в четыре лепестка. / О мир, пойми! Певцом — во сне — открыты / Закон звезды и формула цветка»*. Здесь и пол в его специфике эроса и наслаждения (ненужная в семье красота), и элемент абсурда (звезды не «растут»), и скрытая цитата (Лк. 1: 43), как и у Кононова, введенная скорее для отвода глаз от главной цепочки: *пол — смерть/сон — творчество* (смерть — неназванная: «каменные плиты»; «четыре лепестка» — не то крестик, не то мандала — знак смерти и воскресения через творческий сон). У Михаила Золотоносова, безусловно владеющего своим инструментарием, все бы это уяснилось куда стройней, чем в моей дилетантской имитации (если не пародии). Но фокус в том, что при наличии одних и тех же инвариантов каждое из этих стихотворений совершенно автономно, подобно живому существу, несущему в себе собственную цель и уникальное присутствие в мире.

Каждый поэт (как и человек вообще) — штучное изделие, выходящее из рук Божиих. Каждое творение — прибавление к уже бывшему прежде не бывшего, и в этой персональной добавке если не весь смысл, то вся соль, та блаженная «щепоть соли», которая остается и пленяет после вынесения за скобки общих коэффициентов, добытых психоаналитической аутопсией.

Ирина РОДНЯНСКАЯ.

СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ

*

В РУССКОМ ЖАНРЕ

Над страницами «Войны и мира»

Мой покойный дядюшка, ленинградский художник, некогда сказал мне, что «Войну и мир» читаешь всю жизнь, и в тридцать иначе, чем в двадцать, в сорок иначе, чем в тридцать, и т. д., пока не загнешься. Мысль как бы общая, просто я впервые услышал ее от дяди: я и в самом деле не раз заставлял его с томом «Войны и мира» в разные годы.

Я до сих пор, то есть до моих пятидесяти двух лет, читал ВМ (позволю далее так, для общего нашего с читателем удобства) четыре раза.

Первый — в пятнадцать лет, год, который особо помню, мой рубежный год; ВМ — первая «серьезная» книга после Уэллса и Алексея Н. Толстого.

Второй — примерно в двадцать, студентом, с отчетливым эстетическим наслаждением, заслоняющим иные впечатления; любимыми писателями в ту пору были Бунин и Хемингуэй, но более читал поэтов.

Третий — между тридцатью и сорока, легко, бегло, как бы свысока: всю помню, ничего, оказывается, нового.

Четвертый — в пору наивысшего увлечения Достоевским, лет в сорок; ВМ показалась книгой поверхностной, чуть ли не плоской, кроме батальных сцен; даже не стал дочитывать.

Разумеется, во все эти годы я по тому или иному поводу или так залезал в ВМ, и общее ощущение исчерпанности книги оставалось. И вот сравнительно недавно как-то безотчетно раскрыл ВМ. Впрочем, вру, скорее всего все-таки из-за Достоевского: обчитавшись его, взял Толстого. Русские читатели обречены на этот маятник: Толстой — Достоевский — Толстой.

Оказалось — дядя, ау! — и в самом деле чтение новым, что привело к заметкам. Но лишь подумал: может быть, сложатся заметочки-то в целое, публикуемое, — как мысли враз перестали являться, а удовольствие от чтения было отравлено. Все-таки что-то осталось.

Все имеют право на личное отношение к гению. В школе № 3, где я учился, в конце главного коридора стоял гипсовый крашенный бюст Толстого. На его коричневом лбу всегда было написано одно и то же: «Война и мир». Сколько раз за день эта надпись стиралась, столько же и возобновлялась. Шли годы, сменялись ученики и завучи, ловились с поличным исполнители, а она оставалась, бессмертная, как сам роман.

Слова эти, Война и мир, возникли в раннем детстве, когда учился читать: в книжном шкафу два кремново-белых тома, в твердом картоне, на пре-

Боровиков Сергей Григорьевич — критик, эссеист. Главный редактор саратовского журнала «Волга».

Его многочастный цикл «В русском жанре» печатался в журналах «Новый мир», «Волга», «Знамя», ныне издан отдельной книгой (Саратов, Издательский дом «Пароход», 1999). Мы предлагаем вниманию читателей новую, пятнадцатую по общему счету и третью по номерному, порцию своеобразной эссеистики Сергея Боровикова.

красной, чуть желтоватой бумаге. Позже определил место изготовления. В моем детстве было немало книг, в которых типография обозначалась номером: это значило, что печатали их в побежденной Германии. Помимо вывесок, с которых почти каждый осваивает практическую грамоту, у меня были еще корешки книг в шкафу. Кроме Войны и мира запомнились белой краской по синему Первые радиостанции; путаница в прочтении названия фединского романа произошла потому, что мечтал стать, как старший брат, радиолобителем, все листал его журналы «Радио» с красивыми схемами, фотографиями ламп, трансформаторов и проч.

Когда узнал (вероятно) студентом о смысле, вложенном Толстым в название Война и миръ и утраченном из-за новой орфографии, был как бы уязвлен, настолько привычным было воспринимать его именно как чередование войны и не войны.

Все помнят, конечно, переключку глав I тома: бал у Ростовых — смерть Безухова-отца. Возню вокруг завещания, мозаиковый портфель, улыбку умирающего, и воду, разлитую на ковре, и докторов. Но лишь сейчас я впервые обратил внимание на присутствие гробовщиков, на то, как это сделано.

В общем абзаце о том, что граф Безухов безнадежен, есть и такая фраза: «Вне дома, за воротами толпились, скрываясь от подъезжающих экипажей, гробовщики, ожидая богатого заказа на похороны графа».

В следующей главе картина дана глазами Пьера, не понимающего ее: «В то время, как он сходил с подножки, два человека в мещанской одежде торопливо отбежали от подъезда в тень стены. Приостановившись, Пьер разглядел в тени дома с обеих сторон еще несколько таких же людей».

Создается полное и зловещее уподобление гробовщиков воронью, чуть взлетающему и тотчас садящемуся невдалеке от будущей поживы. Если бы Толстой не разнес сказанное на две части: сообщение и спустя несколько страниц картина, — подобного эффекта бы не достиг. А иной писатель просто мог прямо сравнить гробовщиков с вороньем.

Пушкинский гробовщик тоже караулил заказ. И, может быть, ко всем, уже подмеченным, пародирующим классику эпизодам «Двенадцати стульев» следует отнести и сцену с умирающей тещей Воробьянинова?

На расстоянии десятка страниц первого тома повторяют друг друга характеристики состояния Наполеона и Николая Ростова.

Наполеон: «Перед утром он задремал на несколько часов и, здоровый, веселый, свежий, в том счастливом расположении духа, в котором все кажется возможным и все удастся, сел на лошадь и выехал в поле» (ч. III, гл. XIV).

«Сменившись из цепи, Ростов успел соснуть несколько часов перед утром и чувствовал себя веселым, смелым, решительным, с тою упругостью движений, уверенностью в свое счастье и в том расположении духа, в котором все кажется легко, весело и возможно» (ч. III, гл. XVII).

Что это — небрежность или нарочитость? Скорее всего, первое.

Глаза Александра I то голубые (ч. III, гл. X), то серые (ч. III, гл. XIV).

Пьер беззуб смолоду. Беззубым смолоду был и Лев Николаевич. Станным образом отсутствие зубов соотносится, когда узнаешь это, с напряженной умственной и нравственной работой.

«Карее лицо Багратиона», конечно, останавливает. И Даль «карий» относит лишь к цвету глаз и конской масти. Я пытался искать в ряду синонимов: коричневый, смуглый, желтый, загорелый и проч., но тщетно.

«Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка». Как бы явный перебор с суффиксами, и без того определения предполагают крайнюю степень, куда ж еще уменьшать, однако попробуйте исправить!

У Наташи широкая шея и большой рот. Об этом сообщается в одной из первых сцен с ее участием — зачем, ведь ей суждено стать главной, всеми любимой женщиной романа? Наверное, не зачем, а потому, что автор зримо видел ее, живого человека. Этого нельзя сказать о Пьере или князе Андрее. Они составлены из черт, но не так живо зримы.

Любовь Болконского к Наташе одно из самых натяжных мест в романе. То ли дуб школьный проклятый виноват, но вся эта закругленная история с увяданием-расцветом исполнена фальши и нажима.

Вообще то, что все относительно молодые персонажи (Борис, Пьер, Денисов, Анатолий, Болконский) влюбляются в Наташу, заметно задано. Толстой решил вывести женственность в чистом виде, со всем лучшим и худшим, что присуще женщине, и, кажется, переборщил.

Как ни пылок, к примеру, Денисов, но в серьезность его сватовства не верится.

Но вот брак княжны Марьи и Николая — сама естественность. В начале о Марье обронено, что желала «земной любви». Лучистый взгляд, тяжелые конечности, кротость. Неловкая, крупная. Подобраный, однозначный, темпераментный, невысокий Ростов. Они должны быть счастливы во всем, тем более что не влюблялись страстно, но словно бы выбрали друг друга. У них почти брак по расчету, то есть самый крепкий брак у порядочных людей.

Долохову 27 лет. Он влюблен в Соню. Ей — 16. В игре с Ростовым он идет до 43 тысяч — почему? $27+16=43$.

В Долохове воплощена модель поведения обреченно несчастливого человека. Человека, рожденного несчастным. В сущности, Долохов лишь полярный вариант Башмачкина: один предельно самоутверждается, другой предельно самоунижается. Человеку нормы, не обреченному, не загнанному судьбою, уход в эти крайности возможен в малой степени, не до края.

Самое симпатичное лицо романа — Денисов, — вероятно, потому, что автор на нем не сосредоточен. На втором месте — граф Илья Андреевич, но так как его обрисовке уделено больше внимания, то и чувства непосредственного меньше. Герои второго или третьего плана — какой-нибудь Алпатыч или дядюшкина Анисья Федоровна и другие — интереснее, живее и тем симпатичнее главных. Чем более важное место занимает в ВМ герой, тем меньше живого чувства он вызывает. Прежде всего это относится к Андрею Болконскому и Наташе.

Впрочем, и в «Анне Карениной» Стива милее и понятнее Лёвина.

Как упиваются автор и персонажи своим дворянством! Толстому дорого все, что есть дворянство, и этим он заражает читателя. Герои же ни на минуту не забывают о своем происхождении. И почему они непременно в каждой фразе прибавляют в обращениях друг к другу титул, хоть сто раз кряду? Достоевский точно подметил, что Толстой — это писатель дворянства. Ведь, скажем, в прозе Пушкина отсутствует эта дворянская спесь, словно масляная пленка по воде покрывающая все содержание.

В оценке Достоевского присутствует и крайне верный смысл дворянской ограниченности персонажей Толстого. Наши советские вульгаристы 20-х годов были, конечно, бьяки, но куда же вовсе денешь классовость? Реалии: благородства, патриотизма и проч. Болконских, Безуховых, Ростовых основаны и на

незыблемости порядка вещей, в котором они существуют. Отними у князя Андрея Лысье Горы, Богучарово и проч.? И все напряженные духовные поиски Пьера возможны ли без его гигантского состояния? Когда Николай Ростов, при всем благородстве, оказался без оброка, то сидел дома и курил трубку, и лишь деньги жены вернули его к жизни.

И хоть заявлено, что князь Андрей считал для себя постыдным, подобно другим, «пошло презирать» Сперанского «в качестве кутейника и поповича», именно простонародность и ничто иное смущает его в Сперанском. Он умом отдает должное усилиям для достижения высокого положения, на которое тот, в отличие от него, кн. Болконского, должен был взбираться из поповичей, и вместе с тем все, князя раздражающее: излишнее преклонение министра пред умом, широкие от природы и изнеженные руки, белый, как у солдата в госпитале (убийственное сравнение!), цвет кожи, неумение угощать гостей и проч. — все из того, что Сперанский — не аристократ.

Честь как высшая привилегия дворянства высоко развита у Болконского, что не мешает ему «тыкать» Пьеру, быть весьма невеликодушным по отношению к нелюбимой жене, а затем к любимой Наташе.

Более того, Болконский способен вести себя, как чиновник самого мелкого пошиба. Он, испытывающий унижение в приемной у всемогущего Аракчева, сам ведет себя только что не хуже, будучи адъютантом Кутузова. Прежде я как-то пролетал эту сцену, и, быть может, другими это давно сделанное открытие, но для меня князь Андрей открылся в ней не менее значительно, чем у дуба или на Аустерлицком поле.

«В приемной было человек десять офицеров и генералов. В то время, как взшел Борис, князь Андрей, презрительно прищурившись (с тем особенным видом учтивой усталости, которая ясно говорит, что, коли бы не моя обязанность, я бы минуту с вами не стал разговаривать), выслушивал старого русского генерала в орденах, который почти на цыпочках, навтыяжке, с солдатским подобострастным выражением багрового лица что-то докладывал князю Андрею.

— Очень хорошо, извольте подождать, — сказал он генералу по-русски, тем французским выговором, которым он говорил, когда хотел говорить презрительно, и, заметив Бориса, не обращаясь более к генералу (который с улыбкой бегал за ним, прося еще что-то выслушать), князь Андрей с веселой улыбкой, кивая ему, обратился к Борису».

На Бориса эта сцена произвела надлежащее воспитательное впечатление.

А сам Толстой — за наших или за ихних? Не заметно сочувствия багровому, униженному, вероятно, заслуженному генералу, да и весь контекст сцены не позволяет видеть в ней акцент на не лучших качествах центрального героя.

От царя и до самого юного офицера русские дворяне меж собою говорят по-французски, воюя с Францией. Это в столице вводится полушуточный штраф за употребление вражеского языка — для игры. А здесь, на фронте, переведены даже имена собственные:

«— Les huzards de Pavlograd? — вопросительно сказал он.

— La réserve, sire! — отвечал чей-то голос».

Представилось, что Сталин с Жуковым или комдив с комбатом изыясняются по-немецки в 1942 году... Чисто комедийная картина.

Кто первым стал беллетризовать русскую историю? Карамзин? Пушкин? Почему, зная его предшественников, все равно видишь родоначальником русской исторической романистики автора «Войны и мира»? Почему не от Пушкина повели бесконечный свой ряд романисты, особенно советских пор, «исповедующие толстовский реализм»? Отчего именно его приемы оказались столь заманчивыми для воспроизведения?

Один из ответов: уравнивание людей великих и обыденных. Как, должно быть, волнующе-приятно было какому-нибудь беллетристу приступать к сценам с участием властителей мира...

В кабинете у графа Ростова мужчины курят. Желчный умник Шиншин, «запустив себе далеко в рот янтарь, порывисто втягивал дым и жмурился», а свежий, туповатый Берг «держал янтарь у середины рта и розовыми губами слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из красивого рта».

Это типично толстовская точность, которая выдерживалась далеко не всеми даже и великими писателями. Натура, психология, внешность, поступок, привычка — этот ряд обычно безупречен у Толстого, притом в любом, в том числе и бытовом, антураже, в физиологии.

И морщинистый остроумец-холостяк Шиншин курит по-настоящему, глубоко затягиваясь, куренье для него — та же потребность, что и злословье, тогда как Берг курит лишь напоказ, чтобы быть как все, он даже не затягивается: каждый курильщик знает, что колечки можно выпускать лишь не пустив дым далее рта, колечек из легких уже не выдохнешь.

С начала романа и далее везде задеваются немцы. Толстой, в отличие от Достоевского, не имеет репутации националиста, однако ж, если поляки и евреи его мало волнуют, немцам он готов всыпать при каждом удобном случае. Это и радостный дурак Берг, и губернёр-немец, страдающий за обедом из-за того, что дворецкий обнес его бутылкою: «Немец жмурился, старался показать вид, что и не желал получить этого вина, но обижался потому, что никто не хотел понять, что вино нужно было ему не для того, чтобы утолить жажду, не из жадности, а из добросовестной любознательности»: он в письмах домашним в Германию подробно все описывал.

Особенно злобно высмеиваются немецкие военные принципы, ставшее пресловутой формулой неметчины «ди эрсте колонн марширт... ди цвайте колонн марширт... ди дритте колонн марширт»... Слова князя Андрея: «В его немецкой голове только рассуждения, не стоящие выеденного яйца», — относятся не к кому-нибудь, а к самому Клаузевицу.

Вообще во всем, что касается соотнесения русского и иностранного, автор «Войны и мира» проявляет себя крайним патриотом.

Определение «дореволюционный» («дореволюционная мебель» в московском доме Болконских) режет глаз, настолько срослось для нас с иной эпохой.

Так и употребление глагола «достать» в смысле приобрести принадлежало, как мне казалось, новейшему, может быть даже советскому времени, и тем не менее: «В этот вечер Ростовы поехали в оперу, на которую Марья Дмитриевна достала билет». А вот и употребление махрового газетного штампа, за которые ругали начинающих журналистов: «Факт тот — что прежние позиции были сильнее».

А вот — удивление уже иного порядка: Долохов в Москве в моде, «на него зовут, как на стерлядь». Но позвольте, стерляди-то, нам казалось, а г-н Говорухин еще укрепил, стерляди в той России было невпроворот, а здесь — элита, верхушка, знать, а поди ж!..

«— Вы пьете водку, граф? — сказала княжна Марья».

«...слушая, как он курил трубку за трубкой...»

«...пробравшись лесом через Днепр...»

«...подняв сзади кверху свою мягкую ногу...»

«Позади их, с улыбкой, наклоненная ухом ко рту Жюли, виднелась гладко причесанная, красивая голова Бориса».

«...по доскам моста раздались прозрачные звуки копыт».

«...казак, засучив рукава, рубил баранину... Через десять минут был готов стол... и жареная баранина с солью». За десять минут невозможно пожарить баранину.

Лев Николаевич не раз признавался, что любит Александра Дюма, а «Графа Монте-Кристо» прочел не отрываясь, санной дорожкой от Москвы до Казани.

Следы этой любви можно обнаружить и во фразах типа: «Кошелек его всегда был пуст, потому что открыт для всех», — или: «Наташа танцевала превосходно. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени»; и в самом построении ВМ сюжетно-фабульные приемы несут куда более влияния Дюма, чем, скажем, Вальтера Скотта или русских предшественников Толстого.

«...нравственно согнув свою старую голову...»

Наташа о морально обновленном Пьере: «точно из бани...» Ох!

Не очень верится в состояние Пьера перед женитьбой. Хотя Толстой и напирает на его чисто плотское чувство к Элен, но показывает Пьера очень уж по-мальчишески целомудренно-растерянным, тогда как Пьер имел достаточный опыт разврата.

Вообще с возрастом Пьера постоянно натяжки. В первых главах он представлен прямо-таки мальчиком. Ему двадцать лет. В двадцать семь он уже показан «отставным добродушно доживающим свой век в Москве камергером, каких были сотни».

Меж тем в эти же семь лет отношения его с князем Андреем как бы застыли, что проявляется и в одностороннем «тыканье» ему Болконским, и во взгляде на него Пьера — снизу вверх, хотя положенье их разительно переменилось.

Портрет Пьера множится, разнится как бы при перелистывании альбома с фотографиями, когда один человек предстает неузнаваемо разным в разные периоды и в разном окружении, и при быстром перелистывании воображение отказывается признавать в фото единую личность.

«— Каково! — говорил он, развертывая, как лавочник, кусок материи». Это граф-заговорщик Пьер Безухов в Эпизоде. Толстой, словно поняв, что пора наконец закругляться, натолкал в Эпизод на малое пространство многое из припасенного, оттого так неожиданно-ненужно явление забытого Денисова, оттого опять так неузнаваем Пьер в роли одновременно страстного мужа, карбонария, любящего отца, хозяйственного главы семейства, даже уподобляемого лавочнику с его привезенными дарами, и речами либерального публициста поздних времен: «В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения; мучат народ, просвещение душат. Что молодо, честно — то губят!»

Почему именно Пьер таков, с его разносторонними метаньями, и почему на него возложено несоразмерно более, чем на других: так ли уж было бы неестественно стать Болконскому вольным каменщиком, а пылкому Ростову замыслить убить узурпатора, а Долохову, по всей его натуре и «биографии», — прямая дорога в декабристы...

Быть может, все дело в том, что он не Петр, а Пьер, безотцовщина, выросший на чужой стороне? Недаром Денисов, слушая его обличительный монолог, поминает колбасников.

Может быть, и эстафета его к сироте Николеньке не столько в воображаемых заветах Николенькиного отца, но в родстве сирот?

«...той самой дорогóй роскоши, состоящей в таком роде жизни... что всякую минуту можно изменить его».

В чудачествах старика Болконского вроде вытачивания на токарном станке никому не нужных табакерок видится предвосхищение чудачеств собственных — вроде тачания сапог. У Болконского же были «серые висячие брови, иногда — как он насупливался — застилавшие блеск умных и молодых блестящих глаз».

Одно из лучших мест в романе, по-моему, — приезд князя Андрея при отступлении от Смоленска в брошенные Лысье Горы, встреча с глухим старым крестьянином в оранжерее, который «сидел на лавке, на которой любил сиживать старый князь, и около него было развешено лычко на сучках обломанной и засохшей магнолии». Уезжая, он видит того же старика на том же месте: «Все так же безучастно, как муха на лице дорогого мертвеца, сидел старик и стучал по колодке лаптя...»

А если бы без «дорогого»: словно муха на лице мертвеца? В таких фразах гений вспыхивает, давая о себе более понятия, чем другой «обычный» десяток его же страниц.

«Хорошо ли или дурно, всегда надо писать. Ежели пишешь, то привыкаешь к труду и образовываешь слог, хотя и без прямой пользы. Ежели же не пишешь, увлекаешься и делаешь глупости. Натощак пишется лучше» (Л. Н. Толстой, «Дневник», 29 июля 1853 года. Выделено им).

Может быть, вся последующая жизнь Льва Николаевича во многом явилась следствием создания и успеха «Войны и мира»? Поставив и выполнив немислимо трудную задачу и столь рано, в сорок лет, достигнув той высоты признания и славы, что является целью писательской жизни, имея графство, Ясную Поляну, семью, детей, опыт военный и педагогический, хозяйственный и светский, знание книжное и житейское, то есть реализовав практически все то, чего большинству людей, в том числе и литераторов, и краешком не задеть, он просто-напросто заскучал. Ему стало не интересно. Требовалась иная, более высокая стезя.

Притом он до конца оставался тем графом Толстым, что воевал, кутил или писал «Войну и мир». Последний листок из последней записной книжки его содержит два рода записей, сделанных уже во время великого Ухода.

«Замыслы. Их всего четыре. Один — лошадь. Другой — священник. Третий — любовный роман. Четвертый — охота и дуэль». И это воображение старца на краю могилы!

И еще, опростившийся, собиравшийся поселиться в крестьянской избе граф записывает предметы первой для него необходимости:

«Мыло.

Ногтевая щеточка.

Блок-нот.

Кофе.

Губка».

Последние строки, сделанные им в «Дневнике», уже в Астапово, 3 ноября 1910 года, — это недописанная французская фраза: «Fais ce que doit, adv...» (Делай что должно, и пусть будет, что будет), — и начало другой: «И все на благо и другим, и, главное, мне...»

Саратов.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА

*

ДВА ПОЛЮСА РУССКОГО ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ

Проза Георгия Иванова и Владимира Набокова-Сирина

В наше время не требуется особо объяснять, что такое экзистенциальное сознание: мы уже пережили и расцвет, и угасание целого европейского философского направления — экзистенциализма, концептуализировавшего основные направления этого сознания. Известно, что в нем человеческое «я», человек как таковой поставляется лицом к лицу к тому, что французы называют «condition humaine», к «условиям человеческого существования», исходящим из его смертного статуса, — условия эти очерчивают метафизическую участь человека в мире, роковые пределы его судьбы, такие первичные реальности его бытия, как физическая конечность, природа, время, Бог, свобода, «другие», тоска и боль, одиночество и отчаяние...

Интересно, что именно в литературе русского зарубежья, прежде всего в творчестве молодого его поколения, это сознание выразило себя в предельной остроте и тотальности, представив нередко чистые образцы экзистенциальной литературы. И для того существовали свои причины, уходящие в самый тип бытования эмигрантского литератора, особенно чувствительно испытавшего на себе катастрофичность своего времени, его мировоззренческую шаткость, но главное — выброшенного в социальную пустоту, в одиночество, в безнадежность. Все эти литераторы так или иначе прошли через своего рода *пограничную ситуацию*, через смерть себя прежних, в родной почве, в потенциально гарантированном (рождением или трудом) общественном, профессиональном положении. Они были исторгнуты в классическую экзистенциальную ситуацию *заброшенности* (по позднейшему определению), здесь — буквальной заброшенности в чужой, «абсурдный» мир, *посторонность*, одиночество. История очертила вокруг них некий трансцендентно-непереходимый рубеж, за которым лежало то, что стало им абсолютно и навеки недоступно, — былая Россия, их потерянный рай (ощущение, сильнее всего выраженное Набоковым).

Писатели этого поколения, можно сказать, органично для себя воплотили одну из важнейших черт экзистенциального сознания: отталкивание от всякой генерализации, общих понятий и идей, тем более с большой буквы, от всяких институций, всего общественного, гуртового, коллективного — нечто обратное духу и процессам в магистральной линии тогдашней литературы метрополии.

Поплавский увидел свое писательское поколение как целую школу со своей «заветной тенденцией», как когорту творцов экзистенциальной ориентации на метафизику, смерть, «мистическую обиду умирать»... «Смерть есть ложка дегтю или яду, которую следует влить в медовую бочку буржуазного са-

Семенова Светлана Григорьевна — литературовед, философ. Родилась в Чите, окончила романо-германское отделение филологического факультета МГУ и аспирантуру Литературного института им. А. М. Горького. Доктор филологических наук, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, автор многочисленных статей по русской и западной литературе и философии, книг «Валентин Распутин» (1987), «Преодоление трагедии. Вечные вопросы в литературе» (1989), «Николай Федоров. Творчество жизни» (1990), «Тайны Царствия Небесного» (1994).

моупоения жизнью», — задача, поставленная себе новой литературой, совпадает здесь с отправным моментом экзистенциальной нравственной мысли, с тем, что она называет *пробуждением*: вырвать человека из существования в *тап* (нем.: безличное местоимение), из того отрегулированного автоматизма, в котором он осуществляет свой проторенный социальный удел, из самодовольства положением и успехом, своей общественной ролью, открыть ему истинное бытие, «бытие-к-смерти», пропитанное тоской и отчаянием конечности.

Молодым эмигрантским писателям это было сделать не так уж трудно — «самоупоение» им не грозило, налаженный общественный автоматизм тоже: ночи в монпарнасских кафе, часто за единственной чашкой кофе и разговорами «русских мальчиков», днем — сон, добывание денег, черная работа, писание стихов, дневников, прозы, опредмечивание того, что в экзистенциальной чистоте должно было бы остаться в мигах жизни, внутри себя, рассеяться в воздухе... К тому же более устроившиеся «старшие» со своими заслугами, именами, идеальной жизнью в идеально прекрасной прошлой России, со своими газетами, журналами, объединениями не особенно спешили брать в русскую литературу это странное, асоциальное, декадентское, чуждое племя. И оно отвечало своим вызовом: «Нужно ли стремиться „войти“ в литературу, не нужно ли скорее желать из литературы „выйти“?» (Поплавский). Куда же *выходить*?

Выходили и в устную, эфемерную кафеиную культуру, в импровизации и споры, в мгновенно вспыхивающий словесный образ и мысль, обращенные к «ты», к собеседнику, к кругу друзей или оппонентов, и в такие экзистенциальные документы, фиксирующие «факты духовной жизни», как «частное письмо, дневник и психоаналитическая стенограмма» (Поплавский). Стиснутые снаружи, выходили вовнутрь — и тогда одним из общих слов, почти терминов, становилось слово «путешествие», но чаще всего как путешествие, так сказать, по вертикали, в самого себя. При этом «я» их «субъективной, дневниковой литературы» (Поплавский), даже когда речь идет о повести и романе, роется в таких глубинах, фиксирует такие физиологические, странные, шокирующие пласты своего бытия, какие оставляла за бортом литература старших. Надо учитывать и мощную западную прививку, которую получили именно молодые эмигрантские писатели (прустовских и джойсовских уроков «потока сознания», эстетики «проклятых поэтов», сюрреалистического автоматического письма, фрейдизма и феноменологии), и разрушали они традиционную «стыдливость» русской литературы, как выражался тот же Поплавский, вполне сознательно.

В своей экзистенциальной искренности, мужестве видеть и знать *выходили* к безобразным, страшным, кричаще-трагическим сторонам жизни, не желая камуфлировать их, осенять эстетически надушенным опухалом, не приемля меры, пристойности, которых относительно держалась классическая литература, — выставляя физиологию болезни, умирания, жизни тела в ее низовых, дурно пахнущих разрезах. И Шмелев, и Зайцев, и Бунин видят в мире то, что остается в нем как тварная, божественная основа, то, что называется «мир Божий», — да, эта основа искажена, но есть, именно ее проблески, искры Божьего творения ловят и передают они сквозь все уродства и деформации падшего мира. Экзистенциальные писатели особенно настаивают на оборотной стороне, изнанке бытия, болезненно-маниакально внедряются в нее. Не забудем, что экзистенциальное сознание заостряется как раз в состоянии неверия и богооставленности, стоя на сильнейшем переживании смерти, обесмысливающей бытие, да разве что на достойном стоическом противостоянии абсурду.

Итак, *выходили* из социальности в метафизику, чаще всего темную и безнадёжную, обнажавшую изнанку жизни и ее трагизм (Г. Иванов, Газданов), но и чающую радикального преобразования естества (в религиозной ветви, у Поплавского и В. Яновского). *Выходили* в отчаяние и погребель как лозунг, в жизнь «не в истории, а в эсхатологии», в «апокалипсическое искусство» (Поплавский). По последнему счету и расчету идет разговор, звучит предельно патетическая, религиозная нота «Горе смеющимся!» — раз нет удачи, срединного устройства, то и надо в своей нищете, неустроенности, униженности уви-

деть острый и истинный рельеф условий человеческого существования. И тогда отбрасывалось традиционное делание художественной вещи: не писали, не мастерили, как полагается, а как кричалось и стоналось. *Выходили* и в эпатирующее отрицание красоты искусства и чистенькой, благополучной духовной жизни ради индивидуальной жизни, ее спасения (Г. Иванов, Поплавский). Как и, напротив, в эстетическое закливание хаоса, бездн, бессмыслицы и трагедии (случай Набокова).

Так что, используя выражение уже современной нам критики, определявшей во многом родственное явление, в эмиграции возникла своего рода «другая литература», отталкивавшаяся от старшей, магистральной ветви русской литературы. Георгий Иванов и Владимир Набоков (тогда еще, в свой русский период, — Сирин) не просто вершинные художественные явления экзистенциального сознания, они выражают два его различных модуса, если не сказать — полюса (может быть, и отсюда взаимное литературное раздражение писателей). В «Распаде атома» Георгий Иванов явил черную, диссонансную, безоглядно безобразную, не примиримую реакцию на смертный, абсурдный, обезбоженный мир, тогда как Сирин — скорее терапевтическую-утишающую, учащую жить в таком мире, бесконечно глядеть на неисчерпаемую, щедрую его явленность, его лицо и, кому дано, запечатлеть его — в существах, мигах, положениях — в нетленном пространстве идеально существующей прекрасной художественной вещи.

«Распад атома» Георгия Иванова

Эта небольшая прозаическая вещь поэта, над которой он, по свидетельству Ирины Одоевцевой, очень тщательно работал и которую сам высоко ценил, явила в поэтическом, метафизическом сгущении, пожалуй, квинтэссенцию экзистенциального сознания. Первым это отметил Роман Гуль, друг Г. Иванова. «Георгий Иванов — сейчас единственный в нашей литературе — русский экзистенциалист». При этом критик относит Г. Иванова не столько к религиозно-экзистенциальной традиции Кьеркегора, сколько к новейшему французскому экзистенциализму, который, кстати, получил в исследовательской литературе название «атеистического»: «Это ближе всего соседствует со взглядами Сартра, с взглядом на мир как на банальную „черную дыру“ и плоскую авантюру, которой отказано во всем, кроме удовлетворения примитивных человеческих чувствований». Впрочем, сразу же усомнимся в таком размашистом и упрощенном определении мироощущения как Сартра, так и Иванова. Интересно, что «Распад атома» появился буквально в один, 1938-й, год с «Тошнотой» того же Сартра. Говорить о прямом влиянии вряд ли придется: Георгий Иванов завершил свою «поэму в прозе» (определение В. Ходасевича) еще в конце февраля 1937 года, и тем не менее переклички обеих вещей русского и французского авторов очевидны — эффект близкой мировоззренческой наводки глаза!

Прежде всего и «я» «Распада атома», и дневниковое «я» Рокантена из «Тошноты» — герои воистину экзистенциальные, открывшие для себя ощущение своего существования как такового, герои, *пробудившиеся* от механически-будничной спячки жизни, обретшие какое-то пронзительное, страшное зрение истины смертного, случайного, абсурдного бытия. Это герои предельно одинокие, вышедшие на «мировой рекорд одиночества» (Г. Иванов), лишенные общественного положения, дела, друзей, семьи, вперенные в какие-то предельные, метафизические, часто неприглядные открытия-откровения, размышления, фантазии...

Более того, они сразу же противопоставляют себя тем «другим», «подлецам», по терминологии Сартра, что так важно, серьезно, самоуверенно разыгрывают свою общественную и жизненную роль. «Я» Иванова чувствует всепроникающий запах «сладковатого тлена», исходящий от мира в его уродстве, «страшную скорость тьмы», в которую уносится все вперемешку, Рокантен от-

крывает бытие как бесформенную магму, кишасший хаос, — а те, «с представительной наружностью» (Г. Иванов), с «нечистой совестью» (Сартр), ступают по тонкой, готовой в любой момент провалиться коре, покрывающей этот хаос, самонадеянно полагая, что под ними плотный, надежный грунт.

Можно даже говорить о каком-то особом задании, саркастически-желчном вызове, а по сути чуть ли не проповедническом пафосе, с которым Г. Иванов трясет своего читателя, бьет его по психике жуткими картинами и фантазиями, выворачивающими изнанку бытия, ту, что не видят и не хотят видеть все эти «обыкновенные человечки», безнадежно спящие механически-будничным сном своей заведенной, оправданной жизни. Это рождает определенную шокирующую эстетику, для которой «все среднее, классическое, умиротворенное немислимо, невозможно», ее мы встретим у многих писателей экзистенциальной ориентации. Они как бы хотят внедрить объемную истину природно-смертного бытия, вырвать из гипноза только лицевой его стороны, там, где радость, цветение, красота, и обнажить за ней неотъемлемую уродливую теневую сторону — и тогда у того же Г. Иванова непрерывным потоком идут: отбросы, помойки, плевки, вычесанные волосы, разлагающиеся дохлые крысы, трупы, гниение, вонь, распад, некрофилия, садизм...

Героя «Распада атома» преследует мысль о смертности всего и вся: глядя на людей в кафе, он думает, что каждый неизбежно, кто первый, кто последний, умрет «в свой точный, определенный до секунды срок»; сладковатое дыхание разложения чувствуется им как постоянный вкус во рту, как всеопределяющее ощущение бытия.

Конечно, можно списать — и сколько раз списывали! — такое катастрофическое жизнеощущение на исторические разломы века: прежде всего мировую войну и революцию. Как будто желая ответить таким аналитикам, герой Г. Иванова размышляет: «Я думаю о войне. О том, что она — ускоренная, как в кинематографе, сгущенная в экстракт жизнь». Для Г. Иванова нет принципиальной разницы между состоянием мира и войны, статус мира, его законы — одни, везде борьба и смерть, война лишь разяще их демонстрирует, уплотняя ужасы обычной жизни.

Такой вот вполне обычный ужас настиг и героя. Выясняется, каков был последний толчок к его пробуждению, — герой прошел через свой шок, свою пограничную ситуацию: он только что навеки потерял ее, свою любимую, ту, в которой для него «сосредоточилась вся прелесть мира».

Как Калигуле в одноименной пьесе Камю (опять-таки вчерне 1938-й), отчаяние и абсурд открываются здесь после смерти невесты. И как у французского писателя потрясение от мгновенно воцарившейся оскорбительной невозможности уже н и к о г д а больше не видеть ее, не чувствовать, не быть вместе и жгуче вспыхнувшая тоска и страх смерти обернулись парадоксальной злодейско-карательной реакцией (раз смерть царит в мире, то я сам выбираю себя носителем смерти, отождествляюсь с нею, оборачиваю своей рукой против других — просто так, по своей прихоти и фантазии), так и в мире «Распада атома» звучит этот садический скрежет и зловещий шепоток. То они слышны лишь в желчном озлоблении против тех блаженных слепцов, верящих «в слова и смысл, мечтателей, детей, незаслуженных баловней судьбы», против «благополучных старичков», которых, «по-моему, следует уничтожать», в яростном сарказме насчет «заветного русского типа, рыцаря славного ордена интеллигенции, подлеца с болезненно развитым чувством ответственности», вообще насчет русского «зыблющегося... онанирующего сознания», «вечно кружащего вокруг невозможного». То они разрастаются в целую черно-феерическую петербургскую фантазию, вложенную в сознание Акакия Акакиевича.

В этой посвященной «маленькому человеку» части музыкально-поэтической фуги, каковой является «Распад атома», обнажается смысл самого ее названия. Акакий Акакиевич ходит в департамент, переписывает каллиграфическим почерком казенные бумаги, обедает, спит, собирает деньги на заветную шинель — ведет заведенную жизнь, ту самую, уже известную нам, жизнь в

тап. Атом его души, его личности неразлично мал, *невидим, спит*. «Но внутри, под непроницаемым ядром одиночества, бесконечно нелепая сложность, страшная взрывчатая сила, тайные мечты, едкие, как серная кислота». И вот возникает главная тема, пункт авторского интереса: а что, «если пошевелить его, зацепить, расщепить» самоё экзистенциальное ядро личности, пробить защитную кору, рутинные слои и выйти к сути?

И тогда материализуется мерещившаяся в подполье души греза, до галлюцинаторной четкости возникает видение генеральской дочки, Психеи, и — о чудо, о сказочный поворот «чердачного канцелярского мифа» («Он был титулярный советник, она — генеральская дочь») — она, ангельчик, приходит к нему сама на чердак, «поднимает кисейный подол, раздвигает голые атласистые коленки», чтобы он мог «власть, вдребезги, вдребезги натешиться ей». Какая невозможная дистанция преодолена, какое сладкое безумие вот тут, под руками! Но, оказывается, не этот блаженный плод воспаленного, маниакального воображения — «самое дно» души, «высшая точка, конец, предел», — еще глубже ковырнуть, еще тоньше расщепить — и что же явится, какая «кровная стыдная суть»? А не хотите вот такой вопросик: «Ты скажи, сквозь невинность и розовую воду, чем твои белые ножки пахнут, Психея? В самой сути вещей чем они пахнут, ответь? Тем же, что мои, ангельчик, тем же, что мои, голубка. Не обманешь, нет! ...Значит, нет между нами ни в чем разницы и гнушаться тебе мною нечего; я твои барские ножки целовал, я душу отдал за них, так и ты нагнись, носочки мои протухлые поцелуй. ...Что же мне делать теперь с тобой, Психея? Убить тебя?»

Сорви все внешние покровы, смой наносные внешние слои: сословные, наученные, гигиенические, — и будет у всех одно: *смертная, душная плоть!* Так через провоцирующую, агрессивную садистскую грезу вылезает фиксация на главном для экзистенциального сознания — на смерти. А связь и обратимость Танатоса и Эроса уже была прослежена Фрейдом: в глубине садических наклонностей лежит первичный позыв к смерти и страх ее, однако под влиянием сексуального электричества отклоненный, сдвинутый на другого и тем уводящий его носителя от саморазрушения.

Шокирующая эстетика экзистенциального сознания живет в постоянной резкой перебивке планов, высоких и самых низких: это и желание чистоты и любви, тоска по умершей, мысли о Боге — и тут же самые циничные, уродливые детали, касающиеся мира и человека в его низменной, проклятой изнанке. Само перечисление того, о чем думает герой, строится на контрастах, перемешивающих «бесчеловечную мировую прелесть и одушевленное мировое уродство»: «О фиалочках на Мадлен, булках, мокнувших в писсуарах, подростках, идущих на первое причастие, каштанах, распространении триппера, серебряном холодке аве Мария». Поэт балансирует между вечными интонациями элегического стенания, безнадежной грусти и циничным скрежетом «мирового уродства», нераздельно сцепляя их буквально в каждом пассаже. Грустная красота улетающего мгновенья тут же разбивается картинкой старика в лохмотьях, подкарауливающего разбухший от мочи кусок хлеба у входа в писсуар. А «закаты, тысячи закатов» непременно содержат в своем перечислении «закат в мертвецкой, в операционной», над солдатским лагерным нужником, где «поспешно онанирует» розовый новобранец, не успевающий «вообразить оставленную в деревне невесту», — пушечное мясо, которое вот-вот поглотят челюсти войны.

Черная, физиологически-хлещущая поэзия обрушивается на читателя. Еще вчера была невеста, сегодня ее нет, и нет нигде, — и за декорацией мира с «великолепным занавесом» обнаружился хаос и абсурд, представленный в остром, издевательском фокусе... помойного ведра: окурки, ватка, «которой в последний раз подмылась невеста», дохлая крыса, обрывки недавно еще свежей газеты, в которую она завернута, — и все это, вчера еще удовольствие, жизнь, новости, теперь несется «со страшной скоростью тьмы» в уничтожение, в пустоту...

И тут же на пределах спокойной жути сцена «совокупления с мертвой девочкой». И апофеозом этого диссонансного, режущего ухо и нервы мотива становится как бы образ сознания героя, в который ввернуты все безобразные, болезнетворные, смертоносные начала жизни: «Я в лесу. Страшный, сказочный, снежный пейзаж ничего не понимающей, взволнованной, обреченной души. Банки с раковыми опухолями: кишечник, печень, горло, матка, грудь. Бледные выкидыши в зеленоватом спирту. ...Рвота, мокрота, пахучая слизь, проползающая по кишкам. Падаль. Человеческая падаль». Такой кунсткамерой уродства, болезни, разложения предстает его прозревшая, как ему кажется, глубинную истину мира душа.

Душа отдыхает на миг от этой жути и укрепляется не на христианском активном отношении к язвам и проказе мира, не на чаянии преодоления природно-смертного, падшего типа бытия, а на ледяном арктическом пейзаже, где жизнь заморожена, как в расцвете и благоухании, так и в упадке, разложении: «Рождество на Северном полюсе. Сиянье и снег. Чистейший саван зимы, заметающей жизнь». От жизни как утробного гниения выход здесь только в безжизненную анестезию холода.

Интересно, что Сартр в «Тошноте» вызывал в читателе отвращение от *кваши существования*, от чистой телесности и вещности такими же средствами черно-поэтической, суггестивной выразительности. В пространных метафизических этюдах «ужасного экстаза» откровение Рокантену мира вещей как таковых описывается в отталкивающих качествах липкости, бесформенности: «тягучая личинка», «мерзкий мармелад», «отвратительное повидло», «растягивающееся тесто», «мягкое, толстое, липкое и расквашенное, как варенье». *Тошнота* — это такое *липкое* сознание человека, которое не отделяет себя от вещного мира, от тела, застревает в нем, как муха в меду. И французский писатель противопоставляет этой липкости, бесформенности, влажной теплоте, нечистой смеси существования такие же, как у Иванова, безжизненные качества *холодного, твердого, минерального, стерильного*.

Еще за столетие до «Распада атома» французский «жестокий» романтизм явил неистовую подростковую реакцию на «открытие», что Бога нет, небеса пусты, нет бессмертия, торжествует смерть, сгниешь — и скелетик рассыпется. Цинизм, проклятия, попирание всего святого и глумление над человеческим телом: раз оно без искры вечной души, то, значит, только гнусь и падаль — искромсать его, разворошить, забраться во внутренности и наплевать туда! (К примеру, «Шампавер. Безнравственные рассказы» Петрюса Бореля, а позднее «Песни Мальдзора» Лотреамона.) Смертельная обида на мир, покинутый божественным спасением, разрешалась в отроческий, циничный, хулиганский бунт. В экзистенциализме романтический бунт теряет свою подростковую неистовость, становится более взрослым. Человек призывается к спокойному, гордому вызову по отношению к абсурдному миру, сохранению своего безнадёжного достоинства (позиция, близкая Газданову и в какой-то мере Набокову и Поплавскому).

Но если утраченный божественный центр мира обретается Сартром в «Тошноте» еще достаточно традиционно — во вселенной художественного произведения, созданной вольным дерзновением творца (так будет и у Набокова), то Г. Иванов как бы уже перерос такое эстетическое оправдание бытия. В бесформенном абсурдном хаосе существования художественные творения (в романе Сартра это джазовая мелодия, хотя сам Рокантен в перспективе своего «спасения» видит для себя создание чистой, прекрасно-нереальной прозы) образуют небольшие островки совершенства — мир строгости, красоты, внутренней необходимости, знаменующий победу свободного воображения, человеческого сознания над инертностью и нелепостью материально-телесного существования. Г. Иванов, напротив, ведет язвительный диалог с художниками, творцами, эстетами из той «чувствительно-бессердечной, дальнорочно-близорукостью... породы», которые верят, что «дело сделано, все спасено, бессмыслица

жизни, тщета страдания, одиночество, мука, липкий тошнотворный страх — преобразены гармонией искусства».

Русский поэт подхватывает здесь великую заботу и муку отечественной культуры в ее ключевых творцах — Гоголе, Толстом, Федорове, Вл. Соловьеве с их отказом признать искусство высшей ценностью, с их пафосом спасения самой жизни, каждой живущей личности, а не оправдания их лишь художественно-прекрасным остановленным моментом, кристаллом обобщенного, типового образа. «Блажен знаток, — иронизирует автор „Распада атома“, — перед картиной Рембрандта, свято убежденный, что игра теней и света на лице старухи — мировое торжество, перед которым сама старуха ничтожество, пылинка, ноль». И тут же страстно, форсированно выражает свою позицию: «С чем останемся мы? С уверенностью, что старуха бесконечно важнее Рембрандта. С недоумением, что нам с этой старухой делать. С мучительным желанием ее спасти и утешить. С ясным сознанием, что никого спасти и ничем утешить нельзя». Кстати, поздняя поэзия самого Георгия Иванова, особенно его «Посмертный дневник», — это уникальный экзистенциальный поэтический документ умирающего человека, где о себе — как об этой единственной, бесценной рембрандтовской старухе.

Итак, очередной бунт против самодовольной пошлости и банальности искусства, «лжи искусства», против «утешения вымышленной красотой», «слез над вымышленной судьбой» идет из глубоко экзистенциального переживания ценности каждого живущего и погибающего человека как «избранного, единственного, неповторимого», из переживания каждого «трепещущего улетающего мгновения моей неповторимой жизни». И все же — не устает повторять свою безнадежную мудрость поэт — этот бесценный и мучительно сложный человек может открыть только одно: «черную дыру своего одиночества». И тогда рождается особое пронзительно-трагическое чувство солидарности со всеми, все — равны, все — уникальны, «все отвратительны, все несчастны», и при этом ничто изменить нельзя в этой пустыне непонимания и отчаяния. Отчаяние в спасении и рождает такой наглухо запечатанный круг абсурда: «Ребенок зачат. Зачем нужен ребенок? Бессмертия нет. Не может не быть бессмертья. Зачем мне нужно бессмертье, если я так одинок?»

Если и возможно какое-то искусство, то лишь ввинчивающееся острым штопором сквозь «мировое уродство», дисгармонию, грязь, страшную правду бытия, движущееся, «как акробат по канату, по неприглядной, растрепанной, противоречивой стенограмме жизни». «Распад атома» и есть такая «стенограмма» мучительного сознания героя: он находится как бы в самом эпицентре взрыва классической, сбалансированной вселенной, внутренней и внешней, на острых, больно ранивших обломках ее, дойдя до крайнего упора одиночества, метафизического отчаяния и вот уже раскачиваясь на последней тонкой паутинке, отделяющей его от добровольно выбираемого конца.

Последняя точка и секунда перед переходом грани в небытие вспыхивает для него всей сосредоточенной «сутью жизни». В чем же она? Читатель может ждать какого-то приличествующего финального прозрения, примиряющего или хотя бы намекающего на надежду... Но нет, как суть бытия несется на целую страницу вперемешку всякая всячина жизни, очередной феноменологический реестр этого мира в его неизбывных режущих контрастах: «Спираль была закинута глубоко в вечность. По ней пролетало все: окурки, закаты, бессмертные стихи, обстриженные ногти, грязь из-под этих ногтей. Мировые идеи, кровь, пролитая за них, кровь убийства и совокупления, геморроидальная кровь, кровь из гнойных язв. Черемуха, звезды, невинность, фановые трубы, раковые опухоли, заповеди блаженства, ирония, альпийский снег...»

Все это «мировое уродство», казалось бы вот-вот сейчас напоследок пронесясь в меркнувшем сознании самоубийцы, должно погаснуть, уступив в загробном измерении бытия место чему-то новому — «смыслу жизни, Богу...». Еще раз нет — окончательно отвергает поэт эту последнюю зацепку: для него остается только одно высшее — «дорогое, бессердечное, навсегда потерянное

твое лицо», больше нет и не будет ничего, разве что абсурд и кошмар уродливого бытия столь тотальны, что из них, о ужас, даже столь радикальным жестом не вырвешься в ничто, в «полную тишину, абсолютную ночь». Как ёрнически в предсмертной записке «ногоуважаемому господину комиссару» пишет наш герой, «сам частица мирового уродства»: «Я хотел бы прибавить еще, перифразируя слова новобрачного Толстого: „Это было так бессмысленно, что не может кончиться со смертью“».

Таков страшный онтологический итог, выраженный Георгием Ивановым с раздирающей болью, черной иронией, на таких эстетических пределах, которых еще не знала большая русская литература.

«Продленный призрак бытия...»

«Я думаю, ты будешь таким писателем, какого еще не было, и Россия будет прямо изнывать по тебе, — когда слишком поздно спохватится...» — в этом пророчестве Зины, героини «Дара» (ее прототип — явно жена писателя Вера Слоним), надо признаться, все сбылось — может быть, лишь не в таком восторженно-исключительном градусе. Да, Набоков — писатель, какого еще не было в русской литературе: не было такого необычного, удивляющего мира, который он создал, не было такой словесной виртуозности, стилистически изощренной техники, не было, наконец, и такого, в сравнении с современниками, бытования творчества: «Набоков — единственный из русских авторов (как в России, так и в эмиграции), принадлежащий *всему* западному миру (или — миру вообще), не России только» (Н. Берберова). И уж никуда не денешься: немало читателей, писателей и критиков именно здесь, на родине, буквально ударенных его творчеством, очарованных, изнывающих, верных в признании его первым если не во всей русской литературе XX века, то уж по меньшей мере — в литературе русской эмиграции.

В конце 20-х — 30-е годы, тогда еще известный исключительно под псевдонимом Сирин, Набоков взбудоражил своими романами и рассказами литературный мир русского зарубежья, о нем заговорили как о надежде и чуть ли не единственном оправдании эмигрантской литературы (Г. Газданов, Н. Берберова), но отношение к нему оставалось все же сложным: были и публичные недруги вроде Георгия Иванова, пытавшиеся уязвить и принизить его творчество, были и друзья вроде Ходасевича, видевшие его тем не менее «по преимуществу художником формы, писательского приема», были и те (большинство), что, отдавая должное его исключительному таланту, оригинальности и блистательному мастерству, писали о «внутренней опустошенности» автора (Ю. Терапиано), о том, что «душно, странно и холодно в прозе Сирина» (Г. Адамович). И, наконец, может быть, самое существенное, что не могли ему простить, — это, в более поздней формулировке З. Шаховской, «нарастающей насмешливой надменности по отношению к читателю, но главное — его намечающейся бездуховности».

Под бездуховностью, похоже, понималось прежде всего его явное отталкивание от христианства, от религии вообще. В эмигрантской среде, которая усиленно крепилась в своем национальном и культурном самоопределении прежде всего православием, такая, как у Сирина, экзистенциально-обезбоженная установка казалась вызывающей и шокирующей. Бунин, под первым впечатлением от «Защиты Лужина» эмоционально воскликнувший: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня...» — позднее назвал его «чудовищем».

На деле Набоков 20 — 30-х годов — самый глубокий и тонкий, самый талантливый русский писатель экзистенциальной ориентации — со своей метафизикой и духовностью, своими четкими нравственными уроками (как бы он ни откешивался от этого и ни путал сознательно своего читателя), однако по своему содержанию не укладывающимися в традиционные представления об этих высоких вещах. Литература, как всегда, опережает воплоще-

ние того или иного эпохального мироощущения, которое позднее концептуализирует философия, — так было и с экзистенциализмом, хотя в Германии он развивался уже с 20-х годов.

Начать раскручивать мировоззренческий и эстетический мир Сирина, возможно, лучше всего через два его небольших романа 1930 и 1931 годов — «Соглядатай» и «Отчаяние». «Соглядатай» — роман о рождении художника, как и более поздний «Дар»; но если в последнем восчувствие, осознание своего дара как высшей ценности, обещание огромного художественного мира, уникального и бесценного, дано вполне реалистически, как конкретный экзистенциальный выбор героя (за которым стоит сам автор, дерзающий строить себя не просто как хорошего поэта, а как великого прозаика), то «Соглядатай» — вещь концентрированно-символическая, чуть ли не притчевая.

Здесь автор (повествователь), русский эмигрант из Берлина, пускает себе пулю в сердце, на деле же — выясняется — убивает себя одного, чтобы возродиться в другом, убивает себя как просто живущего человека, живущего обыденно и пошло, — что может быть пошлее его занятий гувернерством и любовной связи с поленькой Матильдой, точной репликой петербургской портнихи, находившейся с ним когда-то в подобных отношениях, — и как верх пошлости, которого он и не вынес, его избиения обманутым мужем на глазах у двух учеников. Дальнейший сюжетный ход мотивируется несколько фантастически: оказалось, «что после наступления смерти человеческая мысль продолжает жить по инерции». И этот «посмертный разбег... мысли» и воображения придумывает, что ранение вовсе не смертельно, и автор выходит в новую жизнь, в некое свое инобытие под именем Смурова, но выходит с новым пониманием себя, своей миссии, новым выбором поведения и реакции. Еще перед самоубийством произошло его экзистенциальное пробуждение: он понимает «несуразность» всяческих предсмертных жестов вроде записок и отдания долгов, ведь «вместе с человеком истребляется и весь мир», «и вот то, что я давно подозревал, — бессмысленность мира, — стало мне очевидно. Я почувствовал вдруг невероятную свободу, — вот она-то и была знаком бессмысленности». Повествователь тут формулирует исходную метафизическую свою позицию буквально так, как философ-экзистенциалист атеистической ориентации: *бессмысленность и свобода*.

Во втором романе, «Отчаяние», через своего героя Сирин позволяет себе откровенные высказывания насчет Того, Кто, напротив, всегда придавал миру онтологическую устойчивость и смысл: «Небытие Божье доказывается просто. Невозможно допустить, например, что некий серьезный Сый, всемогущий и всемудрый, занимался бы таким пустым делом, как игра в человечки, — да притом, — и это, может быть, самое несуразное, — ограничивая свою игру пошлейшими законами механики, химии, математики, — и никогда — заметьте, никогда! — не показывая своего лица... Я не могу, не хочу в Бога верить еще и потому, что сказка о нем — не моя, чужая, всеобщая сказка — она пропитана неблагоприятными испарениями миллионов других людских душ, повертевшихся в мире и лопнувших...» Главное в этих аргументах — на уровне, так сказать, экзистенциального вкуса — идея «не моя» лично, а захватанная, опошленная, такая мне «чужда и противна и совершенно не нужна». Как видим, отталкивание тут резкое, равнодушно, с сердцем — не тепл, а горяч по-своему автор.

Более того, тут же выясняются контуры вполне метафизического бунта: «Если я не хозяин своей жизни, не деспот своего бытия, то никакая логика и ничьи экстазы не разубедят меня в невозможной глупости моего положения, — положения раба божьего, — даже не раба, а какой-то спички, которую зря зажигает и потом гасит любознательный ребенок — гроза своих игрушек». Итак, раз я не *причина самого себя* (causa sui), не располагаю своим бытием, как Бог, то все мое существование, как и всех остальных, — случайное и зряшное, глупость и абсурд. Вслед за Богом отрицается и отвергается и бессмертие, «это второе чудище». Никто так пронзительно, как Сирин, не выра-

зил страха поддельного, издевательского, черного бессмертия: а что, если и на том свете вам представят не настоящих любимых родственников, а правдоподобную фальшивку «какого-нибудь мелкого демона-мистификатора». Раз здесь такое бессмысленное бытие — то ли жизнь, то ли сон, — то почему и там не будет какого-нибудь подвоха и каверзы и все ваше бессмертие обернется дурной бесконечностью мучительного сомнения перед возможным «гнусным фокусом».

В рассказе «Ultima Thule» художник Синеусов, только что потерявший жену, становится свидетелем поразительной истории с его знакомым еще по юности, когда-то бедным студентом, но волевым, стойким, талантливым, которого он вновь встретил через двадцать лет. И вот этого уже по видимости вполне заурядного человека, хотя и с удивительно крепкими нервами, по имени Адам Фальтер, неожиданно в гостинице города, где он был по делам, вполне спокойного и довольного, после обычного гигиенического посещения известного места пронзает некая «сверхжизненная молния», посещает откровение, раскрывшее ему «загадку мира». Реакция его была ужасающей: четверть часа он кричал нечеловеческим голосом, достигшим «последнего предела муки, ужаса, изумления», и затем резко изменился: из него как будто «вынули костяк», а с ним и душу; хотя ум и дух в нем «удесятерились», деньги, дела, приличия, сама жизнь потеряли для него всякий интерес. Никому не стал он открывать своей тайны, единственное исключение оказалось роковым: известный итальянский психиатр, «опытный сердцевед», сумел добиться — очевидно, не без гипноза — исчерпывающего ответа и тут же был сражен разрывом сердца. На все вечные вопросы Синеусова Фальтеру о Боге, загробной жизни и т. д. тот лишь изощренно-софистически кружит вокруг да около, намекая, что ответы лежат в каком-то другом, совсем простом и «чудовищном» для «несчастной человеческой природы» плане. А вдруг — догадывается образованный читатель — там что-нибудь вроде закопченной баньки с пауками, как мерещилась вечность Свидригайлову, а раз так страшно, то, может быть, эти насекомые еще и сладострастные антропофаги, вечно жующие и не глотающие потусторонних жертв...

Попутно из этого безрезультатного разговора (идеальный между тем по сложности и сугубой отвлеченности образец метафизического диалога!) выясняются важные вещи насчет самого Синеусова: его ужас перед «будущим беспамятством», равный «отвращению перед умозрительным тленом» его тела, ощущение «тупого укола в сердце» при мысли об этом, «ненависть к миру, который будет очень бодро продолжаться без вас», с «коренным ощущением, что все в мире пустяки и призраки по сравнению с... предсмертной мукой», — все из знакомого нам экзистенциального репертуара.

Но — и тут начинается важное *но* — экзистенциальные герои Сирина (фактически разнообразные художественные вариации его самого) не останавливаются на этом метафизическом раздирании, когда бесконечно выносятся в центр внутреннего переживания шок от бытия-к-смерти и бесконечно обнажается отвратительная изнанка смертного бытия, как то происходит в «Распаде атома» Георгия Иванова. Герои Сирина находят для себя выход, превращающий их несчастье в счастье, их рабскую зависимость в демиургическое блаженство.

В том же рассказе «Ultima Thule» Синеусову в страдании и отчаянии от вечной разлуки с женой видятся два выхода из боли, невыносимого трагизма бытия: «мое искусство, утешение моего искусства» — и соблазн поверить, что Фальтер действительно узнал последнюю истину бытия, и получить ее для себя. В конце рассказа Синеусов отказывается навестить перед смертью Фальтера, который зовет его к себе в госпиталь с обещанием открыть наконец свою тайну. Некая верховная интуиция и духовный вкус не дают ему еще раз поддаться соблазну. Перед лицом своей умершей жены он останавливается на *п у ш к и н с к о м*, здоровом, в пределах и возможностях человека, отношении ко всяческому бездну, «непонятному мраку». Лирический герой пушкинской

«Тавриды» прячет «образ милой» в своей живой груди от смертоносных лучей, от забвения. Набоковский Синеусов тоже. Пестовать свою память (пока я жив, ты жива во мне, в моей памяти), а еще лучше — удостоить тебя вечного художественного бытия, — вот на чем успокоился герой этого откровенно метафизического рассказа.

Однако вернемся к «Соглядатаю». Итак, спасительный фокус придумал себе этот возродившийся в новом качестве бывший «пошлый, несчастный, дрожащий маленький человек» — обменял профаническое существование на жизнь творческого воображения, где он, художник созданного им мира, сам себе бог и судья, управляющий целым театром марионеток. Смуров выбирает себя тем, кем являются, по существу, все главные экзистенциальные герои Сирина: если они и не прямо поэты или писатели, то, во всяком случае, являются по своей природе и отношению к миру тип художника и творца.

Избежал Смуров и того, что так его мучило раньше, — «суда людского», мнения о нем других. Он сейчас забавляется тем, что коллекционирует ту систему отражений, в которых он является небольшому кругу своих знакомых. Кем только он не кажется окружающим: героем-белогвардейцем, «агентом», «темной личностью», «негодяем», «вором», «женихом», даже декадентом и «сексуальным левшой»... Но это уже не задевает его — напротив, воспринимается как закон жизни любого человека в социуме, где десятки, сотни, тысячи зеркал отражают его, запечатлевая по-своему. Каждый живет в этих отражениях, в образах, созданных другими, и жив — в том числе после смерти, — лишь пока этот образ или его отголоски, даже самые легендарные или причудливо-искаженные, существуют, трепещут и мелькают в чьей-то душе.

Так и видится один из первичных импульсов к тому обессмертиванию себя, каким является художественное творчество, особенно если оно плод истинного и большого дара (о сладкий удел классика!): тут уж количество душ, в которых ты отразишься и останешься, — неисчислимо и возобновляется из поколения в поколение в бесконечных зеркалах будущих читательских колен и генераций. Не отсюда ли та установившаяся аскеза личной жизни Набокова, отстраненность от социальных, даже профессиональных контактов, его высокомерное одиночество, строгий, однообразно трудовой режим каждого дня (вот все и удивлялись, многие — раздраженно-завистливо, как это успевает он роман за романом и с такой реализованной заботой о совершенстве)? Притом ведь сумел ничего земного не лишиться: было и счастливое детство, первая любовь, «горечь и вдохновение изгнания», жена и сын, увлечение (бабочки) — без излишеств и безумств, так сказать, в одном экземпляре, но ничего не пропустил из удела человеческого, не обидно...

У Набокова была одна вера, заместившая ему все остальное, что крепит человека в бытии, — «абсолютная вера в свои литературные силы, в чудный дар», как выражается герой «Отчаяния». Дар — вот что у него занимает место Бога. И на осквернение этой святости критикой он внутренне поначалу не мог не реагировать чрезвычайно болезненно, прежде чем спасительно не заковал себя в броню непроницаемого равнодушия к любому читательскому мнению. И «Соглядайте», и «Отчаяние», появившиеся тут же после «Защиты Лужина», первого воистину достойного плода этого дара (а какую неадекватность, какое «неузнавание», а то и насмешливое искажение позволили себе некоторые рецензенты!), — произведения в определенном смысле самотерапевтические. Особенно это касается «Отчаяния», где в слегка пародийной (на Достоевского прежде всего) атмосфере проблем двойничества, самоидентификации, отражений, эха, дубликатов, образцового, идейного убийства... проигрывается коллизия — я, автор, мое произведение и критическая читающая публика.

Герой романа, случайно встретив своего, как ему показалось, абсолютного двойника, некоего Феликса, человека одинокого, бродягу, но с некоторыми умственными и артистическими претензиями, вынашивает фабулу, разрабатывает сюжетные линии, тщательно отрабатывает детали и, наконец, разыгрыва-

ет, как написанную пьесу, его убийство с тем, чтобы выдать переодетый в свою одежду труп двойника за себя, мнимого самоубийцу, а самому ускользнуть с документами Феликса в новую жизнь. Спрятавшись в частный пансион за границей, ожидая сначала реакции газет, потом правосудия, он пишет свою нервную, темпераментную, несколько ёрническую, с надрывными обращениями к воображаемому читателю исповедь, которая, собственно, и составляет этот роман.

Назвать эту исповедь он хочет весьма разоблачительно для всей романной затеи: то ли «Портрет автора в зеркале», то ли «Ответ критикам» и, наконец, как ему кажется, наиболее удачно — «Поэт и чернь». Считая свое убийство «произведением», которое ему «удалось в совершенстве», «интуитивно и вдохновенно», автор хочет элементарного признания и справедливой оценки. И что же взамен? Нечто совершенно ошеломительное, оскорбительное, невозможное: в трупе его двойника, причем в его одежде и с его документами, никто его не признал, никто не написал даже о малейшем сходстве, судили-рядили совершенно мимо, предвзято, замечая и раздувая «пустяшные недочеты», не имеющие никакого значения «при свете творческой удачи», делали из автора убийства бездарного и корыстного идиота. «В этом игнорировании самого ценного и важного для меня было нечто умышленное и чрезвычайно подлое».

Ключ к этой виртуозной притче бросается читателю прямо в руки: да, в литературной вещи (скажем, того же Сирина) дается пусть не сам автор, а как бы его художественный двойник, но смысл в том, чтобы читатель признал в нем авторское самовыражение (как то и есть), признал и восценил мастерство, а то и зашелся в восхищении — чтобы дать автору после его адской работы те «минуты творческого торжества, гордости, избавления, блаженства», о которых мечтал выбалтывающий сокровенное герой «Отчаяния».

Правда, потом выясняется, что сам автор убийства допустил роковой недочет в своем совершенном произведении (забыл в машине палку с вырезанной фамилией Феликса), так что его уверенность в себе как гениальном творце получила растрavляющую пищу для сомнений (что вполне естественно для молодого автора, каким был тогда Сирин, как, впрочем, для любого художника). Но герой «Отчаяния», как и его создатель, научился не доходить «почти до обморока» от «холодного издевательского тона газет» (читай — критиков) и противопоставил им — уже навсегда — «только презрение». Пожалуй, лишь молодой, избыточный, фонтанирующий еще талант Сирина мог позволить себе экзистенциальную терапию в таких сложных декорациях интеллектуальной притчи, где попутно было затронуто столько тем и мотивов (каких мы здесь сознательно не касаемся), разработано немало веселых ловушек и обманных троп для читателя.

В «Соглядатае» же был прямо высказан единственный смысл существования экзистенциального человека, лишённого онтологических опор, религиозных или общественно-сакральных, — тот смысл, который несет ему настоящее счастье: «Я клянусь, клянусь, что счастлив. Я понял, что единственное счастье в этом мире это наблюдать, соглядатайствовать, во все глаза смотреть на себя, на других, — не делать никаких выводов, — просто глазеть». Запомним этот (тем не менее) вывод экзистенциального героя: *смотреть и смотреть* на все вокруг: на себя, на людей, на вещи, природу, — вот единственно достойное, прекрасное и счастливое занятие на земле. А экзистенциальный писатель еще добавит: *смотреть* на мир и его описывать — а что еще делать в единственном и непонятном мире, над законами которого я не властен?!

Позднее в автобиографическом романе «Другие берега» (1954) Набоков писал: «Я должен проделать молниеносный инвентарь мира, сделать все пространство и время соучастниками в моем смертном чувстве любви, дабы, как боль, смертность унять и помочь себе в борьбе с глупостью и ужасом этого унижительного положения, в котором я, человек, мог развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования». В этом высказывании сплетается комплекс чувств и компенсаций, приведших Набокова к творче-

ству: тут глубочайшая оскорбленность фактом смертности с акцентами метафизического бунта (почти как у героев Достоевского), но утишаемого, преодолеваемого максимальным впитыванием в себя и очеловечиванием единственной достоверности — окружающего мира во всем разнообразии существ, вещей, явлений во времени и пространстве.

Когда вы входите в мир Набокова, то уже по первому чтению вас удивит и остановит именно эта главная его художественная черта — бесконечно вездное внимание к предметам и тварям мира в бесчисленных подробностях и микродеталях. «Небольшое общество предметов» («Дар») может быть для писателя гораздо интереснее самого многолюдного, шумного людского собрания. Мир у писателя доверху полон вещами, набит мгновениями, мерцаниями, поворотами и сопоставлениями явлений, чувственными дразнениями. Автор следит за малейшими складочками вещей, за промелькнувшими отражениями, за «всем очаровательно дрожащим», за «летучим, обольстительным, разноцветным», «за всякой мелочью жизни», даже за неудавшимися поползновениями к бытию какого-нибудь отсвета или тени, за упущенными шансами возникнуть, проблеснуть, отразиться, за иллюзиями и миражами...

Зрение — вот его привилегированный орган чувства и впитывания мира, рождающий массу его поэтических предметных реестров бытия, вплоть до «самых последних, самых стойких мелочей», в том числе встающих в воспоминании, «чтобы удержать красоту — тут же умиравшую». Герои Набокова и он сам умеют воспринять и какой-то фрагмент бытия в его целостности «как бы мгновенно, одним привычным, глубоким взглядом», но вместе ни одна пичужка или травинка (как и у Пришвина) не идет у него под обобщенным видовым наименованием, а глядится точным именем и лицом. Вот эту данность мира, являющуюся в бесконечно разнообразной, живой конкретности, одну по-настоящему страстно и любит писатель, стремясь пережить экзистенциальный миг настоящего в качестве единственно доступной нам вечности.

«А кроме того, вот это все, — что кипит вокруг, смеется, искрится каждый день, каждый миг, — просит, чтобы посмотрели, полюбили...» — так чувствует один из близких автору героев, Драйер из второго романа Сирина «Король, дама, валет» (1928). Человеческий глаз, воспринимая мир явлений, организует его, упорядочивает, придает смысл. Видеть и именовать существа и вещи, чем занимался в своей науке любимый отец Федора Годунова-Чердынцева, героя «Дара», — вот для писателя идеально-прекрасное занятие на земле, по существу — эдемское. Там, в раю, человек давал имена тварям, осмысляя тем самым мир, здесь, в пространстве творчества, каждая являющаяся глазу вещь фиксируется, запечатлевается на вечное художественное поселение.

В отличие от некоторых писателей экзистенциальной ориентации, Сирин не слишком любит философски внедряться в природный способ бытия, в его пожирающую и смертную изнанку; он не разоблачает, не стает, а принимает мир, каков он есть, удивляется природе, ее роскошному аморализму, тайнам ее творческого стана, ее изощренному искусству. Феноменологический подход к бытию, когда ткань повествования на львиную долю ткется из этюдных зарисовок состояний природы, вещей, картин города, улиц, сенок, подслушанных случайных разговоров и реплик, внешности людей, решительно потесняет метафизический угол зрения — всякие там бездны, иррациональности, жуть и темень выглядывают лишь изредка и на миг, когда вдруг вырвавшийся из глубин незаконный сквознячок слегка заворачивает подол прекрасной иллюзии внешнего мира.

Этот поток явлений и мгновенных состояний мира, человеческих индивидуальностей (ловит их как бабочек, прищипливает на тонкие булавки своих периодов) — вот абсолют писателя. Брошены мучительные вопрошания, взглядывания туда — все равно нет отзыва, ничего не разглядишь и не поймешь, только домыслы или успокаивающие других, а для него отвратительные объятья догм и общих верований. И тогда остается одно безусловное — этот миг, это явление, это восприятие, все это *здесь и теперь*.

Выход из «дьявольского времени», несущего ущерб и конец, в «божественное пространство» «наудачу выбранного пейзажа» со всем его населением (растениями, бабочками...) рождает в писателе чувства, которые он готов — не боясь пафоса здесь, рядом со своей святыней, — назвать «наслаждением» и «блаженством». И тогда, и только тогда, через «мгновенный трепет умиления и благодарности... не знаю, к кому и к чему», он, может быть, ближе всего подходит к религиозному восчувствию мира.

Итак, набоковская естественная, не форсированная установка на феноменальность мира, на то, «чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество», — своего рода терапевтическая отдушина в смертном, непонятном, бессмысленном, по последнему экзистенциальному счету, мире. Пусть все уйдет, обманет и предаст, к чему страстно стремится человек: карьера, служба, успех, любовь, наслаждение, здоровье, — остается неисчерпаемый предмет вокруг: переливы света, краски неба, цветов, бабочек... остается возможность созерцать, как живут предметы, как ложатся тени, как выглядят проходящие люди, что написано на лицах тех, с кем вас еще сталкивает жизнь...

Интересно, что именно так живет «абсурдный человек» Мёрсо из «Постороннего» Камю: он только смотрит на мир, подробно инвентаризируя предстоящую его глазам предметную реальность, будь то люди, их слова и реакции, черты лица и одежда, пейзажи и вещи, свет и краски... Ненасытным зрением наделяет Камю своего героя, удивительно «набоковским», въедливым вниманием к вещному, природному аспекту мира, фантастическим микрозрением, острым видением мелочей, казалось бы, незначительных и странных.

В «Мифе о Сизифе» писатель и философ уже концептуально определяет такой подход к миру. Оказывается, зрительное восприятие мира, уравнивающее всё и вся, бесконечные каталоги вещей и деталей связаны с определенной мировоззренческой позицией, с феноменологическим методом, лежащим, как известно, в основе экзистенциалистского понимания вещей. Гуссерль и феноменологи — подчеркивает Камю — возвращают миру его естественно данное разнообразие, отказываясь толковать его, подводить под рациональные схемы, ограничиваясь лишь описанием явлений, в которых все равноценно («лепестки розы, указательный столб или человеческая рука имеют такое же значение, как любовь, желание или законы гравитации»). Акт восприятия становится похожим на моментальную съемку без предварительного замысла и сценария случайных вещей и фрагментов действительности.

При этом, что особенно очевидно у Набокова, который скорее всего никакого феноменологического метода не изучал, хотя точно выразил мироощущение такого рода, эта съемка мира в его явлениях проникнута — то более, то менее отчетливо — пронзительным чувством краткого свидания и скорого расставания с тем или иным человеком, с вещью, любым куском реальности. В рассказе «Памяти Л. И. Шигаева» (1934) с его проникновенным воспоминанием ушедшего человека автор восстанавливает стоп-кадр их последней встречи: «Думал ли я, что вижу его в последний раз? Конечно думал. Именно так и думал: вот я вижу тебя в последний раз, ибо я думаю так всегда и обо всем, обо всех. Моя жизнь — сплошное прощание с предметами и людьми, часто не обращающими никакого внимания на мой горький, безумный, мгновенный привет». Какой прямой поэтический выплеск переживания и обнажение метафизической основы своего творчества, не стыдящееся открытого чувства! Это — его, и тут он стоит со своим *юродством проповеди*, — а ведь мы знаем, насколько многое из сокровенного он прячет в затейливые периоды, как любит пустить по ложному следу, сбить с пути будущих следопытов по его душу.

Вот и в рассказе «Весна в Фиальте» (1936) особенно ярко вспыхивают на тюрморты окружающего, проступает вся эфемерная роскошь мира, глубоко врезываясь в память, именно на фоне готовящейся случаем и судьбой гибели героини. Но ведь это, по существу, общая ситуация всех его произведений:

мир так выписан и восписан, потому что он всегда воспринимается в глобальной перспективе разлуки и смерти, когда и открывается это прощальное, интенсивное зрение. Вспомним, как не может оторваться от созерцания городских пейзажей смертник Цинциннат в «Приглашении на казнь» или как проходят прощальные свидания с моментами жизни и кусками природы у Мартына, решившегося на самоубийственный переход границы в советскую Россию — Зоорландию...

Кстати, в «Подвиге» (1931) есть характерный эпизод похорон эмигрантского общественника Иоголевича, где высокие панихидные слова «незаменимая утрата», «пламенел любовью к России» и т. п. воспринимаются Мартыном как «унижение» покойного: как же, стерли его в общее место, в тип, в банальность! «Мартыну было больше всего жаль своеобразия покойного, действительно незаменимого, — его жестов, бороды, лепных морщин, неожиданной застенчивой улыбки, и пиджачной пуговицы, висевшей на нитке, и манеры всем языком лизнуть марку, прежде чем ее налепить на конверт, да хлопнуть по ней кулаком». И тут же Мартын клянется себе не состоять ни в какой партии, не ходить на собрания и заседания, избежать заразы «всех восторгов гражданственности». Как же упрекать Набокова в отстраненности, в эстетизме, в не-идеологичности или, наоборот, хвалить за это! Еще какая философская позиция, еще какие идеологемы, только иного, экзистенциального, толка! На ценности единичного и незаменимого (тут его философия и мораль!) он стоит до конца, твердо, крайне, самоотверженно, за это готов на жертву, конфликт с обществом, невыгоды для себя лично. Неподдельное своеобразие каждого является прежде всего в физическом облике, во внешности, в мелких неподражаемых чертах поведения — и тут писатель неистощим в своем методе, в подаче этой уникальной зримости. (Кстати, здесь он неожиданно смыкается с глубинно христианским взглядом на важность тела в целостной личности.) Тут, если хотите, его особая художественная «проповедь», хотя он и против любого идеологического нажима и курсива. Позже Камю определит героя «Постороннего» как человека, готового «умереть за истину», истину просто «быть и чувствовать» и *смотреть*, за новый экзистенциальный абсолют.

Экзистенциальное сознание имеет не только своих философов и писателей, но и рядовых приверженцев, незаметных героев и мучеников его. Тот же Мартын из «Подвига» готовит переход советской границы вовсе не как политический жест борьбы, для организации, скажем, подпольной сети или восстаний, как то пытаются делать Иоголевич, Грузинов и отец Сони (как то планировали и осуществляли реальные солидаристы). Его практически безнадежная, жертвенная решимость метафизически-экзистенциального характера: самому поставить последний акт «счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь», возвращением на родину дать, как выражается Набоков в «Других берегах», идеально-чаемое «музыкальное разрешение жизни».

Но для этого надо было взломать абсолютный запрет, перешагнуть через очерченный вокруг него, как вокруг каждого эмигранта этой волны, магический круг: где-то рядом, за долами и лесами, твоя родина, где ты родился и определился; казалось, неотъемлемая, как кровь и дыхание, и вот больше туда никогда уже не возвратиться; не увидеть... И Мартын переступает эту фатальную черту, будто преграждающую обратный путь изгнаннику из рая, — пусть там сейчас, может быть, установлен сущий ад, но все равно вернуться туда, хоть на сутки, хоть на час, взглянуть своими глазами, пройтись по родной земле своими ногами...

С детства Мартын уже выбрал себя как человека подвига, того, кто стремится одолеть себя, превзойти свои слабости и внешние обстоятельства, и его «тайная, незаконная экспедиция» — чисто экзистенциальный, незаинтересованный акт воли, самопреодоления и преодоления. Он такой же тип художника, как все главные герои Сирина, хотя формально не поэт и не писа-

тель. Его творческая воля направлена на режиссирование собственной жизни, в которой он тонко чувствует как бы заданную, обнаруживающую себя тайными знаками систему сюжетных линий и лейтмотивов, он мизансценирует свои мечты, творит избранные эпизоды своей жизни, вплоть до финала — такого же художественного осуществления его грезы.

Детство Мартына, как детство Лужина, Годунова-Чердынцева, — вот истинная их родина, там сплетаются фундаментальные комбинации их характера и судьбы, далее они лишь развиваются, повторяются, раскрывают свою логику. Впрочем, логика для экзистенциального героя, по сути, одна — проигрыш шахматной партии жизни, конец, смерть. Автобиографический роман «Другие берега» с его прямым объясняющим текстом начинается с метафизического умозрения о «двух идеально черных вечностях» с «щелью слабого света» (жизнью) между ними, какими являются две бездны небытия — до рождения и после смерти. Вторая «черная пустота» вообще за границей опыта и понимания — оттого так и тянется писатель к «изучению пограничной полосы» за «передней вечностью», к детству, более того, к младенчеству: может, здесь что-то проблеснет из тайны бытия!

В то же вникает и герой «Дара», только что выпустивший сборник стихов, «посвященных целиком одной теме — детству»; и он пытается почувствовать «туманное состояние» младенчества, почувствовать эту тьму, это «обратное ничто», «чтобы воспользоваться ее уроками ко вступлению во тьму будущую». Правда, ни герой «Дара», ни автор «Других берегов» не находят ничего, кроме одного как бы архетипического младенческого впечатления, заложившего в будущем поэте и писателе явную платоническую складку: таинственного впечатления от игры теней по стене. Да еще, как ему кажется, он высмотрел в этих своих исследованиях — не просто отрицание Бога, но отрицание Его как Личности: ни «малейшего луча личного среди безличной тьмы по оба предела жизни».

Ребенок, вырастающий из вечности, какой-то еще неотмирный, неуклюжий и странный, со своим фантастическим внутренним миром, недоступным большим и разумным, и его втискивание во временность, в пошлую взрослую жизнь — мотив, проходящий через многие вещи Сирина. Его главные экзистенциальные герои сближаются как родственные души «таинственной способностью души воспринимать в жизни только то, что когда-то привлекало и мучило в детстве»: таковы Лужин и его жена, Годунов-Чердынцев и Зина, Мартын и Соня. Особое восчувствие детства, сохранение детского «безошибочного нюха души», вкуса к «забавному и трогательному», «нежной жалости к существу, живущему беспомощно и несчастно», — показатель *истинности* человека в мире Набокова. Похоже, что и «шарлатанское вероучение» фрейдизма писатель ненавидел более всего за осквернение самого для него дорогого — детства.

С детства маленький Владимир, одаренный наследственной «страстной энергией памяти», научился «заклинать и оживлять былое». В «Других берегах» Набоков отмечает о себе, что родился художником, рисовал в детстве, занимался живописью и все прочили его в художники. Вот где лежит генетическая завязь его писательского предназначения: врожденная, конститутивная способность к реанимации утекшего, к восстановлению его избранных или случайных, но становящихся избранными моментов вкупе с талантом их удивительно яркого и точного запечатления (живописный дар!). И все это движется глубинной потребностью в спасении от «хаоса бездны» того, что туда проваливается, и помещения всего в бессмертное художественное пространство искусства, по самой сути мнимо воскресения. Этюдной статичностью отмечены у Набокова картины прошлого: это запечатленные навеки, застывшие стоп-кадры бытия. В «сверкающей действительности» памяти, передаваемой искусством, идет это постоянное опробование бессмертно-художественного типа существования. «Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет по белой с голубыми мельницами печке. Влетевший шмель,

как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет».

Уже в «Машеньке», где герой «был Богом, воссоздающим погибший мир», воскрешающим его, Сирина показал, как возникает и действует «бессмертная действительность» памяти, в которой прошлое укладывается и живет по закону художественного произведения. И только так, отдав ему высший долг, умеет писатель расстаться с этим прошлым, здесь — с его первой любовью и Россией, тесно сплетенными между собой.

Интересно, что в финале романа знаком пробуждения Ганина от прекрасного четырехдневного сна в стране воспоминаний к жизни, сейчас с ним происходящей, становится моментально включившееся «феноменологическое» внимание. Герой выходит в экзистенциальное переживание момента опять же через подробные зрительные образы от окружающего. Он наблюдает и зорко схватывает картины жизни утреннего города, «легкого неба», «сквозной крыши» строящегося дома, рабочих, передающих по деревянному переплету «красные ломти» черепицы, — и «этот желтый блеск свежего дерева был живее самой живой мечты о минувшем». У Сирина экзистенциальное пробуждение здесь равно не столько выходу в непрерывно ощущаемый кошмар нависающей смерти, сколько в единственную палиативную терапию на этой земле, действенную хоть для обрубка, хоть для старой развалины, забвенных всеми: глядеть и жить вместе с окрестным миром в потоке его явлений.

Впрочем, даже в элегически-светлой, молодой «Машеньке» кошмар смерти, правда, скорее как боль от невозвратности, лежит свернувшись темным клубком где-то на самом дне души Ганина.

В «Защите Лужина» (1929) экзистенциальное видение того, что вся цепь жизни, ее событий, встреч, поворотов, случайностей ведет к одному, составляя для каждого его уникальный сюжет избывания существования к неизбежному концу, дано через обостренно-болезненное сознание гениального шахматиста, через ту мистику шахматной игры, в терминах которой Лужин чувствует темный, нависающий над ним рок. С детства его душа и ум маниакально замкнуты на шахматах: он мог мыслить только шахматными образами, воспринимая мир как шахматную доску, — вот этой липой «взять... телеграфный столб», а в символическом сне он видит себя голым на гигантской шахматной доске. Лужина, по существу, не интересует больше ничто и никто: ни люди, ни общество, ни родители, ни любовь, — только такая отвлеченно-онтологическая игра, и в этом смысле он один из самых метафизических героев Сирина.

Исходная шахматная позиция судьбы определилась для него еще в детстве, точнее, с момента рождения, все остальное — лишь «замысловатое повторение зафиксированных в детстве ходов», рокировки, комбинации, ведущие к неизбежной ловушке, к жизненному мату. Для других эта шахматная партия судьбы, иначе — неуклонное бытие-к-смерти, скрыта за радостями и заботами исполнения жизненных ролей, за постоянными отвлечениями-развлечениями. Нормальные люди («настоящие, отвратительные»), то есть нормально подслеповатые и глуховатые, не замечают или сразу же спасительно отводят глаза и отвлекают уши, как только промелькнет скелетная тень или взвизгнет коса зловещего режиссера их судьбы, проглянут так и не опознанные ходы рока. Тихое, внутреннее сумасшествие Лужина — в необычайно остром чувстве этой судьбы, ее тяжелого дыхания за спиной, ее душащей обнимки, — одним словом, экзистенциальной истины человеческой жизни, но у него мистифицированной в мании шахматного преследования. Ощущение смертной судьбы воспринимается им как сознательная игра, «игра, не им затеянная, но с ужасной силой направленной против него», как заговор против него черной высшей силы (принимающей облик его воспитателя и менеджера Валентинова), когда внешние события, случайные встречи, потом «затишья» и «скрытые препараты» складываются в ее ходы и комбинации, часто обманные, — «тонкая уловка со стороны шахматных богов».

«Защита Лужина» — это и найденный им шахматный вариант игры против дебюта Турати, который он так и не сумел двинуть в ход, довести до конца, но в настоящем смысле — его такая же тщетная защита от рока, серия попыток уйти от него, сорваться с его железной цепи, что лишь жестче и неумолимее его держит. К финалу он решает действовать нелепо, выпасть из намеченной рутины и таким поведенческим алогизмом обмануть идущую по следу судьбу, пускается в «защиту, так сказать, наудачу». Под видом, что — к дантисту, оставляет жену, нарочито причудливо плутает по городу и возвращается домой ровно в тот момент, когда туда подъезжает Валентинов, от которого он пытался спрятаться, — попадает, так сказать, в самую пасть к судьбе, шаги Командора уже совсем рядом — «опустошение, ужас, безумие». Лужин понимает: «его защита оказалась ошибочной», «ловушка, ловушка!» Эта маниакально-исследующая фиксация на всех эпизодах жизни, неожиданных встречах, разговорах, событиях — как нарочитых, входящих в некую неумолимо губящую комбинацию, — на деле есть лишь доведенный до градуса сумасшествия как бы вполне объективный факт, ибо в любой жизни — повторим — цепь событий ведет к одному финалу, часто преждевременному, случайному, трагическому, и если обернуться назад, то действительно: пошел по этой улице, этого встретил, такой выбор сделал — и вот губительный результат, а могло бы быть иначе: по другой улице пошел, опоздал на самолет и спасся от катастрофы...

И тут он находит единственный для себя выход: «Нужно выпасть из игры», — бежит домой, запирается в ванной, разбивает окно, пока ломаются к нему, и выпадает из окна. Логика самоубийства проступает здесь достаточно ясно: сознательно осуществляю свой конец, хотя бы так сам завершаю партию, становлюсь демиургом, «деспотом своего бытия», сам иду навстречу нависающей, неумолимой силе и тем как бы над ней возвышаюсь.

По-набоковски изящный финал романа, выдерживающий шахматное видение до конца (даже бездна под ногами Лужина распадается «на бледные и темные квадраты» отраженных на тротуаре окон), как в «Ultima Thule», лишь дразнит насчет понимания того, что уже явилось Лужину, а для нас остается тайной: «В тот миг, что Лужин разжал руки, в тот миг, что хлынул в рот стремительный ледяной воздух, он увидел, какая именно вечность угодливо и неумолимо раскинулась перед ним». Кричат выбившие дверь: «„Александр Иванович, Александр Иванович!“ Но никакого Александра Ивановича не было». Интересно, что имя героя впервые в романе звучит в тот момент, когда он уже исчез для живых, до того он был просто Лужин, а все остальные персонажи, кроме Валентинова, — его родители, жена, ее отец и мать, случайные знакомые — старательно остаются без имен: одна из черт, созидающих атмосферу метафизической, экзистенциальной притчи, каковой в определенном смысле является этот роман, как и более поздний — «Приглашение на казнь» (1936).

О «Приглашении на казнь» писали немало, то видя в нем изошренную игру творческого сознания с самим собой, то помещая его в ряд антиутопий XX века. Мне бы хотелось выявить экзистенциальное его содержание, которое связано с двумя важнейшими коллизиями: «я» перед лицом смерти и «я» и другие.

Цинциннат, ждущий казни за свою *непрозрачность*, внутреннюю сложность в вычисленном до точки мире, мире абсолютной прозрачности и взаимозаменяемости его обитателей, определяет себя буквально — *готовящимся умереть*, как называли себя гладиаторы, идущие на последний бой. Основной поток его переживаний, полный тоски, отчаяния, невозможности принять свое железно гарантированное исчезновение, бессмысленных надежд на спасение, несется к тому страшному провалу, в котором вот-вот исчезнет его драгоценное «я». «*Неужели никто не спасет?*» Неужели? Да, никто, никак и никогда — отрицательные отчаянные констатации, лежащие в основании бытия смертного человека, никакой силой отменить нельзя.

Критики иногда записывают Цинцинната в жалкие, ординарные, самые неавтобиографические персонажи Набокова — совершенная аберрация: это единственное «я», единственная личность в романе, и стоит почитать те записи, которые он ведет в тюрьме как почти безнадежную попытку что-то после себя оставить, чем-то зацепиться в бытии, чтобы поразиться глубине его мысли, красоте ее выражения, изощренному владению словом, совершенно авторским. До каких тонких открытий докапывается он в своей пограничной ситуации, в непрерывной медитации над собой, живущим «в неумно воющем ужасе»! Цинциннат чувствует, как сзади на шее вот-вот прорежется «третий глаз», «безумное око, широко отверстие, с дышащей зеницей и розовыми извилинами на лоснистом яблоке», оно уже сейчас видит занесенный над ним топор. Но главное — отверзаются в нем *вещи* внутренние *зеницы*. Так, снимая с себя «оболочку за оболочкой», доходит он «путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияющей точки, и эта точка говорит: я есмь!», обнаруживает в себе (в человеке) центр самосознания («я» есть «я»), глубинную достоверность «я», его средоточие, что и созидает тождество личности на всех этапах ее изменения, развития, возрастных метаморфоз...

Одно это открытие глубинного свидетеля и освидетеля личности, центра ее тождества укореняет человека глубже мира преходящих феноменов, приоткрывает метафизическую надежду, которой, как ни странно, в этом мрачном романе Сирина больше, чем где-нибудь еще в его мире. В прозрениях Цинцинната мелькают и платонические мотивы, интуиции истинного бытия, оригиналов и образцов тех теней совершенного блага и блаженства, разумности и всемогущества, которые населяют «корявую копию» его снов.

И тот мир, что рисуется вокруг, тоже отвечает ситуации центрального «я», отражающего этот мир и находящегося в близости своего малого апокалипсиса. С человеком погибает весь мир, и этот, что предстает еще глазам «готовящегося умереть», тоже как будто готовится к тому, чтобы вскоре исчезнуть, настолько все в нем «не свежо, ветхо, покрыто пылью». Было когда-то цветное, брызжущее, полнокровное бытие, но, «упиваясь всеми соблазнами круга (то есть крутясь на одном, не восходящем уровне. — С. С.), жизнь довертелась до такого головокружения», что как бы вышла в другое измерение, в состояние энтропийного упадка, относящегося и к человеку, что примитивизировался, автоматизировался, в гротескную куклу ниспал. Один Цинциннат еще жив среди этих призраков: «Какие звезды, — какая мысль и грусть наверху, — а внизу ничего не знают», — уже с детства чувствовал наш атавистический герой. И тянется он недаром к далекому прошлому, к эпохе цветущей культуры, отдаленному XIX веку.

То не раз отмеченное качество иллюзорности, кукольности окружающего Цинцинната мира, когда время на циферблате старательно рисуется передвигающейся стрелкой, искусственный паук висит на ниточке в камере, когда по щекам Марфиньки стекают «продолговатые, чудно отшлифованные слезы», а по небу плывут бутафорские облака трех повторяющихся типов, на улице разыгрывается «просто, но со вкусом поставленная — летняя гроза» и, наконец, когда к финалу, по мере приближения героя к эшафоту, убирается луна, разрушаются, как отслужившие декорации, его камера, сама тюрьма, дома, мимо которых проезжает коляска с осужденным, — все это может быть вполне прочитано и в экзистенциальном ключе. Это, по существу, образ иллюзорности самой смертной жизни (классический мотив «жизнь есть сон», один из самых эксплуатируемых у Набокова) — какая в жизни твердая реальность, если в любой момент она свернется и кончится для каждого, а главное — для тебя, единственного! (В рассказе Набокова «Terra incognita», 1931, та же мысль.)

Мысль о конце мира для умирающего реализуется в «Приглашении на казнь» в галлюцинаторно ярких, сюрреалистических образах финала романа: как гаснущий софит, меркнет освещение солнца, небо начинает трястись, валятся тополя, присутствующие на казни бледнеют, *опрозрачиваются* на «дурно намалеванном» заднике... Цинциннат еще по пути к эшафоту, еще во влас-

ти страха, понимает, что этим признаком «неустойчивости», какого-то «порока всего зримого» обещается ему скорое пробуждение от дурного сна. И действительно, по-толстовски (*умереть — проснуться*), казненный Цинциннат, бросив последний взгляд на обломки и труху окончательно распавшегося мира, направился «в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».

Таких существ в том мире, где жил Цинциннат, не было. Надо учитывать одну важную особенность экзистенциального взгляда, проявившуюся и у русских, и у французских авторов. Главный экзистенциальный герой их произведений, всегда внутренне связанный с автором, только себя, по существу, подает и з н у т р и, сердечно, тонко, с сочувствием, адекватно, воспринимает как и с т и н н о г о человека, остальные же, погрязшие в «неистинном» существовании, рисуются и з в н е, иронически, брезгливо, с отвращением — это «другие», пошлые, поверхностные, п р о т и в н ы е. Это фактически сатирический подход, такой, что овнешняет человека, превращает его чуть ли не в заводную марионетку.

В «Приглашении на казнь» эта антитеза я — *другие*, стоящий за нею нравственный солипсизм, своего рода «субъективный идеализм», были реализованы предельно-буквально, в поэтике одновременно сюрреалистической и притчево-символической, когда только «я» один «жив и действителен» среди прозрачных, но и призрачных одновременно, среди «плотных на ощупь привидений», среди «крашенных кукол» и пародий.

Собственно, любой социум готовит «детей... к благополучному небытию взрослых истуканов», по выражению Цинцинната; большинство и существует потом в автоматическом, заведенном режиме, не терзаясь смертью и тайнами бытия, зато зная толк в том богатом веере земных удовольствий, которые так методично классифицирует м-сье Пьер от «блаженства отправления естественных надобностей», гастрономических и любовных, до «наслаждения искусством». Так же как большинство вполне определяется тем вещным миром, которым окружает себя (семья жены Цинцинната является к нему в камеру со всею мебелью, утварью, кошкой, фамильным портретом, а сама Марфинька — с очередным ухажером), так же как его представители в своей типовой штамповке предсказуемы, прозрачны, взаимозаменяемы (у Набокова один актер-марионетка играет с набором париков, накладных бород, одежды и словаря директора тюрьмы, адвоката, врача, стражника, подручного палача...) и... предельно агрессивны по отношению к тем, кто не похож на них, непрозрачен, непредсказуем, ускользающ.

Так что типично экзистенциальное отношение ко всем живущим в *тап*, действительно для всего творчества Набокова, в «Приглашении на казнь» лишь экспрессивно, гротесково сгустилось. Впрочем, в основе такого отношения к другим лежит первично романтическая схема, когда одна исключительная личность центрального героя, страдающего мировой скорбью, противопоставляет себя благополучному, пошлому, низменному миру всех остальных.

У Сирина разве что самый малый лелеемый им круг людей изъят из овнешняющего взгляда: отец, мать, родные, некоторые духовно близкие одиночки (поэт Кончеев в «Даре»), любимая женщина (Зина в том же романе), но и они — то ли из родовой первопричины, то ли из окрестностей единственного центрального «я».

В том же «Даре» предстает целая галерея «других»: знакомые эмигранты Годунова-Чердынцева, его частные немецкие ученики, коллеги по Союзу писателей, мать и отчим Зины, встречные на улице, на отдыхе в лесу, — но апофеозом овнешненного видения предстает фигура Чернышевского в его жизнеописании, предпринятом героем, когда обнажается вся глубокая неправда подхода к человеку как к типу, тем более с целью его разоблачения, — подхода предвзятого, плоского, моментами откровенно грубого и пошлого и уж контрастно противоположного экзистенциальной установке на проникновение во все индивидуальное, неповторимое, уходящее, тому же любовному вниканию в фигуру и судьбу отца.

Героям Сирина известна внезапная симпатия с другим человеком — так в рассказе «Набор» одному из них кажется, что старый, больной, забвенный старик на городской скамейке чувствует то же, что он: сумасшедшее счастье быть среди мира и видеть его в сверкании жизни (как бы «идеологически» ему близок!), но и его рассказчик воспринимает лишь в модусе своего экзистенциального, своего писательского сознания — именно такой ему нужен для очередного эпизода романа, где уже обречен «появиться на минуту в глубине такой-то главы, на повороте такой-то фразы».

Возможно, что именно в этой коллизии: «я», единственное и дорогое, трепещущее перед бездной небытия и счастливо спасающееся в мигах созерцания мира, в фиксации этих созерцаний в искусстве, и *другие* — чужие, достойные лишь иронии и осмеяния, — особенно проявилась та жесткость сердца, идущая в конечном итоге от отчаяния в спасении, которая характерна для экзистенциального обезбоженного взгляда. С его метафизической аутизацией сознания, недостатком чувства солидарности с другими, явным дефицитом любви (как же, отвергается Тот, Кто есть интеграл любви, сочувствия и солидарности со всякой жизнью, самой пошлой и забвенной!) и переизбытком презрения, даже высшего, стоического оттенка.

Ирина Роднянская в статье о Маканине («Новый мир», 1997, № 4) отметила своего рода «эмиграционный шок», настигший писателей с «переходом в новое российское время», «в зону игры без правил, именуемую свободой». Литература нашего времени действительно кое в чем важном аukaется с тем, что создавала литература первой русской эмиграции, прежде всего в ее экзистенциальном, не-классическом крыле. Я уже не говорю о Набокове, который объявленно стоит среди первых учителей «другой литературы» — ее под рыночно-броским, но совсем не точным названием «Русские цветы зла» попытался антологически собрать и систематизировать Виктор Ерофеев. При чуть более точном знании предшественников должна была возникнуть и новая вариация старой формулы: «Все мы вышли из „Распада атома“». *Вышли*-то вышли, но какими часто патологическими уродами и холодными игроками, готовыми в силу полного отчаяния в спасении, а может быть, и в собственном реальном таланте активно подыграть злу, надуться его черной кровью до хоть какой привлекающей ошарашенное внимание формы.

Глубинный секрет этой литературы (впрочем, давно разоблаченный, хотя бы тем же Г. Ивановым) еще раз выдает творчество Юрия Мамлеева — не забудем, ближайшего предшественника и учителя «священного чудовища» новой волны Владимира Сорокина. Известно, что Мамлеев еще и философ, и своих монструозных героев он вполне внутренне отрефлектировал, представив пронизательную психопатологию дикого страха смерти, причем «смерти жестокой, „атеистической” — обрыва в ничто». До визга, до какого-то поросычьего, предубойного визга, до гротескной некрофилии, до ужаса перед покойниками, так и норвящими обратиться в вампиров (скрытый комплекс вины перед умершими, каким болеет вся наша цивилизация с ее масскультурой кладбищенских «ужастиков!»), доходит здесь экзистенциальное переживание ужаса неизбежного конца. «Я сам до патологичности, до судорог боюсь смерти и считаю, что Творец должен еще передо мной ответ на коленях держать за то, что я так гнойно смертен и каждую минуту — хотя бы теоретически — могу умереть», — такую шиворот-навыворот «бунтарскую» выкладку отношений с Богом и смертью мамлеевского героя уже прямо не повторяют нынешние наши жестокие «чернушники». Подобная открытая идеологичность уже за бортом. Они — во власти уже запрещенного щекочущего юмора метафизических висельников с соответствующими плодами сатанической фантазии. Переживание абсурда смертного бытия, который исповедовала классическая экзистенциальная литература, как правило, приходившая, надо отдать ей должное, к пози-

ции трагического стоицизма, здесь выродилось в холодную хулиганскую истерику, когда не вылезают из мата, экскрементов, мочи, кишечного метана, спермы, генитальной вони, когда человеческое тело, этот оставленный душой кусок мяса, подвергается изощренно-садистским манипуляциям и изуверствам, бесконечно расчленяется, потрошится, толчется в кашу, отжимается в зловонную жидкость...

Если в «Распаде атома» мы сталкиваемся с крайней, но находящейся в пределах человеческого реакции, с кричащей трагедией мучительно раненного сознания, то, скажем, такие нынешние культовые фигуры «другой литературы», как Сорокин и Вик. Ерофеев, по-своему уютно устроились в извращенном гиньоле, где царит де Сад помноженный и перемноженный (техника триллера и еще не смонтированного, черного кино). Сказать о том же Сорокине, что он «певец говна и гноя» (Курицын), — значит любезно приукрасить его, редуцировав излюбленные предметы его живописания до самых безобидных. Сей «певец» сам по себе не такой уж большой талант; как мог бы он (да и другие его литературные родственнички) с разве что паразитарным даром, зависимым от травестируемых образцов, зацепиться в литературном бытии, не взяв на вооружение ресурсы крайнего шока, букет всевозможных бесчинств над человеческим телом? Конечно, он это делает со вкусом (недаром сам признает свое писание личной психотерапией), являясь как бы литературным Чикатило, избывающим на страницах своей прозы этот махровый букет, — и вот бесконечно окунает себя в черную ауру возбуждения им, нанизывает эпизод на эпизод, все усиливая живописно-перверсионный вольтаж, борясь с собственным и читательским привыканием все более сильнодействующими смесями и дозами.

Чернуха, ужасики различной степени концентрации, эксплуатирующие те же приемы форсажа, поселились на всем поле коммерциализированных искусств, и в кино, и в театре. Личность как понятие исчезает вовсе, вылезают лишь примитивные куклы, изрыгающие площадную ругань, сочащиеся дурной похотью, немотивированными импульсами к убийству и разрушению... Такое представление человека и в литературе, и в театре переступает ту грань, где обнажение теней и противоречий человеческой природы служит углублению онтологии падшего, греховного естества человека, и переходит в сферу ядовитой сатанинской на него хулы, массово растлевающей своим тотально игровым и развлекательным цинизмом. Это, конечно, крайний полюс современного «искусства», на деле им скорее всего не являющегося, но весьма характерный как знамение времени и состояния душ.

Но и в серьезной литературе сильно поднялся экзистенциальный градус тихого и громкого отчаяния, апокалиптической безнадежности, обострилось ощущение иллюзорности безопорного, обезбоженного бытия, расплзающегося, как трухлявая ткань, сползающего в пустоту и ничто. Никто, пожалуй, так пронзительно, как Петрушевская, не облучает нас низовым, каждодневным, густым кошмаром существования — и это тоже экзистенциальная литература, но вытаскивающая бред и абсурд, изнанку того самого заведенного, «непробужденного» бытового существования в *man* (и оно, как выясняется, не спасается на своих налаженных рельсах, вовсе не изъято из жалкой, безобразной трагедии). И хотя существуют вполне жуткие социальные условия, не они в мире писательницы по-настоящему ответственны за душашую, унижительную драму человеческих отношений, жизни вообще. А условия значительно более поддонные, если не сказать онтологические: взаимное вытеснение эгоистических смертных самостей, особенно въедливое на самом близком семейном расстоянии, убогие, извращенные эмоциональные и «эротические» компенсации, ужас болящей, старчески маразмизирующей, разлагающейся плоти... И здесь Петрушевская — художник упорный и жесткий, не иссякающий в своем исследовательско-художественном диапазоне. Но в ее душном, мучительном мире брезжат лучики жалости и любви, правда чаще всего умираю-

щие внутри каждого человека, так решительно и не сходящего с видения «другого» как противного, враждебного «не я», как воплощения неискренности, корысти, козней...

В творчестве Пелевина, кстати, особенно очевидно, насколько в метафизической своей сути западное экзистенциальное сознание абсурда бытия, его безосновности, «случайности», феноменологической кажимости, солипсизма отдельного «я» смыкается с восточно-буддийской майей, тяжким сном существования, призрачным, пустотным мироощущением. (Экзистенциальное сознание, стоящее на чувстве сильно развитой личности, лишь ясно выявляет, откуда такое мироощущение, указывая на смерть, окончательное уничтожение «я», обесмысливающее бытие, тогда как буддийское ищет смягчения индивидуальной трагедии, радикально отрицая и реальность личности, и природно-смертное бытие — как неизбежно сопряженные со страданием — и маня неким соскоком с колеса сансары в нечто неопишное и не-сущее — нирвану.) Где жизнь, где сон, где реальность, где бред? — все одинаково галлюцинаторно, миражно достоверно и недостоверно, а тот или иной фрагмент окружающего бытия возникает только при интенционально направленном на него сознании, концентрации на нем внимания и зрения. Этот постоянный «феноменологический», «набоковский» элемент восприятия мира концептуально внедряет тот же Пелевин, в прозе которого — да разве его одного! — постоянно чувствуются прорастающие споры, залетающие с набоковских полей. Набоковская эстетическая *гавань спасения* привлекает многих, но, естественно, тех, кто своим даром может претендовать на персонально-художественное обустройство в ней. Тут и Саша Соколов, заклиняющий смертную тоску и бытийственные бездны стилем и формой (впрочем, еще мэтр литературного экзистенциализма Камю пришел к такому же окончательному для себя выводу: ввести *абсурд и бунт* в гранитные берега строгой и прекрасной художественной формы). И Пелевин, озабоченный ярким воплощением предполагаемой иллюзии бытия и его пустоты. В такой заместительно-демиургической установке как-то обретаются утраченные центры и опоры мира (пусть опять же заместительные). Саша Соколов ищет выхода из «смирительных обстоятельств бытия», ищет сбросить «липкие сплетения» каждодневности (в которых бьются герои Петрушевской), чтобы из состояния личинки, потом окукленности воспарить бабочкой, пусть еще угрюмой и несовершенной («Тревожная куколка»). Воспаряет по-своему и Пелевин, хотя бы в свою духовную «внутреннюю Монголию», — чего никак не скажешь о Сорокине или Вик. Ерофееве. Ужасающая, смертная изнанка не обессиливает окончательно первых, вторые же каждый по-своему — со своим ресурсом жонглируемой культуры и литературной способности — не только гипнотизируются этой изнанкой, но начинают демонически служить ей, бесконечно усугубляя ее «эстетской» мультипликацией мерзости и цинизма, пытаясь эпатажно удержать внимание читателя к себе...



Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

ЗАКЛАДКА

Андрей Дмитриев. Закрытая книга. Роман. — «Знамя», 1999, № 4.

Начать за здоровье, кончить за упокой. Манера известная.

В зачине мажорный анекдот о пьяном учителе, чье потерянное пальто тут же возвращается его хозяину неизвестным почитателем, обозначает патриархально-идиллические координаты мира, предложенного романистом к освоению.

К финалу от идиллии не остается ничего. Финал минорен. Это смерть (убийство; а в каком-то смысле и искупительное, и избавляющее от житейской тщеты самоубийство) сына вышеозначенного учителя. «Зачем так больно визжать, молил, страдая, Серафим; визг помешал ему расслышать забывательный звук затворов; боль поднялась к горлу, уже не давала дышать — и залп снял боль». Это одиночество и неприкаянность рассказчика, оказавшегося волей обстоятельств в Германии. Безымянный рассказчик в рождественские дни встречает на улице любимую женщину, с которой давно разлучен, — но та тут же бесследно теряется в праздничной толпе. То ли она была, то ли нет. Остается попить горячий глювайн и снова собираться на родину, очертания которой в памяти тем временем уже теряют четкость.

Мир портится. Хорошее кончается, плохого становится все больше. Жизнь не складывается, планы рушатся, и у читателя растут подозрения, что существование назначено не для счастья, что человек одинок, а вселенная непостижима. Но не будем спешить с безотрадным выводом. Вернемся к началу. Причем двинемся теперь *от упокоя — к здоровью*. Авось веселее.

Название романа интригует. Что это значит — «закрытая книга»? От кого и для кого она закрыта и как ее открыть?

В некотором приближении перед нами семейная хроника в трех поколениях. XX век. Русская прозинция. «Наш город». Отец, сын, внук.

Отец — провинциальный учитель географии, которого чтит и любит весь город. Он назван инициалами В. В. и представлен личностью легендарной. Самые яркие страницы биографии В. В. прожиты им в молодости. Тогда он дружил с одноклассниками, будущими великими людьми; это филологи Плетенев и Новоржевский, писатель Свищов, медик Жиль, создатель логарифмической линейки Редис (к ним, имеющим явных прототипов, мы еще вернемся). Подробно описана таимая учителем ото всех жизнь его в чуме у саамки Маарет (в то время как в России шла Гражданская война) и вкратце рассказана история женитьбы на горянке Розе Расуловне.

Всеми в романе признано, что В. В. — человек незаурядный. Он талантливо приобщает школьников к романтической экзотике своего предмета. Его география — это география чуда, преимущественно история географических открытий и великих путешественников, заветных точек на карте, овечьих мифами. Хлопотами В. В. также создан на острове возле города диковинный музей природы края: собрание чучел и гербариев в сопровождении надлежащих пояснений.

Сын В. В., Серафим, — человек не без странностей. В молодости он чуть было не свихнулся, оказавшись «не в силах почувствовать масштаб и создать в себе образ нашей Галактики»; но выправился, преподавал в местном институте, пока не напечатал в газете статью, которую не одобрило местное начальство. Серафим был объявлен сумасшедшим, и ему пришлось удовольствоваться местом лектора в планетарии.

Внук В. В., Иона, — сыродел. В уже постсоветские времена он занялся бизнесом, основав акционерное общество «Деликат», и весьма преуспел — в немалой степени за счет эксплуатации семейной легенды, славы деда. Но затем Иона, само собой, прогорел и бежал за границу, скрываясь от мафии. В финале Серафим подставляет себя под выстрелы киллеров, заменяя сына.

Повествование ведется зигзагом. Хронология требует реконструкции, персонажи появляются и исчезают. Отчасти это мотивировано произволом рассказчика, того, кто воссоздает легендарные подробности жизни В. В., повествует о Серафиме и Ионе, а заодно о прочих разных вещах, в том числе и о себе, о своей матери, когда-то покоренной романтическими историями В. В.

Возлюбленная рассказчика Марина, даже сливаясь с ним в объятиях, твердит ему, что ждет от любовника жизненной инициативы — чтоб он строил жизнь энергично, не поддаваясь давлению причин. Требовательная Марина в конце концов предпочитает рассказчику более успешного на тот момент Иону. Еще одно элементарное романное зерно: любовный треугольник.

Что ж, «Закрытая книга» имеет право на существование и как незамысловатая хроника с многочисленными странностями, причудливыми житейскими поворотами. И неохота придирается к «эрмитажным тапкам»: дескать, не надевают посетители в питерском Эрмитаже никаких таких тапок. Бог с ними, с описками.

Но, должно быть, автор имел в виду и еще что-то. Слишком он умен и знающ, слишком подробен в частностях и изыскан в деталях, чтобы столь резко ограничить свои задачи.

Здесь наши построения принимают характер гипотетический, и Дмитриев мало чем желает нам помочь. Предложен роман без акцентов, где все происходит как-то по касательной к возможной смысловой логике. В такой повествовательной манере есть обаяние непредвзятости. Но опытный читатель, не доверяясь первому впечатлению, примется, пожалуй, искать в «Закрытой книге» какие-то зацепки; он берется за вычисления, хватается за детали, «открывает» в книге потаенные смыслы. В духе модного повертия начинаешь восполнять недостающий объем сообщения посредством вычитывания-вчитывания аллюзий, намеков и эквивоков.

Можно ли заподозрить такую интеллектуальную игру с читателем в романе Дмитриева? Как на это ответить? К примеру, само название — очевидная аллюзия на известный каверинский роман. Притом уже упомянутый сочинитель Свищов по всем приметам имеет своим прототипом именно Вениамина Каверина. А вдруг тут-то и заложен неочевидный смысл?

Или вот одно главное детское воспоминание рассказчика, связанное с В. В.: учитель приглашает желающих прогуляться с ним по городу, послушать его рассказы — и начинается людное гулянье, толпа ходит за В. В., люди ломают и едят хлеб, только что полученный в лавке (две буханки в руки), делятся куском с теми, кому хлеб не достался... И то ли здесь нам указано на Моисея, водившего евреев по пустыне, то ли на Христа, преломлявшего хлеб так, чтобы хватило на всех. То ли еще почему-то на крысолова из Гаммельна. То ли на всех на них разом. А может, нет тут никакого указания вовсе.

План подобной аллюзивности у Дмитриева по меньшей мере несистемен, необязателен, факультативен. Ее нить сразу рвется. Его писательская манера кажется чересчур предметной для того, чтобы нам предполагать эдакие ухищрения. И нет никакой уверенности, что у Дмитриева вообще важен некий далекий за-текст. И возможно, вовсе не нужно забредать в эти лабиринты.

Упомянуто в книге, что друг В. В., Свищов, был автором прославленного романа «Навигаторы», сюжет которого завязывался в этом городе. Сказано, что герои романа Свищова, мальчики, повзрослев, немало повидали, многое пережили — и решили ту важную задачу, ради которой были вызваны писателем из небытия (обнаружили место гибели антарктической экспедиции, разоблачили и покарали злодея, повинного в этой гибели). Может быть, и роман Дмитриева надо прочесть вполне наивно, как читали мы когда-то каверинских «Двух капитанов» — книгу жизненных испытаний и героических подвигов? Невольно возникает желание применить эту формулу к персонажам нынешнего романа, распространить на их жизнь ту лестную характеристику, которая дана свищовским «навигаторам». Но возможно ли это? И да и нет.

Тут оказывается, что про В. В., например, мы просто слишком мало знаем. Персонаж не раскрыт изнутри. Он явлен нам в ореоле легенды. Учитель. «Великий педагог». Но что особенного он в своей жизни испытал и чем героичен? В нем легко угадывается большой ребенок, чудака, гуляка праздный. И это все? На смерт-

ном ложе он вспоминает покинутую дикарку Маарет — и дан намек, что та, возможно, не вынесла разлуки, умерла, а В. В. виноватит теперь в этом себя. Таким образом, юношеский туземный роман оказывается самым важным эпизодом его земного странствия. Достаточно ли этого, чтобы признать, что наш герой сильно возмужал и много пережил?..

Испытания, выпавшие на долю Серафима, выглядят куда серьезнее — или по крайней мере описаны подробнее и полнее. Кончина в родах жены, в смерти которой Серафим, подобно отцу, ищет свою вину; неприятная беседа в ГБ, преследования со стороны властей... Известно и содержание статьи, ставшей причиной этих гонений в позднесоветское время. В ней Серафим предлагал создать Государственный нечерноземный парк Союза ССР — превратить все Нечерноземье в заповедную землю, свернуть здесь промышленное производство, приостановить основные сельхозработы, дать людям отдых... (Вспомним, что таких статей в те времена в газетах не печатали. Но автор предлагает нам согласиться со своими чуть гротескными допущениями.) Во властных инстанциях герой был обвинен в клевете и диверсии.

Серафим — человек непрактичный, простодушный, даже наивный. Он выглядит жертвой неблагоприятных обстоятельств, лицом страдательным. В старости становится одиноким мизантропом. Пессимистически объявляет, что современный мир, живущий под небом Бруно и Галилея, — промзона. Вряд ли нам явлена личность экстраординарная. И лишь в финале Серафим вырастает в монументальную фигуру.

Как понять его решение подставить себя под пули наемных убийц? Серафим то ли уходит из жизни, не в силах пережить смерть семейной легенды, семейной славы, поругание фамильного имени после краха предприятия Ионы, то ли решается пожертвовать собой, чтобы спасти сына. Полной ясности тут не предполагается, хотя оба варианта ставят яркую точку в его не слишком яркой жизни.

Одним словом, особенности романного повествования таковы, что ответ на многие вопросы дать, пожалуй, нельзя — многовато недоговоренности.

Предположим еще другое.

У Дмитриева герой практически не эволюционирует, не развивается — или же описание процесса остается за кадром. Герой схвачен автором в отдельные моменты его существования. Жизнь намечена пунктиром, обмолвкой. Важное и интересное в человеке раскрывается лишь в немногих, нескольких подробностях его бытия, не распространяясь на все пространство ежедневного и долголетнего существования. В таком, например, моменте: в августе сорок шестого В. В. застаёт жену за уничтожением старых бумаг, горят в печи автографы Ахматовой и Зошенко, а потом В. В. с супругой ночью, распахнув окно в сад, читают «вслух все, что помнили из когда-либо опубликованного, из не опубликованного никогда, из сожженного и несожженного... они читали стихи во весь голос, гремя и кипя так, что надолго притихли обычно крикливые жители соседних домов, так громко, что яблоки в окрестных садах падали с мертвым стуком на землю»... Возможна версия, что неполнотой характеристики, дробностью повествования, разрывами и пустотами в жизни персонажей Дмитриев дает понять: человеку в XX веке не хватает жизненной завершенности, духовной силы, чтобы можно было полно и подробно, без провалов и пробелов, рассказать историю его жизни, вытянуть ее нервущейся красной нитью.

Этот взгляд не нов, но ясен. Неприятен, но понятен. Такой век. Такая жизнь. Такой человек.

Возникает еще и другое подозрение: что наш автор нарочно не в полную меру характеризует своих персонажей. Заманивает, затягивает, интригует... В манере Дмитриева есть такой заход, который заставляет искать концептуальные намеки на закрытость человека, на недоступную тайну человеческого бытия. Человек непостижим, он непонятен даже самому себе. И если он что-то делает, то не всегда способен дать отчет, почему, зачем.

Не отсюда ли в романе столь извнешний, издалекий, сторонний взгляд на героя (глазами довольно случайного и не слишком пронизательного повествователя, опирающегося зачастую на слухи), такие пробелы и зияния в жизнеописаниях пер-

сонажей, такие огромные, такие красноречивые умолчания? Автор не просто пытается активизировать недомолвками ленивое восприятие, заставить его по детали угадывать целое. Не просто намеренно оставляет воздух, предлагая читателям при-сочинить нечто самостоятельно. Он не претендует на всеведение, потому что не верит в него.

Человекознание Дмитриева отличается скромностью и целомудрием. Он лишь намекает, что тот же В. В., может быть, значительнее, чем кажется. Что его педагогический энтузиазм, его романтическая география, его неумеренное винопитие — симптомы внутренней свободы, тихого сопротивления громким обстоятельствам; что он, по словам рассказчика, прожил «не великую — просто очень большую и достойную жизнь».

Филологу Плетеневу (отсылка к Тынянову) в романе приписана теория *отслоения*. Он излагает ее приятелям, зимним Петроградом направляющимся — ни много ни мало — на встречу с Блоком. Видение мира в литературе уподобляется здесь тому, как его видит и показывает глаз «при отслоении сетчатки». Отслоение — это метод познания и описания мира. В сознании художника возникает «некая блуждающая, к зримому миру не относящаяся, ни к чему не привязанная тень — некий постоянный, ото всего свободный мотив, некая мысль, ничья, ни от кого не зависящая и, что самое ужасное, — неотвязная»; она постепенно заслоняет собой мир; «и вот уже мир — лишь фон, вот уже и фон теряет тона, штрихи и краски, темнеет за ненужностью, становится тьмою, наступает слепота, и уже нет ничего в кромешной тьме, кроме незримой уже, но ощутимо присутствующей тени — кроме этого неясного мотива, кроме этой, впрочем, так и не разгаданной мысли». Если не считать эту теорию просто интеллектуальным упражнением, то можно поискать в ней связь с романным строительством у Дмитриева. С его спонтанностью, иррациональностью, с непрогнозируемостью результата и неявностью общего смысла, которые мы замечали. С необязательными намеками на то, что герой литературы подобен чучелу какой-нибудь зверушки в музейной экспозиции на мрачном острове смерти, где не поют птицы.

Впрочем, писатель предлагает на соседней странице еще одну полшутя сформулированную теорию устами Новоржевского (он же — псевдо-Шкловский и отчасти Якобсон) — теорию *ослоения*. Смысл ее состоит примерно в том, что жизненная содержательность в литературе несущественна, «лишь сама игра является выигрышем и лишь сами свечи стоят свеч».

Но как бы там ни воспринимать теоретическую прокладку в романе, нам важна не она сама; существенней романная целостность. И, оценивая ее, нужно, кажется, указать на непреодоленное противоречие. Судите, рядите, но это все-таки не совсем роман — скорее собрание фрагментов. Такое, во всяком случае, возникает стойкое ощущение.

Дело не в том, что композиция могла бы быть и не столь прихотливой. Ситуация острее: повествование ткется из совершенно, в принципе, автономных частей разного масштаба. Например, из далеко не всегда мотивированных историй, «вставных новелл». В них речь идет розно о В. В., о его сыне, внуке. О Плетеневе. О музее природы края...

Дмитриев раскрывается как великолепный мастер фрагмента, детали. Он чрезвычайно убедителен в пределах страницы-двух. Умело и тонко наблюдает жизнь в мелочах и нюансах. Тема Дмитриева также — настроения, «веяния». Это мастер тонких, акварельных картин, фиксатор полуоформившихся движений мысли, потаенных струений, колебательных подвижек души. И тут он подчас близок к совершенству. Великолепно выписаны у него самые мелкие подробности, самые необязательные частности. Скажем, микрорассказ об отправлении поезда на Москву. Или описание ловли кальмара (в духе «форелевых» эпопей Хемингуэя). Или котласский эпизод из жизни Серафима и подсмотренное им убийство местной начальницы Левкоевой. Или проба сыра Ионой...

Не знаю, как там с отслойкой сетчатки, но эта вот проза Дмитриева — явно проза рассеянной оптики. Однако в романе мы в первую очередь ищем полностью сообщения о человеческом бытии, отчет о встрече человека и истории, человека и Бога.

Большая форма. Большая история. Целостная концепция бытия. Этого мы привычно ждем от настоящего, нефиктивного романиста. Назвался груздем — полезай в кузов. Но здесь-то испытанные средства Дмитриева-рассказчика пришли в противоречие с новыми жанровыми заданиями. (Такое провисание повествовательной ткани иногда ощущалось уже в его повестях; теперь оно стало явным.) Надо вроде бы дать объем мысли, объем жизни — пастозно, маслом. А у Дмитриева — акварель, карандаш.

Например, автор почему-то изъясил В. В. из обстоятельств революции и Гражданской войны. Зачем был нужен этот пропуск? Что он прибавил? А убавил, думается, немало... Точно так же пропущены в книге чуть ли не целые десятилетия, аккумулировавшие огромный человеческий опыт. И вот роман, номинально захвативший временем действия чуть ли не весь XX век, едва ли может быть признан в полной мере романом о XX веке, о человеке XX века. Такое его качество слишком сильно смазано.

Нельзя сказать, чтобы Дмитриев не ощущал от этого некоего неудобства. Есть у него, мнится нам, попытка увеличить смысловой объем романного сообщения. Основной способ — сокровенный диалог автора с квалифицированным, осведомленным читателем. Дмитриев, как уже говорилось, вводит персонажей, имеющих явных прототипов: Свищова (списанного, как уже говорилось, с Каверина), Плетенева (романная замена Тынянова), Новоржевского (что-то среднее между Шкловским и Якобсоном), Жилия (брата Каверина, микробиолога Л. А. Зильбера). Намеки на сходство прозрачны, даже игривы. Ясно, с одной стороны, что они не рассчитаны на полных профанов, которые про Шкловского с Тыняновым слухом не слыхивали. Но такие профаны и не входят, судя по всему, в число потенциальных читателей Дмитриева. Его публика — люди культурные, начитанные, наученные. Он дает свое указание для весьма-таки широкой филологической публики. Известная ей богатая и сложная жизнь прототипов стоит за дмитриевскими беглыми, хотя и щегольскими отсылками и сносками, за тщательно отделанными миниатюрами. Она дает повествованию дополнительную перспективу. На читателя возлагается ответственная задача. Он должен сам привнести в роман полунамека тот историко-культурный контекст, который стоит за названными деятелями, и обогатить знакомством с ними потенциал того же В. В. Обеспечить некую дополнительную емкость.

Такой метод, однако, кажется для изящной словесности отчасти контрабандным. Романное обобщение из этого, во всяком случае, автоматически не рождается.

А если предположить, что в наличии роман о человеке как таковом, безотносительно к эпохе? Тут опять не сходятся концы с концами. У героев Дмитриева отшиблено чувство вечности. Им не интересен Бог. Они не задают вопросов о жизни и смерти. Эта сфера опыта срезана напрочь, как будто ее и не бывало.

Симптомагична сцена смерти Плетенева. Он в больнице, умирать не хочется, а придется, потому как лучший друг и чудесный врач Жиль попал под каток репрессий и помощи ждать больше не от кого. Плетенев размышляет «об Истории», о происшедшем в России: солдаты взяли власть, случился бунт плебса. Но смерть касается всех; коснется и победителей. «„А ведь сюжет!“ — Плетенев даже привстал в кресле...»

Профессионал победил человека. Экзистенциальный прорыв угас. Вообще умирание Плетенева показано лениво, вяло, сведено к полубреду, если не к физиологии. Это огромный пропуск, который, думается, ничем не компенсировать.

Философствует в планетарии Серафим — провинциальный любомудр. Говорит о звездном небе, вызывающем страх, но потому и влекущем. В этих рассуждениях есть ноты смутной тревоги, духовной тоски. Но даны они довольно монотонно и даже могут быть восприняты не как личная философия, а как вычитанные где-то фразы. Хотя, конечно, важно, что Серафима все равно никто и не слушает, потому что в планетарий приходят не за этим — ищут тут места для полелуе.

Иногда приходилось слышать, что такова уж манера Дмитриева — такова его *неавторитарная проза*. Интеллигентная, ненавязчивая, вежливая и скромная. Акмеистическая, про перчатку с левой руки. Предположим. Но *интеллигентность* — в искусстве, само-знамо, не индульгенция.

Недавно Вл. Новиков причислил Дмитриева к ряду писателей, единственный минус которых — «некоторое эмоциональное малокровие». О плюсах мы еще скажем, а изъян Дмитриева уловлен верно. Глаза у него сухие. Отцежены чувства, пригашены страсти. Ничего слишком. Ровная заинтересованность в предмете.

Мы уже попытались предположить, что за таким подходом, за культом фрагмента и душевной приторможенностью, стоит авторский скепсис, нествязный, как хронический насморк, пессимизм в оценке человеческих возможностей и общественных перспектив. Отсюда — боязнь больших идей, отсюда — лишь формальное решение проблемы большого романного масштаба повествования. И коли это так, придется сделать неутешительный вывод: агностик — плохой романист.

Но сердце не лежит к такой категоричности. Есть в романе Дмитриева еще органика изображенной жизни: схвачено и явлено что-то стихийное в ней, неразумное, внеинтеллектуальное. Иррациональные влечения, стремления, тоска и жажда. Недаром так иронически поданы друзья В. В., предающиеся схоластическим прениям на невском льду в 1918 году. Эта стихийность заразительна. И под ее ли властью или так просто, но хочется говорить о прозе Дмитриева как об удаче для читателя, вопреки всем резонам. Получился роман, нет ли, а читать интересно. И даже — вот редкость — хочется перечитать, заново просмаковать многие страницы. Пусть даже интерес куплен зачастую виртуозностью самого рассказа, а не важностью духовных проблем, не полнотой воплощенного в слове человеческого бытия.

Дмитриеву дана способность по-своему сказать о жизни. Новый, свежий язык. Необычная ритмика фразы. Благодородство тона. Культура речи. Красота слога — простого и предметного, лаконичного и точного, лишеного излишеств. Это книга для гурмана, умеющего ценить такие редкие, антикварные вещи.

Эпоха-фельетон, сомкнув к концу XX века маскульт с авангардом, ждет от писателя скандала, эпатажного жеста, ежемоментной готовности спровоцировать публику. Ждет грубых и острых эффектов. Принято считать, что именно такая стратегия позволяет найти читателя, приносит максимальный потребительский успех. И нам известны имена такого успеха. Но не всякий может, не всякий и желает. Есть еще, кроме шума, области тишины. Есть репутации, не тронутые скандалностью. Андрей Дмитриев — писатель, не заботящийся, кажется, о славе. У него неодиозное, немодное имя. В литературном процессе он существует обособленно, не вмешиваясь в распри, не членствуя в кружках и партиях. Творит сосредоточенно и уединенно, живет не напоказ, редко являет миру плоды своих литературных трудов, но уж если выходит к читателю, то не с пустышкой какой-то, а с полновесным *шедевром*. Он далек от всей этой суеты суетствий и пишет, так сказать, *для немногих счастливых*, для эрудированных и взыскательных читателей. Какковые и имеются в некотором не весьма, должно быть, великом, но верном-преданном наличии.

Манера поведения в литературе у Дмитриева довольно гармонично сочетается с буквой и духом его прозы. Первое и главное, что сразу бросается в глаза: Дмитриев — традиционалист. У него даже и фамилия «традиционная», «литературная»; и в своем новом романе писатель решил напомнить об этом обстоятельстве: рассказчик-филолог, поступивший на заочное отделение филфака МГУ, пишет курсовые «о Дмитриеве и Карамзине». Сегодня нужно приложить дополнительные старания, чтобы осознать, что приверженность традиции — не всегда синоним беспросветного эпигонства. Что традиция ныне — это результат осознанного выбора в пространстве разных возможностей. И у Дмитриева случился такой вольный выбор — в пользу неоклассики. Выбор, заслуживающий уважения. Он не является поводом для критического априори. И он оставляет писателю полную свободу искать и находить себя, свое. Случай Дмитриева интересен тем, как в формах, напоминающих традиционные, пробивается новое содержание.

Та традиция, которая стоит за его романом, с одной стороны, экзаменует автора, но с другой — невольно дает повествованию опору, объем, вес. И здесь уже не столь важны частности — вопрос о тех же прототипах, здесь важнее общая прописка: традиционная русская проза. Ее архетипическая матрица. Она оказывает магическое действие, затягивает автора в свою орбиту. Дмитриев, при всех своих модных новациях, волей-неволей оказывается приверженцем доброй старой, гармони-

ческой литературной и мировоззренческой нормы и должен быть признан не просто тонким стилистом, взыскательным мастером, тщательным в отделе художественной ткани. Но еще и — реалистом, еще и — гуманистом. Это есть в романе и есть в авторе: не только умная наблюдательность, но и внимание к человеку, но и душевная опрятность. Не такой уж дешевый во всякие времена товар.

Тургеневская, чеховская закладка в русской прозе конца XX века.

Евгений ЕРМОЛИН.

Ярославль.



ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ

Юрий Буйда. Прусская невеста. Рассказы. М., «Соло»; «Новое литературное обозрение», 1999, 320 стр.

Было бы любопытно как-нибудь заняться и составить реестр того, чем недовольны писатели в окружающей действительности. И тут на первом месте, как мне думается, оказались бы не размеры гонораров и даже не охлаждение читателей и властей к литературе, а четырехмерность того физического континуума, где им, писателям, выпало пребывать.

Конечно, три оси координат, так похожие на пустой угол совершенно пустого помещения, плюс время, обобществленное календарем, — маловато для творческого ума. Писатель стремится время приватизировать, а пространство раздвинуть и как-нибудь искривить. Писателю уже недостаточно выдумывать героев с приданными им участками беллетристической нереальности (квартиры, конторы, всего соток двадцать — двадцать пять среди преобладающего пространства реальных городов). Сотворить в нигде особую местность, а потом населить ее персонажами так, чтобы они уже сами, без автора, жили-женились-плодились-умирали, — вот по-настоящему привлекательная задача, едва ли не предел амбиций литературного демиурга. Разные авторы — от Фолкнера до Липскерова — создавали собственные области пятого измерения, принципиально не имеющие почтовых адресов. Самозарождение жизни в этих жидкостных средах есть процесс таинственный, часто идущий при нагревании до высоких температур — при искусственном накале сюжетных страстей, — и далеко не у всякого писателя получается желаемый результат. У Юрия Буйды, несмотря на явный перегрев, результат несомненен.

Книга «Прусская невеста» — это не сборник рассказов и не роман в рассказах. Перед нами составное повествование, чьи части взаимодействовали еще тогда, когда были разбросаны по журнальной периодике и читались как отдельные произведения. Тексты, объединенные местом и временем действия, отсылали один к другому, обменивались образами — шли, стало быть, обменные процессы, прирастали качества текстового вещества. Сложные вместе, рассказы Юрия Буйды не обрели специализации, сюжетной и персонажной соподчиненности, какие необходимы для самой свободной формы романа. Но они и не стали, конечно, обычным авторским сборником. Эта книга скорее может быть определена как колония текстов, способная разрастаться за пределы данной книжной обложки. Почти каждый рассказ предьявляет читателю пару-тройку фигур из массовки, которые сперва поражают своей чисто внешней характерностью и как будто ею и исчерпываются. Но потом, через несколько десятков книжных страниц, примелькавшийся персонаж по прозвищу Колька Урблюд вдруг выходит на первый план со своей историей — причем обязательно историей в с е й ж и з н и, включающей персональную, только этому герою свойственную смерть. Густонаселенная книга «Прусская невеста» в этом смысле далеко не исчерпана: осталось немало «неохваченных» лиц, которым автор пока еще не дал места и слова. Стало быть, возможны и другие части «Прусской невесты» — более того, в написанном или ненаписанном виде они существуют. А поскольку Юрий Буйда редко в каком рассказе удержался от того, чтобы по-

полнить население своего городка еще каким-нибудь достопримечательным жителем, то процесс разрастания колонии (то есть книги) теоретически бесконечен.

Собственно, место действия рассказов Юрия Буйды географически даже более определено, чем в традиционных произведениях, где авторов до известной степени устраивает обычная четырехмерная реальность. В принципе, если в таком произведении речь идет не об одной из столиц, то описанный населенный пункт вполне может быть «размазан» по какому-нибудь равному нескольким Франциям региону нашей безразмерной страны. В «Прусской невесте» литературно возделывается небольшая и конкретная Калининградская область, она же Восточная Пруссия, — сухопутный остров Эсэсээрии, окруженный горелым земляным пространством послевоенной Европы, с собственным — новеньким! — куском железного занавеса, за которым клубятся привидения. Привидения — это репатриированные немцы, выдворенные из обжитого места так моментально и под таким глухим покровом секретности, что сам процесс их исчезновения, кажется, способствовал перерождению человеческой плоти в сероватую призрачную субстанцию. Все они как бы умерли. В их еще теплые дома вселились иные люди — русские переселенцы, приехавшие сюда, точно как в Сибирь, «поднимать промышленность». Время действия книги тоже вполне конкретное: сороковые — шестидесятые, кое-где прорастающие в начало века, кое-где дотянувшиеся почти до его конца. Но основная временная толща гораздо тяжелее тоненьких отростков: это клубень текста. Где же тут, спрашивается, пятое измерение?

И все-таки прусский остров у Юрия Буйды, которому посчастливилось там родиться, — место выдуманное, взятое из головы. «Десяти-двадцати-тридцатилетний слой русской жизни зыбился на семисотлетнем основании, о котором я ничего не знал. И ребенок начинал сочинять, собирая осколки той жизни, которые силой его воображения складывались в некую картину... Это было творение мифа». Так автор обозначил в предисловии исходную ситуацию «Прусской невесты». Мало того что советская Пруссия оказывается у Буйды плодом коллективного вымысла ее обитателей: будучи географически в центре Европы, в центре цивилизации XX века, она в переселенческой новой ментальности воспринимается как глушь, как самый дальний уголок ойкумены. Это и понятно: люди ехали сюда из далека, из центра собственной жизни и жизни дедов-отцов, ехали, чтобы принести аборигенам советский промышленный прогресс и прочие ценности нищего народа-победителя. Молодежь, выросшая на острове, рвется уехать уже отсюда — естественным образом стремится к настоящей жизни в больших городах. Мечтания о широком красивом мире порождены конечно же не образами столичных сталинских высоток, а теми благородными артефактами, что остались на острове от исчезнувших призраков: «...да, алый бархат, сквозивший маленькими дырочками, потускнел и запылится, но платье, как и встарь, было головокружительно красиво, и от каждой его складки веяло той жизнью, где не было вульгарных Верок, а были только прекрасные Вероники, где всегда играла музыка...» Имея европейскую, в чем-то уже и родную цивилизацию очень близко на Западе, глядя на самом деле именно туда, молодежь устремляется строго на восток — в Москву, в Москву, куда уже уехали в вагонах репарационные склады! Эта дурная наоборотность зазеркалья, порочная симметрия очевидного и якобы единственно верного относительно некоей непроходимой границы, — одна из лучших линий в структуре книги. «Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя», — писал непревзойденный знаток топологии советского пространства Иосиф Бродский. С другой же стороны, именно отдаленностью от руководящего центра объясняется вольность фантастических сюжетов Юрия Буйды: попробовал бы кто-нибудь из граждан запустить на воздушном змее ассенизационную бочку, превратиться в кентавра или вступить в законный брак с тридцатисантиметровым человечком в непосредственной близости от Кремля!

Время на острове, как будто настоящее и реальное, на самом деле повреждено. Оно проедено войной. Здесь война ощущается не просто как беда и убыток, но как метафизическое искажение континуума. Как всякая глобальная катастрофа, война разделила прошлое и настоящее не своей подлинной четырехлетней протяженностью, но размывчивой пропастью, в которую можно провалиться как с той (из про-

шлого), так и с этой стороны. Как всякая катастрофа, война породила сокровища. Монеты, оставшиеся в подвале банка, разрушенного британскими бомбами, выкапываются как ничейные древности. Ходят слухи о том, что немцы перед репатриацией назарывали в землю всяких несметных сокровищ — посуды, украшений, серебряных ложек и рыцарских мечей. На кладбищах по ночам слышится тихая работа лопат, мелькают бледными мотыльками фонари кладоискателей. Кладбище в «Прусской невесте» — универсальный ландшафт. Тут уместна еще одна цитата из Бродского: «Но каждая могила — край земли». Дальше некуда уносить, выбрасывать, закапывать останки: здесь предел удаления неживого от обитаемых мест, предельно возможная в посягостороннем мире область небытия. И время на кладбищах известно какое: несуществующее.

На самом деле все материальные ценности, что остались от прежних хозяев острова, тоже представляют собой захоронения, только без покойников. Субстанция времени на острове исказилась настолько, что и новые его обитатели часто не могут упокоиться в нормальных человеческих могилах: им не хватает тонкого слоя собственной почвы, а чужая, семисотлетняя, — не пускает. Отсюда — мнимое бессмертие некоторых особо витальных обитателей городка. Бессмертной считали старую Буяниху, которая «карала и миловала, подбирала выпавших из гнезда птенцов, больных кошек и бродячих собак, обличала пьяниц, драла за вихры драчунов, царила и правила на базаре, а кое-кому — особенно детям — казалось, что вдобавок ко всему она повелевала облаками и сновидениями, — и все это она проделывала с одинаковым и неослабевающим пылом, так что оставалось только удивляться, как она находит время и силы, чтобы вести домашнее хозяйство, воспитывать семерых детей и работать». Похороны Буянихи (которую — из-за принципиальной тесноты такого чисто человеческого изделия, как гроб, — словно языческую княгиню везут на кладбище в лодке) кажутся ее согражданам делом невозможным. И действительно, как из сундука Буянихи вместо чаемых накоплений вырвалось пухлое облако моли, так и сама она не легла в землю, но улетела на небо в виде столба из тысяч голубей. Улетела туда, куда устремился на своем воздушном шаре и Витька Фашист, изживший свою судьбу на островном пятачке до полной бессмысленности (решивший править, что характерно, за Урал и в Сибирь — в глубину зазеркалья, в единственно возможную сторону мира, ополовиненного государственной границей СССР). В перевернутой реальности «Прусской невесты» разверстое пустое небо становится могилой наоборот, а растворение в воздухе — совершенно логичным продолжением немеряной длительности человеческого существования. Отсутствие мер, единиц пространства и времени — жидкостное агрегатное состояние часов и километров, наличие восьмого дня недели («когда именно — и только тогда — случаются по-настоящему важные события в человеческой жизни») — убедительно превращают Пруссию в «гдетию».

«Гдетия» Юрия Буйды расположена на краю мира столь же буквально, как если бы мир стоял на трех слонах и обрывался в никуда: так, «железный занавес», обрубивший сушу прямо у людей под ногами, отдает средневековым едва ли не в большей степени, чем спящие в подземелье под кирхой рыцари гроссмейстера Германа фон Зальца. Стало быть, на беспризорном краешке мирового блина, где видны не только обычные вещи, но и чудовищные почвы слоновьих крупов, и океанское брожение мирового молока, — самое место фантастике и чертовщине. У каждого героя книги, как уже было сказано выше, своя невероятная история. Она начинается с того, что человек, переселяясь в переименованную местность, сам переименовывается: получает прозвище. Тем самым он принимается в персонажи. В каждом прозвище (всегда уникальном, ручной, так сказать, работы, их у Юрия Буйды целая коллекция) уже зашифрован туго свернутый сюжет. Граммофониха, Жопсик, Общая Лиза, Вита Маленькая Головка, старуха Синдбад Мореход, Красавица Му, парикмахер По Имени Лев — все это уже не имена собственные, а роли, амплуа. К ролевому прозвищу прилагаются не менее ролевые атрибуты, такие, как Урблюдова гармошка или трубка деда Муханова, набитая грузинским чаем вместо табака: как ни посмотришь на них — Урблюд наяривает на гармошке, а старик покуривает свое приторное зелье. Излюбленный в этой книге авторский прием: дать читателю привыкнуть к персонажу как к части обстановки,

а потом — раз! — и выдать о нем что-нибудь совершенно невероятное. Причем в городке далеко не все человеческие странности держат за чудеса. Ходить по воздуху в пяти метрах над землей — это тут запросто: если человек не грохнется, никто и внимания не обратит. Другое дело — во что-нибудь превратиться, станцевать с Богиней медленной танец или жениться на кукле. Причем странности здешних нормальных людей зачастую открываются после смерти, задним, так сказать, числом: жила несчастная, одинокая старуха, собирала пустые бутылки, а потом в ее комнате обнаружился муравейник бумажек — пятьдесят лет каждый день бабка (женщина!) переписывала от руки одно и то же стихотворение Пушкина.

В «гдетии» только увечные и сумасшедшие обладают цельностью и полностью живут на виду. Прочие двойственны. Во-первых, они не только персонажи книги, но и персонажи городского фольклора — местного азартного вранья. Для соревнований по вранью в городке имеется Красная столовая — традиционное ристалище краснобаев. Важно то, что каждый герой Юрия Буйды известен всем обитателям городка — существует не только в своей истории, но и в сознании сограждан как законная достопримечательность «гдетии». Это важно, во-первых, для обменных процессов, обеспечивающих цельность книги. Что касается «во-вторых» — тут надо опять-таки говорить о поврежденном времени, из-за чего каждый персонаж является собственным дублем, двойником. Не случайно внешняя реальность делегирует на обитаемый остров человека, внешне изумительно похожего на Лаврентия Павловича Берю: только этой видимостью и удается ей дотянуться до безнадзорного края земли, но уж зато призрак получился отменного качества. А основные персонажи книги явственно делятся в себе на свое настоящее и на прошлое, оставшееся по ту сторону переселения, по ту сторону войны. Они не совпадают сами с собой. Их национальность стирается. Все они становятся русскими, то есть никакими: водой, нейтральным растворителем для немецких и еврейских человеческих крупинок, чудом уцелевших на острове-кладбище. Мало кто из героев Юрия Буйды чувствует себя действительно живущим. Отсюда — мучительные поиски оправдания жизни. Причем подлинное ищется и обретается в мимолетном: в единственной ночи с женщиной, просто в женщине, увиденной с моста в ее трагический момент, который герой не сумел разделить. Надо сказать, Юрий Буйда в таких эпизодах бывает порою нестерпимо сентиментальным. Перегрев восклицательных эмоций, перебор всего умильного могут вогнать читателя в смущение. И все-таки пятое измерение у Юрия Буйды, несомненно, получилось: двойственные персонажи-прозрачные-маски составляют вместе население острова, существуют сами по себе и порой заставляют забыть, что у книги «Прусская невеста» есть автор.

Это тем более удивительно, что на самом деле автор — весь как на ладони. Со своей образованностью, отточенной писательской техникой, со своею волей к созданию текста. Заметим, что фантазмагорические сюжеты «Прусской невесты» — раздолье для эрудита. Здесь широчайшее поле для узнавания: искушенному читателю отзовется и маркесовский ливень из «Ста лет одиночества», и борхесовские парадоксы времени-сознания (когда перед смертью человек за несколько минут проживает вторую, испрошенную у Бога, улучшенную жизнь), и много чего еще — в меру его, читателя, благоприобретенной начитанности. Присутствуют, разумеется, мотивы европейской волшебной сказки (Мальчик-с-пальчик, Золушкин башмачок по меньшей мере в двух вариантах — фарфоровые туфельки из магазина Капитана Леши и грубый башмачище богатырши Ванды Банды, в котором была намертво зашнурована жемчужная эльфовая ножка). Найдутся здесь и элементы соцарта, и городские (узнаваемые через Петрушевскую) фольклорные страшилки, и даже отзвуки коммерческого фэнтези. И уж конечно в книге насквозь прочитывается Священное Писание: рассказ «Рита Шмидт Кто Угодно» — наиболее очевидный апокриф (образ Божий в человеке как способность страданием искупать чужие грехи), но и в прочих текстах нет-нет да и протянется библейская цитата. И со всем этим пестрым и хитрым культурным добром Юрий Буйда управляет в высшей степени профессионально. Он понимает, как правильно сопрягаются элементы мифа, безошибочно чувствует насекомные суставы фантастического. Он в своих сюжетах изобретателен, почти неисчерпаем, он как бы владеет мастеровым секретом — методикой художественного изобретательства. Он умеет так окружить невыразимое

кольцом символических материальностей, замаскированных под быт, что читатель уже ни в коем случае не ошибется и воспримет именно то, что автор хотел до него донести. Каждый рассказ Юрия Буйды великолепно уравновешен. Если автор позволяет себе красоту или взрыв сантиментов, то непременно добавляет для достоверности чего-нибудь из грубой природы, — и все на аптекарских весах.

Мне кажется, что между замыслом, если угодно, между проектом книги (который сам по себе очертил несколькими емкими неэвклидовыми линиями зазеркальный характер литературной местности) и исполнением проекта по частям существует противоречие. Такое чувство, будто целое выложено слишком мелкой мозаикой. Цвета мозаики прекрасно согласованы, детали выверены и уместны — но никак не удается по-читательски подобрать масштаб, в котором надо воспринимать эту умную и красочную прозу. Ловишь себя на том, что едва ли не самое интересное в «Прусской невесте» — это авторские предисловие и послесловие, относящиеся именно к замыслу. И вообще анализ книги затягивает сильнее, чем собственно чтение: может быть, это и есть в значительной степени читательская имитация авторской творческой траектории. «В XX веке люди вновь осознали как неизбежность устремления к Целому, так и то, что путь этот — путь трагический, путь через разлад, который, как ни парадоксально, является источником нашего стремления к Целому», — пишет Юрий Буйда в предисловии к «Прусской невесте». Может быть, имеет смысл сказать, что в книге его встречаются и такие поразительные частности, которые работают на Целое больше, чем вся книга. «Мухи бессмертны», — говорит себе школьный учитель рисования, думая о неизбежности бытия. И тут уже никаких вопросов с масштабом не возникает.

Ольга СЛАВНИКОВА.

Екатеринбург.



«ЖИВЫЕ ПОРТРЕТЫ» НАТАЛИИ БИАНКИ

Наталья Бианки. К. Симонов, А. Твардовский в «Новом мире». (Воспоминания). М., «ВИОЛАНТА», 1999, 192 стр.

«Книга Н. Бианки не является мемуарами в строгом смысле слова. Это дневники, живые портреты, зарисовки, документы, фиксирующие события литературной жизни 60 — 70-х годов, так или иначе связанные с лучшим, интереснейшим журналом — „Новым миром“. Именно в те годы — с 1946-го по 1971-й — Н. Бианки работала в редакции, возглавлявшейся попеременно К. Симоновым и А. Твардовским. Сопереживание и доброжелательность, принципиальность, наблюдательность и юмор свойственны автору этой небольшой книги. Архивный материал воссоздает фон тех лет, приближает к нам события, людей ушедшей эпохи» (полный текст аннотации).

Обнаружив в магазине книгу Натальи Бианки, я был безмерно рад: еще бы, на страницах российской печати 90-х годов подчас появлялись материалы о «Новом мире», но книги, посвященные истории журнала и написанные его сотрудниками, оставались редким явлением. Из них наибольшее впечатление произвел на меня «Новомирский дневник. (1967 — 1970)» Алексея Кондратовича. Заместитель Твардовского оставил после себя бесценный материал, а его комментарии 70-х годов дорисовывают облик автора — умного, тонкого и проницательного человека. Упрекая себя за позднее начало записей, Кондратович приходит к выводу, что по прошествии времени порой перестаешь помнить главное: «Похоже, но в общем и так, да и не так. И даже совсем не так!»

Наталья Бианки время от времени публиковала короткие воспоминания в периодической печати, но они не могли вместить события долгих лет работы с К. Симоновым и А. Твардовским, и в конце 90-х появилась на свет эта книжка, попавшая мне в руки. В предвкушении «чуда» я принялся за чтение и без труда добежал до финиша за полтора часа... Затем, немного отдышавшись, вновь подступился к ней, на сей раз мучительно преодолевая каждую страницу.

У книги Н. Бианки есть несомненные достоинства: она убедительно воссоздает атмосферу всеобщей подозрительности на протяжении всего «новомирского» пути и рисует картину нелегкой борьбы журнала с цензурой. Отдельные эпизоды редакционной жизни, описанные автором, представляют несомненный историко-литературный интерес: чтение Твардовским глав из «Теркина на том свете», поездка Н. Бианки в Переделкино с письмом о «Докторе Живаго». Сильное впечатление производят размышления автора о душе и совести Константина Симонова и о причинах мимолетной славы Владимира Дудинцева. Иногда перед глазами читателя возникает живой Твардовский: «Есть ли люди, которые не читают каждый день? Признаться, к сожалению, большинство вообще ничего и никогда не читает. Они только время от времени просматривают газеты. А почему мы с вами читаем с утра и до позднего вечера? Да только потому, что у нас такая уж вредная профессия». Масштабность фигур К. Симонова и А. Твардовского угадывается даже за брошенными невзначай фразами. Удалились и отдельные незначительные «персонажи»: вахтер Ксения Гавриловна — простая неграмотная женщина, требующая от Твардовского «не забирать домой стаканы»; «дама приятная во всех отношениях» И. Осьминина, негодующая по поводу недостаточной толщины траурной рамки к портрету Жданова, и т. п.

Читая книгу Н. Бианки, подспудно анализируешь тезисы других авторов, писавших о «Новом мире». Так, с сожалением отмечаешь правоту Александра Солженицына, утверждавшего, что журнал при Твардовском был расколот на членов редколлегии и низовых сотрудников. И хотя Н. Бианки и пишет про коллектив «единомышленников», невольно начинаешь сомневаться в этом, обнаруживая в тексте слова «работяги», «руководство» и даже словосочетание «средний командный состав». Разумеется, характер деятельности Н. Бианки (технический редактор, заместитель ответственного секретаря, заведующая редакцией) нашел свое отражение в книге: читатель не обнаружит в ней высказываний о достоинствах и недостатках художественных произведений, да и общение с главными редакторами было у автора преимущественно деловым (не считая отдельных эпизодов). Вместе с тем подробности трудовых буден сотрудников «Нового мира» и штрихи к портретам авторов журнала также представляют большой интерес. За категоричностью оценок угадывается и облик самой Наталии Бианки — человека «принципиального», склонного (как и большинство из нас) легко судить других, но порой замечающего и свои недостатки.

Язвы общества не обошли новомирские коридоры, тем не менее журнал вершил большое дело — именно такой мотив хотелось бы счесть в книге главным. Едва-едва слышен он сквозь сбивчивый рассказ автора о графиках и «чаепитиях», штатном расписании и кампании по борьбе с космополитизмом, редакторах и секретарях, Гроссмане и Кривицком. Хотя, как писал Кондратович, «не всегда ясно, что все-таки главное и из чего оно составляется».

Создание книги предполагает долгую и кропотливую работу многих людей (автор, редакторы, корректоры и другие), и если корректорская правка сотрудницы «Нового мира» тех лет Ж. Миловой добротна, хотя и не безупречна, то редакторская заставляет подозревать «отсутствие таковой».

«У меня на даты память плохая!» — восклицал поступающий на исторический факультет Иван Мирошников — герой популярного в 80-е годы фильма «Курьер», не имевший возможности воспользоваться шпаргалкой. Когда, например, были выведены из состава редколлегии «Нового мира» Александр Григорьевич Дементьев и Борис Германович Закс? В 1968-м году (стр. 45), в 1967-м (стр. 49), в 1966-м (стр. 52)? Верна последняя версия, но как догадается об этом читатель? Ладно, простительно Наталии Павловне Бианки — больше тридцати лет прошло, но куда смотрела редактор И. Фомина, ведь редактирование предполагает использование «шпаргалок». (Любопытна и трактовка этого события: на 45-й странице написано, что Дементьева и Закса сняли «как людей *левого* направления (здесь и далее курсив мой. — Д. Д.)». Комментария нет — мол, и так все ясно. Но на стр. 50 «дама» из Главлита безапелляционно утверждает: «Снять *правых*, чтобы назначить *левых*...» Забавно, не правда ли?)

Очевидная хронологическая несуразица, сопровождающая текст книги Н. Бианки, просто-таки удивляет: «арест» романа Василия Гроссмана, в действительности имевший место в 1961 году, хронологически следует после оккупации Чехословакии (1968 год) (стр. 50 — 51). Расул Гамзатов вошел в редколлегия журнала не в 1968 году (стр. 188), а в 1966-м. «Наступил 1971-й. Год, когда Твардовскому предложили уйти из журнала „по собственному желанию“», — читаем мы на 161-й странице, хотя Александр Трифонович был вынужден оставить «Новый мир» в 1970-м, что достаточно подробно расписано на стр. 57. «Вскоре умерли С. С. Смирнов, Л. Мартынов», — пишет Н. Бианки, называющая их смерть «карой за слабость» — участие в осуждении Бориса Пастернака (стр. 160). Между тем автор «Брестской крепости» ушел из жизни в 1976 году — через двадцать лет после этого события, а Леонид Мартынов — в 1980-м. Каким-то таинственным образом путаница проникла и в аннотацию: в ней говорится о «литературной жизни 60 — 70-х годов», а затем следует такой пассаж: «Именно в те годы — с 1946 по 1971...». Наконец, что совсем уж удивительно, неверно указаны годы редакторства А. Твардовского (стр. 22) и К. Симонова (стр. 30) — жирным шрифтом в названиях глав! Не в 1955-м году впервые ушел из журнала Твардовский. Он был снят с поста главного редактора журнала 11 августа 1954 года. «Подумаешь, ерунда какая — годом раньше, годом позже», — скажет, возможно, рассерженный читатель. Нет, не ерунда — применительно к конкретной историко-литературной тематике книги Н. Бианки, тем более что ошибками в датах дело не ограничивается.

Часть вторая, «Редколлегия. (Документы)», открывается известной фотографией новомирцев, сделанной 11 февраля 1970 года (Твардовский; члены редколлегии А. Кондратович, В. Лакшин, И. Виноградов, Е. Дорош, А. Марьямов, И. Сац, М. Хитров; недавние сотрудники А. Деметьев и Б. Закс), между тем содержит она исключительно документы с 1951 по 1954 год. Часть третья, «Авторы», — фотографией Н. Бианки с Павлом Антокольским и Михаилом Светловым (1946 год), никак не новомирскими поэтами (оба печатались в журнале эпизодически), ни разу далее не упоминающимися. Широко известная статья «Легенды и факты» В. Кардина («Новый мир», 1966, № 2) приписана Б. Черткову (стр. 52). Некоторые обязательные для мемуарной литературы субъективные оценки настолько удивительны, что заслуживают отдельного упоминания: так, Владимир Войнович поименован ни много ни мало «лучшим писателем страны» (стр. 142), но наиболее любопытно проявится в книге Н. Бианки «женская природа» автора.

Женские мемуары — явление весьма специфичное. При внимательном рассмотрении даже книги таких разных людей, как Лидия Чуковская, Надежда Мандельштам и Раиса Орлова, обнаружат идущие из глубин подсознания авторов общие черты. Не вдаваясь в тонкости женского мировосприятия, остановимся только на одной маленькой особенности — подчас неожиданном выборе «художественной детали». Вот, например, как описывает свой визит к Константину Федину Л. Чуковская: «Бледно-серое лицо с синими губами и красными веками. Сгорбленность, сутулость, чуть-чуть дрожат руки. Мы на веранде. Не верится, что человек этот живет в цветущем, благоуханном саду, в таком нарядном доме — лакированные перила, цветочные горшки, а посреди стола красавица — коробка шоколада» («Записки об Анне Ахматовой»). Как не понять, что это написала женщина? Изобилует своеобразием деталей и книга Н. Бианки. Животрепещущие описания квартиры Симонова («бра в виде керосиновой лампы», «игрушки из соломы», «вазы с фруктами, конфетами, печеньем» — стр. 14 — 15) и богатств четы Синявских, напомнивших автору посещение Эрмитажа (!) (стр. 49) и т. п., наводят на мысль, что *определенная часть* читательниц найдет в книге немало «сокровенного». Но наиболее внятно иллюстрируют «женскую специфику» воспоминаний «живые портреты».

«Он был почему-то в расклеванном пальто и блинообразном кепи — по-видимому, дань тогдашней моде» (Симонов — стр. 7). «Вдруг в проходе появился какой-то человек — в коричневом тулупе, в меховой шапке» (Твардовский — стр. 23). Борис Пастернак: «Такое *лицо* достаточно увидеть один только раз. На нем серая барашковая шапка, довольно высокая, серое пальто с серым мерлушковым воротником — и валенки» (стр. 135). Александр Солженицын: «На голове со-

ломенная шляпа, странно она смотрится с зеленым бобриковым пальто. Из-под пальто видны холщовые брюки. И почему-то пояс не на талии, а значительно выше» (стр. 148). Белла Ахмадулина: «Почему-то запомнилось, что на ней была тогда серая, в полоску нейлоновая шубка» (стр. 160). Евгений Евтушенко: «В меховом пальто клешем, на голове папаха. А костюм — розовый, в голубую полоску» (стр. 161). Михаил Рошин: «Ходил он в белой рубашечке, вытуженном костюме, который он носил, не снимая, три года» (стр. 181). Валентин Овечкин и Борис Галин: «Война кончилась, а они почему-то носили гимнастерки и сапоги. Это меня приводило в восхищение» (стр. 184). Наум Коржавин: «Полосатая маечка, ее прикрывает коверкотовый плащ, который ему по шиколотки. Наряд дополняет берет, сдвинутый на ухо» (стр. 185). Илья Эренбург: «Я обратила внимание на его твидовый пиджак и ботинки на толстой подошве. Непонятно, почему в голову лезет всякая ерунда. Тогда, правда, все мы ходили бог знает в чем, и только Симонов и Кривицкий на общем фоне выглядели прилично» (стр. 156). Что тут скажешь: «наблюдательность» автора, отмеченная в аннотации, не вызывает сомнений...

Я человек нерешительный — женская, между прочим, черта. Вот и сейчас, листая страницы безусловно интересной книги Наталии Бианки, я задаю себе вопрос: «А стоило ли издавать ее *в таком виде?*» И не нахожу однозначного ответа.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.

*

ПОЧЕМУ ХОЛОКОСТ?

G. Heinsohn. Warum Auschwitz? Hitlers Plan und Ratlosigkeit der Nachwelt. Rowolt Verlag, 1998, 222 S.

Гуннар Хайнзон. Почему Освенцим?

В 1943 году в Атлантике погиб командир немецкой подводной лодки капитан III ранга Хайнзон. Полугодом позже вдова родила автора рецензируемой книги. Гуннар Хайнзон учился в Свободном университете Берлина, стал доктором философии и доктором политических наук, профессором в Бременском университете. В течение ряда лет он возглавляет Институт по изучению проблем ксенофобии и геноцида им. Рафаэля Лемкина.

Книга о причинах и целях Холокоста («*wagun*» по-немецки означает и «почему» и «зачем») имеет и подзаголовок «Замысел Гитлера и растерянность потомства». В самом деле, хотя со времени окончания Второй мировой войны прошло более полувека, однозначного, общепризнанного ответа на эти мучительные вопросы нет. В поисках его мировая общественная мысль сформулировала более сорока различных гипотез и теорий. Все они рассмотрены в книге Г. Хайнзона. Уже в силу этого она уникальна: читатель ее получает информацию, разбросанную по сотням других работ, зачастую малоизвестных, и может составить представление о современном состоянии разработки проблемы. В заключение Г. Хайнзон развивает и собственную теорию причин и целей Холокоста.

Начинает автор с разбора концепций, отрицающих Холокост, провозглашающих его принципиальную необъяснимость или нравственную недопустимость анализа трагедии. Первая, сформулированная французскими ультралевыми антисемитами П. Рассинье (1978, 1989) и Р. Фориссоном (1980) и английским поклонником Гитлера Д. Ирвингом (1977), находит, естественно, сочувственный отклик у юдофобов всех оттенков. Вторая тоже имеет немало приверженцев, в том числе и среди исследователей Холокоста. Ведь изучить и описать события — не значит еще понять их и объяснить. «Бессилие историка» (С. Фридендер, 1985) перед загадкой Холокоста проистекает из сцепления совершенно разнородных феноменов: мессианского фанатизма и рационально-бюрократических структур, патологических поведенческих импульсов и целесообразных административных предписаний, архаических образцов мысли в условиях высокоорганизованного индустриального общества. Сторонники третьей позиции (Э. Визель, 1975; Р. Пфистерер, 1985) утверждают, что недопустимо строить теории по поводу Холокоста; делать его предметом

холодного, отстраненного анализа значит осквернять и профанировать. Однако и они подчас не в силах противостоять естественному стремлению понять и объяснить случившееся.

В книге разбираются также взгляды, ставящие целью выявить сходство и отличия Холокоста от других геноцидов. Отрицание уникальности Холокоста вызвало, пожалуй, самые ожесточенные споры, скорее, однако, на публицистическом и социально-философском уровнях. В самом деле, уникальность Холокоста нельзя усматривать ни в числе жертв, ни в числе убийц или их соучастников. По подсчетам американского социолога Р. Руммеля, с 1900 года правительства во всем мире убили (вне войн и военных конфликтов) 119 млн. человек, из них 95 млн. — жертвы режимов левых, марксистских. Истребление этноса подчистую, включая младенцев? Оно имело место, например, при геноциде тутси в Руанде (1994). Умерщвление в газовых камерах? Еще в 1939 году оно применялось в отношении душевнобольных в Германии.

По мнению некоторых представителей школы сравнительных исследований геноцидов (Э. Файн, 1990), особенности Холокоста состоят, во-первых, в его международном масштабе, а во-вторых, в «заранее объявленном намерении». Но резню армян в Турции в 1895 году тоже можно считать «предварительным предупреждением» по отношению к геноциду 1915 года. А в 1920 году турецкие лидеры приняли и попытку интернационализировать геноцид — перенести истребление армян за пределы собственных границ.

Ряд исследователей считает, что Холокост отличает от других геноцидов «сотрудничество со стороны жертв» (Х. Арендт, 1964; З. Бауманн, 1992; Э. Хильдесхаймер, 1994). Имеется в виду прежде всего деятельность юденратов («широкое использование руководящего слоя народа при его истреблении»), а также «цивилизованность и сдержанность, с которой большинство обреченных ожидало конца». Другие, однако, возражают, указывая на многочисленные факты еврейского сопротивления (А. Люстигер, 1994) и самоубийства многих руководителей юденратов (И. Трунк, 1972, 1979).

Рассматривая Холокост в связи с его историческими предпосылками, ряд авторов видит в нем логическое завершение антисемитизма времен кайзеровского рейха (Ф. Фишер, 1993; Т. Ниппердей, 1993) или многовековой христианской юдофобии в целом (Р. Хильберг, 1985). Это — одно из самых распространенных объяснений, в той или иной степени его разделяет, по-видимому, большинство исследователей. Не отрицая преемственности антисемитизма нацистов от предшествующей ему религиозной и светской юдофобии, Г. Хайнзон обращает внимание, во-первых, на то, что «окончательное решение» представляло собой качественный скачок, а во-вторых, подчеркивает, что Гитлер ненавидел евреев по иным причинам, нежели их прежние христианские гонители.

Самые тягостные страницы книги посвящены изложению версии, обозначенной как «Холокост из-за того, что весь мир этого хотел» (Э. Визель, 1977; Р. Вайнгартен, 1981; Д.-С. Вимен, 1986; Р. Хильберг, 1993). Речь идет о том, что народы и правительства западных стран почти не реагировали на ужесточившиеся дискриминацию и преследования евреев нацистами. Как стало известно из новейших публикаций (Р. Брайтман, 1999), уже с сентября 1941 года к руководителям западных стран антигитлеровской коалиции стали поступать сообщения об уничтожении нацистами евреев на оккупированных восточных территориях. Но ни одной специальной меры, дабы замедлить или затруднить этот процесс, не было предпринято. Наоборот, полученная информация держалась в строгом секрете как способная повредить военным усилиям союзников. Их руководство явным образом оглядывалось на широко распространенные в собственном тылу антиеврейские настроения.

В многолетнем споре двух школ исследователей Холокоста — «функционалистов» и «интенционалистов» — Г. Хайнзон решительно примыкает к последним. Напомним, что первые (М. Броссат, 1977; С. Гордон, 1984; Х. Моммзен, 1983, 1985, 1994) исходят из того, что геноцид евреев осуществлялся не в силу особого приказа сверху, а потому, что он логически вытекал из проводившейся в Третьем Рейхе антисемитской политики и в условиях тоталитарного режима, тотальной

войны, существования сети концлагерей мог быть проведен в жизнь эффективной немецкой бюрократией. Вторые (К.-Р. Браунинг, 1985, 1992; Э. Екель, 1985; С. Фридендер, 1985; А. Штрайн, 1985; Х. Грамль, 1986, 1994; Г. Флеминг, 1987) связывают начало этого процесса со специальным приказом Гитлера, отданным лично Гиммлеру (скорее всего устно, так как многолетние поиски соответствующего текста в архивах не увенчались успехом) не позже апреля — мая 1941 года.

Упоминается и о версии Геринга, поддерживаемой некоторыми авторами (Х. Зюндерманн, 1959; Г. Пикер, 1976; К. фон Мюнхаузен, 1994), согласно которой истинным инициатором был Гиммлер, лишь прикрывшийся именем фюрера. Причем Г. Хайнзон документально показывает ее несостоятельность. Оказывается, еще в мае 1940 года в докладной записке фюреру Гиммлер утверждал, что он «по внутреннему убеждению отвергает большевистские методы физического истребления целого народа как негерманские и неосуществимые». А годом позже рьяно принялся за осуществление «окончательного решения» — именно потому, что поступил соответствующий приказ.

В качестве исторического курьеза автор упоминает и версию о Холокосте как «сионистско-фашистском заговоре», предложенную многолетним представителем ООП в Германии А. Франжи. Тот утверждал (1982), что Гитлер и сионисты пришли к негласному и неоформленному, но отвечавшему видам обеих сторон консенсусу — уничтожить большую часть европейских евреев, склонных к ассимиляции, чтобы побудить оставшихся к переселению в Палестину. В действительности имело место обратное: фюрер обещал духовному лидеру палестинских арабов Амину аль-Хусейни ликвидировать еврейский национальный очаг в Палестине; тот со своей стороны создал из боснийских мусульман части СС, боровшиеся против югославских партизан и уничтожавшие евреев.

Действия Гитлера по отношению к евреям часто пытались объяснять исходя из особенностей его личности, самосознания и проч. Сам он в 1922 году сравнил себя... с Христом, поражавшим еврейских менял-ростовщиков как клубок ядовитых змей. Позже в «Майн кампф» читаем: «Если еврей посредством своего марксистского символа веры восторжествует над народами этого мира, венец его торжества станет пляской смерти для человечества, тогда эта планета, как за миллионы лет до наших дней, будет снова безлюдной вращаться в мировом пространстве». И далее: еврей «будет следовать своим роковым путем, пока иная сила не выступит против и в титанической схватке не сбросит этого бунтовщика против небес в преисподнюю к Люциферу». Таким хриstopодобным апокалиптическим персонажем — спасителем рода человеческого Гитлер и видел себя.

Многие биографы Гитлера — от самых первых (И. Харанд, 1935; К. Хайден, 1936 — 1937) до исследователей 60 — 80-х годов (Э. Дауэрляйн, 1969; В. Мазер, 1975; И.-К. Фест, 1976; И. Толанд, 1977; У. Карп, 1980) — квалифицировали гитлеровский антисемитизм как манию, безумие, бред, не поддающиеся рациональному объяснению. Однако и сторонники такой точки зрения признавали, что Гитлер не был душевнобольным в клиническом смысле слова, влекущем за собой признание невменяемым. Как и в случае со Сталиным, речь должна идти о так называемой паранойяльной психопатии или параноидальном характере. Нет оснований думать, полагает Г. Хайнзон, что Гитлер в силу душевной патологии или особенностей биографии имел более оснований ненавидеть евреев, чем любой другой консервативный политик или средний антисемит. Особенности его характера не помогают объяснить причины Холокоста.

Среди ответов на поставленный в заголовке вопрос особое место занимают теологические. Несмотря на откровенно субъективный и подчас весьма экстравагантный характер они имеют не меньше сторонников, чем объяснения, претендующие на научность.

В «радикальной теологии» бывшего раввина Р.-Л. Рубенштайна (1966, 1993) Холокост есть доказательство смерти Бога; иначе пришлось бы признать, что истребление евреев соответствовало воле Божьей, признать Гитлера орудием Господа.

Еврейский религиозный философ Э. Берковиц (1977, 1993) со своей стороны считает причиной Катастрофы временное сокрытие от людей лика Божьего. Такое

сокрытие, а затем спасительное возвращение его есть две ипостаси непостижимой для нас сущности Божией.

Оригинальную версию высказал и бывший израильский премьер-министр М. Бегин. Холокост для него — не свидетельство смерти Бога, а, наоборот, доказательство бытия Божьего. Если бы Гитлер не преследовал и не уничтожал евреев, он, чего доброго, мог бы первым создать атомную бомбу, и тогда весь мир превратился бы в огромное кладбище.

Представители ортодоксального иудаизма выдвинули две взаимоисключающие теории Холокоста как кары Божией евреям. В первом случае — за грех ассимиляции и вероотступничества (М. Хартом, 1993), во втором — за грех сионизма, стремление восстановить Израиль собственными силами вопреки воле Божьей: в соответствии с нею они должны были терпеть испытание галутом, куда Бог не пошлет Мессию, который и соберет их в Земле Обетованной (И. Тейтельбаум). По поводу обеих теорий Г. Хайнзон вопрошает: почему же кара постигла и невиновных в соответствующем грехе и зачастую обошла виновных, при чем здесь дети и проч.

Представитель реформистского иудаизма И. Майбаум (1965) толкует Холокост как кару Божью за многочисленные грехи европейцев и американцев: «многомиллионную безработицу, американский изоляционизм, упорство господствующих классов Франции и Англии в отстаивании своих корыстных интересов, феодализм в восточноевропейских странах, всепроникающую жестокую ненависть в политике, закоснелый консерватизм у правых и у левых, а также и в религиях». Однако Г. Хайнзон снова спрашивает: почему за все эти грехи наказаны именно евреи — по Майбауму, «праведники», «невиновные», принесенные как жертвенные агнцы на алтарь? И почему Бог милостиво принял эту жертву («их смерть очистила цивилизацию Запада, и последний вновь стал местом, где человек может жить по заветам справедливости и милосердия»)? Наконец, почему этот якобы искупительный ритуал совершался втайне, на задворках Европы, вдали от глаз людских?

Среди христиан-фундаменталистов США, которые ждут второго пришествия Христа, конца света и Страшного суда, бытует своя трактовка Холокоста. Поскольку предварительным условием наступления этих событий является возвращение евреев на Землю Обетованную, Бог использовал Гитлера как орудие, дабы Холокостом вынудить уцелевших евреев переселиться в Израиль (см. об этом у Т.-П. Вебера, 1987; К.-В. Строциера и А. Лона, 1990).

Теолог-феминистка К. Муллак (1983), близкая к леворадикальным кругам, видит первопричину Холокоста... в монотеизме. Единый Бог, провозглашенный евреями, лишил власти многочисленные божества эпохи бронзы, среди которых были и женские. Это, считает Муллак, разрушило гармонию человеческих отношений, положив конец «золотому веку» истории. В современном мире высшим воплощением патриархальной псевдорелигии стал национал-социализм. «Правы были зринии, когда пророчествовали: новый закон (монотеизм. — С. М.) означает переворот, при котором побеждают право матереубийства и всяческие пороки». Таким образом, устраненные тысячи лет назад женские божества осуществили руками нацистов запоздалую, но заслуженно страшную месть.

Наиболее обширную группу концепций Холокоста образуют социологические (социально-экономические, социально-политические, социально-психологические, социокультурные).

Две из таких концепций принадлежат марксистам. Согласно первой, мотив Холокоста — стремление немецких капиталистов захватить еврейскую собственность и использовать даровой принудительный труд заключенных в гетто и лагерях (см. об этом в обзоре К. Квита, 1976). В соответствии со второй, Холокост был средством отвлечь внимание немецкого населения от внутренних трудностей Третьего Рейха (Т.-В. Мазон, 1968; Р. Кюнль, 1974).

По поводу первой Г. Хайнзон замечает, что названные стремления и действия — реальность, но объяснить Холокост не могут. Во-первых, подавляющее большинство жертв геноцида были бедняками (мелкими ремесленниками, мелкими торговцами, рабочими и служащими), крупному капиталу у них нечем было поживиться. Далее, поголовное уничтожение евреев лишало промышленность Рей-

ха рабочих рук, а на Востоке — и самых ценных специалистов. Тем не менее оно осуществлялось по принципиально политическим соображениям, оставлявшим без внимания хозяйственные.

Вторая версия, по мнению Г. Хайнзона, переоценивает степень недовольства немцев Гитлером и не выдерживает критики по приведенному ранее основанию — как можно говорить о переключении общественного внимания на уничтожение евреев, если осуществлялось оно втайне. Ведь даже в решениях известной конференции в Ваннзее 1942 года употреблялись только эвфемизмы типа «депортация» или «переселение на Восток», ими же пользовался и Гитлер в застольных беседах с лицами из своего окружения.

Известный исследователь природы тоталитаризма Х. Арндт (1986) сформулировала тезис о Холокосте как «научно-исследовательском и учебном институте террора». По мысли Арндт, судьба групп, предназначенных к уничтожению (евреев, цыган), должна была служить для остальных в лагере и вне его примером ничтожности человека как такового в тоталитарной системе. Сознание такой ничтожности внедрялось и поддерживалось произвольной отправкой в концлагеря тех или иных категорий, постоянными чистками аппарата и массовыми ликвидациями. Г. Хайнзон, однако, указывает, что тезис о полной произвольности в выборе жертв («кара с одинаковым основанием или отсутствием его могла пасть на любого») противоречит очевидному факту — в наибольшей мере нацистская машина уничтожения была сфокусирована именно на евреях.

В концепции немецких социологов Г. Али и С. Хайм (1993) Холокост выступает как процесс насильственной модернизации Восточной и Юго-Восточной Европы. Целью уничтожения евреев была якобы ликвидация аграрного перенаселения путем перемещения избыточной рабочей силы на освобождаемые от них места в городах. По справедливой оценке Г. Хайнзона, тезис «геноцид был формой разрешения социального вопроса» есть на деле попытка «научно» объяснить, если не оправдать массовые убийства ссылкой на некую «экономическую стратегию» инициаторов.

Холокост был освобождением современного мира от окаменевшего осколка исчезнувшей ближневосточной цивилизации, вкрапленного в структуру цивилизации современной, западнохристианской, — так можно истолковать уничтожение евреев нацистами исходя из общеисторической концепции А. Тойнби, выдвинутой еще до 1939 года, — точнее говоря, прогнозировать как финальный этап «долго тянущейся трагедии». Возможность полноценной творческой жизни для еврейства в настоящем и будущем историософия Тойнби, к сожалению, не предусматривала.

Большинство либеральных исследователей на Западе исходит, однако, из противоположного представления — что Гитлер уничтожал евреев именно как носителей модернизационных идей и ценностей: эгалитаризма, демократии, интернационализма, пацифизма и проч. (см., например, Х. Грамль, 1986; Э. Екель, 1991). Но и это объяснение упирается в основное отличие: другие носители указанных ценностей переставали считаться врагами, если отказывались от своих взглядов и соответствующих им действий, вредоносность же евреев считалась врожденной и неисправимой.

Р.-Л. Рубенштайн (1987, 1994) видит в истреблении евреев — наиболее урбанизованного этноса западного мира — предвестие смерти городов вообще как концентрированного выражения современной западной цивилизации. Города, утверждает он, суть агломерации сверх- и антиприродные, искусственные и враждебные жизни. «Голодные заключенные Освенцима, питающиеся запасами собственного организма, пока те не переварятся полностью, возможно, являют нам пророческую картину цивилизации на конечном отрезке пути от села к Некрополю». Однако и диагноз, и прогноз судьбы городов в этой концепции спорны, а ответ на главный вопрос: «почему евреи», — неубедителен.

Из многочисленных психологических версий Холокоста Г. Хайнзон останавливается на более распространенных (Р. Бинион, 1973, 1978; Р.-Дж. Уайт, 1977). Современная психология на Западе, почти целиком фрейдистская, оперирует главным образом понятием подавленной сексуальности. Расщепляясь, та преобразуется, с одной стороны, в радостную готовность к подчинению, в тягу к порядку и га-

рантирующей его сильной власти. С другой — в потенциальную готовность к агрессии и наслаждение собственной жестокостью. Причем наибольшее удовлетворение агрессия и жестокость приносят, когда направляются на указанного властью врага.

Безусловно, в Третьем Рейхе было немало личностей садомазохистского типа, особенно среди активных нацистов (Т. Абель, 1966). Но больше ли, нежели в других народах? И самое главное — по данным классического эксперимента С. Милграма (1963, 1973), готовность подчиняться приказам свыше, даже если их выполнение приносит очевидные страдания другим людям, проявляет до $\frac{6}{7}$ членов любого социума. Психопатологизм, утверждает Г. Хайнзон, не может дать разгадки Аушвица (Освенцима).

Другая версия, социально-психологическая, восходит к основоположникам так называемой «франкфуртской школы марксизма» М. Хоркхаймеру и Т. Адорно (1947). Нацистский геноцид евреев она рассматривает как возрожденный ритуал массовых человеческих жертвоприношений эпохи бронзы; с их помощью «немецкая народная общность» снимала психическое перенапряжение, экономические и политические фобии и страхи. Можно было бы принять такое толкование, считает Хайнзон, если бы убийства совершались открыто, в ходе изливающих народную ненависть еврейских погромов. Но Холокост был не цепью стихийных эксцессов, — таким путем его и технически нельзя было осуществить, — а тщательно спланированным и организованным засекреченным уничтожением.

Ряд теорий представляет геноцид как реакцию на действия противников Гитлера. Холокост — это ответ на объявление евреями войны Третьему Рейху, утверждает в предисловии к «Застольным разговорам Гитлера» Г. Пикер (1976). Тезис этот воспринял и известный консервативный историк Э. Нольте (1993). По версии Пикера, после «имперской хрустальной ночи» 9 ноября 1938 года «организованное мировое еврейство» провозгласило Гитлера «врагом № 1» и за подписью сионистского лидера Х. Вейцмана объявило Германии войну. Нольте относит «объявление войны» уже к марту 1933 года, когда на лондонской демонстрации протеста против антиеврейских мер нового режима несли якобы транспаранты «Judea Declares War on Germany».

Однако евреи, указывает Г. Хайнзон, не могли стать воюющей стороной в общепринятом международно-правовом смысле, поскольку не имели ни собственного государства, ни международно признанного правительства. И даже объявляя их таковой, следовало применять правила Гаагской конвенции, запрещающие репрессии против некомбатантов и регулирующие обращение с военнопленными. Но решающим доводом против этой концепции является простое сопоставление дат. Еще 3 февраля 1933 года Гитлер поведал руководству германских вооруженных сил о своем намерении начать войну на уничтожение; еще 13 марта 1921 года он требовал «воспрепятствовать еврейской подрывной работе против нашего народа, при необходимости путем заключения ее проводников в концентрационные лагеря»; еще 16 сентября 1919 года, характеризуя свой «продуманный антисемитизм», объявил: «Его последней целью неотвратимо должно стать устранение евреев вообще».

К указанной выше группе принадлежат и версии о Холокосте как мести за выселение немцев Поволжья; как «несоразмерном уничтожении заложников» в ответ на акции советских партизан; как мести «еврейскому большевизму» за проигранный осенью — зимой 1941 года блицкриг. Первая из них восходит к установке А. Розенберга органам немецкой пропаганды от сентября 1941 года, вторую высказал в 1994 году Э. Нольте, третью выдвинули немецкий и английский историки Ф. Буррин (1993) и И. Кершоу (1994). Г. Хайнзон отводит их указанием на то, что массовые убийства евреев начались еще с июня 1941 года и, что вполне очевидно, производились на основе принятого ранее решения.

Наибольшее внимание в книге уделено концепциям упоминавшегося уже Э. Нольте. За тридцать с лишним лет (1963 — 1994) тот выдвинул аж восемь (!) объяснений Холокоста. Однако почти все они варьируют один лейтмотив: Холокост, по сути, был борьбой с большевизмом, который Гитлер рассматривал как величайшую угрозу для Германии и всего мира, именно евреями инициируемую и руководимую. «Антибольшевизм есть корень гитлеровского антисемитизма», «воля

к уничтожению вытекала из страха перед уничтожением», «каузальную связь между Гулагом и Освенцимом оспорить невозможно» — перечень подобных высказываний Нольте можно было и продолжить. Подкрепляет их ссылка на известное заявление фюрера в беседе с М. Планком: «Все евреи — коммунисты».

Но вопрос (им задается и Г. Хайнзон): насколько сам Гитлер верил этой формуле? Вряд ли он был столь наивен, чтобы евреев «плутократов», о которых наци говорили не менее часто и охотно, тоже считать коммунистами. А евреев традиционных? А сионистов?

Что касается отождествления евреев с советским большевизмом, то Г. Хайнзон справедливо напоминает: Гитлер и другие нацистские главари были осведомлены о падении реальной роли евреев в СССР в ходе и результате борьбы Сталина с оппозициями и репрессий 30-х годов. В 1939 году фюрер с удовлетворением отмечал: «Сталин привел Россию на путь национал-социализма, ибо в ходе „большой чистки“ не только устранил еврейских соратников Ленина, но и вообще задвинул евреев во второй и третий ряд». А в 1942 году он заметил: «Сталин ждет лишь того момента, когда в СССР будет достаточно своей интеллигенции, чтобы полностью покончить с засильем в руководстве евреев, которые на сегодняшний день ему еще нужны».

Далее утверждение, что целью «восточного похода» Гитлера было уничтожение большевизма, тоже не более чем пропагандистский миф. Гитлер предпринял бы такой поход при любом социальном строе и политическом режиме в России, ибо его действительной целью было завоевание Германией колониального пространства в лучшей по условиям жизни европейской части СССР. Население последней, резко уменьшенное и сведенное к самому примитивному уровню жизни и культуры, должно было стать рабочей силой в элитных хозяйствах немецких поселенцев. Это — вывод весьма серьезного и очень консервативного исследователя А. Хильгрубера, автора капитальной монографии «Стратегия Гитлера. Политика и руководство войной. 1940 — 1941» (Бонн, 1965, 1982, 1993). Его не мешало бы помнить современным поклонникам «Адольфа Алоизовича» в России.

Несостоятельны, по оценке Г. Хайнзона, и связанные с названным тезисы о Холокосте как «подражании истреблению враждебных классов путем истребления враждебных рас» или «превентивной самообороне против азиатской жестокости еврейских большевиков».

Первый из них, Э. Нольте, обосновывает так: если классовая принадлежность могла признаваться заслуживающей смерти, то почему нельзя было поступать так с принадлежностью расовой? Причем следует помнить, что в этом деле — «уничтожении классов, народов, групп — было оригиналом и что копией. Тот, кто уничтожение евреев Гитлером хочет видеть вне этой связи... фальсифицирует историю. В поиске непосредственных причин он упускает из виду основные предпосылки, без которых эти причины не вылились бы в известный нам результат».

Что сказать по этому поводу? Конечно, массовые убийства, осуществлявшиеся коммунистическим режимом в России, по времени предшествовали злодеяниям нацизма, а по количеству жертв превзошли последние. Но представление о том, что советский и нацистский режимы всегда и во всем копировали или имитировали друг друга, ошибочно. Холокостом Гитлер не реагировал на советские действия, подчеркивает Г. Хайнзон, а осуществлял собственные цели. При этом злодеяния, совершенные в СССР, использовались как удобные обоснования и оправдания собственного образа действий, как эффективные стимулы для «отмщения».

Не более состоятельна и теория «превентивной самообороны от еврейских большевиков», особой жестокостью которых запугивала немецкая пропаганда. На деле евреи-большевики не отличались от прочих функционеров и слуг коммунистического режима, просто больше бросались в глаза, поскольку впервые в истории России евреи выступали от имени государственной власти, как субъекты, а не объекты насилия. Это облегчало создание образа «еврейского комиссара» — олицетворения ужасов революции, Гражданской войны и сталинских репрессий, образа, который активно использовала нацистская пропаганда.

Две из предложенных Э. Нольте попыток объяснения Холокоста выходят за рамки исторической эпохи 1917 — 1945 годов. В них автор апеллирует к «вечным»,

родовым чертам еврейства, обусловившим, по его мнению, ненависть к евреям со стороны Гитлера. Холокост, читаем в книге «Спорные пункты: сегодняшние и завтрашние контroversы вокруг национал-социализма» (1993), целил в прирожденных носителей определенного мировоззрения. Впервые выразила его именно Библия, без нее не было бы ни большевизма, ни левых вообще. Основной чертой его является представление о настоящем как царстве несправедливости и вера, что когда-нибудь, в будущем, его сменит царство справедливости и мира, царство Божие на Земле. По мнению Г. Хайнзона, Нольте здесь впервые подошел к ключевой мысли, что Гитлер боролся против определенного духа, определенного строя мыслей и чувств.

Последнюю из своих догадок Э. Нольте базирует на одном из высказываний фюрера. В 1943 году тот бросил Геббельсу: первобытный человек не знал слитой с совестью лжи, она происходит от евреев, ибо «еврей — существо абсолютно интеллектуальное». Гипотеза Нольте: путем уничтожения евреев — «народа Книги», который выше всего ценит интеллектуальные достижения и сравнительно с другими дал наибольшее число таковых, — Гитлер, возможно, стремился возратить человечество на более примитивную, неисторическую ступень развития. «То, что Гитлер в конечном счете хотел сдержать или устранить, был... процесс „интеллектуализации мира“, все более сильная экспансия *ratio* и связанные с ней усложнение, непрозрачность, „искусственность“, которые разрушают господство природы и с нею — подлинную жизнь, характеризующуюся воинской храбростью и женской плодовитостью». Чтобы обратить вспять этот дегенеративный, по его оценке, процесс, Гитлер и попытался уничтожить его родоначальников.

Как отмечает Г. Хайнзон, в этой версии, и только здесь, Нольте отзывается о евреях с уважением и даже симпатией, отождествляя их не просто с теми или иными идеями и ценностями западной цивилизации, но с критическим разумом как таковым. Однако она брошена им мельком, настаивает он на двух других — Холокост как борьба с большевизмом и как борьба против чуждой расы.

По существу последней гипотезы Г. Хайнзон выражает сомнение, ссылаясь на то, что Гитлер весьма гордился собственным интеллектом и ценил интеллектуальные культуры древности (например, китайскую). Мишенью его ненависти, считает Хайнзон, был не интеллект, а определенная этика.

Исследователи Холокоста, в этом автор рецензируемой книги убежден, сами закрывали себе путь к пониманию его причин и целей тем, что пытались отвечать на эти вопросы, не входя в рассмотрение сути иудаизма. Этот недостаток (унаследованный, кстати, от большинства предшествующих исследований антисемитизма) был продиктован, как правило, благим намерением: не создавать впечатления, что евреи «сами виноваты» в своих бедах. Поэтому ограничивались констатацией, что Холокост был нарушением всеобщего неотъемлемого права на жизнь, не замечая, что евреи стали его мишенью именно потому, что через них это право и проникло в западную христианскую цивилизацию.

Гитлер, считает Г. Хайнзон, осознавал генезис ненавистных ему этических принципов лучше, чем изучающие его деяния ученые, в том числе и евреи. Именно еврейское по своему происхождению ядро христианской этики: заповеди любви к ближнему, справедливости, равенства и прежде всего безусловной защиты жизни, — он и хотел искоренить из сознания немцев. А для этого — истребить физических носителей этой «заразы», «туберкулеза» совести, сострадания, защиты слабых, защиты жизни вообще.

Сколь бы часто и массивно ни нарушались эти заповеди в ходе истории, о полной их отмене речи не было. Гитлер же поставил вопрос именно так. По выражению покойного профессора Оснабрюкского университета Н. Мюллера, он «разбивал *hardware*, чтобы стереть *software*». Г. Хайнзон со своей стороны определяет Холокост как «геноцид ради восстановления права на геноцид» и именно в этом усматривает его уникальность.

Освобождение от «еврейского духа», по мысли фюрера, сделало бы немцев бесспорными фаворитами в вечной войне всех против всех. Конечной целью при этом было завоевать для Германии мировое господство, непосредственной — обеспечить «жизненное пространство» на Востоке Европы, очистив его от излишка

проживающих там «недочеловеков». Чтобы решить эту задачу, следовало воспитать в «народе господ» способность к безоглядной жестокости, избавить его от конфликтов совести при истреблении мирного населения.

Принципиально задачу покончить с «возбудителем болезни» Гитлер поставил задолго до прихода к власти. Покорение Западной Европы и неслыханные успехи первых месяцев «русского похода» создали в 1941 году условия, позволившие перейти к ее выполнению. А такие черты немецкой ментальности, как распространенная неприязнь к евреям, готовность к повиновению, чувство превосходства, бюрократический фанатизм и проч., облегчили проведение замысла в жизнь.

Таков ответ Г. Хайнзона на вопрос «Warum Auschwitz?». Он фундирован множеством высказываний Гитлера, подтверждающих авторскую концепцию. Стоит дополнить их еще одним («Застольные разговоры Гитлера», запись от 1 декабря 1941 года): «Евреи выдвигают нравственные требования не ради них самих, а лишь для того, чтобы этим чего-нибудь достичь»; они эксплуатируют «большую совесть современного мира» в собственных интересах.

Является ли концепция, предложенная Г. Хайнзоном, долгожданной и достигнутой наконец разгадкой тайны Холокоста? Или перед нами еще одна, 43-я версия? Пусть об этом судит читатель, и, конечно, не по нашему изложению, поневоле конспективному, а по самой книге. Однако есть ли надежда на появление ее русского издания?

К числу парадоксов российской истории и современности относится и такой: в стране, заплатившей десятками миллионов жизней за победу над фашизмом; в стране, на территории которой погибло до половины замученных нацистами евреев; в стране, имеющей третью в мире по численности еврейскую общину, — лишь шесть процентов опрошенных знают, что такое Холокост...

С. МАДИЕВСКИЙ.

Аахен, Германия.



ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

Russische zeitgenössische Schriftsteller in Deutschland. Ein Nachschlagwerk. Herausgegeben von Elena Tichomirova unter Mitwirkung von Ute Scholz. München, Verlag Otto Sagner, 1998, 192 S. («Slavistische Beiträge», Band 367).

Русский современный писатель в Германии. Справочник.

Состояние нашего общества и нашей литературы на данный момент во многом определяется теми процессами, исходная точка которых — в падении «железного занавеса» и иных перегородок, искусственно разделявших нечто целое на изолированные друг от друга фрагменты. Одни стены рушились с грохотом (например, Берлинская), другие — бесшумно, но так же «потрясали мир», меняя его лицо.

На фоне объединения Германии не таким заметным и стремительным было другое воссоединение — литературы русской эмиграции и метрополии, тем не менее оба события, несомненно, находятся в одной плоскости и отражают сходные тенденции политического и литературного развития. Выход справочника Елены Тихомировой — это и знак сегодняшней культурной ситуации, и просто нужная книга, представляющая интерес для читателей, издателей, историков литературы.

Говоря о знаковости, я имею в виду не только сам факт того, что русская критика всерьез занялась освоением эмигрантской литературы, но и то, что при этом изначально осознается двойственный характер ее бытования. Это в значительной степени можно отнести и к писателям, не считающим себя эмигрантами, но по ряду причин связывающим свою судьбу с двумя странами. В результате нередко возникает особый взгляд на мир, складывается своеобразная проблематика, стилистика, а иногда, как отмечал С. Довлатов, и ориентация на «двойную аудиторию».

С такой точки зрения «топографический» принцип отбора материала кажется очень продуктивным. Справочник представляет современное состояние русской литературы в Германии и тем самым заполняет некую лауну. До сих пор об этом можно было прочесть лишь немного как на немецком, так и на русском языке. Известный «Лексикон русской литературы XX века» В. Казака характеризует лишь нескольких писателей этой группы. Причем, естественно, в задачи «Лексикона» не входило акцентирование в их творчестве явлений, возникающих на пересечении различных национальных миров. Справочник Е. Тихомировой как раз и создает базу данных для дальнейшей критической и научной работы.

Информативная ценность издания бесспорна. Сведения о писателях (89 персоналий) организуются по принципу энциклопедий «Кто есть кто», что позволяет в лаконичной форме осветить биографию личную (семья, работа, обстоятельства выезда и др.) и творческую. Последней, конечно, уделено особое внимание. Большинство материалов получено автором, что называется, из первых рук — на основе анкетирования. Даже если в исключительных случаях сведения брались из печатных источников (о Ф. Горенштейне), они столь же достоверны и достаточно полны: так, список публикаций художественных произведений Горенштейна содержит 34 наименования, интервью и статей — 7, критической литературы о нем — 40. Вообще, на мой взгляд, библиографические перечни могут сделать справочник одной из настольных книг филологов всех рангов. Особенно подробна библиография «новичков», а также известных авторов, лишь в последние годы получивших доступ к читателю на родине. К примеру, издание содержит самый полный список литературы об А. Зиновьеве — 58 работ. Все данные проверены не только по русским, но также по немецким и некоторым американским источникам. В книге Е. Тихомировой впервые дается информация об Анри Волохонском, столь же известном, сколь и загадочном, публикуются фотографии и адреса. Этот несколько неожиданный, нетипичный элемент справочной статьи (адрес, телефон) может стать в какой-то степени источником динамизации литературной жизни, неожиданным приглашением к диалогу.

Сдержанное перечисление вех жизненного и творческого пути оживляется высказываниями писателей об их религиозных и политических взглядах, о литературном ремесле. И когда читаешь рядом мнения, к примеру, В. Светикова («Цели литературы — идеи добра и благородства») и А. Волохонского («У литературы... нет ни смысла, ни целей»), то понимаешь, что все эти реплики — источник дополнительной информации, интересный способ автохарактеристики, а иногда и образчики стиля. Возможно, именно поэтому Е. Тихомирова сохраняет здесь язык оригинала (перевод на немецкий дан в приложении). И если учесть, что здесь названия произведений также даются в двух вариантах, можно назвать справочник фактически двуязычным.

Двуязычие — характерная особенность ряда литературных журналов, выходящих в Берлине («Студия», «Новая Студия») — позволяет найти точки соприкосновения и соответствует замыслу редакторов «издавать журнал-мост, равно интересный и немцам, и русским». Ориентируясь на подобные издания, книга Е. Тихомировой не только приобретает «двойную аудиторию», но и сама становится, на мой взгляд, событием, сопрягающим различные культурные пространства.

Ольга ФИЛАТОВА.

Иваново.



RENATE EFFERN. Der dreiköpfige Adler: Russland zu Gast in Baden-Baden. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1997, 179 S.

РЕНАТЕ ЭФФЕРН. Трехглавый орел: русские гости в Баден-Бадене. [Перевод с немецкого]. М., «Леспромэкономика», 1998, 176 стр.

Книга Ренате Эфферн — явление, видимо, по-своему уникальное, ибо в ней читатель найдет то, что вряд ли встретит в других изданиях, которые попытаются объять обширную тему культурных, исторических, «курортно-туристических» связей славного германского курорта Баден-Бадена и России, россиян, Российской империи.

Открыв первую же страницу, не без изумления читаем: «Великолепный орел, изображение государственного символа России, часто украшающий дворцы и чугунные ограды, иногда имеет не две, а три головы». В немецком подлиннике этот «сверхмифологический» трехглавый орел украшает даже не дворцы и чугунные ограды, а «Paläste und Kirchen», то есть дворцы и церкви. Много ли найдется у нас в России соотечественников, видевших во дворах или церквях трехглавого орла? Где ж такую дефектную государственную птичку добыло почтенное германское краеведение? Близ Московского Кремля, говорят специалисты, была часовенка, в которой, кажется, обретался трехглавый орел в честь какой-то победы, что до чугунных оград, смутно помнится подобное где-то в Петербурге... Однако уверенность в распространенности трехглавого символа у автора такова, что символ этот становится ни много ни мало ориентиром для всей книги, ибо взоры сего драконоподобного, ввиду многоглавости, существа «обращены не только на Восток и на Запад, но и еще куда-то, в третье, неопределенное направление». Куда же? Из последующего догадываемся: на Баден-Баден он засмотрелся, на Баден-Баден.

При чтении книги Р. Эфферн не раз возникает ощущение, что существует какая-то еще другая Россия, с неизвестной нам географией, — например, на стр. 66 немецкого издания, там, где идет речь о местопребывании императора Александра I, сказано: «In Taganrog am Kaspischen Meer», то есть: «В Таганроге на Каспийском море»; в русском издании эта ошибка исправлена, Таганрог вернулся на Азовское море. Но немецкому-то читателю каково! С историческими персоналиями та же история. В немецком издании Аполлинария Сулова сравнивает себя с Юрием (sic!) Лермонтовым, погибшим в 27 лет на дуэли. (Впрочем, на стр. 123

Лермонтов назван верно.) Осведомленные редакторы русского издания ошибку, конечно, исправили.

В главе X немецкой книги на стр. 111 приводится целый список писателей первой половины XIX века: Пушкин, Карамзин, Жуковский, Вяземский, Хомяков — и вдруг... Федор Сологуб! Вряд ли Федор Кузьмич Тетерников, писавший под этим псевдонимом в начале XX столетия, был бы в восторге оттого, что его спутают с графом Владимиром Соллогубом, через два «л», действительно современником Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Опять-таки не вполне утешает, что в русском издании выправлено и это симптоматичное недоразумение.

Что ж, бывает. Значительно хуже, что в книге — как на вытоптанной лужайке — все очень мелкоотравчато. Большой охват материала, но мало наполнения, кроме разве что констатации приездов и отъездов разных, не всегда даже точно установленных личностей. Пустота эта, однако, утяжеляется огромным количеством ссылок на использованные издания, которые придают книге наукообразность, но, увы, не основательность. Берясь за русскую литературную историю, автор нащипывает букет разрозненных фактов, приправляет их пряными подробностями взаимного неприятия или неблагополучных взаимоотношений — и так симулирует видимость проникновения в предмет. Взаимосвязи зафиксированы, но не найден или потерян их дух. Так бывает с исследованиями, носящими компилятивный по преимуществу характер. Лишь изредка автору удается воссоздать атмосферу былого.

Это впечатление усугублено еще и тем, что в книге подчас нарочито акцентируется оппозиционность русских писателей к императору и своему государству. Подобная идеологическая ориентированность кажется почерпнутой то ли из советских историй литератур, то ли из трудов, изданных в свое время в ГДР, хотя таких, в частности лейпцигских, изданий в грандиозном «отсылочном» реестре немного.

Доктор филологических наук, профессор Рольф Дитер Клюге написал к «Трехглавому орлу» краткое предисловие, в котором утверждает: «Книга содержит достоверные и научно обоснованные данные, взятые из источников: мемуаров и воспоминаний современников, написанных большей частью на французском и русском языках. Книга основана на анализе научной литературы, в ней приводятся цитаты и даются ссылки, которые всегда можно проверить». Проверить-то можно, да что толку.

И все же несмотря ни на что хочется поблагодарить Р. Эфферн за проделанный труд, который имеет собирательное значение и видится благожелательной попыткой исследовательского прикосновения к теме культурных «мостов» меж Германией и Россией...

Станислав АЙДИНЯН.

*

I. GIAN PIERO PIRETTO. II 1961 a Mosca. Bergamo, ed. Moretti e Vitali, 1998, 163 p.

ДЖАН ПИЕРО ПИРЕТТО. 1961 год в Москве.

Книга профессора Миланского университета Дж.-П. Пиретто имеет интригующий подзаголовок: «68-й год советской молодежи, на семь лет раньше». Впрочем, аллюзия ясна — она отсылает к событиям студенческих, молодежных волнений, прокатившихся в 1968 году по ряду западных стран. А чтобы сразу же ввести читателя в суть своего исследования, автор открывает книгу цитатой из романа М. Кураева «Зеркало Монтачки»: там 1961 год — время действия — определяется как «лучший во всем XX веке», но и как «год двуликий», как год рубежа. Пиретто выбирает из советской литературной жизни 60-х годов один этот год и подвергает короткий отрезок времени подробнейшему рассмотрению. Строится своеобразная событийная картина, многосторонне охватывающая советскую жизнь от начала к концу года.

Книга открывается календарным рубежом — первым января. Восстанавливаются настроения начала 60-х: надежда, оптимизм, душевная бодрость. Картина воссоздается из частных: деноминация рубля (его «обновление», как выражает-

ся автор), приподнятый тон газетных шапок, визуальная пропаганда, внушающая упование на изобилие, на скорое построение подлинного коммунизма по ленинским принципам. Эти говорящие детали группируются вокруг ключевых слов «молодежь» и «молодой». Но увлечение Хрущева кукурузой и освоение целинных земель, полет Гагарина в космос и «стиляги» — все это только фон панорамы культурной и литературной жизни, героями которой выступают в первую очередь молодые люди, те писатели, кого одно время называли «четвертым поколением», а сейчас именуют словом «шестидесятники». И нужно сказать, что книга итальянского исследователя отлично показывает их неоспоримую роль в обновлении жизни — то, что в последнее время порой ставится под сомнение.

Передана атмосфера новой «романтики», энтузиазма и тяги к лирическому. Автор останавливается на таких знаменательных моментах, как выставка художников-авангардистов, вечера поэзии в Лужниках, как увлечение западной литературой, в первую очередь Хемингуэем, но и Ремарком, Фолкнером, А. Миллером, как возвращение некоторых «запрещенных» имен русской литературы, прежде всего Цветаевой, как роль «Нового мира» и «Иностранной литературы», альманаха «Тарусские страницы», как возникновение поэзии бардов и первые образцы «молодежной» повести.

Из этого перечня легко заключить, что книгу подстерегала опасность превратиться в перечисление ряда более или менее известных фактов и событий. Но автор сумел ее избежать благодаря своему постоянному взволнованному перевоплощению как бы в участника этих событий и вместе с тем благодаря осознанию исторической перспективы — всех превратностей последующих десятилетий. Так возникает живая картина литературного процесса, динамичная, пестрая, но логически убедительная и позволившая автору охарактеризовать 1961 год как обещающее, но не сдержавшее своего обещания начало «штурм унд дранга» советской молодежи.

II. ALEKSANR BLOK. I Dodici. Gli Sciti. La Patria. Introduzione, traduzione e note di Eridano Bazzarelli. Milano, Biblioteca universale Rizzoli, 1998, 335 p.

АЛЕКСАНДР БЛОК. Двенадцать. Скифы. Родина. Вступление, перевод, комментарии Эридано Баццарелли.

Все, кто знаком с итальянской русистикой, знают, что профессор Эридано Баццарелли любит и понимает русскую поэзию как немногие. Об этом свидетельствуют его исследования, посвященные Пушкину, с которого началось увлечение русской поэзией, и Тютчеву, неутомимая работа в качестве переводчика их лирики, а также «Евгения Онегина». Однако Блока Э. Баццарелли любит больше всех русских поэтов, Блок, как признается итальянский ученый, — «волнует его».

Судьба Блока в Италии сложилась, можно сказать, счастливо. Его стихи известны читателю в высокохудожественных и не однажды переиздававшихся переводах Ренато Поджиолли и А.-М. Рипеллино. Антология, представленная Баццарелли, отличается своеобразной композицией. Состав ее ясен из заглавия, причем в раздел «Родина» (название цикла относится, как известно, к 1916 году), кроме стихов «На поле Куликовом», «Россия», «Русь моя, жизнь моя...», «Грешить бесстыдно, непробудно...», «Рожденные в года глухие...» и других, переводчик присоединил, как он объясняет в предисловии, некоторые стихотворения из второй и третьей книги поэта, посвященные также России, но не включенные им в цикл «Родина» (такие, как «Русь», «Осенняя воля», «Пляски осенние»). Кроме того, антология содержит переводы «Ночной фиалки» и циклов «Итальянские стихи», «Кармен», поэмы «Соловьиный сад». В основном в антологии представлена вторая половина творческого пути поэта (после 1909 года) в сочетании двух блоковских тем: любви и России. Такая, по определению самого Баццарелли, «особенная, но целенаправленная структура» связывает две темы в одну, сливая образ возлюбленной (невесты, жены) с образом России, как это и осуществлялось в лирике Блока. В продолжение этой мысли Баццарелли вступает в своего рода диалог с Андреем Белым и Даниилом Андреевым, автором «блоковских» страниц в «Розе Мира», — диалог о смешении «высокого» и «низкого», «небесного» и «земного» в творчестве поэта.

Именно в этом «смещении» он видит «эстетическое значение поэзии Блока, ее неповторимое своеобразие и ее глубину».

Тон и стиль предисловия, где развиты эти соображения, — далекий от академического, можно сказать, страстный. Это лирическое признание в любви к поэту.

Согласно итальянской переводческой традиции (приводящей русского читателя в некоторое недоумение), тексты Блока переложены белым стихом. Но переводчик в том же предисловии признается, что его скромная цель — не «передать» оригинал, а хотя бы «выразить поэтическое воодушевление, которым проникнуты стихи» Блока. Это удалось вполне.

III. NINA KAUCHTSCHISCHWILL. Mat' Marija. Il cammino di una monaca. Magnano, Edizioni Qiqajon, 1998, 242 p.

НИНА КАУХЧИШВИЛИ. Мать Мария. Путь монахини.

К сожалению, в Италии переводы книг русского зарубежья довольно редки. Произведения Бунина, вошедшие здесь в читательский обиход уже довольно давно, позднее — романы Сирина-Набокова и совсем недавно некоторые сочинения Нины Берберовой — все это скорее исключения. Поэтому нельзя не приветствовать появления на итальянском языке новых названий из литературы «русского рассеяния».

Знаменательным можно считать выход книги о творчестве матери Марии, этой необычной личности, сочетавшей в своей трагической судьбе духовные и художественные поиски, равно стремившейся к истине и к прекрасному, открывающей иностранному миру лучшие черты русской души, дающей пример высокой жертвенности. Автором предисловия и составителем антологии текстов выступает известная исследовательница русской литературы, ее неутомимый популяризатор в Италии Нина Каухчишвили. Она обратилась к творчеству матери Марии после многих лет, посвященных изучению Тургенева, Достоевского, Андрея Белого, после увлечения формалистами в конце 60-х годов, а затем — методологией тартуской школы в 80-е годы. Это неудивительно, если вспомнить, что сама исследовательница определяет свою научную эволюцию как движение «от формы к духу».

Выпущенная издательством религиозной общины в г. Бозе книга содержит ряд работ матери Марии, посвященных религиозным и богословским вопросам (переводы Алессандро Ниеро, под редакцией Адальберто Майнарди). Это цикл статей о монашестве и другой, такой же объемистый, под общим заглавием «Святая Земля», ряд статей и заметок («В поисках синтеза», «Истоки творчества», об аскетизме и др.). Материалы взяты из двухтомника «Воспоминания, статьи, очерки», вышедшего в Париже в 1992 году. Содержание несколько однобокое, к сожалению, полностью отсутствуют стихи и публицистика, относящиеся к периоду до пострига.

Можно предположить, что итальянскому (и вообще западному) читателю будут наиболее интересны такие работы, как статья «В поисках синтеза», сочетающая размышления общего характера с пронизательными замечаниями о специфике русской культуры, или статьи «Под знаком гибели», «Истоки творчества», близкие нам тревогой за судьбу человека, притягательные своим, очень русским, «апокалипсическим» тоном. Обширное и содержательное предисловие, фактически — компактная монография, воспринимается как своеобразный роман становления личности. Путь монахини Марии (Елизаветы Юрьевны Пиленко) рассматривается год за годом, с первых лет жизни героини; при этом использован ряд ценных и малоизвестных материалов, воссоздана историческая картина русской жизни накануне и во время революции, в эмиграции.

Насколько нам известно, Н. Каухчишвили готовит второй том этого труда, более полно представляющий литературное наследие матери Марии.

Татьяна НИКОЛЕСКУ.

Милан, Италия.



JEFFREY BROOKS. Thank you comrade Stalin! Soviet Public Culture From Revolution to Cold War. Princeton, Princeton University Press, 1999, 316 p.

ДЖЕФРИ БРУКС. Спасибо товарищу Сталину! Советская публичная культура от революции до холодной войны.

Такой анекдот 30-х:

Рабинович вышел на демонстрацию с плакатом «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». Парторг кричит:

— Вы что, Рабинович, издеваетесь? Вы же старик! Когда вы были ребенком, Сталин еще не родился!

— *Вот за это ему и спасибо!*

Находчивому Рабиновичу повезло по крайней мере в детстве. Другие оказались менее удачливыми, но пенять на историю — дело пустое. Советская история имеет, впрочем, свою специфику: подобно тому, как человек, изучающий, к примеру, советскую литературу, поневоле становится историком и политологом, историк становится филологом поневоле. Этого опыта Джеффри Бруксу не занимать. Один из наиболее авторитетных американских историков России, он является автором книги, признанной классической в русистике (в ближайшее время ожидается ее выход наконец и в России), — «Когда Россия училась читать» («When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861 — 1917». Princeton, 1985). Она посвящена дореволюционной «массовой литературе». Вышло, однако, так, что советским «Бовой Королевичем» оказалась газета, с которой Ленин, как известно, и предлагал «начать».

В той же мере, в какой советская политическая система была системой неслыханного политического террора, она была настоящей диктатурой слова. Статус слова был в ней поистине огромным. За привычными понятиями «цензура», «идеологический контроль», «пропаганда» стояли совершенно уникальные задачи по созданию новых «медиальных реальностей» и в конечном счете — нового «политического воображаемого». То, что лишено медийной репрезентации, что отсутствует публично, не существует политически. В дотелевизионную и докомпьютерную эпоху информационная среда состояла в основном из плакатов, газет и радио. Что касается радио, то возможности его не стоит переоценивать. Брукс приводит такую статистику: в 1940 году в стране было 7 миллионов радиоприемников, в 1950-м — 13 с половиной. Не много — на 200 миллионов человек. Другое дело — газеты: их тираж уже в 1940 году составлял 38 миллионов...

Писать историю — значит во многом описывать ее «по источникам». Источников сегодня открылось невероятное множество. Статус «источника» настолько высок, что часто заслоняет вопрос о той реальности, которую он призван представить. Между тем самым темным в истории оказывается вовсе не «тайна», но то, что лежит, кажется, на поверхности. История — это еще и то, какой люди представляли себе свою современность (Ленин, как известно, и считал задачей журналистики написание «истории современности»). Вот это «политическое воображаемое» — восприятие реальности (ее оценка, ее переживание, в конце концов то, что у нас называлось «мироощущением») — и составляет наиболее трудноуловимый объект исторического знания. И раз открыв его для себя, историк и превращается в культуролога — он поневоле обращается к истории культуры, литературы, искусства. Как бы то ни было, если история восприятия реальности (история образов, метафор, языка, на котором эта реальность выражена) является предметом историка, мы погружаемся в ту самую науку, которая всем, кто закончил в свое время филфак или журфак, навязла в зубах, — историю советской и партийной печати.

Брукс исходит из того, что самое важное и интересное в советской печати заключено не столько в содержании, сколько в механизме ее действия: она не только указывала читателю, что ему надлежит думать (на этом делает акцент традиционная советология), но (что куда важнее) — о чем думать и как думать; она не только говорила о том, как интерпретировать новости, но и — что вообще

считать новостями. Словом, она создавала и внедряла готовые структуры мышления. Так, на первый план выдвигается контроль за «нарративом событий», формирование неистребимого советского стиля, определившего не только «облик советской печати», но и литературную стилистику. В этом смысле язык соцреалистического романа мало чем отличается от языка, скажем, газеты «Правда».

«Правда» — центральный персонаж книги. В ней Брукс видит настоящий «инкубатор групповой идентичности», домен советского политического сознания, кузницу образов, метафор, лексики — тех самых призм, через которые реальность структурировалась в массовом сознании (вот уж точно: «Слово „Правды“ весь мир перевесит»). Стоит заметить, что современная ностальгическая «память о прошлом» во многом питается из того же источника (и тоже верно: «Все минется, „Правда“ останется») — прошлое есть вчерашнее настоящее, «данное нам в ощущении»... газетой («Спасибо товарищу Сталину!»). Стоит заметить также, что печать занимала совершенно особое место в истории большевистской партии, начинаясь с газеты как «коллективного организатора масс». В сущности, это ведь партия «литераторов», партия профессиональных редакторов: Ленин, Троцкий, Сталин, Зиновьев, Каменев, Бухарин — все Политбюро — начинали с редакторской деятельности. Сталин, всю жизнь лично контролировавший работу печати, может быть назван самым многолетним и заслуженным работником советской печати (спасибо ему и за это).

Брукс обращается, разумеется, не только к «Правде». На разных этапах советской истории на первый план выдвигались различные издания — «Крестьянская газета», «Беднота», «Рабочая газета» — в 20-е годы; «Труд», «Рабочая Москва» — в 30-е, «Красная звезда» — в годы войны и т. д. Но, как показывает автор, «то, что началось с попытки монополизировать контроль над печатью с целью вытеснения политической оппозиции, обернулось полномасштабным захватом всей сферы публичного воображаемого». Брукс оказался не только знающим, но тонко чувствующим проводником в том перевернутом мире, какой вставал со страниц советских газет и журналов, концентрируя внимание на процессе рождения и мутации идеологических и стилевых метафор и клише, протекавшем на протяжении всей советской истории.

Формируя «новый символический порядок» (*new symbolic order*), газета создавала особое сакральное время, в котором жила страна; описывала особое пространство, в котором жил читатель; в наборе сюжетов она создавала систему моральных императивов, давала «этику дня». Модели эти менялись — от риторики классово-войны начала 20-х годов к прагматике НЭПа, от этики самопожертвования эпохи первых пятилеток к «метафорике социальной гигиены» эпохи террора и т. д. Можно сказать, что советская реальность (как и соцреалистическая «жизнь в ее революционном развитии») есть реальность языковая. Утверждая такой взгляд на предмет, Брукс оперирует понятием, разработанным в современной политической социологии для описания моделей патерналистского государства, — «моральная экономика дарения» (*the moral economy of the gift*): в условиях неэффективно работающей экономики всякое действие в сфере производства имеет смысл прежде всего как моральная акция (а не как безлично-экономическая при капитализме) — как «забота о людях», о росте их «благополучия», как «доказательство преимуществ социалистического строя», как выражение верности «линии партии» и т. д. Словом, экономическая реальность мыслится в этических, политических, моральных, каких угодно категориях — только не в экономических. Эта модель оказывается исключительно живучей, поскольку опирается в конечном счете не на «человека производящего», но на человека, все получающего «в дар» (от государства, от партии, от «товарища Сталина» — спасибо ему еще и еще). Не надо доказывать, что на самом деле картина эта является плодом аберрации — без производящего человека «получить» ничего нельзя. Больше того, «дара» в экономике вообще (увы!) не существует («бесплатный сыр имеется только в мышеловке»). То, что объявляется «подаренным», есть на самом деле знакомый по марксистским прописям «отчужденный труд». Собственно, все советское идеологическое

производство — от романа до газеты — оказывается работой по «отчуждению» с целью последующего «дарения» отчужденного.

Как показал Брукс, причина того, что советское общество в сталинскую эпоху жило в фантастическом мире идеологических конструкций, лежит не только в том, что, как традиционно утверждалось, власти «скрывали правду» и «свиrepствовала цензура», но в том, что через печать, литературу, искусство «была создана стилизованная, ритуализированная и самодостаточная публичная культура, которая производила свою собственную реальность, заменив все другие формы публичного отражения и выражения». Создание подобной модели культуры требует огромных материальных политико-идеологических (и немалых эстетических!) усилий. «Есть ли такая партия» сегодня? Брукс в заключение пишет: «Ничто из старого порядка не исчезает так полно, как официальная публичная риторика», — утверждение не столь очевидное, если принять во внимание, что риторика только оформляет работу определенного механизма, обслуживающего социальные ожидания, а это и есть то свято место, что — спасибо товарищу Сталину — пусто не бывает.

Евгений Добренко.

Амхерст, США.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН О ВАРЛАМЕ ШАЛАМОВЕ

В № 4 «Нового мира» за 1999 год опубликованы краткие воспоминания А. И. Солженицына о Варламе Шаламове, а также его реплики по поводу моей публикации «Из дневников» В. Шаламова («Знамя», 1995, № 6) и републикации их в «Шаламовском сборнике» (вып. 2, Вологда, 1997) с моим послесловием.

Кое-какие места воспоминаний Солженицына хотелось бы прокомментировать истины ради. Итак, следую по тексту Солженицына.

Солженицына «художественно не удовлетворили» рассказы Шаламова. Это не удивительно, он писатель традиционный и «новой прозы» Шаламова, движимый совсем иными художественными средствами, понять не мог. Что ж, и в толпе голых людей, гонимых к печам Освенцима, Солженицын стал бы искать и описывать «характеры»? А Колыма была не лучше Освенцима: «Цвета глаз, — писал В. Шаламов, — ни у кого не было». 1938 год, пятидесятиградусный мороз, голод, побои, расстрелы, работа по 14 часов, закостеневшие по ручке кайла руки, цинга, кровь и гной, текущие из незаживающих ран... Шаламов нашел адекватный литературный стиль для изображения этого ада. Кто не знал этого кожей, нервами, остатками мускулов, тот не может писать об этом.

Не помню, кстати, чтобы я когда-либо утверждала, что все герои «Надгробного слова» — сам автор. Он мучится их мукой, умирает их смертью, но в этом рассказе герои имеют даже столь желанные Солженицыну «характеры», вернее, эпитафии.

Мнение Шаламова о сравнительной ценности поэзии и прозы, так однозначно высказанное Солженицыным, нельзя понимать так узко. Ведь и проза Шаламова — это «новая проза», это проза Поэта (ритм, символы, радар-душа автора)¹, одно из значительнейших литературных явлений второй половины XX века.

Относительно отказа Шаламова от сотрудничества с Солженицыным — это так понятно при разности их характеров, творческих принципов, жизненного опыта.

«Почему я не считаю возможным личное мое сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего потому, что я надеюсь сказать свое личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, в общем-то, дельца, как Солженицын»².

А. И. Солженицын, безусловно, великий стратег и тактик, а Шаламов — всего лишь великий писатель.

Опять распинаят Солженицын историю письма в «Литгазету» 1972 года, при этом забывая собственные многочисленные тактические «облегчения» своих произведений. В разных войнах они участвовали: Солженицын — с советской бюрократией, Шаламов — с мировым злом. И с Хиросимой, и с Освенцимом, и с растлением людей, переползающим лагерные колючки («лагерь — мироподобен»).

Он говорил: «Пешкой в игре двух разведок я быть не хочу». И яростно возмущался, что его рассказы используются на Западе малыми дозами как оружие политической борьбы.

Он сражался на другой войне. Даже милая молодая исследовательница из Австралии Е. Михайлик поняла это: «Рассказ „Ягоды” написал человек, сражавшийся при Армагеддоне и знающий, что мертвые не восстали»³.

¹ Шаламов В. Собр. соч. «О прозе». <«О моей прозе»>. Т. IV. М., 1997.

² Шаламов Варлам. Из записных книжек. Разрозненные записи <1962 — 1964 гг.>. — «Знамя», 1995, № 6.

³ «IV Международные Шаламовские чтения». Москва, 18 — 19 июня 1997 г. М., «Республика», 1997, стр. 85.

ЦРУ Шаламова столь же мало привлекало, как и КГБ. Из «Записок аутсайде-ра» Владимира Аллоя⁴ мы узнали, что А. И. Солженицын даже устраивал дотации «Ymca-press» от некоего секретного ведомства США. Подобные контакты не считал допустимыми для себя Шаламов. Он не хотел обслуживать ничьи политические игры. Весь был в литературе, искусстве.

О принятых Солженицыным деньгах. Шаламов имеет в виду, конечно, не гонорар. Это — деньги за «пророческую деятельность», которые идут «не из-за границы», как заверял Солженицын. Шаламов считал, что уж ежели имеешь претензию быть пророком, денег брать нельзя, они связывают твою свободу и посягают на твои слова.

И наконец, «прямой навет» (мой) о совете Солженицына Шаламову не посылать рассказы на Запад, ибо без религии они там не пойдут.

Увы, должна подтвердить, что запись Шаламовым этой беседы относится именно к А. И. Солженицыну. Даже слова «для пользы дела» вставлены в речь собеседника Шаламова. Варлам Тихонович не раз рассказывал мне об этой беседе. Меня еще тогда поразил парадокс: Шаламов, неверующий, оскорблен столь практическим использованием религии. Религию он чтит как самый совершенный нравственный пример. А Солженицын...

И как недостойно звучит лживый намек: «уже безумноватые глаза». Пронзительным, пронциательным и ясным был всегда его взгляд, пока он не ослеп, но это было в 1981 году, а Солженицын, по его словам, видел Шаламова в 1965 году последний раз. Человека, в том числе и Солженицына, он видел насквозь.

За «благополучный Вермонт» прошу прощения. Но до нас дошло в печатном виде именно оттуда известие о смерти еще живого бывшего «брата».

Нет, никогда, нигде и ничего доброго не сделал Солженицын для мученика, но Шаламов сам словом победил ад лагерей и, надеюсь всей душой, обрел бессмертие.

Дорогие читатели, «Новый мир» согласился лишь однажды предоставить мне краткое слово. Поэтому прощаюсь с вами в надежде, что найду среди вас почитателей Варлама Тихоновича, лучшего из людей, которых я знала.

И. СИРОТИНСКАЯ.

Как может архивист, представив публике из архива лишь «разрозненные записи», напечатанные в неизвестном порядке, — перетолковывать их произвольно, со ссылкой на *устные* — к тому же годами позже — разговоры с Шаламовым?

Я уже ответил: не только не было никогда, но и быть не могло, чтобы я «черкал» рукописи Шаламова да еще говорил с ним «наставительно». Разговор о том с непоименованным собеседником Сиротинская бездоказательно, но упорно пытается приписать мне.

Характерна нынешняя ее оговорка: слова «для пользы дела» — «вставлены» в запись разговора. *Вставлены* — кем? когда? и — с какой целью? *Вставлены* — во всяком случае тщетно, не достигая замысла: ибо «для пользы дела» и вообще было расхожее советское выражение, а уж в заглавии моего рассказа использовано горько-иронически — прямо противоположно смыслу, «вставленному в речь собеседника».

Варлам Шаламов прожил страшную жизнь. Потому не удивительно, хотя и больно, узнавать из его записей, как он терзаем был горечью, завистью, озлоблением. К чести его — он не давал им при жизни брать верх, выплскиваться вовне. Какая же злая судьба, что теперь каждое новое выступление владелицы его архива Сиротинской — старается лишить его победы в той мучительной борьбе.

А. СОЛЖЕНИЦЫН.

27.6.99.

⁴ «Минувшее». Т. 23. СПб., «Atheneum-Феникс», 1998, стр. 185, 186.

МЕЖДУ ДОСТОЕВСКИМ И КУНЯЕВЫМ

Как писал протопоп Аввакум, «держу до смерти яко приях». Верен старому «Новому миру» времен А. Твардовского. И здесь, в Канаде, первым делом читаю, увы, с запозданием поступающий журнал. В пятом номере за этот год обратила на себя внимание большая статья В. Свинцова о Достоевском и реплика к ней члена редколлегии И. Роднянской. Что же побудило И. Роднянскую (и редакцию?) «не пройти мимо»?

Автор статьи — В. Свинцов — не исключает *возможности* «ставрогинского греха» Достоевского, полагая что тайный грех мучил его душу и нашел отражение как в «нимфофилии» ряда произведений, так и в некоторых туманных признаниях. Обосновывая это, В. Свинцов пишет: «Слишком уж много „достойных уважения людей” (говоря словами И. Волгина) было причастно к циркуляции слухов о самопризнаниях Достоевского в ставрогинском грехе» (стр. 205). Кто же эти люди? И. Тургенев, Л. Толстой, Д. Григорович, Н. Страхов, позднее Л. Шестов, П. Флоренский, Ю. Тынянов и другие. Но дело даже не в «именитости», считает В. Свинцов, а в их «человековедческих способностях». Резонно. Тем не менее многие нынешние «достоиеведы» не допускают возможности ужасного греха Великого. Свинцов, однако, задает «грубоватый вопрос»: что же, те «достойные уважения люди» были «глупее сегодняшних литераторов, сделавших жизнь и творчество писателя объектом своей профессии?» (там же). Прозрачно намекнув на «сластобесие» самого В. Свинцова, приписав ему глупую попытку «вывести» чуть ли не все творчество Достоевского из такого же «сластобесия» и «ставрогинского греха», И. Роднянская кинулась на защиту «чистоты риз». Похлопывая «несмышлениша» В. Свинцова по плечу, она усмешливо «рушит» его доказательства: хочу «обратить внимание автора на небезызвестную комедию „Горе от ума”, где в сжатом виде продемонстрирована механика распространения такого рода слухов. Если автор статьи о Достоевском думает, что литературная среда, сколько бы в ней ни насчитывалось знаменитостей, в этом отношении сильно отличается от пресловутой фамусовской Москвы, он пребывает в приятном заблуждении» (стр. 215).

Клеветала, стало быть, на Федора Михайловича «литературная среда», клеветала. А почему? Вот здесь-то, как представляется, и «зарыта собака» реплики И. Роднянской. Делалось это, оказывается, даже не по «частным, а по идеологическим соображениям, важнейшее из которых — жаркая (? — Г. И.) неприязнь к *православию* (подчеркнуто мной. — Г. И.) Достоевского» (там же).

Неправославные, стало быть, были Л. Толстой, Тургенев, не говоря уже о Шестове и других, а потому и хулили Достоевского. Теперь давайте положим руку на сердце и спросим себя: что такое «православие Достоевского» с точки зрения политической? У В. Розанова есть интересный рассказ, относящийся к 1913 году. «Шестов, тоже еврей, сидел у меня и спросил: „К какой бы из теперешних партий примкнул Достоевский, если бы был жив?” Я молчал. Он продолжал: „Разумеется, к самой черносотенной, к Союзу русского народа и истинно русских людей”. Догадавшись, я сказал: „Конечно”» (цит. по кн.: Кожин о В. Россия, век XX. 1901 — 1939. М., 1999, стр. 57). В. Кожин, правда, числит в черносотенстве людей «наиболее глубоких и творческих по своему духу» (Кожин о В. Указ. соч., стр. 35), но это *его* понимание.

Так что же дорого И. Роднянской в Достоевском? За что ее барственно хвалит в публикуемых теперь мемуарах С. Куняев, оказывается, еще в 70-х годах осознавший свою великую миссию борьбы с «еврейским засилием» на Руси? (См.: «Наш современник», 1999, № 3, стр. 188.)

Виталий Свинцов написал очень честную, совестливую, высоконравственную статью («текст» — пренебрежительно называет ее Роднянская). «Антропология Достоевского, — пишет он, — помогла мне глубже заглянуть в собственную душу и понять, что я так же бездонно открыт греху и злу, как другие люди» (стр. 210). «Все мы — бедные люди Достоевского» (там же). Дай Бог всем нам понять это.

И не стоило бы журналу со столь высоким престижем сопровождать Человеческую статью В. Свинцова банальной идеологической репликой Роднянской.

Свою реплику она назвала «Между Коном (сексолог. — Г. И.) и Достоевским». «Между Достоевским и Куняевым» — назвал бы я свою реплику И. Роднянской. Жаль, если в этом проявилась позиция нового «Нового мира». Если же не так, опять же, по слову Аввакума, не пеняйте и «нашему окаянству».

Генрих ИОФФЕ.

Монреаль, Канада.

ПОЛЬЗУЯСЬ ПРАВОМ НА ОТВЕТ...

Спорить с г-ном Генрихом Иоффе по поводу того, как именно исказил он мою точку зрения — и даже точку зрения обороняемого им Виталия Свинцова, — не стану. Читатели разберутся сами (если захотят). Отмечу только несколько косвенных «по поводу».

1. Чрезвычайно ценная, на мой взгляд, статья Виталия Свинцова была напечатана в «Новом мире» по моей инициативе, даже с преодолением некоторых сомнений редколлегии, которая в итоге с моей оценкой согласилась. Такая оценка не означала моего единомыслия с автором по ряду существенных пунктов, что я и позволила себе высказать. Хотя г-н Иоффе, живя в Канаде, следит, по его признанию, за нашей литературно-общественной жизнью, все-таки обитает он далековато и, видимо, плохо представляет себе, что вместо однокрасочных сражений между «черносотенцами» (они же, видимо, православные) и либералами (они же, видимо, евреи или юдофилы) у нас давно уже наступила свобода, предполагающая гораздо большее многообразие точек зрения. Приверженность прежнему идейному рисунку выдает сама лексика Г. Иоффе: «Похлопывая „несмышленища“ В. Свинцова по плечу...» и т. п., — у нас, в России, такая идеологическая риторика наличествует только в тех журналах, которые Г. Иоффе склонен обличать.

2. Пользуюсь случаем заметить, что эпизод из воспоминаний Станислава Куняева, на который с таким сыщицким пылом ссылается автор письма, не соответствует действительности. Куняева или подвела память (возможно, он спутал меня с Инной Ростовцевой?), или он примыслил эту сценку. Я на него не в обиде, дело было давно, но раз Иоффе завел об этом речь, отвечу: никакого страха перед аудиторией на все еще памятной конференции «Классика и мы» я не выказывала ни до, ни после своего выступления. Я сказала все, что хотела (в том числе и об Игоре Конне, который тогда еще был не сексологом, а социологом), и выступление это напечатано в книге: Роднянская Ирина. Художник в поисках истины. М., 1989, стр. 172 — 178. Там г-н Иоффе, как опытный читатель между строк, вправе найти столько черносотенства, сколько ему вздумается. Ведь вычитал же он в моей реплике Свинцову намек на «сластобесие» исследователя — замечание, крайне непристойное прежде всего в отношении подзащитного, который таким образом может превратиться в чих-то глазах в подозреваемого.

3. Генрих Иоффе, к сожалению, немного поспешил. Если бы он дождался седьмого номера «Нового мира», он обрел бы возможность обличить сразу двух злокачественных ретроградов («черносотенок»), поскольку прочел бы там полемизирующую со Свинцовым статью Татьяны Касаткиной «Как мы читаем русскую литературу: о сладострастии». Замечу, что и с этой статьей я мало в чем согласна, однако рада ее публикации. Коль г-н Иоффе может это вместить, да вместит.

Ирина РОДНЯНСКАЯ.

Июнь 1999.

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Жемчужная рубашка. Старинные китайские повести. Перевод с китайского В. А. Вельгус, И. Э. Циперович. Составление, предисловие И. Э. Циперович. СПб., Центр «Петербургское востоковедение», 1999, 688 стр., 1000 экз.

Двадцать шесть повестей из сборников XVII века Фэн Мэнлуна и Лин Мэнчу.

Заветные частушки. Из собрания А. Д. Волкова. В 2-х томах. Издание подготовила А. В. Кулагина. М., «Ладомир», 1999, 5000 экз. Том 1. Эротические частушки. 766 стр. Том 2. Политические частушки. 500 стр.

М. Ю. Лермонтов. «Для мира и небес чужой...». Стихотворения. Поэмы. Малая проза. Составление, эссе о поэте Аллы Марченко. М., «Школа-Пресс», 1998, 466 стр., 5000 экз.

Первый том представляет произведения поэта в хронологической последовательности, а тексты от составителя образуют развернутое жизнеописание Лермонтова.

М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. Маскарад. Составление, очерки о поэте, биохроника Аллы Марченко. М., «Школа-Пресс», 1998, 400 стр., 5000 экз.

Кроме «Героя нашего времени» и «Маскарада», а также сопровождающих их историко-литературных очерков Аллы Марченко («Печорин: знакомый и незнакомый», «Перечитывая „Маскарад“») и подробной «Биохроники» включены: ставшая библиографической редкостью работа Н. С. Ашукина «Историко-бытовой комментарий к драме Лермонтова „Маскарад“» и недавно найденные Е. Н. Рябовым, практически неизвестные широкому читателю письма княгини М. А. Щербатовой. Составитель, пользуясь предоставленной журналом возможностью, заранее просит у потенциальных читателей двухтомника извинения за отсутствие обещанной издательством цветной вкладки и неверную дату под знаменитым стихотворением Лермонтова «Прощай, немытая Россия...».

О. Мандельштам. Собрание сочинений. В 4-х томах. Составитель П. Нерлер и другие. М., «Арт-Бизнес-Центр», 1999, 1230 экз. Том 1. Стихи и проза. 1906 — 1924. 367 стр. Том 4. Письма. 607 стр.

Юрий Олеша. Книга прощания. М., «Вагриус», 1999, 477 стр., 11 000 экз.

Второе после книги «Ни дня без строчки» издание дневниковой прозы Олеша, соответственно более полное, составленное без оглядки на цензуру и «литературные приличия». Публикацию дневников подготовила В. Гудкова, ей же принадлежат предисловие и примечания. Текст печатается по материалам личного архива писателя (РГЛИ, ф. 358). Материал помещается в хронологическом порядке. Первая запись датируется 20 января 1930 года, последняя — по-видимому, весной 1960-го.

Марсель Пруст. Против Сент-Бёва. Статьи и эссе. Перевод с французского Т. В. Чугуновой. Вступительная статья А. Д. Михайлова. Комментарии О. В. Смолицкой, Т. В. Чугуновой. М., «ЧеРо», 1999, 224 стр., 5000 экз.

Роман-эссе, писавшийся на подступах к основной работе — «В поисках утраченного времени». Пруст полемизирует с концепцией литературы Сент-Бёва и формулирует свой гворческий метод.

Борис Рахманин. Русская ночная жизнь. Роман. СПб., «Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ», 1999, 230 стр., 5000 экз.

Новый роман современного прозаика.

Анна Рэдклифф. Роман в лесу. Перевод с английского Е. И. Малыхиной. Предисловие и примечания К. Н. Атаровой. М., «Ладомир», 1999, 315 стр., 2500 экз.

Одна из самых знаменитых книг классика «готического романа».

О’Санчес. Кромешник. (Побег от ствола судьбы на горе жизни и смерти). Роман. СПб., «Symposium», 1999, 750 стр.

«Эту книгу можно читать как боевик или криминальный роман, и любители этого жанра уже отозвались о „Кромешнике“ как о русском антиподе „Крестного отца“. Чи-

татель иного склада увидит за внешней детективностью сюжета глубокий психологический роман и проведет параллели скорее с „1984”...» (из издательского предисловия).

Традиционные необрядовые песни. Вступительная статья, составление, комментарий Т. М. Аначевой, Е. А. Самоделовой. М., «Наследие», 1998, 538 стр., 1000 экз.

Е. Шварц. Стихотворения и поэмы. СПб., «ИНАПРЕСС», 1999, 512 стр., 2000 экз.

Самое полное собрание стихов петербургской поэтессы.

Эзоп. Басни. Перевод и комментарии М. Л. Гаспарова. М., «ЭКСМО-Пресс», 1999, 447 стр., 10 000 экз.

Михаил Яснов. Театр теней. Книга стихотворений. СПб., Смоленск, Центр информации СГУ, 1999, 78 стр.

Новая книга петербургского поэта.



Георгий Адамович. Литературные беседы. В 2-х книгах. Вступительная статья, составление и примечания О. А. Коростелева. СПб., 1998, 2000 экз. Книга 1. «Звено». 1923 — 1926. 570 стр. Книга 2. «Звено». 1926 — 1928. 508 стр.

Первое полное издание литературно-критической эссеистики поэта и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892 — 1972), публиковавшейся в русском эмигрантском журнале «Звено» (Париж) с 1923 по 1928 год. Короткие, емкие и при этом с редкой непринужденностью и изяществом написанные эссе представляют достаточно широкую панораму русской литературы 20-х годов по обе стороны границы. (Более подробно о критической прозе Адамовича писал Евгений Ермолин в статье «Комментарии к судьбе и эпохе» («Новый мир», 1997, № 9).

Теодор В. Адорно. Социология музыки. Избранное. Перевод с немецкого А. В. Михайлова. Составление М. И. Левит. М., СПб., «Университетская книга», 1998, 445 стр., 2000 экз.

Классические работы одного из создателей социологии музыки, немецкого философа Теодора В. Адорно (1902 — 1969): «Введение в социологию музыки. Двенадцать теоретических лекций», «Антон фон Веберн», «Moments musicaux. [Музыкальные моменты]». А также статьи известного русского историка искусства и культурфилософа Александра Викторовича Михайлова (1938 — 1995): «Выдающийся музыкальный критик», «Концепция произведения искусства у Теодора В. Адорно», «Музыкальная социология: Адорно и после Адорно», «Отказ и отступление. Пространство молчания в произведениях Антона Веберна». Завершает книгу статья Л. И. Сазоновой «Космос смысла. Александр Михайлов. Жизнь в слове».

Петр Вайль. Гений места. М., Издательство «Независимая газета», 1999, 488 стр., 5000 экз.

Книжное (в полном виде) издание историко-культурных эссе, которые автор писал и публиковал в журнале «Иностранная литература» с 1995 по 1998 год. Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

Аркадий Ваксберг. Гибель Буревестника. М. Горький: последние двадцать лет. М., «Тerra-Спорт», 1999, 396 стр., 10 000 экз.

Документальное исследование литературной и политической биографии Горького с использованием недавно вошедших в научный обиход исторических материалов.

«Вехи»: pro et contra. Антология. Составление, вступительная статья, примечания, библиография В. В. Сакова. СПб., РХГИ, 1998, 856 стр., 2000 экз.

В антологию представлена в более чем шестидесяти статьях реакция русского общества на появление сборника «Вехи». Среди авторов — Изгоев, Франк, Боборыкин, Столыпин, Мережковский, Розанов, Л. Н. Толстой, Андрей Белый, Бунин, Ильин (Ленин), Милуков, Туган-Барановский.

Альфред Вебер. Избранное. Кризис европейской культуры. Перевод с немецкого М. И. Левина, Т. Е. Егорова. Составление С. Я. Левит. СПб., «Университетская книга», 1998, 565 стр., 3000 экз.

Книгу немецкого социолога, культуролога и историка Альфреда Вебера (1868 — 1958) составили известные работы «Прощание с прежней историей» (1946), «Третий или четвертый человек» (1953), а также ряд статей, ставших итогом размышлений уче-

ного о наступлении в середине нашего века принципиально новой, как он считал, эпохи европейской культуры. В качестве послесловия помещена статья Ю. Н. Давыдова «Альфред Вебер и его культуросоциологическое видение истории».

Евреи и русская революция. Материалы и исследования. Редактор-составитель О. В. Будницкий. М., «Мосты культуры» — Иерусалим, «Гешарим», 1999, 479 стр., 2000 экз.

В сборнике представлены: работа донского историка Сергея Григорьевича Сватикова (1880 — 1942) «Евреи в русском освободительном движении» (публикация В. Е. Кельнера), материалы официального расследования истории «Сионских протоколов», обширные выдержки из переписки В. А. Маклакова и В. В. Шульгина; в разделе «Новый строй: у власти и под властью» помещены статьи Л. Кричевского «Евреи в аппарате ВЧК — ОГПУ в 20-е годы» и Б. Д. Бруцкуса «Еврейское население под коммунистической властью», а также ряд других материалов.

Т. Ю. Мальцева. Ганнибалы и Пушкин на Псковщине. Редакция и дополнения к тексту профессора Г. Н. Дубинина. М., «Русский путь», 1999, 142 стр., 2000 экз.

Б. Л. Модзалевский. Пушкин и его современники. Избранные труды. (1898 — 1928). Составление и примечания А. Ю. Балакина. СПб., 1999, 576 стр., 2500 экз.

Двенадцать монографических работ историка литературы и одного из ведущих русских пушкинистов Бориса Львовича Модзалевского (1847 — 1928), являющихся классикой отечественного литературоведения и тем не менее не переиздававшихся в последние полвека.

М. Могильнер. Мифология «подпольного человека»: радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 208 стр.

Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

Эммануэль Левинас. Время и другой. Гуманизм другого человека. Перевод с французского А. В. Парибка. Вступительная статья и комментарии Г. И. Беневича. СПб., «Высшая философско-религиозная школа», 1998, 264 стр., 2000 экз.

Первое знакомство русского читателя с работами выдающегося французского философа Эммануэля Левинаса (1906 — 1996). «Левинас пользуется феноменологическим методом, но центральной темой его философии выступает этика. Посредством феноменологического изучения отношения „я” к другим личностям Левинас доказывает приоритет добра над истиной» (из издательской аннотации). Журнал намерен отрецензировать это издание.

В. Набоков. Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина. Перевод с английского. Под редакцией А. Н. Николюкина. М., «Интелвак», 1999, 1006 стр., 11 600 экз.

Новая — после петербургского (см. «Книжную полку» в № 7) — издательская версия «Комментария» Набокова к «Евгению Онегину». В одном из ближайших номеров появится рецензия, сравнивающая эти издания.

Конфуций. Уроки мудрости. Составление, вступительная статья и комментарии М. А. Блюменкранца. М., «ЭКСМО-Пресс», Харьков, «Фолио», 1998, 958 стр., 11 000 экз.

Издание составили канонический трактат Конфуция «Луньюй. (Изречения)» в переводе И. И. Семеновко и книги, традиционно включаемые в «конфуцианский канон» «Шицзин. (Книга песен и гимнов)» в переводе А. Штукина, «Ицзин. (Книга Перемен)» — последняя представлена в переводах и объемном исследовании Ю. К. Шуцко-го «Китайская классическая „Книга Перемен”». В «Приложениях» вошли: Сыма Цянь, «Старинный род Конфуция» (перевод И. И. Семеновко); Вольтер, «О Конфуции» (перевод С. Я. Шейман-Топштейн); Л. Н. Толстой, «Изложение китайского учения».

Б. В. Томашевский. Теория литературы. Поэтика. Учебное пособие. Вступительная статья Н. Д. Тamarченко. Комментарии С. Н. Бройтмана при участии Н. Д. Тamarченко. М., «Аспект-Пресс», 1999, 334 стр., 5000 экз.

С. Л. Франк. Этюды о Пушкине. Предисловие Д. С. Лихачева. М., «Согласие», 1999, 178 стр.

Статьи «Религиозность Пушкина», «Пушкин как политический мыслитель», «Пушкин об отношениях между Россией и Европой», «Светлая печаль».

П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. С приложением новых материалов из нидерландских архивов. Вступительная статья и примечания Я. Л. Левкович. СПб., «Академический проект», 1999, 655 стр., 3000 экз.

Остающееся до сегодняшнего дня одним из самых авторитетных исследование обстоятельств гибели поэта, впервые изданное Павлом Елисеевичем Щеголевым (1877 — 1931) в 1916 году. В «Приложении» — среди новых материалов, представленных в последние годы нидерландскими архивами, — документы, рисующие взаимоотношения Геккерена и Дантеса.

Составитель **Сергей Костырко.**



Списки книг, поступающих в Российскую государственную библиотеку (РГБ), можно найти по адресу: <http://www.rsl.ru>

ПЕРИОДИКА

«Время MN», «Вышгород», «Демократический выбор», «День литературы», «Deutschland», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Звезда», «Знамя», «Знание — сила», «Известия», «Книжное обозрение», «Коммерсант-Daily», «Кулиса НГ», «Литературная газета», «Литературное обозрение», «Митин журнал», «Москва», «Московские новости», «Московский журнал», «Наш современник», «Нева», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новый Журнал», «Огонек», «Октябрь», «Русская литература/Lettres russes», «Русская мысль», «Сутолока», «Татьянин день», «Труд»

Александр Агеев. Самородок, или Один день Олега Олеговича. — «Знамя», 1999, № 5. Сетевой журнал «Знамя»: <http://www.infoart.ru/magazine>

Олег Павлов: жизнь и творчество мастера.

См. рассказ Олега Павлова «Запой, или Сказка о последнем казаке» («Октябрь», 1999, № 5).

Василий Аксенов. «В рифме есть что-то психоделическое». Беседу вел Борис Вышеславцев. — «Литературное обозрение», 1999, № 2.

О дружбе, рифме и Большом взрыве. О своем новом «многоуровневом» романе, герой которого, рожденный при помощи кесарева сечения, не знает физического страха.

Николай Александров. Житие языком романа. — «Дружба народов», 1999, № 5. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/druzhba>

По мнению критика, в финале романа Светланы Василенко «Дурочка» («Новый мир», 1998, № 11) «Айтматов» победил «Платонова».

Лев Аннинский. Русский человек на rendez-vous. Критические этюды. — «Москва», 1999, № 4. Электронная версия: <http://www.moskva.cdru.com>

Заметки о современной любовной лирике с принципиальным игнорированием «качества стиха». «Важно одно: характер, — объясняет критик. — Как он создан нашим временем и выявлен на любовном свидании». Персонажи: Борис Чичибабин, Новелла Матвеева, Николай Панченко, Владимир Корнилов, Игорь Шкляревский и другие.

Александр Архангельский. Кушать люблю, а так — нет. Обонятельное и осязательное отношение Василия Розанова к евреям. — «Известия», 1999, № 76, 28 апреля. Электронная версия: <http://www.izvestia.ru>

О девятом томе собрания сочинений В. В. Розанова (издательство «Республика»), куда включено его наиболее одиозное сочинение «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови», написанное, как теперь выясняется, при анонимном участии о. Павла Флоренского. «Мыслимо ли выпускать, — спрашивает критик, — столь путаную, заведомо противоречивую, наполовину состоящую из надерганных цитат книгу без подробных комментариев?»

Публикацию из наследия Василия Розанова «Апокалиптика русской литературы» см. в № 7 «Нового мира» за этот год.

Александр Архангельский. Прощальный вздох Рушди. — «Известия», 1999, № 80, 6 мая.

Роман Салмана Рушди «Прощальный вздох Мавра» (1995) напечатан по-русски питерским издательством «Лимбус Пресс» в нынешнем году. «Рушди — с точки зрения собственно литературной — фигура дутая; он «умело играет на своем индийском происхождении, профессионально эксплуатирует постимперскую моду на все окраинное, маргинальное, барочное, пересахаренное».

Юрий Архипов. «Покой и воля...». Пушкин и Гёте. — «Москва», 1999, № 5. См. статью Сергея Аверинцева «Гёте и Пушкин» («Новый мир», 1999, № 6).

Дмитрий Бавильский. Новые стихи. Попытка концепции. — «Дружба народов», 1999, № 5.

Не стихи, а о стихах. Поэзия как музей современного искусства.

Владимир Библихин. Писатель и литература. О романе Владимира Маканина «Герой нашего времени». — «Ex libris НГ», 1999, № 18 (90), май.

Большая однообразно-умная статья. «Роман поднимает неподъемное и кончается открытым вопросом». См. также статью Андрея Немзера «Когда? Где? Кто? О романе Владимира Маканина: опыт краткого путеводителя» («Новый мир», 1998, № 10).

Лев Блюменфельд. В защиту «первого секретаря». — «Русская мысль». Ежедельник. Париж, 1999, № 4267, 29 апреля — 5 мая. Электронная версия: <http://www.rusmysl.ru>

В защиту президента Ельцина, который, по мнению автора, при всех недостатках и достоинствах, остается единственным гарантом сохранения страны от тоталитаризма (по крайней мере до 2000 года). Автору статьи возражает Владимир Прибыловский: «В отличие от Л. Блюменфельда, я сожалею, что наш путь в демократию возглавил такой неудачный предводитель» («Антиапология „первого секретаря“». — «Русская мысль», 1999, № 4269).

Леонид Бородин. «Одни шли в лагеря, другие писали раскаяния...». Беседу вел Борис Евсеев. — «Книжное обозрение», 1999, № 18-19, 4 мая.

Беседа с главным редактором «Москвы» о его исторической повести «Царица Смуть», о журнале, о современном положении России. «Кстати, смута — это еще и такое состояние общества, когда в нем одновременно присутствует дискретный набор социальных альтернатив. В том же 1607 году было несколько вариантов. Захват Польшей России. Полный ее развал. Восстановление Рюриковичей (они претендовали на трон) и др. И каждый из вариантов прослеживался и доказывался равноценно. То же и у нас. Возможны: а) диктатура; б) возврат коммунистов; в) просто развал; г) оккупация, вплоть до американского десанта».

Сергей Бочаров. Пражско-русско-советский сюжет двадцатого века в трех разговорах. 1920 — 1945 — 1957 — 1968 — 1998. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. Критико-эссеистическое приложение к журналу «Новое литературное обозрение». 1999, № 2 (4). Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine>

Конференция славистов в Праге. Встречи, знакомства, беседы. «Все это человеческие истории, ставшие звеньями исторического сюжета, в центре которого май 45-го, предыстория восходит к 1920 году, а эпилогом стал 1968-й (те же годы, что роковым образом замесались и в тютчевский сюжет моего доклада)».

Ф. И. Буслаев. Из «Дополнений к „Моим воспоминаниям“, не допущенных мною в печать». Вступительная статья, подготовка текста и примечания О. В. Никитина. — «Московский журнал». Литературно-художественный, историко-краеведческий ежемесячный журнал. 1999, № 4. Электронная версия: <http://www.gusk.ru> Каждый номер журнала выходит также в CD-ROM версии.

Глава VIII, окончание — о митрополите Филарете — печатается впервые по рукописи, хранящейся в Отделе рукописей Государственного Литературного музея (ф. 343).

Михаил Бутов. Реликт. Рассказ. — «Русская литература/Lettres russes». Revue bilingue. Paris, 1999, № 25.

Короткий рассказ из книги М. Бутова «Изваяние Пана» (М., «Книжный сад», 1994) на русском и французском языках (перевод М. Астрахана). В этом же номере парижского двуязычного журнала, не выплачивающего гонорары авторам и переводчикам, напечатаны произведения Беллы Ахмадулиной, Юнны Мориц, Анатолия Курчаткина и

других. Контактный телефон в Париже для заинтересованных лиц 01-42-36-64-98, факс 01-40-26-62-07, электронная почта belous@europost.org

Петр Вайль. «Я писал для собственного удовольствия». — «Ex libris НГ», 1999, № 19 (91), май.

Печатавшаяся частями в журнале «Иностранная литература» (1995 — 1998) книга Петра Вайля «Гений места» (М., «Независимая газета», 1999) — смесь путешествия, художественного эссе, мемуара. «Идея была такая: не только Джойс помогает понять Дублин, а Дублин — Джойса, но и поставленные рядом Конан Дойль и Лондон кое-что прояснят. Всего в книге 36 таких пар, и все они — авторское своеволие... Уверен, что многие выбрали бы для Праги Кафку, а не Гашека, но я всю жизнь перечитываю „Швейка“...» Книга Петра Вайля получила почетный диплом критики «зоИЛ», учрежденный журналом «Иностранная литература» (составитель «Периодики» участвовал в работе независимого жюри).

Две забытые статьи Глеба Струве. Предисловие и публикация Льва Мнухина. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1999, № 4270, 20 — 26 мая.

Короткие статьи Глеба Струве «Владимир Сирин-Набоков. (К его вечеру в Лондоне 20 февраля)» и «Заметки о Пушкине» были напечатаны в газете «Русский в Англии» 16 февраля 1937 года (этот номер лондонской двухнедельной газеты отсутствует в библиотеках России и в крупнейших западноевропейских библиотеках).

Евгений Жирнов. Как воровали при Сталине. — «Труд», 1999, № 92, 25 мая. И как еще воровали!..

За Христа пострадавшие. Публикацию подготовил Николай Емельянов. — «Татьянин день». Студенческая православная газета МГУ. 1999, № 30, март. Электронная версия: <http://www.fortunecity.com/victorian/dada/1/tday.htm>

Продолжение публикации кратких биографий студентов, выпускников и преподавателей Московского университета, в годы гонений пострадавших за Христа (начало см. № 18, 19, 20, 23, 29). Вообще на сегодняшний день известны имена 12 650 пострадавших священников и мирян и более 400 иерархов Русской Православной Церкви. Имена 3500 из них можно найти в Интернете: <http://www.pstbi.ccas.ru>

Евгений Замятин. Бич Божий. Послесловие И. Ерыкаловой. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 214 (март 1999).

Черновой вариант романа об Аттиле.

В. К. Зноев. Где деньги, Николай Иванович? — «Демократический выбор». Газета объединенных демократов. 1999, № 16, 26 апреля — 5 мая. Электронная версия: <http://www.dvr.ru>

Из истории реформ в России: «как правительство Н. И. Рыжкова, обобрав советских граждан, свалило вину на тех, кто спас Россию от голода и распада».

Михаил Золотоносов. «Зинка»-классик. — «Московские новости», 1999, № 17, 11 — 17 мая. Электронная версия: <http://www.mn.ru>

О «Стихотворениях» Зинаиды Гиппиус в «Новой библиотеке поэта». «Наступила эпоха трезвости, особенно по отношению к „Серебряному веку“... — считает М. Золотоносов. — Фундаментальный том именно благодаря своей полноте „разоблачает“ Зинаиду Гиппиус, лишает ее ореола „гениальности“, который казался естественным для явления запретного и малоизвестного». Лучшим в ее поэзии критик считает стихотворения 1917 — 1919 годов: «...только злоба к большевикам уничтожила метафизику и создала подлинное напряжение».

Рустам Ильясов. Письма перед сожжением. — «Сутолока». Литературный журналчик. Уфа, 1999, № 2-3 (13-14).

Хороший короткий рассказ о Гражданской войне — крепкий «второй сорт», говоря без иронии. А откуда взяться первому? Первого — о Гражданской войне — уже не будет.

Тридцатишестистраничный журнал «Сутолока» выходит в рамках совместного проекта Централизованной системы массовых библиотек Уфы и редакции газеты «Вечерняя Уфа», но, как указано в выходных данных, является тем не менее *формой самиздата*. Тираж — *ограниченный* (так и написано). Редактор-составитель Александр Касымов, контактный телефон в Уфе (3472) 22-04-01.

Айзек Ингер. Пианистка Мария Гринберг. К портрету музыканта в советском интерьере. — «Знамя», 1999, № 5.

Музыка. Общество. Характеры. Масса занимательных и неожиданных подробностей. К 90-летию со дня рождения и 20-летию со дня смерти знаменитой пианистки.

Вадим Кожин. В родню свою — неукротим. — «Труд», 1999, № 80, 6 мая.

Родословная: Ганнибалы и Пушкины. Можно ли вывести существенные свойства Поэта из его «африканского происхождения»? Автор опровергает «эту одностороннюю концепцию, начисто игнорирующую факты».

Вадим Кожин. «Я начал песню в трудный год...». Поэзия 1941 — 1945 годов. — «Москва», 1999, № 5.

Фрагмент статьи, подготовленной для «Истории русской новейшей литературы» (ИМЛИ РАН).

Капитолина Кокшенова. Перемена умов. Три современных романа. — «Москва», 1999, № 5.

О романах Михаила Бутова «Свобода» («Новый мир», 1999, № 1, 2), Светланы Василенко «Дурочка» («Новый мир», 1998, № 11) и Владимира Шарова «Старая девочка» («Знамя», 1998, № 8, 9).

Мария Корякина-Астафьева. Свет в далеком окне. — «День литературы», 1999, № 5.

«Эти страницы простых сердечных воспоминаний Марии Семеновны Корякиной-Астафьевой будут особенно интересны читателям последней повести В. П. Астафьева „Веселый солдат“ („Новый мир“, 1998, № 5, 6. — А. В.): читателям отраднo будет увидеть отражение знакомых героев в другом зеркале и вернуться на мгновение в горький и странно счастливый послевоенный мир, в котором люди помнили добро и умели беречь лучшее в человеке» (Валентин Курбатов).

См. также воспоминания Марии Корякиной-Астафьевой «Земная память и печаль» («День и ночь», Красноярск, 1997, № 1-2, январь — март), «Душа хранит» («День и ночь», 1997, № 4, июнь — август).

Леонид Костомаров. Земля и Небо. Роман. — «Москва», 1999, № 4, 5.

Зона строгого режима. Автор, потомок русского историка Н. Костомарова, отсидел десять лет по ложному обвинению. Полностью книга вышла в московском издательстве «Арина» в этом году. В книге (479 стр.) жанр определен как *эпос*. «Текст составлен из бесчисленного множества небольших главок, написанных от лица героев — зеков, охранников, Земли, Неба, вещей птицы ворона и даже таракана», — доброжелательно рассказывает Анна Вербиева в рецензии «Жил Кудеяр-атаман» («Ex libris НГ», 1999, № 18, май).

Яан Кросс. Труба. Новелла. Перевела с эстонского Татьяна Верхоустинская. — «Вышгород». Литературно-художественный общественно-политический журнал. Таллинн, 1999, № 1-2.

Осенью 1943 года студентов Тартуского университета мобилизуют на фронт — либо в Эстонский легион СС, либо во «вспомогательные службы». Рассказчик-уклонист. «Труба» — реальная, железная и метафорическая, засасывающая юные судьбы.

Валентин Курбатов. Пора возвращения. — «Наш современник», 1999, № 5.

Драматические перипетии реставрации Михайловского и Тригорского.

Александр Кустарев. Вебер: «Все экономические тенденции ведут к возрастанию несвободы». — «Знание — сила», 1999, № 2-3. Страницы журнала «Знание — сила» в журнале «Курьер образования»: <http://io.iph.ras.ru/win/www.ripn.net/infomag/koi8> Из кол-лекции избранных публикаций «Знание — сила» на страничке «Vivos voco»: <http://www.techno.ru/vivovoco/vivovoco.htm>

Рубрика «Археология идей». Русские штудии Макса Вебера.

Л. Лазарев. Факты — вещь упрямая. — «Знамя», 1999, № 5.

Пolemическая статья. Автор считает два сборника — «1941» и «Молотов, Маленков, Каганович. 1957», выпущенные Международным фондом «Демократия» в рамках книжной серии «Россия. XX век. Документы» (под общей редакцией А. Н. Яковлева) — настоящим *событием* нашей духовной жизни. Poleмика со статьей историка В. Попова «1941: тайна поражения» («Новый мир», 1998, № 8). Poleмизируя с Е. Плимаком и В. Антоновым («Тайна „заговора Тухачевского“» — «Отечественная история», 1998, № 4), которые *бездоказательно* утверждали, что «заговор Тухачевского» действительно возник в 1936 году, Лазарев восклицает: неужели авторы не понимали, что оправдывают таким образом один из самых ужасных сталинских процессов? Но если бы в руки историков вдруг попали — представим себе — несомненные доказательства существования «заговора военных», неужели они, *по логике Лазарева*, должны были бы скрыть эти доказательства, только чтобы не дать оснований проклятым реакционерам оправдать сталинские злодеяния?

См. также статью Тимура Мурзаева «Академическая травля. Критики Виктора Суворова пытаются подменить доказательства политической демагогией» («Русская

мысль», 1999, № 4269, 13 — 19 мая) — это критический отклик на международный коллективный сборник «Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований» (М., «Весь мир», 1997).

Борис Ланин. Все дело в редакции и переводе. Путешествие Пушкина и Набокова с русского на английский и обратно. — «Ex libris НГ», 1999, № 20 (92), май.

Сравниваются два издания набоковского комментария к «Евгению Онегину»: петербургское и московское. В пользу последнего («Высшая школа»; под редакцией А. Н. Николюкина): оно, по мнению критика, более *точное*, но, к сожалению, менее полное.

Юрий Левинг. Литературный подтекст палестинского письма Вл. Набокова. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 214 (март 1999).

Впервые воспроизводится целиком длинное письмо Набокова от 4 сентября 1937 года в Палестину к другу детства Самуилу Розову (1900 — 1975). Фактически — фрагмент *мемуарной прозы* о Тенишевском училище в Санкт-Петербурге. Подробные комментарии публикатора Юрия Левинга (Иерусалим).

Леонид Леонов. Унтиловск. Повесть. Публикация Наталии Леоновой. — «Москва», 1999, № 5.

Повесть «Унтиловск» была написана в 1925 году. Позже автор переработал ее в пьесу («Новый мир», 1928, № 3), поставленную МХАТом в 1928 году, но вскоре запрещенную. Повесть печатается впервые.

К 100-летию со дня рождения писателя см. большую статью Ал. Михайлова «Мистический иероглиф» («Кулиса НГ», 1999, № 10, май) о леоновской «Пирамиде», а также переписку Леонова 1978 — 1989 годов с вдумчивым читателем С. М. Тулкиным (1911 — 1998) («Наш современник», 1999, № 5).

Владимир Леонович. «Итоги гласности: собака лает — ветер носит». Беседу вел Борис Евсеев. — «Книжное обозрение», 1999, № 21, 25 мая.

«Думаю, ситуация в поэзии — всегда стабильна. Сколько было избранных, сколько было призванных, столько и осталось. Некоторые люди, вроде Пети Вегина, — исчезли. Вегин ведь числился в поэтах, издавал здесь книжки, а потом взял и оказался далеко-далеко, в Штатах. О стихах и думать забыл, катает там в библиотеке тележку... Что ж, это тоже полезный труд. Он ценнее серых и подражательных стихов».

Литература вне литературных изданий. — «Знамя», 1999, № 5.

Литература расширяет ареал своего обитания. Размышляют Александр Давыдов (журнал «Комментарии»), Лев Данилкин (русский «Playboy»), Андрей Немзер (газета «Время МН»), Татьяна Нестерова (русский «Cosmopolitan»), Александр Нилин (журнал «СПОРТклуб»). Вячеслав Курицын считает, что 99 или по крайней мере 88 процентов современной литературы располагается «вне литературных изданий».

Михаил Лотман. А та звезда над Пулковом... — «Вышгород». Литературно-художественный общественно-политический журнал. Таллинн, 1999, № 3.

Заметки о «поэзии и стихосложении» Набокова. См. в журнале «Вышгород» (1999, № 1-2) запись беседы Михаила Лотмана «Новое о Пушкине».

Борис Любимов. Сильный, державный... О чем напоминает нам Никита Михалков в «Сибирском цирюльнике»? — «Кулиса НГ», 1999, № 9 (31).

Оппоненты «ждали от фильма Михалкова формулу „православие, самодержавие, народность“ в кинематографическом варианте, а увидели, по выражению Достоевского, „неслышное православие“, сдержанно и целомудренно изображенное самодержавие и очень разнообразные проявления народности. Знаменитая формула — фундамент, основа образа фильма, а самый образ фильма — это до самозабвения жертвенная любовь и честь».

И. Г. Менькова. Наше время истекло? — «Московский журнал». Литературно-художественный, историко-краеведческий ежемесячный журнал. 1999, № 3, 4.

О том, что юлианский календарь во *всех* отношениях лучше григорианского. По мнению автора, мы в любом случае обречены на использование юлианского календаря в научной работе.

Mis666sile. Есть ли жизнь после сетки? — «Дружба народов», 1999, № 5.

Исповедь молодого пользователя о жизни в Сети.

Сергей Митрофанов, Кароль Сигман (Франция). Как бы о Дон Хуане. — «Ex libris НГ», 1999, № 16 (88), апрель.

Год назад, 27 апреля 1998 года, умер Карлос Кастанеда, антрополог и *мистификатор*.

Александр Морозов. Общая тетрадь. Солилоквиум. — «Знамя», 1999, № 5.

«Общая тетрадь» (1975) — вторая часть тетралогии. Первая часть — «Чужие письма» («Знамя», 1997, № 11; Букеровская премия 1998 года). Солилоквиум (лат.) — разговор с самим собой.

Владимир Набоков в конце столетия (1899 — 1999). — «Литературное обозрение», 1999, № 2.

В юбилейную подборку вошли следующие материалы: Владимир Набоков, «Два русских интервью»; Владимир Набоков, «Из сборника „Памяти Амалии Осиповны Фондаминской“»; Владимир Набоков, «Памяти И. В. Гессена»; Dubia. Ridebis Semper, «Зуд»; Брайен Бойд, «Владимир Набоков: вступление в биографию. (Биограф Набокова об автобиографиях Набокова)»; Пекка Тамми, «Поэтика даты у Набокова»; Гавриэль Шапиро, «Поместив в своем тексте мириады собственных лиц. (К вопросу об авторском присутствии в произведениях Набокова)»; Александр Долинин, «Набоков, Достоевский и Достоевщина»; Ольга Сконечная, «„Я“ и „он“: о присутствии Марселя Пруста в русской прозе Набокова»; Юрий Левинг, «Владимир Набоков и Саша Черный»; Максим Д. Шраер, «О концовке набоковского „Подвига“»; Савелий Сендерович, Елена Шварц, «„Лолита“: по ту сторону порнографии и морализма»; Борис Кац, «„Ехегі топипентум“ Владимира Набокова: к прочтению стихотворения „Какое сделал я дурное дело...“»; Виктор Куллэ, «„Детон“ Набокова и „Небожитель“ Бродского»; А. А. Колосов, «Тот день в Батово остался для меня одним из самых ярких воспоминаний детства...». *Одна из самых интересных статей в номере: Дональд Бартон Джонсон, «Птичий вольер в „Аде“ Набокова».*

Владимир Набоков. Письма к Глебу Струве. Публикация Е. Б. Белодубровско-го. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 4.

Более двадцати набоковских писем 1936 — 1975 годов к Глебу Петровичу Струве (1898 — 1985). «Я не могу понять, как Вы с Вашим вкусом и опытом могли быть увлечены мутным советофильским потоком, несущим трупного, бездарного, фальшивого и совершенно антилиберального Доктора Живаго» (из письма от 3 июня 1959 года). «Мне нет дела до идейности плохого провинциального романа — но как русских интеллигентов не коробит от сведения на нет Февральской революции и раздувания Октября (чему, собственно говоря, Живаго обрадовался, читая под бутафорским снегом о победе советов в газетном листке?), и как Вас-то, верующего, православного, не тошнит от докторского нарочито церковно-лубочно-блинного духа?» (из письма от 14 июня 1959 года). В том же письме далее: «Грустно. Мне иногда кажется, что я ушел за какой-то далекий, сизый горизонт, а мои прежние соотечественники все еще пьют морс в приморском сквере».

Апрельский тематический номер «Звезды» к 100-летию со дня рождения Владимира Набокова содержит его рассказы и эссе «Дракон», «On Generalities», «Гоголь», «Человек и вещи», «Пасхальный дождь», «Сцены из жизни сиамских уродцев»; «Знаки и символы», «Сестрицы Вейн», «Памяти И. В. Гессена»; а также следующие материалы: Александр Долинин, «Доклады Владимира Набокова в Берлинском литературном кружке. (Из рукописных материалов двадцатых годов)»; Вадим Старк, «Неизвестный автограф Набокова, или История одной мистификации»; из интервью Владимира Набокова Бернару Пиво на французском телевидении, 1975 г.; Герберт Митганг, «Владимир Набоков»; Мария Маликова, Джоанна Трезьяк, «Сквозняк из прошлого»; Николай Набоков, «Багаж. (Часть первая. „Россия... Тогда“)»; Моррис Бишоп/«Набоков в Корнельском университете»; Ричард Уортман, «Воспоминания о Владимире Набокове»; Борис Аверин, «Гений тотального воспоминания. О прозе Набокова»; Омри Ронен, «Пути Шкловского в „Путеводителе по Берлину“»; И. П. Смирнов, «Философия в „Отчаянии“»; С. М. Козлова, «Утопия истины и гносеология отрезанной головы в „Приглашении на казнь“»; Вадим Старк, «„Странное сближение“ — Набоков и Есенин»; Валерий Шубинский, «Имя короля Земблы»; А. В. Блюм, «„Поэтик белый, Сири...“». (Набоков о цензуре и цензура о Набокове); Андрей Арьев, «И сны, и явь. (О смысле литературно-философской позиции В. В. Набокова)»; Борис Парамонов, «Египтянин Набоков»; Игорь Сухих, «Поэт в зеркалах. (1937 — 1938. „Дар“ В. Набокова)»; Г. А. Левинтон, «Набоковская конференция в Таллинне».

В упомянутом выше интересном интервью 1975 года стоит отметить суждение Набокова о том, что «только в воображении жалкого сатира появляется волшебное создание; а американская школьница так же нормальна и банальна, хоть и в своем роде, как ненормален и банален несостоявшийся поэт Гумберт. *Нимфетки нет вне маниакальных взглядов Гумберта* (курсив мой. — А. В.)... Вот вам самый важный аспект книги, который был погребен искусственно созданной популярностью». Ср. с оригинальным мнением русского философа и богослова, эмигранта первой волны В. Н. Ильина (1891 — 1974), что превосходная в своем роде «Лолита» есть повесть о юной *ведьме* и ее несча-

стном любовнике (см.: Ильин Владимир. Эссе о русской культуре. СПб., 1997, стр. 332).

Андрей Немзер. Не все то вздор, чего не знает Митрофанушка. — «Время MN», 1999, № 81, 13 мая.

Вышло в свет еще одно сочинение Владимира Сорокина — роман «Голубое сало» (М., «Ad Marginem», 1999; фрагменты романа — «Кулиса НГ», 1999, № 7, 8, 9, 10). «Мертвые слова клонируются превосходно», констатирует критик. См. о романе в статье Вл. Новикова в октябрьском номере «Нового мира».

Борис Никольский — Виктор Конечский. Уходящее поколение. — «Нева», Санкт-Петербург, 1999, № 4.

Задушевная беседа о том, как же хорошо было писателям *раньше* и как плохо теперь.

Михаил Новиков. Подлинная история отсутствия всякого присутствия. — «Коммерсант-Daily», 1999, № 85, 21 мая. Электронная версия: <http://www.kommersant.ru>

О романе Евгения Попова «Подлинная история „Зеленых музыкантов”» (М., «Вагриус», 1999; «Знамя», 1998, № 6). В начале книги помещен ранний рассказ Попова «Зеленые музыканты», за ним идут сотни и сотни мемуарных комментариев к тексту рассказа, они, собственно, и образуют роман. Михаил Новиков отмечает, что рассказ «Зеленые музыканты» — «слабый, так себе». И далее: «В комментариях, где много всяких баек и анекдотов из жизни бывшего семидесятника Евг. Попова, естественно, присутствует альманах „Метрополь” — из-за участия в котором и не состоялась советская карьера молодого писателя Попова. Так вот, каким бы ни было общественно-политическое значение означенного альманаха, литературно он вполне ничтожен — вровень с этими самыми “Музыкантами”. Это не значит, что не стоило бороться и противостоять. Но оттого, что “Метрополь” боролся и противостоял, он не стал лучше в литературном смысле. Героизация собственного круга, создание мифа о самих себе — занятие, в принципе, малопочтенное, но все новые и новые поколения русских мемуаристов цепляют эту болезнь». Отчасти извинительным обстоятельством критик считает глубокую, искреннюю и неустанно заявляемую ненависть Попова к советской власти.

Дмитрий Павлов. Глинистая речь окопа. Памяти Юлии Друниной и Булата Окуджавы. — «Независимая газета», 1999, № 82, 8 мая. Электронная версия: <http://www.glasnet.ru/ng>

9 мая Булату Шалвовичу Окуджаве и 10 мая Юлии Владимировне Друниной исполнилось бы 75 лет.

См. также публикацию в газете «Известия» (1999, № 82, 8 мая) «Булат Окуджавы: встреча навсегда». Говорят «товарищи поэта» — Владимир Войнович, Александр Кушнер и Егор Гайдар. Александр Кушнер: «Я не могу себя причислить к тем, кто страстно любит пение под гитару и вообще разбавленные мелодии и тексты. Но Окуджавы и еще несколько бардов (Галич, например) составляют исключение. Их стихи могут существовать отдельно от мелодии, хотя и рождены вместе с нею. Я почти уверен, что если будут помнить о литературе 60 — 70-х годов, то будут помнить и об Окуджаве». Егор Гайдар считает, что песни Окуджавы «предельно расширили зону влияния серьезной словесности».

Лиля Пани (Нью-Йорк). Весна конца, или Смерть как поэзия. — «Ex libris НГ», 1999, № 16 (88), апрель.

О книге Андрея Битова «Жизнь без нас» (фото Марианны Волковой; Нью-Йорк, «Слово/Word», 1999, 150 стр.). Первые опубликованная в «Новом мире» (1996, № 9) эта битовская *стихопроза* получила премию журнала за 1996 год. Фотограф Марианна Волкова, по мнению Лили Пани, — «максималист в своем жанре, количество у нее — прием».

О фотоальбоме Марианны Волковой «Портрет поэта: Иосиф Бродский, 1978 — 1996» (предисловие Льва Лосева, текст Александра Гениса; Нью-Йорк, 1998) см. рецензию Глеба Шульпякова «После заката пирс закрыт» («Ex libris НГ», 1999, № 3, январь).

Николай Переяслов. Оправдание постмодернизма. — «Наш современник», 1999, № 5.

Хорошие — по Переяслову — патриотические «постмодернисты»: прозаики Юрий Козлов, Владислав Артёмов, Анатолий Афанасьев.

Об одном из сочинений самого Н. Переяслова см. полемические заметки Н. Елисеева в «Новом мире» (1998, № 9).

Людмила Петрушевская. Лабиринт. Рассказы. — «Октябрь», 1999, № 5. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine>

«Незрелые ягоды крыжовника», «К прекрасному городу», «Донна Анна, печной горшок», «Новые Гамлеты», «Лабиринт»... Людмила Петрушевская обретает второе (третье...) дыхание.

Письма Георгия Адамовича к Роману Гулю. Предисловие и примечания Вадима Крейда. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 214 (март 1999).

Сорок два письма Г. Адамовича 1955 — 1965 годов — хроника его отношений с «Новым Журналом».

Сергей Плетнев. Трагические вопросы без ответов. — «Содружество НГ». Ежемесячное приложение к «Независимой газете». 1999, № 5 (17), май.

Беседа со Светланой Алексиевич. Лукашенко как бедствие для белорусской нации. «Разговоры об объединении со стороны России — циничная болтовня, а со стороны Белоруссии — преступление».

Павел Проценко. По дороге к свободе. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1999, с № 4267 по № 4269.

Мемуарные заметки о правозащитнике и политзаключенном Валерии Марченко (1947 — 1984), умершем в тюремной больнице в Ленинграде.

Лев Пумпянский. Я родился в степном городке... Отрывок из автобиографии. Предисловие Николая Сарафанникова. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 214 (март 1999).

Автобиографическая поэма (1936) Льва Пумпянского (1889 — 1943) публикуется с небольшими сокращениями. Последнее десятилетие прошлого века, впечатления детства в уездном городке Новоузенске Самарской губернии (ныне — Саратовская область). См. стихотворения Л. Пумпянского в № 210 и 212 «Нового Журнала».

Вячеслав Пьецух. Низкий жанр. — «Знамя», 1999, № 5.

Эссе «Колобок» — о Пришвине; «О движении литературы» — о Тургеневе. См. также его «Русские анекдоты» («Октябрь», 1999, № 5).

А. Рейтблат. «Котел фельетонных объедков». Случай М. О. Меньшикова. — «Неприкосновенный запас», 1999, № 2 (4).

Жесткая критика современных интерпретаций публицистического наследия нововременного журналиста М. О. Меньшикова (1859 — 1918). «Да, Меньшиков был зверски, без суда и следствия, убит чекистами. Но из этого вовсе не следует, что он был высоконравственным человеком, и этого прискорбного факта недостаточно, чтобы весьма путаного и противоречивого публициста, эпигонски следовавшего модным западным учениям конца XIX века и националистически, на расистской подкладке, трактовавшего сложную социальную ситуацию в России начала XX века, превращать в оригинального социального мыслителя и даже пророка». Уклончиво-«позитивную» точку зрения на этого автора см. в рецензии Юрия Кублановского на недавнее переиздание меньшевиковских статей («Новый мир», 1999, № 5).

Мария Ремизова. Попытка диалектики. Нелитературные рассуждения на литературную тему. — «Независимая газета», 1999, № 37, 3 марта.

О повести Владимира Торчилина «Университетская история» («Континент», № 98). Сюжет: университетский профессор, бывший наш соотечественник, но уже давно живущий в США, столкнулся с пресловутой «политической корректностью», но уцелел. М. Ремизова замечает, что «политкорректность, как и всякая корректность вообще, нам в ближайшее время явно не грозит». Но это расхожее выражение может быть переведено на русский и как «политическая *правильность*» (почувствуйте разницу!), а уж этого добра мы еще в советской жизни нахлебались.

См. также большую рецензию Марии Ремизовой «Формула свободного падения» («Независимая газета», 1999, № 47, 17 марта) на роман Михаила Бутова «Свобода» («Новый мир», 1999, № 1, 2), замысел которого, по мнению критика, не очень удачен, но написан роман хорошо, потому что — «Бутов талантливый человек».

См. статью Марии Ремизовой «Хранитель ненужных вещей» («Независимая газета», 1999, № 83, 12 мая) к 90-летию со дня рождения Юрия Домбровского. Она считает, что Домбровского знают как автора одного романа («Факультет ненужных вещей»), зато знают практически все. Далее — медленное чтение этого «одного романа».

Генрих Сапгир. Черновики Пушкина. Предисловие Андрея Чернова. — «Дружба народов», 1999, № 5.

Генрих Сапгир (вслед за Брюсовым, Ходасевичем, Набоковым) дописывает Пушкина. Стихи перепечатаны из книги Генриха Сапгира «Черновики Пушкина» (М., «Ра-

ритет», 1992, 500 экз.). Из этой же книги в журнале «Дружба народов» (1999, № 3) были перепечатаны четыре французских стихотворения Пушкина в переводе Сапгира.

Валерий Сендеров. Миф XXI века, или Коричневая поступь «истории». — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1999, № 4268, 6 — 12 мая.

О Новой Хронологии академика А. Т. Фоменко: «Опять мы, по слову Достоевского, уходим из человечества. Из христианской культуры; из рациональной науки; из Европы...» См. также полемическую статью Дм. Харитоновича «Феномен Фоменко» («Новый мир», 1998, № 3).

Глеб Ситковский. Про любовь и про цыкату. — «Кулиса НГ», 1999, № 10 (32), май.

Большая беседа с Эдвардом Радзинским, который работает над книгой о Григории Распутине. «Там огромное количество новых документов, благодаря которым доказываются множество вещей. Около 800 страниц составляют неопубликованные показания людей, которые были близки Распутину, и теперь портрет этого человека будет составлен окончательный и обжалованию не подлежащий... Теперь я все о нем знаю. Впервые будет восстановлена картина его убийства, и она будет абсолютно другая, к полному изумлению всех». О себе: «Я обычный религиозный человек, и поэтому об участии Господа Бога в нашей жизни я рассказываю практически во всех своих последних работах».

Николай Славянский. Театр теней. Поэзия Александра Кушнера. — «Москва», 1999, № 5.

Полемические заметки о Кушнере-«*позитивисте*» уже печатались с сокращениями в парижской газете «Русская мысль» (1999, № 4256, 4 — 10 февраля) под названием «Аполлон и Кушнер». Вскоре они будут прокомментированы на страницах «Нового мира».

Алексей Слаповский. Распутник. — «Огонек». Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. 1999, № 13, март. Электронная версия: <http://www.ronnet.ru/ogonyok>

Продолжение «Энциклопедии уходящих типов уходящей эпохи». Название этого рассказа намеренно вводит в заблуждение.

См. в июньском номере «Нового мира» плутовской роман А. Слаповского «День денег», а в июньской «Дружбе народов» — его повесть «Галий».

Валентин Смирнов. Следственное дело Сергея Колбасьева. — «Нева», Санкт-Петербург, 1999, № 4.

По страницам следственного дела морского офицера, писателя, коллекционера джаза Сергея Адамовича Колбасьева, расстрелянного в 1937 году по обвинению в шпионаже, реабилитированного в 1956-м.

Весь апрельский номер «Невы» — «Петербург морской» — так или иначе связан с морской тематикой.

А. Солженицын о балканской трагедии. — «Труд», 1999, № 77, 29 апреля.

«Не надо придерживаться иллюзий, что Америка или НАТО главной целью своей имеют защиту косоваров. Если бы защита угнетенных сколько-нибудь волновала их серьезно, то у них было сорок лет, чтобы защитить Тибет с разгромляемым народом, религией, тончайшей древней культурой. Они пальцем не пошевелили из трусости — потому что с Китаем лучше не связываться. Если бы у них было такое доброе чувство, то они уже имели сорок или пятьдесят лет, чтобы защитить курдов, разорванных на разные страны, уничтожаемых — миллионы несчастных... Они этого не сделали, потому что Турция — выгодный союзник и у нее проливы. Вот их мотивы. А сейчас такой „счастливый“ случай. Беззащитная мишень — никто Сербию не защитит: Россия в полном безволии и бессилии. И можно показать клюв и когти. Можно показать... Это и делается. Самое страшное из того, что происходит, — даже не бомбардировка Сербии, как это ни трудно выговорить. Самое страшное то, что НАТО привело нас в новую эпоху. Подобно тому, как Гитлер когда-то для своей авантюры вышел из Лиги Наций, и так началась Вторая мировая война, эти вышли... собственно говоря, отшвырнули Организацию Объединенных Наций, систему коллективной безопасности, признание суверенности государств. Они начали новую эпоху: кто сильнее — тот дави. Вот это страшно, что мы вступили в эпоху, когда не будет закона — не будет международного закона, а просто сильная группа диктует. И довольно страшно, что Восточная Европа, которой всегда я так сочувствовал в её угнетении, в её неволе, — они одним хором во главе со своими лидерами говорят: бомбите, бомбите Югославию, бомбите. Они — только что освободившиеся... А Прибалтика... Сколько в их защиту говорили... А они говорят: бомбите, бомбите. Вот это самое страшное — новая эпоха на Земле...»

См. также краткое заявление нобелевского лауреата от 8 апреля с. г. о событиях на Балканах в «Труде» (1999, № 64, 10 апреля) и «Независимой газете» (1999, № 65, 10 апреля).

Александр Солженицын. Она никогда не угождала эпохе. — «Литературная газета», 1999, № 19, 19 мая.

Литературная премия Александра Солженицына вручена поэту Инне Лиснянской. Тут же — ответное слово лауреата. Инна Лиснянская считает, что никакой *другой литературы*, кроме русской литературы, у нас нет и быть не может, потому что каждый Божьей милостью творец всегда *другой*.

Вадим Старк. *Ut pictura poesis.* — «Вышгород». Литературно-художественный общественно-политический журнал. Таллинн, 1999, № 3.

О Набокове-рисовальщике. С иллюстрациями: *бабочки* из письма к Добужинскому, *Анна Каренина во время игры в теннис*. В названии статьи использовано стихотворение Набокова 1926 года, посвященное Добужинскому, «*Ut pictura poesis*», то есть «Да живописует поэзия» (лат.).

См. в этом же номере «Вышгорода» статью Вадима Старка «Истоки сновиденья. Пушкин и Набоков: генеалогические перекрестки», а также разнообразные материалы других авторов к юбилею Набокова (например, Анна Бродская, «Банальность зла. Роман „Лолита“ и послевоенное эмигрантское сознание»; Наталья Телетова, «Век-„наоборот“ писателя-„наоборот“». „Картофельный эльф“ и карлик Альберт европейского эпоса» и проч.).

В № 1-2 «Вышгорода» см. статьи Вадима Старка «Время расчислено по календарю. Хронология и топография „Повестей Белкина“» и «По следам реального времени. „Оленинский“ цикл в набоковских отражениях».

Александр Тиняков. Стихотворения. — «Митин журнал». Издается с января 1985 года. Санкт-Петербург, 1999, № 57. Электронная версия: <http://www.vavilon.ru/metatext/mitin.html>

Пять стихотворений литературного изгоя — полузабытого литератора Александра Тинякова (1886 — 1934). Четыре — из сборника А. Тинякова «Стихотворения» (под редакцией Н. Богомолова, Томск, «Водолей», 1998). Пятое — 1926 года — обнаружено Г. Моревым в архивах ФСБ. Привожу его полностью: «Чичерин растерян, и Сталин печален, / Осталась от партии кучка развалин. / Стеклова убрали, Зиновьев похорен, / И Троцкий, мерзавец, молчит, лицемерен. / И Крупская смотрит, нахохлившись, чертом, / И заняты все комсомолки абортom. / И Ленин недвижно лежит в мавзолее, / И чувствует Рыков веревку на шее».

О Тинякове см. в полемической статье Никиты Елисеева «Что не дозволено ученому. Просто напоминание» («Новый мир», 1998, № 7).

Три Пелевина. — «Огонек», 1999, № 17, май. Электронная версия: <http://www.gorpet.ru/ogonyok>

И это все о нем: Дмитрий Быков, «Вместо интервью»; Алексей Беляков, «Двигатель инженера Пелевина»; Андрей Гамалов, «Полный „П“». А также короткий «Тест о старухе» самого Пелевина. А также мнения современников: «Про Виктора Пелевина, к сожалению, я ничего сказать не могу, потому что не читал... Но я очень много слышал о Пелевине от своих товарищей, и, судя по их словам, писатель этот никакого интереса не представляет» (Вячеслав Пьецух).

О Пелевине см. статью Ирины Роднянской «Этот мир придуман не нами» («Новый мир», 1999, № 8).

Алексей Улюкаев. Отрицание социализма. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1999, № 4270, 20—26 мая; № 4271, 27 мая — 2 июня.

Столь необходимый сегодня *либеральный экономический ликбез*.

Умер автор «Вечного зова». — «Литературная газета», 1999, № 23, 9 июня.

На 72-м году жизни скончался Анатолий Иванов, многолетний редактор журнала «Молодая гвардия», автор знаменитых романов-эпопей «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов». «С Анатолием Ивановым и такими, как он, отходит в прошлое целая историческая эпоха. Проводим ее молча и по возможности спокойно и прилично», — говорится в неподписанном некрологе.

Михаил Новиков («Коммерсантъ», 1999, № 93, 2 июня) отмечает, что проза Иванова отличается «необыкновенно мощной, по советским пуританским меркам, чувственностью: герои этого матерого реалиста часто наделены необузданной похотью, которая и определяет их постуки».

Уроки великого простого. Виктор Астафьев в беседе с корреспондентом «МН» Юрием Васильевым. — «Московские новости», 1999, № 16, 27 апреля — 3 мая.

К 75-летию прозаика. Невеселые беседы. «Виктор Петрович, в апрельской книжке „Нового мира“ напечатано письмо фронтовика (Ю. Т. Николаева. — *А. В.*), прочитавшего вашу последнюю повесть „Веселый солдат“. Он задает риторический, но оттого не менее страшный вопрос: неужели ваше поколение должно полностью вымереть, чтобы молодым не пришлось тянуть за собой и груз Великой Отечественной (мысль читателя изложена неточно. — *А. В.*)?» — спрашивает корреспондент. «Мы выйдем, конечно, — отвечает писатель, — но *легше*, к сожалению, не станет».

См. также беседу Виктора Астафьева с Марией Ремизовой («Если хватит сил...» — «Независимая газета», 1999, № 79, 30 апреля). «Вот Улицкая написала „Веселые похороны“ („Новый мир“, 1998, № 7. — *А. В.*) — это я не люблю. Это все-таки грязная литература, грязная. Писать о покойнике, об умирающем, как тешатся после похорон... Я считаю, что это кошунство. Кроме „Смерти Ивана Ильича“, я не воспринимаю никакого другого произведения об умирании. Я много видел, как умирают люди, — ничего в этом хорошего нет. Писать все это — вокруг поминок, как идет это пьянство, как баба, спавшая с покойником, уходит с другим, — это все-таки срам, русской литературе не присущий. Писали ведь и Куприн, и Бунин... По существу, в „Чистом понедельнике“ происходит то же самое, но насколько это прекрасно, насколько это возвышенно!» И еще: «Не может умереть русская литература, поскольку она состоит все-таки не из радостей, не из счастья, а из страданий, из горя. А жизнь всегда давала для этого богатый материал — и сейчас дает».

Семен Файбисович. Десница Творца. — «Неприкосновенный запас», 1999, № 2 (4). Церетели, Лужков и СМИ.

Борис Хазанов. «Мы живем на разных планетах». Беседовал Илья Мильштейн. — «Новое время», 1999, № 19, 12 мая.

Прозаик, живущий в Мюнхене, о современной России: «Возмездие отличается от кары тем, что кара настигает негодяев, между тем как историческое возмездие обрушивается на всех — виновных и невиновных. Вот несчастное население и расплачивается за все десятилетия советского режима...»

См. рассказы Бориса Хазанова «Граница» и «Похож на человека» («Октябрь», 1999, № 5).

Йохен Хибер. Романы XX столетия: от Музиля до Грасса — пять звезд немецкоязычной литературы. — «Deutschland». Политика, культура, экономика и наука. 1999, № 2, апрель — май. Электронная версия: <http://www.deutschland.de>

По просьбе издательства «Бертельсманн» и Мюнхенского литературного дома тридцать три эксперта составили список лучших немецкоязычных романов XX столетия. Всего в списке — 76 романов, но только 26 из них получили более одного голоса. На первом месте — «Человек без свойств» Роберта Музиля, за ним идут «Процесс» Франца Кафки, «Волшебная гора» Томаса Манна, «Берлин, Александерплац» Альфреда Дёблина и «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса.

Марина Шторх, при участии **Анны Марголис.** Неизвестный Шпет. — «Русская мысль». Ежедневник. Париж, 1999, № 4269, 13 — 19 мая.

7 апреля 1999 года исполнилось 120 лет со дня рождения русского философа Густава Густавовича Шпета. Публикуются два его письма 1920 года к ученице и другу Н. И. Игнатовой, а также письмо 1936 года к Ю. Балтрушайтису. «Пушкин такая же случайность, как и Петр» (из письма к Н. И. Игнатовой — февраль 1920 года).

Дмитрий Шушарин. -ing, или Апология ящика. — «Неприкосновенный запас», 1999, № 2 (4).

«Мне представляется бесспорным, что за последние пять лет телевидение сыграло выдающуюся роль в осознании всей нацией фундаментальных ценностей открытого общества, в становлении нового русского самосознания».

См. главы из эссеистической книги Дмитрия Шушарина «Пройдя до середины» («Новый мир», 1999, № 6).

Василий Яновский. Из дневника 1960 — 1964. Публикация и примечания Веры Крейд. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 214 (март 1999).

Русский писатель в Америке. «На каком языке писать? Для какого читателя? Для какого издателя? Нет, нам хуже, чем Герцену, хотя умирал он тоже неважно» (запись от 22 февраля 1964 года). Болезни, сны, работа, мысли о Боге.

●

ХРОНИКА: в Астане снят с постаamenta последний памятник Ленину в Казахстане («Кулиса НГ», 1999, № 9); Российская академия художеств объявила конкурс на лучший проект памятника Михаилу Булгакову на Патриарших прудах («Кулиса НГ», 1999, № 10).

●

ДАТЫ: 14 (26) сентября исполняется 120 лет со дня рождения театрального деятеля, драматурга Николая Николаевича Евреинова (1879 — 1953); 17 (29) сентября исполняется 100 лет со дня рождения прозаика Артема Веселого (Николая Ивановича Кочурова; 1899 — 1939); 24 сентября исполняется 90 лет со дня рождения прозаика Константина Дмитриевича Воробьева (1919 — 1975).

Составитель **Андрей Василевский.**

●

Составители «Книжной полки» и «Периодики» будут благодарны провинциальным/зарубежным издательствам и редакциям провинциальных/зарубежных литературных журналов, если те найдут возможность присылать образцы своей продукции. Это послужит более полному освещению литературной жизни России и Русского Зарубежья на страницах «Нового мира».

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Сентябрь

5 лет назад — в № 9 за 1994 год напечатан «деревенский дневник» Людмилы Петрушевской «Карамзин».

10 лет назад — в № 9 за 1989 год напечатан рассказ Виктора Астафьева «Людочка».

30 лет назад — в № 9 за 1969 год напечатаны эссе Виктора Некрасова «В жизни и в письмах».

45 лет назад — в № 9 за 1954 год напечатана резолюция Президиума правления Союза советских писателей «Об ошибках журнала „Новый мир“» («...Президиум правления Союза советских писателей постановляет: 1. Осудить неправильную линию журнала „Новый мир“ в вопросах литературы. 2. Освободить тов. **Твардовского А. Т.** от обязанностей главного редактора журнала. 3. Назначить главным редактором журнала „Новый мир“ тов. **Симонова К. М.** 4. Поручить секретариату...»).

**КЛУБ
«ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»**

При Доме культуры МАИ

**С октября 1999 года
возобновляются абонементные литературные встречи,
которые двадцать лет назад проводились
по инициативе Союза писателей и МАИ.**

**В рамках абонемента будет проведен
и вечер «Нового мира».**

Ведущий вечеров — поэт Вячеслав Левыкин.

Начало в 19 час.

**Адрес ДК МАИ — Москва, Дубосековская ул., 8,
метро «Сокол», далее тролл. 12, 70
до остановки «Пищевой институт, МАИ»**

**Справки по телефонам:
158-00-22, 158-44-80, 158-00-18, 158-49-57.**

**Клуб «Любителей российской словесности»
при ДК МАИ
приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству
издательства, концертные организации, СМИ
и коммерческие структуры.**

**По поводу делового сотрудничества
обращаться к президенту клуба
Левыкину Вячеславу Дмитриевичу.**

Тел./факс (095) 158-20-04, 158-72-91.

SUMMARY



New poems by Jury Kublanovsky, Sergey Novikov, Natalia Arishina, Natan Zlotnikov are published in the poetry section of this Issue.

Prose is represented by the Igor Sahnovsky's chronicle «The Barest Necessities of the Dead» and the story by Andrey Volos «The Syrian Roses», continuing the cycle of narratives about the modern Tajikistan published by this writer. In this section you can also read the story «After the Heart Failure» by Sergey Zalygin.

Under the heading «Philosophy. History. Politics» you can read the Alexander Neclessa's article «Pax Oeconomiana or the Epilogue of the History. Reflections at the Doors of the Third Millennium», dedicated to the latest realities of the world politics and economics.

In the section «Close Remote Past» you can find the diary of the literary critic Igor Dedkov, written by him during 1981 — 1982.

Under the heading «Les Essais» the dialog «Z/K or Vivisection» is published between the critic Mikhail Zolotonosov and the poet Nikolay Kononov. Also you can find the Sergey Borovikov's notes «Pondering over 'The War and Peace'» from the cycle «In the Russian Style».

The literary critique of this Issue is represented by the Svetlana Semenova's article «The Two Poles of the Russian Existentialism», discussing the prose by Georgy Ivanov and Vladimir Nabokov.



Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, Д. С. Лихачев, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Главный редактор **А. В. Василевский**

Редакционная коллегия: **М. Е. Борщевская, М. В. Бутов** (ответственный секретарь), **Р. Т. Киреев, С. П. Костырко** (редактор электронной версии журнала), **Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, А. А. Носов,**

И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры **Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова**

Редактор-библиограф **А. И. Фрумкина**

Компьютерная верстка — **И. Н. Колесникова**

Компьютерный набор — **Т. В. Дорофеева**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики — 229-25-83, историко-архивный отдел — 209-12-50,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru

Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.05.99 г. Подписано к печати 26.07.99 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 16,0 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28,0 уч.-изд. л.

Тираж 12 715 экз. Зак. 5426. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»

Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**ДО КОНЦА 1999 И В 2000 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. Дух времени и чувство юмора (речь перед австрийской аудиторией);
 АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Монахи (роман);
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть);
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
 ЮРИЙ БУЙДА. Рассказы о любви;
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
 АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Ночь славянских фильмов (рассказы);
 СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА.
 Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);
 БОРИС ЕКИМОВ. Житейские истории;
 МИЛАН КУНДЕРА. Обмен мнениями (маленькая повесть; перевод с французского);
 ОЛЕГ ЛАРИН. Пятиречь (сцены из захолустной жизни);
 ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);
 ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Читающая вода (роман);
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
 ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Один в зеркале (роман);
 АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. НЕДО (автогеография);
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;
 АЛЕКСЕЙ ТУРОБОВ. Америка — каждый день (из дневника писателя);
 ВЛАДИМИР ТУЧКОВ. Русская коллекция;
 ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Путешествие с... (роман);
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом (повесть);

а также романы, повести, рассказы ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, МИХАИЛА БУТОВА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, АНТОНА УТКИНА, стихи АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи, очерки, эссе СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЕНЫ ЗЛОБИНОЙ, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, МАРКА КОСТРОВА, АНДРЕЯ НЕМЗЕРА, ВЛАДИМИРА НОВИКОВА, ИРИНЫ СУРАТ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВОВРЕМЯ ОФОРМИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**